Никколо
Макиавелли

Государь

Искусство войны

Цель оправдывает средства

Великие правители

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Цель оправдывает средства», – еще не зная, кто автор этих слов, по какому поводу они были сказаны и что они значат, едва ли не с детства мы запоминаем: так быть не должно, это безнравственно и цинично. Став старше, узнаем, что слова эти принадлежат итальянцу Никколо Макиавелли (1469—1527), и обнаруживаем другие его сентенции: «Все вооруженные пророки побеждали, а все безоружные гибли», «Обиды нужно наносить разом: чем меньше их распробуют, тем меньше от них вреда», «Государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по надобности» и многие другие.

Очевидно, что человек, дающий такие рекомендации, – исчадие политического ада, он аморален и циничен, а его принципам не место в жизни. Однако почему-то трудами этого исчадия зачитывались государственные деятели и величайшие философы, книги его переведены на десятки языков, а его теория политической науки стала основой университетских курсов…

Чтобы оправдать макиавеллизм, принято рассуждать о современной ему эпохе: сложной, противоречивой и нестабильной. Как раз такой, в которой методы, предложенные Макиавелли, были вполне востребованы.

Все это так… и не совсем…

В 1960-х гг. в США вышло очередное издание мыслей и высказываний Никколо Макиавелли с примечательным вопросом на обложке: «Макиавелли – циник, патриот или политолог?» Вот она – суть явления! Политика во все времена была, есть и будет циничной, разве что степень цинизма меняется. Ни один политик, государственный деятель или правитель не обходится без цинизма. Но чтобы стать успешным, ему также понадобится патриотизм. Макиавелли первым сформулировал этот принцип: сильный государь – но республиканское устройство, интересы государства превыше всего – в том числе и превыше собственных интересов. Не так уж и цинично. Просто – и гениально!

Представляя свой главный труд – «Государя» – Макиавелли писал: «Я не заботился здесь ни о красоте слога, ни о пышности и звучности слов, ни о каких внешних украшениях и затеях, которыми многие любят расцвечивать и уснащать свои сочинения, ибо желал, чтобы мой труд либо остался в безвестности, либо получил признание единственно за необычность и важность предмета».

Труды Никколо Макиавелли в безвестности не остались.

Признание они получили на века. Поистине, скромная гениальность и гениальная скромность…

Электронная публикация включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие правители» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями. В книге великолепный подбор иллюстративного материала: текст сопровождают более 200 редких иллюстраций из отечественных и иностранных источников, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Элегантное оформление, прекрасная печать, лучшая офсетная бумага делают эту серию прекрасным подарком и украшением библиотеки самого взыскательного читателя.

-
- П. И. Новгородцев. МАКИАВЕЛЛИ
- Никколо Макиавелли. ГОСУДАРЬ
- Никколо Макиавелли. РАССУЖДЕНИЯ О ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ТИТА ЛИВИЯ
- Никколо Макиавелли. О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ
- А. К. Дживелегов. НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20

- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64

- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108

- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152

- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196

- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240

- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284

- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328

- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368

Никколо Макиавелли
(1469—1527)

Никколо Макиавелли

Государь
Искусство войны

П. И. Новгородцев. МАКИАВЕЛЛИ

Биография Макиавелли

Разложение средневековых преданий, которому в такой мере способствовала эпоха Возрождения, нигде не совершалось столь быстро, как в классической стране Возрождения, в Италии. Древняя философия, древнее искусство, римское право и античное понятие о государстве здесь прежде всего оказали свое обновляющее влияние и послужили толчком к новому развитию. Отрицательное отношение к средневековым идеалам проявлялось в Италии тем сильнее, что носительница этих идеалов, Церковь, рано утратила здесь свой нравственный авторитет.

Близкие свидетели темных сторон папства, итальянцы начинали смотреть на него как на источник всех бедствий своей страны. К этому присоединялось влияние практических условий времени, которые выдвигали на первый план новую потребность создания крепкого государственного строя.

Чем яснее сознавалась эта потребность, чем более она встречала препятствий для своего удовлетворения, тем живее выражались протесты против действительности и против средневековых порядков, результатом которых она явилась. Любопытным памятником этого настроения являются произведения Макиавелли, у которого реакция против Средних веков принимает крайнюю форму отрицания всех начал средневековой жизни.

Макиавелли родился во Флоренции в 1469 году. Он происходил из древней, но обедневшей тосканской фамилии, члены которой не раз занимали важные должности в Флорентийской республике. Детство и юность Макиавелли совпали со временем господства во Флоренции Лоренцо Великолепного (1472–1492), под покровительством которого флорентийская образованность переживала блестящую пору своего развития. О ранних годах жизни Макиавелли не сохранилось никаких известий. По всей вероятности, он получил, согласно с духом своего времени, гуманистическое образование, которое впоследствии восполнил чтением древних, по преимуществу латинских писателей.

Никколо Макиавелли. *Статуя у входа в галерею Уффици во Флоренции*

Занятия классиками не сделали из Макиавелли ученого гуманиста, но в связи с общим направлением века воспитали в нем большого поклонника древности. На литературную деятельность Макиавелли это увлечение древностью оказало самое глубокое влияние. Когда умер Лоренцо Медичи, Макиавелли было 23 года. Италия находилась в то время накануне важных событий. Взаимная вражда итальянских государств уже давно подготавливала почву для иноземного

завоевания. В борьбе с соперниками мелкие итальянские правительства не раз угрожали призвать иноземцев.

Наконец угрозы перешли в область действительности: в 1494 году французский король Карл VIII, прозываемый миланским герцогом Людовиком Моро, вступил в Италию и положил таким образом начало эпохи итальянских войн, которая была вместе с тем эпохой величайших бедствий для итальянского народа. Совершились важные перемены и во Флоренции. Преемник Лоренцо Пьеро вскоре успел навлечь на себя нерасположение флорентийцев, и Медичи были изгнаны. На короткий срок Савонароле удалось приобрести влияние во Флоренции, но и его влияние удержалось недолго.

Порядки, установленные им, стали казаться тягостными народу, и свободолюбивые флорентийцы вновь возвратились к чисто республиканской форме правления, которая, как утверждал впоследствии Макиавелли, всего более соответствовала их нравам. Макиавелли в это время было 29 лет. Он искал практической деятельности и вскоре получил освободившееся место секретаря Совета десяти, которое удерживал за собою в течение четырнадцати лет до нового политического переворота, возвратившего Медичи во Флоренцию. Совет десяти заведовал, под надзором Синьории – высшего учреждения в республике, многими важными делами внутреннего управления и внешними сношениями.

Макиавелли приходилось вести очень сложную переписку этого учреждения и составлять протоколы заседаний. До сих пор в архивах Флоренции хранятся тысячи писем и документов различного рода, писанных его рукой. Эти занятия служили для Макиавелли прекрасным средством для практического ознакомления с политическим искусством. Но не в канцелярии только и не из общих бумаг получил Макиавелли тот богатый запас политического опыта, которым впоследствии он любил подкреплять свои теоретические положения. В этом отношении, конечно, для него было гораздо важнее непосредственное соприкосновение с жизнью.

Его часто посылали с различными поручениями то внутри государства, то к иностранным дворам. То поручают ему осмотр наемных войск, и мы находим его в лагере под Пизой, с которой Флоренция продолжала свою нескончаемую войну; то его посылают в Пистойю, в которой требовалось вмешательство флорентийского правительства для умиротворения враждующих партий; то он разузнает настроение иностранных дворов или ведет с ними дипломатические переговоры.

Дипломатические поручения и донесения

Поручения последнего рода были особенно трудны. И без того сложные политические отношения итальянских государств еще более суживались от вмешательства в дела Италии соседних держав: Испании, Франции и Германии. Французские вторжения, несколько раз повторявшиеся с 1494 года, вносили в политическую жизнь Италии новый ряд опасностей и затруднений. При раздробленности Италии противодействие подобным вторжениям и вмешательствам было для нее невозможно.

Таким мелким политическим силам, как Флоренция, приходилось в целях самосохранения ладить с иноземцами, вступать с ними в союзы, иногда помогать им денежными и военными средствами; приходилось соображать массу разнородных интересов, лавировать между самыми разнообразными опасностями. Внешняя политика приобретает в эту эпоху в Италии особенное значение; дипломатическое искусство становится чрезвычайно трудным.

Более чем когда-либо требовалось теперь от дипломатов зоркости, чтобы уследить за крайне изменчивыми планами иностранных дворов, и умения поддержать со всеми добрые отношения. Дипломатические поручения Макиавелли исполнял очень часто. Ему давали самые трудные миссии, посылали несколько раз во Францию, в Рим, в Германию, поручали

выведывать тайные планы Цезаря Борджиа. Макиавелли большей частью с успехом выходил из затруднений.

Памятниками его дипломатической деятельности служат посольские донесения, в которых он, по обычаю посланников своего времени, сообщал своему правительству о ходе переговоров или о положении дел, с присоединением собственных наблюдений и выводов. Обыкновенно он не останавливается на изложении частных вопросов, послуживших поводом к той или другой его миссии; а большей частью связывает подобное изложение с общим очерком политического положения данной страны, рисует нравы ее народа, характер князя.

Характеристики князей и народов, которые Макиавелли дает в своих донесениях, отличаются необыкновенной ясностью и силой: в немногих чертах он умеет передать существенное и основное. Здесь уже мы видим будущего проницательного мыслителя и тонкого аналитика. Вместе с тем перед нами раскрывается тот подготовительный процесс, которым воспитывалась политическая мысль Макиавелли.

Стефано Усси.
Никколо Макиавелли в кабинете. *1894 г.*

Исполняя различные поручения своего правительства, он узнавал политическую практику своего времени, наблюдал вблизи выдающихся политиков; он мог, наконец, изучить положение Италии, причины ее слабости и упадка. В его обобщающей мысли весь этот материал отлагался в виде заключений и выводов, вошедших впоследствии в его политические трактаты. В то самое время как Макиавелли делал свои выводы над итальянской действительностью, он продолжал

изучать древнюю историю.

Живя при дворе Цезаря Борджиа, он просит своих друзей прислать ему Плутарха; он читает Тита Ливия и учится у него любви к Древнему Риму. Доблести древних римлян, их любовь к отечеству, их политическая мудрость, изображенная красноречивым историком-патриотом, заставляют Макиавелли преклониться перед величием Рима. Встречаясь на практике с каким-нибудь затруднительным случаем, он старается узнать, как поступали в подобных случаях римляне, и ищет поучения в римской истории.

Так, например, по поводу восстания в Ареццо, наделавшего во Флоренции много хлопот, он излагает способы, с помощью которых усмирялись восстания римлянами. Из подобных сопоставлений и справок выросли впоследствии «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия». Но во время своей служебной деятельности Макиавелли лишь урывками обращался к подобным работам: его занятия в канцелярии и постоянные поездки оставляли ему слишком мало свободного времени.

Роль во внутреннем управлении

Позже к его прежним обязанностям добавились новые, которым он предался с необыкновенным воодушевлением. Давно уже он пришел к убеждению, что для каждого государства необходимы собственные войска. Он видел на практике во время

войны Флоренции с Пизой, как мало можно полагаться на наемных солдат. Он считал бедствием итальянских государств отсутствие в них организованных войск, набранных из среды граждан и одушевленных любовью к родине.

Устроить во Флоренции собственную милицию – было его мечтой. В 1505 году ему удалось, наконец, убедить свое правительство решиться на этот шаг; и лишь только сделаны были необходимые распоряжения, как Макиавелли спешит привести их в исполнение. Он вырабатывает план военной организации, разъезжает по флорентийской области, набирает солдат, закупает оружие, выказывает редкую энергию в исполнении плана, который казался ему столь полезным для государства. Его преданность общему делу выступает здесь в самых ярких и симпатичных чертах.

Макиавелли находился в самом деятельном периоде своей службы Флоренции, когда новый переворот в государстве ниспровергнул республиканское правительство с гонфалоньером Содерини во главе. В 1512 году Медичи возвратились к власти и, не изменяя старых форм, на деле овладели всеми нитями государственного управления. Макиавелли, как деятельный член старого правительства, казался опасным новым правителям и был отрешен от всех своих должностей. Но его ожидали еще большие несчастья. Вскоре после возвращения Медичи во Флоренцию два флорентийских юноши, Босколи и Каттони, задумали освободить свое отечество от их владычества.

Они составили список лиц, на сочувствие которых рассчитывали, и в число других включили Макиавелли. Случайно этот список попал в руки правительства, которое заподозрило организованный заговор и арестовало предполагаемых участников его. Вместе с другими пострадал и Макиавелли; он был заключен в тюрьму и подвергнут пытке, но от него ничего не могли добиться и отпустили на свободу. После всех этих испытаний он удалился в свое имение, в котором прожил несколько лет в вынужденном уединении.

Он старался заниматься хозяйством, углубился в изучение классиков, но жажда привычной деятельности не покидала его. Он ищет возможности возвратиться во Флоренцию и снова поступить на службу. План этот казался ему осуществимым: многие из его прежних товарищей, служивших прежде республике, сохранили свои места и при Медичи, которые в общем управляли мягко, не прибегая к крутым переменам.

Потребность служить государству побеждала в Макиавелли всякие иные соображения. Но все его искания долго оставались безуспешными. Только под конец своей жизни ему пришлось еще

выполнить по просьбе Медичи несколько поручений, впрочем неважных. Но этот невольный покой, которым так тяготился Макиавелли, дал ему возможность предаться литературным занятиям и написать те произведения, которые обессмертили его имя. Поселившись в деревне, он вскоре принялся за свои политические трактаты. Позже он написал «Историю Флоренции» и несколько менее значительных произведений в прозе и стихах.

Герб
Флорентийской республики

Благо государства

Слава Макиавелли как писателя по преимуществу основывается на его политических сочинениях. Из-за них он подвергался таким суровым осуждениям со стороны одних и преувеличенным похвалам со стороны других; в них содержались начала того, что впоследствии называли макиавеллизмом. Из двух главнейших политических трактатов Макиавелли более замечателен тот, который менее известен. «Князь», несомненно, более блестящее с внешней стороны произведение, более

определенное по предмету и более систематическое по изложению; но только в «Рассуждениях о Тите Ливии» можно найти полное выражение взглядов Макиавелли и вместе с тем ключ к пониманию «Князя», исходные положения которого находятся уже в «Рассуждениях», освещенные притом связью с другими воззрениями автора.

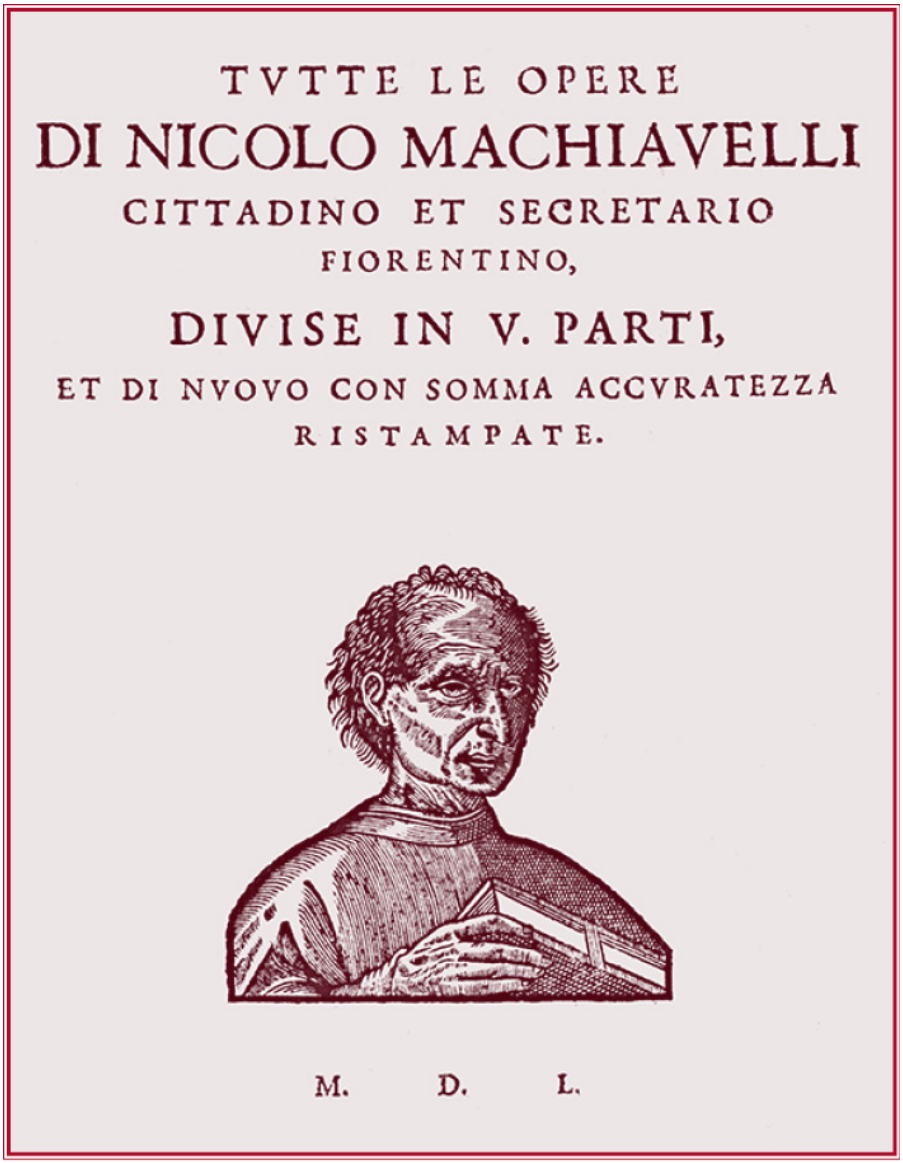
В общем оба трактата не представляют собой чисто теоретических исследований. Макиавелли слишком долго был практиком и слишком много думал о текущей действительности, чтобы не внести в свою литературную работу живых запросов времени. Он изучает римскую историю для того, чтобы почерпнуть из нее назидание для современников. Он рассматривает различные политические вопросы, но более всего останавливается на тех, которые имеют значение для его страны. Его живой связью с современностью объясняется и главная проблема, около которой вращаются все его интересы.

В то время, когда жил Макиавелли, насущной потребностью Италии было образование крепкого государственного порядка. Соперничество итальянских государств между собой, вражда партий в пределах каждого отдельного города, неистовства мелких тиранов, вмешательство Церкви в светские дела и беспрестанные вторжения соседних держав – все это держало Италию в состоянии постоянной борьбы. В то время не было вопроса более жизненного, как тот, который поставил себе Макиавелли, когда он задался целью исследовать причины упадка и сохранения государств.

Средневековые политики сосредоточивали все свое внимание на вопросе об отношении двух властей: духовной и светской. Для Макиавелли это вопрос настолько далекий, что он и не упоминает о нем. Первенство государственной власти для него несомненно; он ненавидит папство и считает его причиной гибели Италии. Все его помыслы устремлены на создание крепкого государства. Макиавелли не лучшего мнения о человеческой природе, чем средневековая Церковь.

Он не верит в человека и в прочность его нравственных стремлений. Он думает, что в людях преобладают дурные влечения, что все действия их направляются пороком. Но он далек от веры Средних веков в воспитательную миссию Церкви. Он жил в веке Александра VI, видел пороки итальянского общества, видел пороки самого папства. Но тем с большей силой он готов был верить, что государство может воздерживать людей от зла и направлять их к лучшим стремлениям. В особенности для Италии крепкая государственная власть являлась, в его глазах, единственным спасением.

Но отрешение Макиавелли от средневековых воззрений идет и далее того: для него государство вообще является пределом человеческих стремлений, а служение государственному благу – высшим счастьем для человека. Он боготворит государство, как древний римлянин или грек, и вне его ничего не знает. Он хвалит тех, кто любит свое отечество более, чем спасение души. Он готов жертвовать для блага государства всем: и благом отдельных лиц, и даже нравственными соображениями.



Титульный лист собрания сочинений Н. Макиавелли. Генуя. *Начало XVII в.*

Рассуждения о Тите Ливии

Это были чувства и мысли человека, долго и самоотверженно служившего своему отечеству, и притом воспитанного на древних образцах. Понятно поэтому, какую важность имел в его глазах вопрос о сохранении государства. Этот коренной для Макиавелли

вопрос развивается в двух его трактатах в совершенно различных направлениях. В «Рассуждениях о Тите Ливии», отправляясь от рассказа римского историка, Макиавелли исследует средства, с помощью которых поддерживаются республики. По замыслу Макиавелли – это трактат о политическом искусстве римлян, с помощью которого они достигли своего величия.

В «Князе» Макиавелли показывает, как охраняется государственный строй в княжествах; здесь имеются в виду меры, посредством которых государственный порядок может быть водворен в Италии. В «Рассуждениях о Тите Ливии» перед нами раскрывается политический идеал Макиавелли. К итальянской действительности он относится с глубокой скорбью патриота, видящего свое отечество на краю гибели. Но тем более преклонялся он перед государственным величием Рима, в котором он видел живое воплощение гражданских доблестей и политической мудрости.

Его идеал – Рим, и притом Рим республиканский, покоривший весь мир. Лучшего образца невозможно и придумать. «А между тем, – говорит Макиавелли, – политики никогда не обращаются за поучением к истории древних; обыкновенно считают трудным и даже невозможным подражать великим примерам прошлого. Как будто бы люди не остались все те же, подобно небу, солнцу и стихиям!» Разъяснить на исторических примерах истинный дух римлян, который создал их славу и величие, и внушить этот дух своим современникам – такова была задача, которую поставил себе Макиавелли в «Рассуждениях о Тите Ливии».

Объяснение политических успехов римлян он прежде всего видит в совершенстве их учреждений. Они сумели установить у себя республиканские формы и допустить народ к участию в управлении; а в этом и заключается залог государственного единства и необходимое условие для распространения владычества на другие страны. Главное, что укрепляет мощь государства, это внимание к общей пользе, вызывающее расположение граждан к правительству; а это всего скорее может быть достигнуто в республиках.

При завоевании надо опираться на народные массы, но для этого надо привлечь их к участию в управлении. В отзывах Макиавелли о преимуществах римского строя слышится голос гражданина Флорентийской республики, расположенного к свободным формам государственной жизни. Макиавелли – несомненный сторонник народного правления; но он не считает его пригодным для всех времен. Как разъясняет он в «Рассуждениях», для установления порядка в новом государстве

или для осуществления важных реформ гораздо более успешно монархическое управление.

Притом же для прочности республиканских учреждений необходима доблесть граждан, а она встречается не везде. Римляне сумели сохранить добрые нравы и этим надолго обеспечили у себя прочный государственный порядок и свободные учреждения. Умеренность, благоразумие и мужество граждан, энергия и преданность общему делу должностных лиц, постоянный надзор за всем государственных учреждений – все это обусловливало здесь правильное течение народной жизни. Макиавелли рассматривает подробно и внешнюю политику римлян, с помощью которой они сумели распространить свое владычество на весь мир.

Тайну их завоевательных успехов он видит в их умении обращаться с покоренными народами. Они умели привлечь к себе побежденных в качестве союзников, оставляли им самоуправление, хотя и утверждали над ними свое главенство. Таким образом, владея, они приобретали и новые силы. Спарта и Афины следовали другому способу: они хотели господствовать над побежденными силой; но в этом и заключалась причина их гибели. Невозможно удержать в повиновении народ, особенно привыкший к свободе, при помощи одного оружия.

Макиавелли ставит в пример и военное искусство римлян, их умение организовать войска и вести войны. Во всех этих отношениях они дали лучшие примеры, выше которых история ничего не знает. Везде умели они избирать лучшие пути и везде имели успех, и притом благодаря своим доблестям, а не случайной удаче. Излагая политические приемы римлян, Макиавелли сопоставляет их с приемами других народов, рассуждает, выводит общие правила. Таким образом, его рассуждения о римской истории превращаются в теорию политического искусства.

Он говорит главным образом о республиках, но выясняет мимоходом и свой взгляд на княжества, их преимущества и недостатки. Над всем изложением господствует идея сильного государства, умеющего сохранить внутренний порядок и распространить свое могущество. Эта идея, которой Макиавелли был фанатическим поклонником, казалась ему воплотившеюся в древнем республиканском Риме; отсюда его преклонение перед римской историей. Но времена римской славы кажутся ему столь же великими, сколько далекими. Оглядываясь вокруг, он видел общество развращенное и лишенное гражданских доблестей; он видел Италию, разъединенную и слабую, страдающую под игом варваров.

Не о поддержании упроченного порядка приходилось здесь думать, а об установлении его вновь. Свое отношение к действительности и к задачам своего времени Макиавелли ясно намечает уже в «Рассуждениях о Тите Ливии». Всякий раз, когда приходится ему сопоставлять Древний Рим и современную Италию, он со скорбью отмечает глубокое различие между прошлым и настоящим. Там – величие, гражданская доблесть, строгие нравы; здесь – бессилие, господство своекорыстных стремлений, порок. Разъясняя причину этого различия, причину упадка Италии, Макиавелли во всем винит католическую Церковь.

Вместо того чтобы сохранить в чистоте заветы христианской религии, она сама подавала пример безнравственности. Ей обязаны итальянцы утратой религиозного духа и нравственных стремлений. Она старалась поддерживать разъединение в стране и таким образом привела ее к гибели. Государство не может пользоваться единством и счастьем, если оно не подчинено одному правительству; а римская Церковь, сама не будучи в силах стать во главе всей Италии, была, однако, достаточной для того, чтобы поддерживать в ней разделение.

Из опасения потерять свою светскую власть всякий раз, когда являлась возможность объединения Италии под чьим-нибудь владычеством, она призывала иноземцев и разрушала планы тех, кто мог приобрести власть над всей страной. Отсюда произошла политическая слабость Италии, делающая из нее легкую добычу не только для могущественных государств, но и для всякого, кто тешится на нее напасть. Таким образом, Макиавелли видит в католической Церкви врага государственного единства Италии и потому сам становится ее решительным врагом.

Но с точки зрения своего идеала – идеала могущественного светского государства он готов иногда нападать на самую христианскую религию. Приучив людей к смирению, к пренебрежению земными благами, она сделала то, что мир стал добычей злых, беспрепятственно господствующих над добрыми, которые из стремления спасти душу более склонны терпеть зло, чем мстить за него. Она расшатала государственный порядок и ослабила в людях привязанности к мирским почестям и к государственному служению.

Языческая религия, напротив, воспитывала в гражданах мужественные добродетели, приучала их любить отечество и выше всего ставить служение государству. Поэтому Макиавелли готов почти отдать ей предпочтение перед христианской. Здесь увлечение древностью и отрицание всего средневекового достигает у Макиавелли высших пределов. Одностороннее

стремление освободить государственное начало от всяких стеснительных влияний приводит его к самым крайним последствиям.

Флоренция в XV в.

Князь[1]

Итак, все бедствия Италии, анархия, господствующая в ней, есть наследие Средних веков. Но как же помочь злу? Как выйти из этого бедственного положения? Как собрать рассыпавшиеся части государственного строения? Пути и средства для этого Макиавелли также намечает в «Рассуждениях о Тите Ливии». Размышляя о способах восстановления государственного порядка среди испорченных народов, он высказывает мысль, что такую задачу может выполнить только князь.

Трудно государству сохранить свободные учреждения, если в гражданах нет добродетели, если лица знатные стремятся властвовать над народом и угнетать его. Только власть монарха может смирить дворян, обуздать народ и установить в государстве единство и мир. Но для этого необходимы решительные меры. Когда дело идет о спасении государства, нечего думать о том, справедлив или несправедлив, кроток или жесток, похвален или позорен известный образ действий; но надо отбросить в сторону всякие колебания, схватиться за те средства, которые могут помочь в данном случае.

Макиавелли считал это необходимым и для республики; он хвалил римлян за то, что они избегали полумер. Но с еще большей резкостью подчеркивает он необходимость не стесняться

в средствах в применении к княжествам. Мысли свои о княжествах Макиавелли изложил в особом трактате, за который он принялся еще прежде, чем окончил свои «Рассуждения о Тите Ливии». В то время в Италии приобрела большое значение фамилия Медичи благодаря избранию одного из ее членов на папский престол.

Родственники пап часто делались владетельными князьями. Предполагалось и теперь для брата папы Юлия создать особое княжество из некоторых городов Средней Италии или дать ему королевство Неаполитанское. Быть может, это послужило для Макиавелли внешним поводом поспешить с изложением своих взглядов на природу княжеской власти. Он думал, что его долгий политический опыт может быть полезен новому князю. Он жаждал стать его руководителем, внушить ему свои планы и мечты.

С этой целью он пишет своего «Князя», дает советы, указывает пути и заканчивает трактат вдохновенным призывом к Медичи спасти Италию от ига варваров. Макиавелли разбирает различные виды княжеств; но всего более он останавливается на тех княжествах, которые приобретаются вновь. В наследственных княжествах легко сохранить власть: стоит только не нарушать установленного порядка. Напротив, новому князю предстоят всяческие затруднения. Указать средства к устранению этих затруднений служит главной задачей «Князя».

При разрешении этой задачи Макиавелли берет иногда примеры из древней истории; но главный материал доставляет ему современная итальянская действительность, которая была эпохой новых княжеств. При отсутствии твердой государственной власти в Италии, при слабости мелких политических тел, истощаемых притом внутренней борьбой партий, политические захваты были явлением времени. С помощью наемных войск или посторонней поддержки нетрудно было основать новое княжество, и такие княжества возникали одно за другим.

Макиавелли сам видел таких князей и мог изучить их политику путем собственных наблюдений. Все эти наблюдения и воспоминания он изложил в своем «Князе» и, таким образом, дал верное изображение тирана, каким создала его эпоха Возрождения. Князь Макиавелли, подобно князю этой эпохи, неразборчив в средствах. Он не удерживается перед жестокостями, не стыдится обмана, господствует при помощи силы и коварства.

Князю, в особенности новому, – так рассуждает Макиавелли, – нельзя удержаться при помощи одних законных средств, недостаточно и одной открытой силы; для того чтобы не

попасть в западню, нужны хитрость и предусмотрительность. Князь должен быть сильным, как лев, и хитрым, как лисица. Он должен держать свое слово только тогда, когда это выгодно, и вообще вести себя сообразно с обстоятельствами. Иногда он должен действовать против всякого человеколюбия, милосердия и даже религии. С виду, однако, он всегда должен казаться добродетельным.

Большинство, которое судит по внешности, этому поверит; а мнение меньшинства не имеет значения. В объяснение необходимости держаться таких правил Макиавелли постоянно повторяет, что нельзя оставаться на пути добродетели среди стольких людей, которые склонны поступать иначе. Если князь будет обращать внимание на то, что должно быть, а не на то, что есть в действительности, он погибнет сам и погубит свое государство. Мы видели не раз, замечает Макиавелли, как князья, прибегавшие к хитрости, одерживали верх над теми, которые хотели руководиться в своих действиях требованиями законности.

Цезарь Борджиа

Все свои наставления Макиавелли излагает с цинической откровенностью, которая поражает читателя. Было бы, однако, несправедливо утверждать, как делали это иногда, что

Макиавелли хотел рекомендовать свои правила людям в их частных отношениях. Он обращается со своими советами исключительно к государям и имеет в виду только область политики, о ней рассуждает так, как будто бы предписания морали были здесь совершенно неприменимы.

Свои советы Макиавелли подкрепляет примерами из действительной жизни, входя иногда в подробный разбор политики отдельных государей. Для нас достаточно будет воспользоваться одним из этих примеров, который может послужить прекрасной иллюстрацией и политических приемов эпохи, и взглядов нашего писателя. Пример этот особенно ценится и самим Макиавелли. Мы разумеем здесь деятельность Цезаря Борджиа, характеристике которой посвящена целая глава трактата.

Еще в своих посольских донесениях, в которых Макиавелли сообщал свои впечатления во время пребывания у герцога, он отзывался с большой похвалой о его политической мудрости. Тогда еще он удивлялся искусству Цезаря выполнять свои политические планы и его необыкновенной решительности, с помощью которой он побеждает все препятствия. С тех пор Макиавелли часто вспоминает в своих письмах герцога, всякий раз ставя его в пример новым князьям.

Он, конечно, не забыл рассказать о его деятельности и в «Князе». Он подробно описал здесь средства, с помощью которых Цезарь Борджиа, не владея сначала ничем, сумел образовать себе целое государство и установить в нем порядок и мир. Стремясь к этому, не пренебрегал ничем, что только должен делать мудрый и ловкий человек для укрепления своей власти. Достигнув своего положения при поддержке папы и при помощи союзных войск, он постарался потом приобрести собственную силу, на которую можно было бы опираться в дальнейших действиях.

Путем подарков и почестей он привлек к себе много приверженцев; врагов же своих он истребил, причем, когда нужно было, прибегал к хитрости. Так, например, наиболее опасных своих соперников он заманил к себе под предлогом переговоров, уверив предварительно в своей дружбе, и всех их убил. Совершая завоевания, он из предосторожности истреблял даже потомство тех, у которых отнимал владения, чтобы обезопасить себя на будущее время. Народ он умел расположить к себе хорошим управлением.

Когда требовались жестокие меры, он не останавливался и перед ними; но старался показать вид, что они исходят не от него, а от его подчиненных, которым приходилось выполнять его планы. Иногда, после того как главное уже было сделано, он

выдавал даже своих слуг народу, чтобы успокоить раздраженных. Так рисует Макиавелли деятельность Цезаря Борджиа. Свой рассказ он заканчивает следующими характерными словами: «… рассматривая все поведение герцога, я не могу его ни в чем упрекнуть; напротив, мне кажется, что его можно поставить в пример всем, которые достигнут власти при помощи счастья и чужого оружия.

Имея высокую душу и великие цели, он не мог действовать иначе». Здесь с яркостью выступает основное воззрение Макиавелли: он смотрит на Цезаря как на мудрого правителя, стремившегося к установлению твердого государственного порядка, и потому во всей его жестокости и безнравственной политике видит лишь проявление решительности, проницательности и ловкости; где преследуются политические цели, там все средства кажутся ему дозволенными.

Кардинал Чезаре Борджиа.
Гравюра XVIII в.

Макиавеллизм

В этом подчинении средств целям, в этом отделении политики от нравственности заключается самая характерная черта политических приемов, рекомендуемых Макиавелли. Но было бы совершенно ошибочно считать Макиавелли изобретателем этой системы. Из одних ссылок его на

современную политическую практику можно видеть, что было в действительности. Не раз уже было замечено, что макиавеллизм существовал ранее Макиавелли. Политика, изображенная в «Князе», являлась прямым последствием тех условий, при которых возникали новые княжества.

Появление тирании появлялось в то время легко; но существование их было подвержено неисчислимым опасностям. Тирану приходилось считаться с недовольными среди своих подданных, быть готовым к нападению соседей и опасаться даже среди членов своей семьи честолюбивых замыслов на свой престол. Он жил в постоянной опасности заговоров, возмущений и войн. Все это вырабатывало характеры подозрительные и жестокие – политиков, которые везде видели врагов и старались предупреждать чужие козни при помощи собственного коварства.

Но и старые республиканские государства Италии вынуждаемы были идти по этому же пути. Вокруг них возникали новые политические тела, а вместе с тем являлись и новые опасности для их существования. Чтобы не погибнуть в борьбе с соседями, они должны были увеличивать свои силы, старались приобретать новые владения и по необходимости втягивались во все опасности внешней политики с ее сомнительными путями и средствами.

Сами папы, оберегая свою светскую власть, не отставали от других в политике вероломства и насилия. Везде усиление государственного могущества становилось главной заботой правителей. Но в этой атмосфере постоянных опасностей и крайне запутанных политических отношений к нему привыкли стремиться при помощи таких мер, в которых отрицалась всякая нравственность. Если попытки удавались, они вели иногда к созданию государства нового типа с крепкой центральной властью, восстановлявшей порядок, поддерживавшей правосудие.

Но всего чаще подобные меры служили своекорыстной политике честолюбцев, жаждавших власти. Укрепив свой престол при помощи обманов и жестокостей, они погибали обыкновенно в сетях, расставленных ими самими, разорив и обессилив своих подданных. Но не для этих тиранов в худшем смысле слова давал свои советы Макиавелли. Не к разрушению, а к созиданию призывал он своего князя. Не мелким льстецом властителей с сомнительными целями хотел он быть, а советником князей – устроителей своего государства. Он с негодованием говорит о тех тиранах, которые более грабят своих подданных, чем управляют ими.

Портрет Никколо Макиавелли

Он всегда ставит на первый план мощь и силу самого государственного союза; его постоянной заботой является укрепление государственного порядка. Живя среди развращенного общества и видя общий политический упадок Италии, он ждал осуществления этих задач только от энергичного реформатора, который поймет нужды страны и сумеет объединить вокруг себя ее силы. Он горячо верит в возможность этого дела и хочет убедить в этом других.

Не возникали ли вокруг него государства при помощи личной энергии предприимчивых людей? Следует только не

останавливаться перед затруднениями, но прямо и решительно идти к цели. И вот Макиавелли, проникнутый этой мыслью, зовет своего князя к реформам, которые передавались жизнью, зовет его прекратить грабежи и убийства в Ломбардии, установить порядок в Неаполе и Тоскани, залечить застарелые раны Италии и спасти ее, почти умирающую, от неистовства варваров. Его речь проникается при этом редким одушевлением, хитрый дипломат, возмущавший наше нравственное чувство, уступает здесь место пламенному патриоту, привлекающему наши симпатии.

Макиавелли обращал свой призыв к Медичи. Когда умер Юлий, он посвятил свою книгу Лоренцо; но на нее не обратили внимания, и его план объединения Италии для изгнания иноземцев остался мечтой. Однако сочинения его, и особенно трактат о княжеской политике, вскоре получили большую известность. Их читали, комментировали на все лады, критиковали, переводили на иностранные языки. Макиавелли вскоре нашел и суровых судей, и горячих поклонников.

Ближайшие противники Макиавелли упрекали его обыкновенно в равнодушии к требованиям нравственности, причем, в пылу полемики, возводили на него самые тяжкие и незаслуженные обвинения, выставляя его как разрушителя всех нравственных основ, преследовавшего мелкие цели угодничества тиранам. С тех пор суждения о великом итальянском писателе значительно смягчились. Клеймо низкого льстеца тиранов и изобретателя системы политического коварства давно уже снято с памяти Макиавелли.

Его пламенный патриотизм, его преданность общему благу, его ясное представление о задачах итальянской политики и его искреннее желание подготовить лучшее будущее своему отечеству – все, чем он так выгодно отличался от своих современников, – давно уже нашли себе справедливую оценку. Но никакие панегирики, никакие превознесения заслуг писателя, никакие указания на продолжающуюся до сих пор практику макиавеллизма не могли заставить забыть, что Макиавелли пытался учить политике, которая являлась печальной необходимостью смутного времени, не сознававшего еще значения нравственных начал и не верившего в силу добра.

Никколо Макиавелли

Государь

Никколо Макиавелли. ГОСУДАРЬ

Перевод с итальянского *Г. Д. Муравьевой*

Никколо Макиавелли – Его светлости Лоренцо де Медичи[2]

Обыкновенно, желая снискать милость правителя, люди посылают ему в дар то, что имеют самого дорогого или чем надеются доставить ему наибольшее удовольствие, а именно: коней, оружие, парчу, драгоценные камни и прочие украшения, достойные величия государей. Я же, вознамерившись засвидетельствовать мою преданность Вашей светлости, не нашел среди того, чем владею, ничего более дорогого и более ценного, нежели познания мои в том, что касается деяний великих людей, приобретенные мною многолетним опытом в делах настоящих и непрестанным изучением дел минувших.

Лоренцо де Медичи (1492—1519), прозванный «Великолепным» — сын Пьеро де Медичи, племянник Льва X, номинальный правитель Флоренции (с 1513 г.), герцог Урбино (с 1516 г.), знаменитый флорентийский государственный деятель, глава Флорентийской республики в эпоху Возрождения, покровитель наук и искусств, поэт.

Положив много времени и усердия на обдумывание того, что я успел узнать, я заключил свои размышления в небольшом труде, который посылаю в дар Вашей светлости. И хотя я полагаю, что сочинение это недостойно предстать перед вами, однако же верю, что по своей снисходительности вы удостоите принять его, зная, что не в моих силах преподнести вам дар больший, нежели средство в кратчайшее время постигнуть то, что сам я узнавал ценой многих опасностей и тревог.

Я не заботился здесь ни о красоте слога, ни о пышности и звучности слов, ни о каких внешних украшениях и затеях, которыми многие любят расцвечивать и уснащать свои сочинения, ибо желал, чтобы мой труд либо остался в безвестности, либо получил признание единственно за

необычность и важность предмета. Я желал бы также, чтобы не сочли дерзостью то, что человек низкого и ничтожного звания берется обсуждать и направлять действия государей.

Как художнику, когда он рисует пейзаж, надо спуститься в долину, чтобы охватить взглядом холмы и горы, и подняться на гору, чтобы охватить взглядом долину, так и здесь: чтобы постигнуть сущность народа, надо быть государем, а чтобы постигнуть природу государей, надо принадлежать к народу.

Пусть же Ваша светлость примет сей скромный дар с тем чувством, какое движет мною; если вы соизволите внимательно прочитать и обдумать мой труд, вы ощутите, сколь безгранично я желаю Вашей светлости достичь того величия, которое сулят вам судьба и ваши достоинства. И если с той вершины, куда вознесена Ваша светлость, взор ваш когда-либо обратится на ту низменность, где я обретаюсь, вы увидите, сколь незаслуженно терплю я великие и постоянные удары судьбы.

Автограф Макиавелли

Глава I. Скольких видов бывают государства и как они приобретаются

Все государства, все державы, обладавшие или обладающие властью над людьми, были и суть либо республики, либо государства, управляемые единовластно. Последние могут быть либо унаследованными – если род государя правил долгое время, либо новыми. Новым может быть либо государство в целом – таков Милан для Франческо Сфорца[3], либо его часть, присоединенная к унаследованному государству вследствие завоевания, – таково Неаполитанское королевство для короля Испании[4]. Новые государства разделяются на те, где подданные привыкли повиноваться государям, и те, где они искони жили свободно; государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью.

Глава II. О наследственном единовластии

Я не стану касаться республик, ибо подробно говорю о них в другом месте[5]. Здесь я перейду прямо к единовластному правлению и, держась намеченного выше порядка, разберу, какими способами государи могут управлять государствами и удерживать над ними власть.

Начну с того, что наследному государю, чьи подданные успели сжиться с правящим домом, гораздо легче удержать власть, нежели новому, ибо для этого ему достаточно не преступать обычая предков и впоследствии без поспешности применяться к новым обстоятельствам. При таком образе действий даже посредственный правитель не утратит власти, если только не будет свергнут особо могущественной и грозной силой, но и в этом случае он отвоюет власть при первой же неудаче завоевателя.

У нас в Италии примером тому может служить герцог Феррарский[6], который удержался у власти после поражения, нанесенного ему венецианцами в 1484 году и Папой Юлием[7] в 1510-м, только потому, что род его исстари правил в Ферраре[8]. Ибо у государя, унаследовавшего власть, меньше причин и меньше необходимости притеснять подданных, почему они и платят ему большей любовью, и если он не обнаруживает чрезмерных пороков, вызывающих ненависть, то закономерно

пользуется благорасположением граждан. Давнее и преемственное правление заставляет забыть о бывших некогда переворотах и вызвавших их причинах, тогда как всякая перемена прокладывает путь другим переменам.

Глава III. О смешанных государствах

Трудно удержать власть новому государю. И даже наследному государю, присоединившему новое владение – так что государство становится как бы смешанным, – трудно удержать над ним власть прежде всего вследствие той же естественной причины, какая вызывает перевороты во всех новых государствах. А именно: люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого.

Что опять-таки естественно и закономерно, так как завоеватель притесняет новых подданных, налагает на них разного рода повинности и обременяет их постоями войска, как

это неизбежно бывает при завоевании. И таким образом наживает врагов в тех, кого притеснил, и теряет дружбу тех, кто способствовал завоеванию, ибо не может вознаградить их в той степени, в какой они ожидали, но не может и применить к ним крутые меры, будучи им обязан – ведь без их помощи он не мог бы войти в страну, как бы ни было сильно его войско.

Именно по этим причинам Людовик XII, король Франции, быстро занял Милан и так же быстро его лишился. И герцогу Лодовико потому же удалось в тот раз отбить Милан собственными силами. Ибо народ, который сам растворил перед королем ворота, скоро понял, что обманулся в своих упованиях и расчетах, и отказался терпеть гнет нового государя.

Правда, если мятежная страна завоевана повторно, то государю легче утвердить в ней свою власть, так как мятеж дает ему повод с меньшей оглядкой карать виновных, уличать подозреваемых, принимать защитные меры в наиболее уязвимых местах. Так в первый раз Франция сдала Милан, едва герцог Лодовико пошумел на его границах, но во второй раз Франция удерживала Милан до тех пор, пока на нее не ополчились все итальянские государства и не рассеяли и не изгнали ее войска из пределов Италии, что произошло по причинам, названным выше.

Тем не менее Франция оба раза потеряла Милан. Причину первой неудачи короля, общую для всех подобных случаев, я назвал; остается выяснить причину второй и разобраться в том, какие средства были у Людовика – и у всякого на его месте, – чтобы упрочить завоевание верней, чем то сделала Франция.

Первый раз Людовик XII послал войска в Италию в феврале 1499 г., избрав предлогом к объявлению войны тот факт, что его род по женской линии восходил к правителю Милана Джан Галеаццо Висконти. В сентябре Милан пал, но вскоре против французов вспыхнуло восстание, и Лодовико Моро смог на короткое время вернуть себе власть.

Второй раз Франция потеряла Милан, потерпев поражение под Равенной в апреле 1512 г., где ее противником были войска Святой Лиги.

Начну с того, что завоеванное и унаследованное владения могут принадлежать либо к одной стране и иметь один язык, либо к разным странам и иметь разные языки. В первом случае

удержать завоеванное нетрудно, в особенности если новые подданные и раньше не знали свободы. Чтобы упрочить над ними власть, достаточно искоренить род прежнего государя, ибо при общности обычаев и сохранении старых порядков ни от чего другого не может произойти беспокойства.

Так, мы знаем, обстояло дело в Бретани, Бургундии, Нормандии и Гаскони[9], которые давно вошли в состав Франции; правда, языки их несколько различаются, но благодаря сходству обычаев они мирно уживаются друг с другом. В подобных случаях завоевателю следует принять лишь две меры предосторожности: во-первых, проследить за тем, чтобы род прежнего государя был искоренен, во-вторых, сохранить прежние законы и подати – тогда завоеванные земли в кратчайшее время сольются в одно целое с исконным государством завоевателя.

Но если завоеванная страна отличается от унаследованной по языку, обычаям и порядкам, то тут удержать власть поистине трудно, тут требуется и большая удача, и большое искусство. И одно из самых верных и прямых средств для этого – переселиться туда на жительство. Такая мера упрочит и обезопасит завоевание – именно так поступил с Грецией турецкий султан, который, как бы ни старался, не удержал бы Грецию в своей власти, если бы не перенес туда свою столицу[10].

Ибо только живя в стране, можно заметить начинающуюся смуту и своевременно ее пресечь, иначе узнаешь о ней тогда, когда она зайдет так далеко, что поздно будет принимать меры. Обосновавшись в завоеванной стране, государь, кроме того, избавит ее от грабежа чиновников, ибо подданные получат возможность прямо взывать к суду государя, – что даст послушным больше поводов любить его, а непослушным – бояться. И если бы кто-нибудь из соседей замышлял нападение, то теперь он проявит большую осторожность, так что государь едва ли лишится завоеванной страны, если переселится туда на жительство.

Другое отличное средство – учредить в одном-двух местах колонии, связующие новые земли с государством завоевателя. Кроме этой есть лишь одна возможность – разместить в стране значительное количество кавалерии и пехоты. Колонии не требуют больших издержек, устройство и содержание их почти ничего не стоят государю, и разоряют они лишь тех жителей, чьи поля и жилища отходят новым поселенцам, то есть горстку людей, которые, обеднев и рассеявшись по стране, никак не смогут повредить государю; все же прочие останутся в стороне и поэтому скоро успокоятся, да и, кроме того, побоятся, оказав непослушание, разделить участь разоренных соседей.

Так что колонии дешево обходятся государю, верно ему служат и разоряют лишь немногих жителей, которые, оказавшись в бедности и рассеянии, не смогут повредить государю. По каковому поводу уместно заметить, что людей следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо за малое зло человек может отомстить, а за большое – не может; из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести.

Если же вместо колоний поставить в стране войско, то содержание его обойдется гораздо дороже и поглотит все доходы от нового государства, вследствие чего приобретение обернется убытком; к тому же от этого пострадает гораздо больше людей, так как постои войска обременяют все население, отчего каждый, испытывая тяготы, становится врагом государю, а такие враги могут ему повредить, ибо хотя они и побеждены, но остаются у себя дома. Итак, с какой стороны ни взгляни, содержание подобного гарнизона вредно, тогда как учреждение колоний полезно.

В чужой по обычаям и языку стране завоевателю следует также сделаться главой и защитником более слабых соседей и постараться ослабить сильных, а кроме того – следить за тем, чтобы в страну как-нибудь не проник чужеземный правитель, не уступающий ему силой. Таких всегда призывают недовольные внутри страны по избытку честолюбия или из страха – так некогда римлян в Грецию призвали этолийцы[11], да и во все другие страны их тоже призывали местные жители.

Порядок же вещей таков, что когда могущественный государь входит в страну, менее сильные государства сразу примыкают к нему – обычно из зависти к тем, кто превосходит их силой, – так что ему нет надобности склонять их в свою пользу, ибо они сами охотно присоединятся к созданному им государству. Надо только не допускать, чтобы они расширялись и крепли, и тогда, своими силами и при их поддержке, нетрудно будет обуздать более крупных правителей и стать полновластным хозяином в данной стране. Если же государь обо всем этом не позаботится, он скоро лишится завоеванного, но до того претерпит бесчисленное множество трудностей и невзгод.

Римляне, завоевывая страну, соблюдали все названные правила: учреждали колонии, покровительствовали слабым, не давая им, однако, войти в силу; обуздывали сильных и принимали меры к тому, чтобы в страну не проникло влияние могущественных чужеземцев. Ограничусь примером Греции. Римляне привлекли на свою сторону ахейцев и этолийцев; унизили Македонское царство; изгнали оттуда Антиоха. Но,

невзирая ни на какие заслуги, не позволили ахейцам и этолийцам расширить свои владения, не поддались на лесть Филиппа и не заключили с ним союза, пока не сломили его могущества и не уступили напору Антиоха, домогавшегося владений в Греции.

Римляне поступали так, как надлежит поступать всем мудрым правителям, то есть думали не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем и старались всеми силами предотвратить возможные беды, что нетрудно сделать, если вовремя принять необходимые меры, но если дожидаться, пока беда грянет, то никакие меры не помогут, ибо недуг станет неизлечимым.

Торжественный въезд Людовика XII в Геную.
Французская миниатюра из книги «Поход в Геную».
XV в.

Здесь происходит то же самое, что с чахоткой: врачи говорят, что в начале эту болезнь трудно распознать, но легко излечить; если же она запущена, то ее легко распознать, но излечить трудно. Так же и в делах государства: если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то избавиться от него нетрудно, но если он запущен

так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не поможет.

Римляне, предвидя беду заранее, тотчас принимали меры, а не бездействовали из опасения вызвать войну, ибо знали, что войны нельзя избежать, можно лишь оттянуть ее – к выгоде противника. Поэтому они решились на войну с Филиппом и Антиохом на территории Греции – чтобы потом не пришлось воевать с ними в Италии. В то время еще была возможность избежать войны как с тем, так и с другим, но они этого не пожелали.

Римлянам не по душе была поговорка, которая не сходит с уст теперешних мудрецов: «Полагайтесь на благодетельное время», – они считали благодетельным лишь собственную доблесть и дальновидность. Промедление же может обернуться чем угодно, ибо время приносит с собой как зло, так и добро, как добро, так и зло.

Но вернемся к Франции и посмотрим, выполнила ли она хоть одно из названных мною условий. Я буду говорить не о Карле, а о Людовике – он дольше удерживался в Италии, поэтому его образ действия для нас нагляднее, – и вы убедитесь, что он поступал прямо противоположно тому, как должен поступать государь, чтобы удержать власть над чужой по обычаям и языку страной.

Король Людовик вошел в Италию благодаря венецианцам[12], которые, желая расширить свои владения, потребовали за помощь половину Ломбардии. Я не виню короля за эту сделку: желая ступить в Италию хоть одной ногой и не имея в ней союзников, в особенности после того, как по милости Карла перед Францией захлопнулись все двери, он вынужден был заключать союзы, не выбирая. И он мог бы рассчитывать на успех, если бы не допустил ошибок впоследствии.

Завоевав Ломбардию, он сразу вернул Франции престиж, утраченный ею при Карле: Генуя покорилась, флорентийцы предложили союз[13]; маркиз Мантуанский, герцог Феррарский, дом Бентивольи, графиня Форли, властители Фаэнцы, Пезаро, Римини, Камерино, Пьомбино; Лукка, Пиза, Сиена – все устремились к Людовику с изъявлениями дружбы. Тут-то венецианцам и пришлось убедиться в опрометчивости своего шага: ради двух городов в Ломбардии они отдали под власть короля две трети Италии[14].

Рассудите теперь, как легко было королю закрепить свое преимущество: для этого надо было лишь следовать названным правилам и обеспечить безопасность союзникам; многочисленные, но слабые, в страхе кто перед Церковью, кто перед венецианцами, они вынуждены были искать его покровительства; он же мог бы через них обезопасить себя от тех,

кто еще оставался в силе. И однако не успел он войти в Милан, как предпринял обратное: помог Папе Александру захватить Романью.

И не заметил, что этим самым подрывает свое могущество, отталкивает союзников и тех, кто вверился его покровительству, и к тому же значительно укрепляет светскую власть папства, которое и без того крепко властью духовной. Совершив первую ошибку, он вынужден был дальше идти тем же путем, так что ему пришлось самому явиться в Италию[15], чтобы обуздать честолюбие Александра и не дать ему завладеть Тосканой.

Но Людовику как будто мало было того, что он усилил Церковь и оттолкнул союзников: домогаясь Неаполитанского королевства[16], он разделил его с королем Испании, то есть призвал в Италию, где сам был властелином, равного по силе соперника, – как видно, затем, чтобы недовольным и честолюбцам было у кого искать прибежища. Изгнав короля, который мог стать его данником[17], он призвал в королевство государя, который мог изгнать его самого.

Поистине, страсть к завоеваниям – дело естественное и обычное; и тех, кто учитывает при этом свои возможности, все одобрят или же никто не осудит; но достойную осуждения ошибку совершает тот, кто не учитывает своих возможностей и стремится к завоеваниям какой угодно ценой. Франции стоило бы попытаться овладеть Неаполем, если бы она могла сделать это своими силами, но она не должна была добиваться его ценою раздела. Если раздел Ломбардии с венецианцами еще можно оправдать тем, что он позволил королю утвердиться в Италии, то этот второй раздел достоин лишь осуждения, ибо не может быть оправдан подобной необходимостью.

Итак, Людовик совершил общим счетом пять ошибок: изгнал мелких правителей, помог усилению сильного государя внутри Италии, призвал в нее чужеземца, равного себе могуществом, не переселился в Италию, не учредил там колоний.

Эти пять ошибок могли бы оказаться не столь уж пагубными при его жизни, если бы он не совершил шестой: не посягнул на венецианские владения[18]. Венеции следовало дать острастку до того, как он помог усилению Церкви и призвал испанцев, но, совершив обе эти ошибки, нельзя было допускать разгрома Венеции. Оставаясь могущественной, она удерживала бы других от захвата Ломбардии как потому, что сама имела на нее виды, так и потому, что никто не захотел бы вступать в войну с Францией за то, чтобы Ломбардия досталась Венеции, а воевать с Францией и Венецией одновременно ни у кого не хватило бы духу.

Если же мне возразят, что Людовик уступил Романью Александру, а Неаполь – испанскому королю, дабы избежать войны, я отвечу прежними доводами, а именно: что нельзя попустительствовать беспорядку ради того, чтобы избежать войны, ибо войны не избежишь, а преимущество в войне утратишь. Если же мне заметят, что король был связан обещанием Папе – в обмен на расторжение королевского брака[19] и кардинальскую шапку архиепископу Руанскому[20] – помочь захватить Романью, то я отвечу на это в той главе[21], где речь пойдет об обещаниях государей и о том, каким образом следует их исполнять.

Итак, король Людовик потерял Ломбардию только потому, что отступил от тех правил, которые соблюдались государями, желавшими удержать завоеванную страну. И в этом нет ничего чудесного, напротив – все весьма обычно и закономерно. Я говорил об этом в Нанте с кардиналом Руанским[22], когда Валентино – так в просторечии звали Чезаре Борджа, сына Папы Александра, – покорял Романью; кардинал заметил мне, что итальянцы мало смыслят в военном деле, я отвечал ему, что французы мало смыслят в политике, иначе они не допустили бы такого усиления Церкви.

Как показал опыт, Церковь и Испания благодаря Франции расширили свои владения в Италии, а Франция благодаря им потеряла там все. Отсюда можно извлечь вывод, многократно подтверждавшийся: горе тому, кто умножает чужое могущество, ибо оно добывается умением или силой, а оба эти достоинства не вызывают доверия у того, кому могущество достается.

Глава IV. Почему царство Дария, завоеванное Александром, не восстало против преемников Александра после его смерти

Рассмотрев, какого труда стоит удержать власть над завоеванным государством, можно лишь подивиться, почему вся держава Александра Великого – после того, как он в несколько лет покорил Азию[23] и вскоре умер, – против ожидания не только не распалась, но мирно перешла к его преемникам, которые в управлении ею не знали других забот, кроме тех, что навлекали на себя собственным честолюбием[24].

В объяснение этого надо сказать, что все единовластно управляемые государства, сколько их было на памяти людей, разделяются на те, где государь правит в окружении слуг, которые милостью и соизволением его поставлены на высшие должности и помогают ему управлять государством, и те, где государь правит в окружении баронов, властвующих не милостью государя, но в силу древности рода.

Бароны эти имеют наследные государства и подданных, каковые признают над собой их власть и питают к ним естественную привязанность. Там, где государь правит посредством слуг, он обладает большей властью, так как по всей стране подданные знают лишь одного властелина; если же повинуются его слугам, то лишь как чиновникам и должностным лицам, не питая к ним никакой особой привязанности.

Примеры разного образа правления являют в наше время

турецкий султан и французский король. Турецкая монархия повинуется одному властелину; все прочие в государстве – его слуги; страна поделена на округи – санджаки[25], куда султан назначает наместников, которых меняет и переставляет, как ему вздумается. Король Франции, напротив, окружен многочисленной родовой знатью, признанной и любимой своими подданными и, сверх того, наделенной привилегиями, на которые король не может безнаказанно посягнуть.

Если мы сравним эти государства, то увидим, что монархию султана трудно завоевать, но по завоевании легко удержать; и напротив, такое государство, как Франция, в известном смысле проще завоевать, но зато удержать куда сложнее. Державой султана нелегко овладеть потому, что завоеватель не может рассчитывать на то, что его призовет какой-либо местный властитель, или на то, что мятеж среди приближенных султана облегчит ему захват власти.

Как сказано выше, приближенные султана – его рабы, и так как они всем обязаны его милостям, то подкупить их труднее, но и от подкупленных от них было бы мало толку, ибо по указанной причине они не могут увлечь за собой народ. Следовательно, тот, кто нападает на султана, должен быть готов к тому, что встретит единодушный отпор, и рассчитывать более на свои силы, чем на чужие раздоры.

Но если победа над султаном одержана и войско его наголову разбито в открытом бою, завоевателю некого более опасаться, кроме разве кровной родни султана. Если же и эта истреблена, то можно никого не бояться, так как никто другой не может увлечь за собой подданных; и как до победы не следовало надеяться на поддержку народа, так после победы не следует его опасаться.

Иначе обстоит дело в государствах, подобных Франции: туда нетрудно проникнуть, вступив в сговор с кем-нибудь из баронов, среди которых всегда найдутся недовольные и охотники до перемен. По указанным причинам они могут открыть завоевателю доступ в страну и облегчить победу.

Но удержать такую страну трудно, ибо опасность угрожает как со стороны тех, кто тебе помог, так и со стороны тех, кого ты покорил силой. И тут уж недостаточно искоренить род государя, ибо всегда останутся бароны, готовые возглавить новую смуту; а так как ни удовлетворить их притязания, ни истребить их самих ты не сможешь, то они при первой же возможности лишат тебя власти.

Если мы теперь обратимся к государству Дария[26], то увидим, что оно сродни державе султана, почему Александр и должен был сокрушить его одним ударом, наголову разбив

войско Дария в открытом бою. Но после такой победы и гибели Дария он, по указанной причине, мог не опасаться за прочность своей власти.

И преемники его могли бы править, не зная забот, если бы жили во взаимном согласии: никогда в их государстве не возникало других смут, кроме тех, что сеяли они сами. Тогда как в государствах, устроенных наподобие Франции, государь не может править столь беззаботно.

В Испании, Франции, Греции, где было много мелких властителей, то и дело вспыхивали восстания против римлян[27]. И пока живо помнилось прежнее устройство, власть Рима оставалась непрочной; но по мере того, как оно забывалось, римляне, благодаря своей мощи и продолжительности господства, все прочнее утверждали свою власть в этих странах. Так что позднее, когда римляне воевали между собой, каждый из соперников вовлекал в борьбу те провинции, где был более прочно укоренен.

И местные жители, чьи исконные властители были истреблены, не признавали над собой других правителей, кроме римлян. Если мы примем все это во внимание, то сообразим, почему Александр с легкостью удержал азиатскую державу, тогда как Пирру[28] и многим другим стоило огромного труда удержать завоеванные ими страны. Причина тут не в большей или меньшей доблести победителя, а в различном устройстве завоеванных государств.

Глава V. Как управлять городами или государствами, которые, до того как были завоеваны, жили по своим законам

Если, как сказано, завоеванное государство с незапамятных времен живет свободно и имеет свои законы, то есть три способа его удержать. Первый – разрушить; второй – переселиться туда на жительство; третий – предоставить гражданам право жить по своим законам, при этом обложив их данью и вверив правление небольшому числу лиц, которые ручались бы за дружественность города государю.

Эти доверенные лица будут всячески поддерживать государя, зная, что им поставлены у власти и сильны только его дружбой и мощью. Кроме того, если не хочешь подвергать разрушению город, привыкший жить свободно, то легче всего удержать его при посредстве его же граждан, чем каким-либо другим способом.

Обратимся к примеру Спарты и Рима. Спартанцы удерживали Афины и Фивы, создав там олигархию[29], однако впоследствии потеряли оба города. Римляне, чтобы удержать Капую, Карфаген и Нуманцию, разрушили их[30] и сохранили их в своей власти. Грецию они попытались удержать почти тем же способом, что спартанцы, то есть установили там олигархию и не отняли свободу и право жить по своим законам, однако же потерпели неудачу и, чтобы не потерять всю Грецию, вынуждены были разрушить в ней многие города[31].

Ибо в действительности нет способа надежно овладеть городом иначе, как подвергнув его разрушению. Кто захватит город, с давних пор пользующийся свободой, и пощадит его, того город не пощадит. Там всегда отыщется повод для мятежа во имя свободы и старых порядков, которых не заставят забыть ни время, ни благодеяния новой власти.

Что ни делай, как ни старайся, но если не разъединить и не рассеять жителей города, они никогда не забудут ни прежней свободы, ни прежних порядков и при первом удобном случае попытаются их возродить, как сделала Пиза[32] через сто лет после того, как подпала под владычество флорентийцев.

Но если город или страна привыкли состоять под властью государя, а род его истреблен, то жители города не так-то легко возьмутся за оружие, ибо, с одной стороны, привыкнув повиноваться, с другой – не имея старого государя, они не сумеют ни договориться об избрании нового, ни жить свободно. Так что у завоевателя будет достаточно времени, чтобы расположить их к себе и тем обеспечить себе безопасность. Тогда как в республиках больше жизни, больше ненависти, больше жажды мести; в них никогда не умирает и не может умереть память о былой свободе.

Поэтому самое верное средство удержать их в своей власти – разрушить их или же в них поселиться.

Глава VI. О новых государствах, приобретаемых собственным оружием или доблестью

Нет ничего удивительного в том, что, говоря о завоевании власти, о государе и государстве, я буду ссылаться на примеры величайших мужей. Люди обычно идут путями, проложенными другими, и действуют, подражая какому-либо образцу, но так как невозможно ни неуклонно следовать этими путями, ни сравняться в доблести с теми, кого мы избираем за образец, то человеку разумному надлежит избирать пути, проложенные величайшими людьми, и подражать наидостойнейшим, чтобы если не сравняться с ними в доблести, то хотя бы исполниться ее духа.

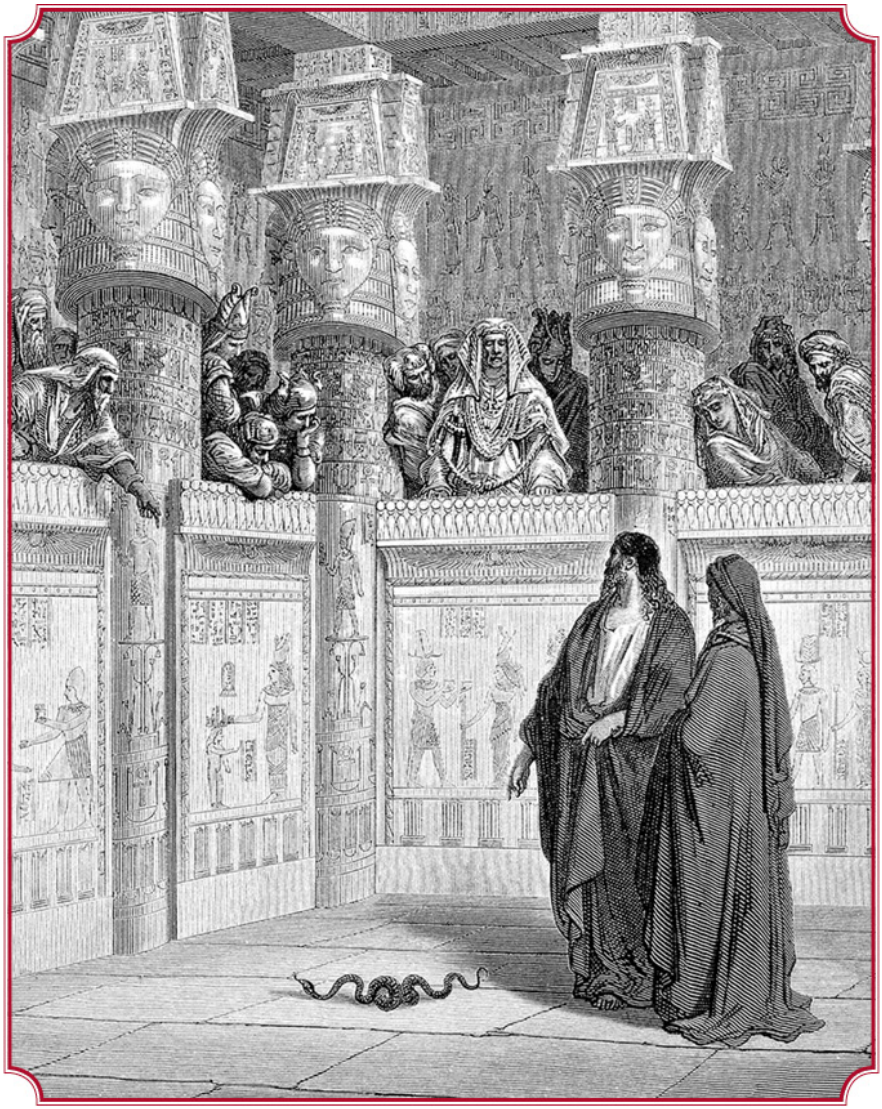
Надо уподобиться опытным стрелкам, которые, если видят, что мишень слишком удалена, берут гораздо выше, но не для того, чтобы стрела ушла вверх, а для того, чтобы, зная силу лука, с помощью высокого прицела попасть в отдаленную цель.

Итак, в новых государствах удержать власть бывает легче или труднее в зависимости от того, сколь велика доблесть нового государя. Может показаться, что если частного человека приводит к власти либо доблесть, либо милость судьбы, то они же в равной мере помогут ему преодолеть многие трудности впоследствии.

Однако в действительности кто меньше полагался на милость судьбы, тот дольше удерживался у власти. Еще облегчается дело и благодаря тому, что новый государь, за неимением других владений, вынужден поселиться в завоеванном.

Но, переходя к тем, кто приобрел власть не милостью судьбы, а личной доблестью, как наидостойнейших я назову Моисея, Кира, Тезея[33] и им подобных. И хотя о Моисее нет надобности рассуждать, ибо он был лишь исполнителем воли Всевышнего, однако следует преклониться перед той благодатью, которая сделала его достойным собеседовать с Богом.

Но обратимся к Киру и прочим завоевателям и основателям царства: их величию нельзя не дивиться, и, как мы видим, дела их и установления не уступают тем, что были внушены Моисею свыше. Обдумывая жизнь и подвиги этих мужей, мы убеждаемся в том, что судьба послала им только случай, то есть снабдила материалом, которому можно было придать любую форму: не явись такой случай, доблесть их угасла бы, не найдя применения; не обладай они доблестью, тщетно явился бы случай.



Гюстав Доре. Моисей и Аарон перед фараоном.
1866 г.

Моисей не убедил бы народ Израиля следовать за собой, дабы выйти из неволи, если бы не застал его в Египте в рабстве и угнетении у египтян. Ромул[34] не стал бы царем Рима и основателем государства, если бы не был по рождении брошен на произвол судьбы и если бы Альба не оказалась для него слишком тесной.

Кир не достиг бы такого величия, если бы к тому времени персы не были озлоблены господством мидян, а мидяне –

расслаблены и изнежены от долгого мира[35]. Тезей не мог бы проявить свою доблесть, если бы не застал афинян живущими обособленно друг от друга. Итак, каждому из этих людей выпал счастливый случай, но только их выдающаяся доблесть позволила им раскрыть смысл случая, благодаря чему отечества их прославились и обрели счастье.

Кто, подобно этим людям, следует путем доблести, тому трудно завоевать власть, но легко ее удержать; трудность же состоит прежде всего в том, что им приходится вводить новые установления и порядки, без чего нельзя основать государство и обеспечить себе безопасность. А надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми.

Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые. Холодность же эта объясняется отчасти страхом перед противником, на чьей стороне – законы; отчасти недоверчивостью людей, которые на самом деле не верят в новое, пока оно не закреплено продолжительным опытом. Когда приверженцы старого видят возможность действовать, они нападают с ожесточением, тогда как сторонники нового обороняются вяло, почему, опираясь на них, подвергаешь себя опасности.

Чтобы основательнее разобраться в этом деле, надо начать с того, самодостаточны ли такие преобразователи или они зависят от поддержки со стороны; иначе говоря, должны ли они для успеха своего начинания упрашивать или могут применить силу. В первом случае они обречены, во втором, то есть если они могут применить силу, им редко грозит неудача. Вот почему все вооруженные пророки побеждали, а все безоружные гибли. Ибо, в добавление к сказанному, надо иметь в виду, что нрав людей непостоянен и если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно.

Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет, заставить его поверить силой. Моисей, Кир, Ромул и Тезей, будь они безоружны, не могли бы добиться длительного соблюдения данных ими законов. Как оно и случилось в наши дни с фра Джироламо Савонаролой[36]: введенные им порядки рухнули, как только толпа перестала в них верить, у него же не было средств утвердить в вере тех, кто еще верил ему, и принудить к ней тех, кто уже не верил.

На пути людей, подобных тем, что я здесь перечислил, встает множество трудностей и множество опасностей, для преодоления которых требуется великая доблесть. Но если цель достигнута,

если государь заслужил признание подданных и устранил завистников, то он на долгое время обретает могущество, покой, почести и счастье.

К столь высоким примерам я хотел бы присовокупить пример более скромный, однако же сопоставимый, и думаю, что его здесь достаточно. Я говорю о Героне Сиракузском[37]: из частного лица он стал царем Сиракуз, хотя судьба не подарила его ничем, кроме благоприятного случая: угнетаемые жители Сиракуз избрали его своим военачальником, он же, благодаря своим заслугам, сделался их государем.

Еще до возвышения он отличался такой доблестью, что, по словам древнего автора, «nihil illi deerat ad regnandum praeter regnum»[38]. Он упразднил старое ополчение и набрал новое, расторг старые союзы и заключил новые. А на таком фундаменте, как собственное войско и собственные союзники, он мог воздвигнуть любое здание. Так что ему великих трудов стоило завоевать власть и малых – ее удержать.

Глава VII. О новых государствах, приобретаемых чужим оружием или милостью судьбы

Тем, кто становится государем милостью судьбы, а не благодаря доблести, легко приобрести власть, но удержать ее трудно. Как бы перелетев весь путь к цели, они сталкиваются с множеством трудностей впоследствии. Я говорю о тех гражданах,

которым власть досталась за деньги или была пожалована в знак милости. Такое нередко случалось в Греции в городах Ионии и Геллеспонта, куда Дарий назначал правителей ради своей славы и безопасности[39]; так нередко бывало и в Риме, где частные лица добивались провозглашения себя императорами[40], подкупая солдат.

В этих случаях государи всецело зависят от воли и фортуны тех, кому обязаны властью, то есть от двух сил, крайне непостоянных и прихотливых; удержаться же у власти они не могут и не умеют. Не умеют оттого, что человеку без особых дарований и доблести, прожившему всю жизнь в скромном звании, негде научиться повелевать; не могут оттого, что не имеют союзников и надежной опоры.

Эти невесть откуда взявшиеся властители, как все в природе, что нарождается и растет слишком скоро, не успевают пустить ни корней, ни ответвлений, почему и гибнут от первой же непогоды. Только тот, кто обладает истинной доблестью, при внезапном возвышении сумеет не упустить того, что фортуна сама вложила ему в руки, то есть сумеет, став государем, заложить те основания, которые другие закладывали до того, как достигнуть власти.

Обе эти возможности возвыситься – благодаря доблести или милости судьбы – я покажу на двух примерах, равно нам памятных: я имею в виду Франческо Сфорца и Чезаре Борджа. Франческо стал миланским герцогом должным образом, выказав великую доблесть, и без труда удержал власть, доставшуюся ему ценой многих усилий.

Чезаре Борджа, простонародьем называемый герцог Валентино, приобрел власть благодаря фортуне, высоко вознесшей его отца; но, лишившись отца, он лишился и власти несмотря на то, что, как человек умный и доблестный, приложил все усилия и все старания, какие были возможны, к тому, чтобы пустить прочные корни в государствах, добытых для него чужим оружием и чужой фортуной. Ибо, как я уже говорил, если основания не заложены заранее, то при великой доблести это можно сделать и впоследствии, хотя бы ценой многих усилий зодчего и с опасностью для всего здания.

Рассмотрев образ действий герцога, нетрудно убедиться в том, что он подвел прочное основание под будущее могущество, и я считаю не лишним это обсудить, ибо не мыслю лучшего наставления новому государю. И если все же распорядительность герцога не спасла его от крушения, то в этом повинен не он, а поистине необычайное коварство фортуны.

Александр VI желал возвысить герцога, своего сына, но

предвидел тому немало препятствий и в настоящем, и в будущем. Прежде всего, он знал, что располагает лишь теми владениями, которые подвластны Церкви, но всякой попытке отдать одно из них герцогу воспротивились бы как герцог Миланский, так и венецианцы[41], которые уже взяли под свое покровительство Фаэнцу и Римини. Кроме того, войска в Италии, особенно те, к чьим услугам можно было прибегнуть, сосредоточились в руках людей, опасавшихся усиления Папы, то есть Орсини, Колонна и их приспешников.

Таким образом, прежде всего надлежало расстроить сложившийся порядок и посеять смуту среди государств, дабы беспрепятственно овладеть некоторыми из них. Сделать это оказалось легко благодаря тому, что венецианцы, в собственных интересах, призвали в Италию французов, чему Папа не только не помешал, но даже содействовал, расторгнув прежний брак короля Людовика.

Итак, король вступил в Италию с помощью венецианцев и с согласия Александра и, едва достигнув Милана, тотчас выслал Папе отряд, с помощью которого тот захватил Романью[42], что сошло ему с рук только потому, что за ним стоял король. Таким образом Романья оказалась под властью герцога, а партии Колонна было нанесено поражение, но пока что герцог не мог следовать дальше, ибо оставалось два препятствия: во-первых, войско, казавшееся ему ненадежным, во-вторых, намерения Франции.

Иначе говоря, он опасался, что войско Орсини, которое он взял на службу, выбьет у него почву из-под ног, то есть либо покинет его, либо, того хуже, отнимет завоеванное; и что точно так же поступит король. В солдатах Орсини он усомнился после того, как, взяв Фаэнцу[43], двинул их на Болонью[44] и заметил, что они вяло наступают; что же касается короля, то он понял его намерения, когда после взятия Урбино[45] двинулся к Тоскане, и тот вынудил его отступить. Поэтому герцог решил более не рассчитывать ни на чужое оружие, ни на чье-либо покровительство.

Первым делом он ослабил партии Орсини и Колонна в Риме: всех нобилей, державших их сторону, переманил к себе на службу, определив им высокие жалованья, и, сообразно достоинствам, раздал места в войске и управлении, так что в несколько месяцев они отстали от своих партий и обратились в приверженцев герцога. После этого он стал выжидать возможности разделаться с главарями партии Орсини, еще раньше покончив с Колонна.

Случай представился хороший, а воспользовался он им и того

лучше. Орсини, спохватившиеся, что усиление Церкви грозит им гибелью, собрались на совет в Маджоне[46], близ Перуджи. Этот совет имел множество грозных последствий для герцога – прежде всего, бунт в Урбино и возмущение в Романье, с которыми он, однако, справился благодаря помощи французов.

Восстановив прежнее влияние, герцог решил не доверять более ни Франции, ни другой внешней силе, чтобы впредь не подвергать себя опасности, и прибег к обману. Он так отвел глаза Орсини, что те сначала примирились с ним через посредство синьора Паоло – которого герцог принял со всевозможными изъявлениями учтивости и одарил одеждой, лошадьми и деньгами, а потом в Синигалии сами простодушно отдались ему в руки.

Так, разделавшись с главарями партий и переманив к себе их приверженцев, герцог заложил весьма прочное основание своего могущества: под его властью находилась вся Романья с герцогством Урбино и, что особенно важно, он был уверен в приязни к нему народа, испытавшего благодетельность его правления.

Эта часть действий герцога достойна внимания и подражания, почему я желал бы остановиться на ней особо. До завоевания Романья находилась под властью ничтожных правителей, которые не столько пеклись о своих подданных, сколько обирали их и направляли не к согласию, а к раздорам, так что весь край изнемогал от грабежей, усобиц и беззаконий. Завоевав Романью, герцог решил отдать ее в надежные руки, дабы умиротворить и подчинить верховной власти, и с тем вручил всю полноту власти мессеру Рамиро де Орко[47], человеку нрава резкого и крутого.

Тот в короткое время умиротворил Романью, пресек распри и навел трепет на всю округу. Тогда герцог рассудил, что чрезмерное сосредоточение власти больше не нужно, ибо может озлобить подданных, и учредил, под председательством почтенного лица, гражданский суд, в котором каждый город был представлен защитником.

Но, зная, что минувшие строгости все-таки настроили против него народ, он решил обелить себя и расположить к себе подданных, показав им, что если и были жестокости, то в них повинен не он, а его суровый наместник. И вот однажды утром на площади в Чезене по его приказу положили разрубленное пополам тело мессера Рамиро де Орко рядом с колодой и окровавленным мечом. Свирепость этого зрелища одновременно удовлетворила и ошеломила народ.

Кристофано дель Альтиссимо. Портрет папы Александра VI. *1552—1589 гг.*

Но вернемся к тому, от чего мы отклонились. Итак, герцог обрел собственных солдат и разгромил добрую часть тех войск, которые в силу соседства представляли для него угрозу, чем утвердил свое могущество и отчасти обеспечил себе безопасность; теперь на его пути стоял только король Франции: с опозданием заметив свою оплошность, король не потерпел бы дальнейших завоеваний.

Поэтому герцог стал высматривать новых союзников[48] и уклончиво вести себя по отношению к Франции – как раз тогда,

когда французы предприняли поход на Неаполь против испанцев, осаждавших Гаету. Он задумывал развязаться с Францией, и ему бы это весьма скоро удалось, если бы дольше прожил Папа Александр.

Таковы были действия герцога, касавшиеся настоящего. Что же до будущего, то главную угрозу для него представлял возможный преемник Александра, который мог бы не только проявить недружественность, но и отнять все то, что герцогу дал Александр.

Во избежание этого он задумал четыре меры предосторожности: во-первых, истребить разоренных им правителей вместе с семействами, чтобы не дать новому Папе повода выступить в их защиту; во-вторых, расположить к себе римских нобилей, чтобы с их помощью держать в узде будущего преемника Александра; в-третьих, иметь в Коллегии кардиналов как можно больше своих людей; в-четвертых, успеть до смерти Папы Александра расширить свои владения настолько, чтобы самостоятельно выдержать первый натиск извне.

Когда Александр умер, у герцога было исполнено три части замысла, а четвертая была близка к исполнению. Из разоренных им правителей он умертвил всех, до кого мог добраться, и лишь немногим удалось спастись; римских нобилей он склонил в свою пользу; в Коллегии заручился поддержкой большей части кардиналов. Что же до расширения владений, то, задумав стать властителем Тосканы, он успел захватить Перуджу и Пьомбино и взять под свое покровительство Пизу[49].

К этому времени он мог уже не опасаться Франции – после того как испанцы окончательно вытеснили французов из Неаполитанского королевства, тем и другим приходилось покупать дружбу герцога, так что еще шаг – и он завладел бы Пизой. После чего тут же сдались бы Сиена и Лукка, отчасти из страха, отчасти назло флорентийцам; и сами флорентийцы оказались бы в безвыходном положении.

И все это могло бы произойти еще до конца того года, в который умер Папа Александр, и если бы произошло, то герцог обрел бы такое могущество и влияние, что не нуждался бы ни в чьем покровительстве и не зависел бы ни от чужого оружия, ни от чужой фортуны, но всецело от собственной доблести и силы. Однако герцог впервые обнажил меч всего за пять лет до смерти отца. И успел упрочить власть лишь над одним государством – Романьей, оставшись на полпути к обладанию другими, зажатый между двумя грозными неприятельскими армиями и смертельно больной.

Но столько было в герцоге яростной отваги и доблести, так

хорошо умел он привлекать и устранять людей, так прочны были основания его власти, заложенные им в столь краткое время, что он превозмог бы любые трудности – если бы его не теснили с двух сторон враждебные армии или не донимала болезнь. Что власть его покоилась на прочном фундаменте, в этом мы убедились: Романья дожидалась его больше месяца[50]; в Риме, находясь при смерти, он, однако, пребывал в безопасности: Бальони, Орсини и Вителли, явившиеся туда, так никого и не увлекли за собой; ему удалось добиться того, чтобы Папой избрали если не именно того, кого он желал, то по крайней мере не того, кого он не желал.

Не окажись герцог при смерти тогда же, когда умер Папа Александр, он с легкостью одолел бы любое препятствие. В дни избрания Юлия II он говорил мне[51], что все предусмотрел на случай смерти отца, для всякого положения нашел выход, одного лишь не угадал – что в это время и сам окажется близок к смерти.

Обозревая действия герцога, я не нахожу, в чем можно было бы его упрекнуть; более того, мне представляется, что он может послужить образцом всем тем, кому доставляет власть милость судьбы или чужое оружие. Ибо, имея великий замысел и высокую цель, он не мог действовать иначе: лишь преждевременная смерть Александра и собственная его болезнь помешали ему осуществить намерение.

Таким образом, тем, кому необходимо в новом государстве обезопасить себя от врагов, приобрести друзей, побеждать силой или хитростью, внушать страх и любовь народу, а солдатам – послушание и уважение, иметь преданное и надежное войско, устранять людей, которые могут или должны навредить; обновлять старые порядки, избавляться от ненадежного войска и создавать свое, являть суровость и милость, великодушие и щедрость и, наконец, вести дружбу с правителями и королями, так чтобы они либо с учтивостью оказывали услуги, либо воздерживались от нападений, – всем им не найти для себя примера более наглядного, нежели деяния герцога.

В одном лишь можно его обвинить – в избрании Юлия главой Церкви. Тут он ошибся в расчете, ибо если он не мог провести угодного ему человека, он мог, как уже говорилось, отвести неугодного, а раз так, то ни в коем случае не следовало допускать к папской власти тех кардиналов, которые были им обижены в прошлом или, в случае избрания, могли бы бояться его в будущем.

Ибо люди мстят либо из страха, либо из ненависти. Среди обиженных им были Сан-Пьетро-ин-Винкула, Колонна, Сан-Джорджо, Асканио[52]; все остальные, взойдя на престол, имели

бы причины его бояться. Исключение составляли испанцы и кардинал Руанский, те – в силу родственных уз и обязательств, этот – благодаря могуществу стоявшего за ним Французского королевства.

Поэтому в первую очередь надо было позаботиться об избрании кого-нибудь из испанцев, а в случае невозможности – кардинала Руанского, но уж никак не Сан-Пьетро-ин-Винкула. Заблуждается тот, кто думает, что новые благодеяния могут заставить великих мира сего позабыть о старых обидах. Так что герцог совершил оплошность, которая в конце концов и привела его к гибели.

Глава VIII. О тех, кто приобретает власть злодеяниями

Но есть еще два способа сделаться государем – не сводимые ни к милости судьбы, ни к доблести; и опускать их, как я полагаю, не стоит, хотя об одном из них уместнее рассуждать там, где речь идет о республиках. Я разумею случаи, когда частный человек достигает верховной власти путем преступлений либо в силу благоволения к нему сограждан. Говоря о первом способе, я сошлюсь на два случая – один из древности, другой из современной жизни – и тем ограничусь, ибо полагаю, что и этих двух достаточно для тех, кто ищет примера.

Сицилиец Агафокл[53] стал царем Сиракуз, хотя вышел не

только из простого, но из низкого и презренного звания. Он родился в семье горшечника и вел жизнь бесчестную, но смолоду отличался такой силой духа и телесной доблестью, что, вступив в войско, постепенно выслужился до претора Сиракуз. Утвердясь в этой должности, он задумал сделаться властителем Сиракуз и таким образом присвоить себе то, что было ему вверено по доброй воле.

Посвятив в этот замысел Гамилькара Карфагенского[54], находившегося в то время в Сицилии, он созвал однажды утром народ и сенат Сиракуз, якобы для решения дел, касающихся республики; и когда все собрались, то солдаты его по условленному знаку перебили всех сенаторов и богатейших людей из народа. После такой расправы Агафокл стал властвовать, не встречая ни малейшего сопротивления со стороны граждан.

И хотя он был дважды разбит карфагенянами и даже осажден их войском, он не только не сдал город, но, оставив часть людей защищать его, с другой – вторгся в Африку; в короткое время освободил Сиракузы от осады и довел карфагенян до крайности, так что они вынуждены были заключить с ним договор, по которому ограничивались владениями в Африке и уступали Агафоклу Сицилию.

Вдумавшись, мы не найдем в жизни и делах Агафокла ничего или почти ничего, что бы досталось ему милостью судьбы, ибо, как уже говорилось, он достиг власти не чьим-либо покровительством, но службой в войске, сопряженной с множеством опасностей и невзгод, и удержал власть смелыми действиями, проявив решительность и отвагу. Однако же нельзя назвать и доблестью убийство сограждан, предательство, вероломство, жестокость и нечестивость: всем этим можно стяжать власть, но не славу.

Так что, если судить о нем по той доблести, с какой он шел навстречу опасности, по той силе духа, с какой он переносил невзгоды, то едва ли он уступит любому прославленному военачальнику, но, памятуя его жестокость и бесчеловечность и все совершенные им преступления, мы не можем приравнять его к величайшим людям. Следовательно, нельзя приписать ни милости судьбы, ни доблести то, что было добыто без того и другого.

Уже в наше время, при Папе Александре, произошел другой случай. Оливеротто из Фермо[55], в младенчестве осиротевший, вырос в доме дяди с материнской стороны по имени Джованни Фольяни; еще в юных летах он вступил в военную службу под начало Паоло Вителли[56], с тем чтобы, освоившись с военной

наукой, занять почетное место в войске. По смерти Паоло он перешел под начало брата его Вителлоццо[57] и весьма скоро, как человек сообразительный, сильный и храбрый, стал первым лицом в войске.

Однако, полагая унизительным подчиняться другим, он задумал овладеть Фермо – с благословения Вителли и при пособничестве нескольких сограждан, которым рабство отечества было милее его свободы. В письме к Джованни Фольяни он объявил, что желал бы после многолетнего отсутствия навестить дядю и родные места, а заодно определить размеры наследства; что в трудах своих он не помышляет ни о чем, кроме славы, и, желая доказать согражданам, что не впустую растратил время, испрашивает позволения въехать с почетом – со свитой из ста всадников, его друзей и слуг, – пусть, мол, жители Фермо тоже не откажут ему в почетном приеме, что было бы лестно не только ему, но и дяде его, заменившему ему отца.

Джованни Фольяни исполнил все, как просил племянник, и позаботился о том, чтобы горожане встретили его с почестями. Тот, поселившись в собственном доме, выждал несколько дней, пока закончатся приготовления к задуманному злодейству, и устроил торжественный пир, на который пригласил Джованни Фольяни и всех именитых людей Фермо. После того как покончили с угощениями и с принятыми в таких случаях увеселениями, Оливеротто с умыслом повел опасные речи о предприятиях и величии Папы Александра и сына его Чезаре.

Но когда Джованни и другие стали ему отвечать, он вдруг поднялся и, заявив, что подобные разговоры лучше продолжить в укромном месте, удалился внутрь покоев, куда за ним последовали дядя и другие именитые гости. Не успели они, однако, сесть, как из засады выскочили солдаты и перебили всех, кто там находился. После этой резни Оливеротто верхом промчался через город и осадил во дворце высший магистрат; тот из страха повиновался и учредил новое правление, а Оливеротто провозгласил властителем города[58].

Истребив тех, кто по недовольству мог ему повредить, Оливеротто укрепил свою власть новым военным и гражданским устройством и с той поры не только пребывал в безопасности внутри Фермо, но и стал грозой всех соседей. Выбить его из города было бы так же трудно, как Агафокла, если бы его не перехитрил Чезаре Борджа, который в Синигалии, как уже рассказывалось, заманил в ловушку главарей Орсини и Вителли; Оливеротто приехал туда вместе с Вителлоццо, своим наставником в доблести и в злодействах, и там вместе с ним был удушен, что произошло через год после описанного отцеубийства.

Кого-то могло бы озадачить, почему Агафоклу и ему подобным удавалось, проложив себе путь жестокостью и предательством, долго и благополучно жить в своем отечестве, защищать себя от внешних врагов и не стать жертвой заговора со стороны сограждан, тогда как многим другим не удавалось сохранить власть жестокостью даже в мирное, а не то что в смутное военное время. Думаю, дело в том, что жестокость жестокости рознь.

Жестокость применена хорошо в тех случаях – если позволительно дурное называть хорошим, – когда ее проявляют сразу и по соображениям безопасности, не упорствуют в ней и по возможности обращают на благо подданных; и плохо применена в тех случаях, когда поначалу расправы совершаются редко, но со временем учащаются, а не становятся реже. Действуя первым способом, можно, подобно Агафоклу, с Божией и людской помощью удержать власть; действуя вторым – невозможно.

Отсюда следует, что тот, кто овладевает государством, должен предусмотреть все обиды, чтобы покончить с ними разом, а не возобновлять изо дня в день; тогда люди понемногу успокоятся, и государь сможет, делая им добро, постепенно завоевать их расположение. Кто поступит иначе, из робости или по дурному умыслу, тот никогда уже не вложит меч в ножны и никогда не сможет опереться на своих подданных, не знающих покоя от новых и непрестанных обид.

Так что обиды нужно наносить разом: чем меньше их распробуют, тем меньше от них вреда; благодеяния же полезно оказывать мало-помалу, чтобы их распробовали как можно лучше. Самое же главное для государя – вести себя с подданными так, чтобы никакое событие – ни дурное, ни хорошее – не заставляло его изменить своего обращения с ними, так как, случись тяжелое время, зло делать поздно, а добро бесполезно, ибо его сочтут вынужденным и не воздадут за него благодарностью.

Глава IX. О гражданском единовластии

Перейду теперь к тем случаям, когда человек делается государем своего отечества не путем злодеяний и беззаконий, но в силу благоволения сограждан – для чего требуется не собственно доблесть или удача, но скорее удачливая хитрость. Надобно сказать, что такого рода единовластие – его можно назвать гражданским – учреждается по требованию либо знати, либо народа. Ибо нет города, где не обособились бы два этих начала: знать желает подчинять и угнетать народ, народ не желает находиться в подчинении и угнетении; столкновение же этих начал разрешается трояко: либо единовластием, либо безначалием, либо свободой.

Единовластие учреждается либо знатью, либо народом, в зависимости от того, кому первому представится удобный случай. Знать, видя, что она не может противостоять народу, возвышает кого-нибудь из своих и провозглашает его государем, чтобы за его спиной утолить свои вожделения. Так же и народ, видя, что не может сопротивляться знати, возвышает кого-либо одного, чтобы в его власти обрести для себя защиту. Тому, кто приходит к власти с помощью знати, труднее удержать власть, чем тому, кого привел к власти народ, так как если государь окружен знатью, которая почитает себя ему равной, он не может ни приказывать, ни иметь независимый образ действий.

Тогда как тот, кого привел к власти народ, правит один, и вокруг него нет никого или почти никого, кто не желал бы ему повиноваться. Кроме того, нельзя честно, не ущемляя других, удовлетворить притязания знати, но можно – требования народа, так как у народа более честная цель, чем у знати: знать желает угнетать народ, а народ не желает быть угнетенным. Сверх того, с враждебным народом ничего нельзя поделать, ибо он многочислен, а со знатью – можно, ибо она малочисленна.

Народ, на худой конец, отвернется от государя, тогда как от враждебной знати можно ждать не только того, что она отвернется от государя, но даже пойдет против него, ибо она дальновидней, хитрее, загодя ищет путей к спасению и заискивает перед тем, кто сильнее. И еще добавлю, что государь не волен выбирать народ, но волен выбирать знать, ибо его право карать и миловать, приближать или подвергать опале.

Эту последнюю часть разъясню подробней. С людьми знатными надлежит поступать так, как поступают они. С их же стороны возможны два образа действий: либо они показывают, что готовы разделить судьбу государя, либо нет. Первых, если они не корыстны, надо почитать и ласкать, что до вторых, то здесь следует различать два рода побуждений.

Если эти люди ведут себя таким образом по малодушию и природному отсутствию решимости, ими следует воспользоваться, в особенности теми, кто сведущ в каком-либо деле. Если же они ведут себя так умышленно, из честолюбия, то это означает, что они думают о себе больше, нежели о государе. И тогда их надо остерегаться и бояться не меньше, чем явных противников, ибо в трудное время они всегда помогут погубить государя.

Так что если государь пришел к власти с помощью народа, он должен стараться удержать его дружбу, что совсем не трудно, ибо народ требует только, чтобы его не угнетали. Но если государя привела к власти знать наперекор народу, то первый его долг – заручиться дружбой народа, что опять-таки нетрудно сделать, если взять народ под свою защиту.

Люди же таковы, что, видя добро со стороны тех, от кого ждали зла, особенно привязываются к благодетелям, поэтому народ еще больше расположится к государю, чем если бы сам привел его к власти. Заручиться же поддержкой народа можно разными способами, которых я обсуждать не стану, так как они меняются от случая к случаю и не могут быть подведены под какое-либо определенное правило.

Скажу лишь в заключение, что государю надлежит быть в дружбе с народом, иначе в трудное время он будет свергнут.

Набид[59], правитель Спарты, выдержал осаду со стороны всей Греции и победоносного римского войска и отстоял власть и отечество; между тем с приближением опасности ему пришлось устранить всего нескольких лиц, тогда как если бы он враждовал со всем народом, он не мог бы ограничиться столь малым.

И пусть мне не возражают на это расхожей поговоркой, что, мол, на народ надеяться – что на песке строить. Поговорка верна, когда речь идет о простом гражданине, который, опираясь на народ, тешит себя надеждой, что народ его вызволит, если он попадет в руки врагов или магистрата. Тут и в самом деле можно обмануться, как обманулись Гракхи в Риме[60] или мессер Джорджо Скали[61] во Флоренции.

Но если в народе ищет опоры государь, который не просит, а приказывает, к тому же бесстрашен, не падает духом в несчастье, не упускает нужных приготовлений для обороны и умеет распоряжениями своими и мужеством вселить бодрость в тех, кто его окружает, он никогда не обманется в народе и убедится в прочности подобной опоры.

Обычно в таких случаях власть государя оказывается под угрозой при переходе от гражданского строя к абсолютному – так как государи правят либо посредством магистрата, либо единолично. В первом случае положение государя слабее и уязвимее, ибо он всецело зависит от воли граждан, из которых состоит магистрат, они же могут лишить его власти в любое, а тем более в трудное, время, то есть могут либо выступить против него, либо уклониться от выполнения его распоряжений.

И тут, перед лицом опасности, поздно присваивать себе абсолютную власть, так как граждане и подданные, привыкнув исполнять распоряжения магистрата, не станут в трудных обстоятельствах подчиняться приказаниям государя. Оттого-то в тяжелое время у государя всегда будет недостаток в надежных людях, ибо нельзя верить тому, что видишь в спокойное время, когда граждане нуждаются в государстве: тут каждый спешит с посулами, каждый, благо смерть далеко, изъявляет готовность пожертвовать жизнью за государя, но когда государство в трудное время испытывает нужду в своих гражданах, их объявляется немного.

И подобная проверка тем опасней, что она бывает всего однажды. Поэтому мудрому государю надлежит принять меры к тому, чтобы граждане всегда и при любых обстоятельствах имели потребность в государе и в государстве, – только тогда он сможет положиться на их верность.

Глава X. Как следует измерять силы всех государств

Изучая свойства государств, следует принять в соображение и такую сторону дела: может ли государь в случае надобности отстоять себя собственными силами или он нуждается в защите со стороны. Поясню, что способными отстоять себя я называю тех государей, которые, имея в достатке людей или денег, могут собрать требуемых размеров войско и выдержать сражение с любым неприятелем; нуждающимися в помощи я называю тех, кто не может выйти против неприятеля в поле и вынужден обороняться под прикрытием городских стен. Что делать в первом случае – о том речь впереди, хотя кое-что уже сказано выше.

Что же до второго случая, то тут ничего не скажешь, кроме того, что государю надлежит укреплять и снаряжать всем необходимым город, не принимая в расчет прилегающую округу. Если государь хорошо укрепит город и будет обращаться с подданными так, как описано выше и будет добавлено ниже, то соседи остерегутся на него нападать. Ибо люди – враги всяких затруднительных предприятий, а кому же покажется легким

нападение на государя, чей город хорошо укреплен, а народ не озлоблен.

Города Германии, одни из самых свободных, имеют небольшие округи, повинуются императору, когда сами того желают, и не боятся ни его, ни кого-либо другого из сильных соседей, так как достаточно укреплены для того, чтобы захват их всякому показался трудным и изнурительным делом[62].

Они обведены добротными стенами и рвами, имеют артиллерии сколько нужно и на общественных складах держат годовой запас продовольствия, питья и топлива; кроме того, чтобы прокормить простой народ, не истощая казны, они заготовляют на год работы в тех отраслях, которыми живет город, и в тех ремеслах, которыми кормится простонародье. Военное искусство у них в чести, и они поощряют его разными мерами.

Таким образом, государь, чей город хорошо укреплен, а народ не озлоблен, не может подвергнуться нападению. Но если это и случится, неприятель принужден будет с позором ретироваться, ибо все в мире меняется с такой быстротой, что едва ли кто-нибудь сможет год продержать войско в праздности, осаждая город. Мне возразят, что если народ увидит, как за городом горят его поля и жилища, он не выдержит долгой осады, ибо собственные заботы возьмут верх над верностью государю.

На это я отвечу, что государь сильный и смелый одолеет все трудности, то внушая подданным надежду на скорое окончание бедствий, то напоминая им о том, что враг беспощаден, то осаживая излишне строптивых. Кроме того, неприятель обычно сжигает и опустошает поля при подходе к городу, когда люди еще разгорячены и полны решимости не сдаваться; когда же через несколько дней пыл поостынет, то урон уже будет нанесен и зло содеяно.

А тогда людям ничего не останется, как держаться своего государя, и сами они будут ожидать от него благодарности за то, что, защищая его, позволили сжечь свои дома и разграбить имущество. Люди же по натуре своей таковы, что не меньше привязываются к тем, кому сделали добро сами, чем к тем, кто сделал добро им. Так, по рассмотрении всех обстоятельств, скажу, что разумный государь без труда найдет способы укрепить дух горожан во все время осады, при условии что у него хватит чем прокормить и оборонить город.

Глава XI. О церковных государствах

Нам остается рассмотреть церковные государства, о которых можно сказать, что овладеть ими трудно, ибо для этого требуется доблесть или милость судьбы, а удержать легко, ибо для этого не требуется ни того, ни другого. Государства эти опираются на освященные религией устои, столь мощные, что они поддерживают государей у власти, независимо от того, как те живут и поступают.

Только там государи имеют власть, но ее не отстаивают, имеют подданных, но ими не управляют; и однако же на власть их никто не покушается, а подданные их не тяготятся своим положением и не хотят, да и не могут от них отпасть. Так что лишь эти государи неизменно пребывают в благополучии и счастье.

Но так как государства эти направляемы причинами высшего порядка, до которых ум человеческий не досягает, то говорить о них я не буду; лишь самонадеянный и дерзкий человек мог бы взяться рассуждать о том, что возвеличено и хранимо Богом.

Однако же меня могут спросить, каким образом Церковь достигла такого могущества, что ее боится король Франции, что ей удалось изгнать его из Италии[63] и разгромить венецианцев[64], тогда как раньше с ее светской властью не считались даже мелкие владетели и бароны, не говоря уж о

крупных государствах Италии. Если меня спросят об этом, то, хотя все эти события хорошо известны, я сочту нелишним напомнить, как было дело.

Перед тем как Карл, французский король, вторгся в Италию, господство над ней было поделено между Папой, венецианцами, королем Неаполитанским, герцогом Миланским и флорентийцами. У этих властителей было две главные заботы: во-первых, не допустить вторжения в Италию чужеземцев, во-вторых, удержать друг друга в прежних границах. Наибольшие подозрения внушали венецианцы и Папа.

Против венецианцев прочие образовали союз, как это было при защите Феррары[65]; против Папы использовались римские бароны. Разделенные на две партии – Колонна и Орсини, – бароны постоянно затевали свары и, потрясая оружием на виду у главы Церкви, способствовали слабости и неустойчивости папства. Хотя кое-кто из Пап обладал мужеством, как, например, Сикст[66], никому из них при всей опытности и благоприятных обстоятельствах не удавалось избавиться от этой напасти.

Виной тому – краткость их правления, ибо за те десять лет, что в среднем проходили от избрания Папы до его смерти, ему насилу удавалось разгромить лишь одну из враждующих партий. И если Папа успевал, скажем, почти разгромить приверженцев Колонна, то преемник его, будучи сам врагом Орсини, давал возродиться партии Колонна и уже не имел времени разгромить Орсини. По этой самой причине в Италии невысоко ставили светскую власть Папы.

Но когда на папский престол взошел Александр VI, он куда более всех своих предшественников сумел показать, чего может добиться глава Церкви, действуя деньгами и силой. Воспользовавшись приходом французов, он совершил посредством герцога Валентино все то, о чем я рассказывал выше – там, где речь шла о герцоге.

Правда, труды его были направлены на возвеличение не Церкви, а герцога, однако же они обернулись величием Церкви, которая унаследовала плоды его трудов после смерти Александра и устранения герцога. Папа Юлий застал по восшествии могучую Церковь: она владела Романьей, смирила римских баронов, чьи партии распались под ударами Александра, и, сверх того, открыла новый источник пополнения казны, которым не пользовался никто до Александра.

Все это Юлий не только продолжил, но и придал делу больший размах. Он задумал присоединить Болонью[67], сокрушить Венецию и прогнать французов и осуществил этот замысел, к тем большей своей славе, что радел о величии Церкви,

а не частных лиц. Кроме того, он удержал партии Орсини и Колонна в тех пределах, в каких застал их; и хотя кое-кто из главарей готов был посеять смуту, но их удерживало, во-первых, могущество Церкви, а во-вторых – отсутствие в их рядах кардиналов, всегда бывавших зачинщиками раздоров.

Никогда между этими партиями не будет мира, если у них будут свои кардиналы: разжигая в Риме и вне его вражду партий, кардиналы втягивают в нее баронов, и так из властолюбия прелатов рождаются распри и усобицы среди баронов.

Его святейшество Папа Лев[68] воспринял, таким образом, могучую Церковь; и если его предшественники возвеличили папство силой оружия, то нынешний глава Церкви внушает нам надежду на то, что возвеличит и прославит его еще больше своей добротой, доблестью и многообразными талантами.

Глава XII. О том, сколько бывает видов войск, и о наемных солдатах

Выше мы подробно обсудили разновидности государств, названные мною в начале; отчасти рассмотрели причины благоденствия и крушения государей; выяснили, какими способами действовали те, кто желал завоевать и удержать власть. Теперь рассмотрим, какими средствами нападения и защиты располагает любое из государств, перечисленных выше.

Ранее уже говорилось о том, что власть государя должна покоиться на крепкой основе, иначе она рухнет.

Основой же власти во всех государствах – как унаследованных, так смешанных и новых – служат хорошие законы и хорошее войско. Но хороших законов не бывает там, где нет хорошего войска, и наоборот, где есть хорошее войско, там хороши и законы, поэтому, минуя законы, яперехожу прямо к войску.

Начну с того, что войско, которым государь защищает свою страну, бывает либо собственным, либо союзническим, либо наемным, либо смешанным. Наемные и союзнические войска бесполезны и опасны; никогда не будет ни прочной, ни долговечной та власть, которая опирается на наемное войско, ибо наемники честолюбивы, распущенны, склонны к раздорам, задиристы с друзьями и трусливы с врагом, вероломны и нечестивы; поражение их отсрочено лишь настолько, насколько отсрочен решительный приступ; в мирное же время они разорят тебя не хуже, чем в военное – неприятель.

Объясняется это тем, что не страсть и не какое-либо другое побуждение удерживает их в бою, а только скудное жалованье, что, конечно, недостаточно для того, чтобы им захотелось пожертвовать за тебя жизнью. Им весьма по душе служить тебе в мирное время, но стоит начаться войне, как они показывают тыл и бегут.

Надо ли доказывать то, что и так ясно: чем иным вызвано крушение Италии, как не тем, что она долгие годы довольствовалась наемным оружием? Кое для кого наемники действовали с успехом и не раз красовались отвагой друг перед другом, но когда вторгся чужеземный враг, мы увидели, чего они стоят на деле. Так что Карлу, королю Франции, и впрямь удалось захватить Италию с помощью куска мела[69]. А кто говорил, что мы терпим за грехи наши, сказал правду[70], только это не те грехи, какие он думал, а те, которые я перечислил. И так как это были грехи государей, то и расплачиваться пришлось им же.

Я хотел бы объяснить подробнее, в чем беда наемного войска. Кондотьеры по-разному владеют своим ремеслом: одни – превосходно, другие – посредственно. Первым нельзя довериться потому, что они будут сами домогаться власти и ради нее свергнут либо тебя, их хозяина, либо другого, но не справившись о твоих намерениях. Вторым нельзя довериться потому, что они проиграют сражение. Мне скажут, что того же можно ждать от всякого, у кого в руках оружие, – наемник он или нет.

На это я отвечу: войско состоит в ведении либо государя, либо республики; в первом случае государь должен лично

возглавить войско, приняв на себя обязанности военачальника; во втором случае республика должна поставить во главе войска одного из граждан; и если он окажется плох – сместить его, в противном случае – ограничить законами, дабы не преступал меры. Мы знаем по опыту, что только государи-полководцы и вооруженные республики добивались величайших успехов, тогда как наемники приносили один вред.

Карфаген после окончания I Пунической войны (264—241 гг. до н. э.) охватило восстание, которое подняли карфагенские войска, отправленные на родину из Сицилии без обещанного жалованья; к ним присоединились ливийские племена. Восстание переросло в ожесточенную войну, которая окончилась только в 237 гг. до н. э.

Герцог Миланской Филиппо Мария Висконти, последний представитель этой династии, умер в 1447 г. Три следующих года оказались голодными, миланцы подняли бунт, и городские власти решили передать герцогство *Франческо Сфорца*.

Филипп II, царь Македонии в 356—336 гг. до н. э., предводитель фессалийцев и фиванцев во время III Священной войны (ок. 354 г. до н. э.), позднее выступил против Фив и в 346 г. до н. э. покорил их.

Отец Франческо Сфорца, *Муцио Аттендоло Сфорца* (1369—1424), кондотьер на службе у Неаполитанского короля Владислава и его сестры и наследницы Джованны II, в 1420 г. перешел к Папе Мартину V. Королева Неаполитанская, чтобы обеспечить себе заступничество испании, усыновила и объявила наследником Альфонса V Арагонского (ок. 1396—1458 гг.).

Рим и Спарта много веков простояли вооруженные и свободные. Швейцарцы лучше всех вооружены и более всех свободны. В древности наемников призывал Карфаген, каковой чуть не был ими захвачен после окончания первой войны с Римом, хотя карфагеняне поставили во главе войска своих же граждан.

После смерти Эпаминонда фиванцы пригласили Филиппа Македонского возглавить их войско, и тот, вернувшись победителем, отнял у Фив свободу. Миланцы по смерти герцога Филиппа призвали на службу Франческо Сфорца, и тот, разбив

венецианцев при Караваджо[71], соединился с неприятелем против миланцев, своих хозяев. Сфорца, его отец, состоя на службе у Джованны, королевы Неаполитанской, внезапно оставил ее безоружной, так что, спасая королевство, она бросилась искать заступничества у короля Арагонского.

Мне скажут, что венецианцы и флорентийцы не раз утверждали свое владычество, пользуясь наемным войском, и, однако, кондотьеры их не стали государями и честно защищали хозяев. На это я отвечу, что флорентийцам попросту везло: из тех доблестных кондотьеров, которых стоило бы опасаться, одним не пришлось одержать победу, другие имели соперников, третьи домогались власти, но в другом месте.

Как мы можем судить о верности Джованни Акуто[72], если за ним не числится ни одной победы, но всякий согласится, что, вернись он с победой, флорентийцы оказались бы в полной его власти. Сфорца и Браччо[73] как соперники не спускали друг с друга глаз, поэтому Франческо перенес свои домогательства в Ломбардию, а Браччо – в папские владения и в Неаполитанское королевство. А как обстояло дело недавно? Флорентийцы пригласили на службу Паоло Вителли, человека умнейшего и пользовавшегося огромным влиянием еще в частной жизни. Если бы он взял Пизу, разве не очевидно, что флорентийцам бы от него не отделаться?

Ибо, перейди он на службу к неприятелю, им пришлось бы сдаться; останься он у них, им пришлось бы ему подчиниться.

Что же касается венецианцев, то блестящие и прочные победы они одерживали лишь до тех пор, пока воевали своими силами, то есть до того, как приступили к завоеваниям на материке. Аристократия и вооруженное простонародье Венеции не раз являли образцы воинской доблести, воюя на море, но стоило им перейти на сушу, как они переняли военный обычай всей Италии. Когда их завоевания на суше были невелики и держава их стояла твердо, у них не было поводов опасаться своих кондотьеров, но когда владения их разрослись – а было это при Карманьоле[74],– то они осознали свою оплошность.

Карманьола был известен им как доблестный полководец – под его началом они разбили миланского герцога, – но, видя, что он тянет время, а не воюет, они рассудили, что победы он не одержит, ибо к ней не стремится, уволить же они сами его не посмеют, ибо побоятся утратить то, что завоевали; вынужденные обезопасить себя каким-либо способом, они его умертвили. Позднее они нанимали Бартоломео да Бергамо, Роберто да Сансеверино, графа ди Питильяно и им подобных, которые внушали опасение не тем, что выиграют, а тем, что проиграют

сражение.

Как оно и случилось при Вайла[75], где венецианцы за один день потеряли все то, что с таким трудом собирали восемь столетий. Ибо наемники славятся тем, что медлительно и вяло наступают, зато с замечательной быстротой отступают. И раз уж я обратился за примером к Италии, где долгие годы хозяйничают наемные войска, то для пользы дела хотел бы вернуться вспять, чтобы выяснить, откуда они пошли и каким образом набрали такую силу.

Бартоломео да Бергамо — Бартоломео Коллеони (1400—1475), кондотьер, служивший у венецианцев в 1431, 1437—1441, 1448 гг. и у Висконти в 1442 г., проигравший битву при Караваджо.

Роберто да Сансеверино (1418—1487) — кондотьер на службе у Франческо Сфорца и Лодовико Моро, командовавший войсками Венеции в ходе «соляной» войны.

Граф ди Питильяно (умер в 1510 г.) — Никколо Орсини, венецианский военачальник в войнах против Камбрейской лиги.

Надо знать, что в недавнее время, когда империя ослабла, а светская власть Папы окрепла, Италия распалась на несколько государств. Многие крупные города восстали против угнетавших их нобилей, которым покровительствовал император, тогда как городам покровительствовала Церковь в интересах своей светской власти; во многих других городах их собственные граждане возвысились до положения государей. Так, Италия почти целиком оказалась под властью Папы и нескольких республик.

Однако вставшие у власти прелаты и граждане не привыкли иметь дело с оружием, поэтому они стали приглашать на службу наемников. Альбериго да Конио[76], уроженец Романьи, первым создал славу наемному оружию. Его выученики Браччо и Сфорца в свое время держали в руках всю Италию. За ними пошли все те, под чьим началом наемные войска состоят по сей день. Доблесть их привела к тому, что Италию из конца в конец прошел Карл, разорил Людовик, попрал Фердинанд и предали поруганию швейцарцы[77].

Начали они с того, что, возвышая себя, повсеместно унизили

пехоту. Это нужно было им затем, что, живя ремеслом и не имея владений, они не могли бы прокормить большого пешего войска, а малое не создало бы им славы. Тогда как, ограничившись кавалерией, они при небольшой численности обеспечили себе и сытость, и почет.

Дошло до того, что в двадцатитысячном войске не насчитывалось и двух тысяч пехоты. В дальнейшем они проявили необычайную изворотливость для того, чтобы избавить себя и солдат от опасностей и тягот военной жизни: в стычках они не убивают друг друга, а берут в плен и не требуют выкупа, при осаде ночью не идут на приступ; обороняя город, не делают вылазок к палаткам; не окружают лагерь частоколом и рвом, не ведут кампаний в зимнее время. И все это дозволяется их военным уставом и придумано ими нарочно для того, чтобы, как сказано, избежать опасностей и тягот военной жизни: так они довели Италию до позора и рабства.

Глава XIII. О войсках союзнических, смешанных и собственных

Союзнические войска – еще одна разновидность бесполезных войск – это войска сильного государя, которые призываются для помощи и защиты. Такими войсками воспользовался недавно Папа Юлий: в военных действиях против Феррары он увидел, чего стоят его наемники[78], и сговорился с Фердинандом, королем Испанским, что тот окажет ему помощь кавалерией и пехотой. Сами по себе такие войска могут отлично и с пользой послужить своему государю, но для того, кто их призывает на помощь, они почти всегда опасны, ибо поражение их грозит государю гибелью, а победа – зависимостью.

Несмотря на то что исторические сочинения содержат множество подобных примеров, я хотел бы сослаться на тот же пример Папы Юлия. С его стороны это был крайне опрометчивый шаг – довериться чужеземному государю ради того, чтобы захватить Феррару. И он был бы наказан за свою опрометчивость, если бы, на его счастье, судьба не рассудила иначе: союзническое войско его было разбито при Равенне, но, благодаря тому что внезапно появились швейцарцы и неожиданно для всех прогнали победителей, Папа не попал в зависимость ни к неприятелю, ибо тот бежал, ни к союзникам, ибо победа была добыта не их оружием[79].

Флорентийцы, не имея войска, двинули против Пизы десять тысяч французов[80] – что едва не обернулось для них худшим бедствием, чем все, какие случались с ними в прошлом. Император Константинополя[81], воюя с соседями, призвал в Грецию десять тысяч турок, каковые по окончании войны не пожелали уйти, с чего и началось порабощение Греции неверными.

Золотой медальон с портретом Филиппа II

Царь Македонии Филипп II (382—336 до н. э.) сумел объединить Грецию под своей властью. Вероятно, его успех в немалой степени был следствием того, что в юности Филипп три года провел в Фивах, где изучил военную тактику великого фиванского полководца Эпаминонда. В любом случае, грандиозные завоевания его сына, Александра Македонского, стали возможны лишь благодаря достижениям отца.

Итак, пусть союзническое войско призывает тот, кто не дорожит победой, ибо оно куда опасней наемного. Союзническое войско – это верная погибель тому, кто его призывает: оно действует как один человек и безраздельно повинуется своему государю; наемному же войску после победы нужно и больше времени, и более удобные обстоятельства, чтобы тебе повредить; в нем меньше единства, оно собрано и оплачиваемо тобой, и тот, кого ты поставил во главе его, не может сразу войти в такую силу,

чтобы стать для тебя опасным соперником. Короче говоря, в наемном войске опаснее нерадивость, в союзническом – доблесть.

Поэтому мудрые государи всегда предпочитали иметь дело с собственным войском. Лучше, полагали они, проиграть со своими, чем выиграть с чужими, ибо не истинна та победа, которая добыта чужим оружием. Без колебаний сошлюсь опять на пример Чезаре Борджа. Поначалу, когда герцог только вступил в Романью, у него была французская конница, с помощью которой он захватил Имолу и Форли. Позже он понял ненадежность союзнического войска и, сочтя, что наемники менее для него опасны, воспользовался услугами Орсини и Вителли.

Но, увидев, что те в деле нестойки и могут ему изменить, он избавился от них и набрал собственное войско. Какова разница между всеми этими видами войск, нетрудно понять, если посмотреть, как изменялось отношение к герцогу, когда у него были только французы, потом – наемное войско Орсини и Вителли и, наконец, – собственное войско. Мы заметим, что, хотя уважение к герцогу постоянно росло, в полной мере с ним стали считаться только после того, как все увидели, что он располагает собственными солдатами.

Я намеревался не отступать от тех событий, которые происходили в Италии в недавнее время, но сошлюсь еще на пример Герона Сиракузского, так как упоминал о нем выше. Став, как сказано, волею сограждан военачальником Сиракуз, он скоро понял, что от наемного войска мало толку, ибо тогдашние кондотьеры были сродни теперешним. И так как он заключил, что их нельзя ни прогнать, ни оставить, то приказал их изрубить и с тех пор опирался только на свое, а не на чужое войско.

Приходит на память и рассказ из Ветхого Завета[82], весьма тут уместный. Когда Давид вызвал на бой Голиафа, единоборца из стана филистимлян, то Саул, дабы поддержать дух в Давиде, облачил его в свои доспехи, но тот отверг их, сказав, что ему не по себе в чужом вооружении и что лучше он пойдет на врага с собственной пращой и ножом. Так всегда и бывает, что чужие доспехи либо широки, либо тесны, либо слишком громоздки.

Карл VII, отец короля Людовика XI[83], благодаря фортуне и доблести освободив Францию от англичан, понял, как необходимо быть вооруженным своим оружием, и приказал образовать постоянную конницу и пехоту. Позже король Людовик, его сын, распустил пехоту и стал брать на службу швейцарцев; эту ошибку еще усугубили его преемники, и теперь она дорого обходится Французскому королевству. Ибо, предпочтя швейцарцев, Франция подорвала дух своего войска; после упразднения пехоты кавалерия, приданная наемному войску, уже

не надеется выиграть сражение своими силами.

Так и получается, что воевать против швейцарцев французы не могут[84], а без швейцарцев против других – не смеют. Войско Франции, стало быть, смешанное: частью собственное, частью наемное, и в таком виде намного превосходит целиком союзническое или целиком наемное войско, но намного уступает войску, целиком составленному из своих солдат. Ограничусь уже известным примером: Франция была бы непобедима, если бы усовершенствовала или хотя бы сохранила устройство войска, введенное Карлом.

Но неразумие людей таково, что они часто не замечают яда внутри того, что хорошо с виду, как я уже говорил выше по поводу чахоточной лихорадки.

Поэтому государь, который проглядел зарождающийся недуг, не обладает истинной мудростью – но вовремя распознать его дано немногим. И если мы задумаемся об упадке Римской империи, то увидим, что он начался с того, что римляне стали брать на службу наемников – готов. От этого и пошло истощение сил империи, причем сколько силы отнималось у римлян, столько прибавлялось готам. В заключение же повторяю, что без собственного войска государство непрочно – более того, оно всецело зависит от прихотей фортуны, ибо доблесть не служит ему верной защитой в трудное время.

По мнению и приговору мудрых людей: «Quod nihil sit tam infirmum aut instabile, quam fama potentiae non sua vi nixa»[85]. Собственные войска суть те, которые составляются из подданных, граждан или преданных тебе людей, всякие же другие относятся либо к союзническим, либо к наемным. А какое им дать устройство, нетрудно заключить, если обдумать действия четырех названных мною лиц и рассмотреть, как устраивали и вооружали свои армии Филипп, отец Александра Македонского, и многие другие республики и государи, чьему примеру я всецело вверяюсь.

Глава XIV. Как государь должен поступать касательно военного дела

Таким образом, государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого. Военное искусство наделено такой силой, что позволяет не только удержать власть тому, кто рожден государем, но и достичь власти тому, кто родился простым смертным. И наоборот, когда государи помышляли больше об удовольствиях, чем о военных упражнениях, они теряли и ту власть, что имели.

Небрежение этим искусством является главной причиной утраты власти, как владение им является главной причиной обретения власти.

Франческо Сфорца, умея воевать, из частного лица стал миланским герцогом, дети его, уклоняясь от тягот войны, из герцогов стали частными лицами. Тот, кто не владеет военным ремеслом, навлекает на себя много бед и, в частности, презрение окружающих, а этого надо всемерно остерегаться, как о том будет сказано ниже.

Ибо вооруженный несопоставим с безоружным, и никогда вооруженный не подчинится безоружному по доброй воле, а

безоружный никогда не почувствует себя в безопасности среди вооруженных слуг. Как могут двое поладить, если один подозревает другого, а тот, в свою очередь, его презирает? Так и государь, не сведущий в военном деле, терпит много бед, и одна из них та, что он не пользуется уважением войска и, в свою очередь, не может на него положиться.

Старший сын Франческо Сфорца, Галеаццо Мария (1444—1476), стал герцогом миланским после своего отца, но был убит заговорщиками. Сын убитого, Джан Галеаццо (1469—1494), унаследовал титул в возрасте 7 лет. Сперва регентшей при нем была его мать, а позднее дядя, Лодовико Моро (1452—1508), сделавший Милан одним из главных культурных центров Европы. В 1499 г. этот город был захвачен французскими войсками. Лодовико попытался вернуть себе власть, но был предан швейцарскими наемниками, свергнут и умер в заключении.

Поэтому государь должен даже в мыслях не оставлять военных упражнений и в мирное время предаваться им еще больше, чем в военное. Заключаются же они, во-первых, в делах, во-вторых – в размышлениях. Что касается дел, то государю следует не только следить за порядком и учениями в войске, но и самому почаще выезжать на охоту, чтобы закалить тело и одновременно изучить местность, а именно: где и какие есть возвышенности, куда выходят долины, насколько простираются равнины, каковы особенности рек и болот. Такое изучение вдвойне полезно.

Прежде всего, благодаря ему лучше узнаешь собственную страну и можешь вернее определить способы ее защиты; кроме того, зная в подробностях устройство одной местности, легко понимаешь особенности другой, попадая туда впервые, ибо склоны, долины, равнины, болота и реки, предположим, в Тоскане имеют определенное сходство с тем, что мы видим в других краях, отчего тот, кто изучил одну местность, быстро осваивается и во всех прочих.

Если государь не выработал в себе этих навыков, то он лишен первого качества военачальника, ибо именно они позволяют сохранять преимущество, определяя местоположение неприятеля, располагаясь лагерем, идя на сближение с противником, вступая в бой и осаждая крепости.

Филопемену[86], главе Ахейского союза, античные авторы

расточают множество похвал, и, в частности, за то, что он и в мирное время ни о чем не помышлял, кроме военного дела. Когда он прогуливался с друзьями за городом, то часто останавливался и спрашивал: если неприятель займет тот холм, а наше войско будет стоять здесь, на чьей стороне будет преимущество? как наступать в этих условиях, сохраняя боевые порядки? как отступать, если нас вынудят к отступлению? как преследовать противника, если тот обратится в бегство?

И так, продвигаясь вперед, предлагал все новые и новые обстоятельства из тех, какие случаются на войне; и после того как выслушивал мнения друзей, высказывал свое и приводил доводы в его пользу. Так постоянными размышлениями он добился того, что во время войны никакая случайность не могла бы застигнуть его врасплох.

Что же до умственных упражнений, то государь должен читать исторические труды, при этом особо изучать действия выдающихся полководцев, разбирать, какими способами они вели войну, что определяло их победы и что – поражения, с тем чтобы одерживать первые и избегать последних. Самое же главное, – уподобившись многим великим людям прошлого, – принять за образец кого-либо из прославленных и чтимых людей древности и постоянно держать в памяти его подвиги и деяния.

Так, по рассказам, Александр Великий подражал Ахиллу, Цезарь – Александру, Сципион – Киру. Всякий, кто прочтет жизнеописание Кира, составленное Ксенофонтом[87], согласится, что, уподобляясь Киру, Сципион весьма способствовал своей славе и что в целомудрии, обходительности, человечности и щедрости Сципион следовал Киру, как тот описан нам Ксенофонтом. Мудрый государь должен соблюдать все описанные правила, никогда не предаваться в мирное время праздности, ибо все его труды окупятся, когда настанут тяжелые времена, и тогда, если судьба захочет его сокрушить, он сумеет выстоять под ее напором.

Глава XV. О том, за что людей, в особенности государей, восхваляют или порицают

Теперь остается рассмотреть, как государь должен вести себя по отношению к подданным и союзникам.

Зная, что об этом писали многие, я опасаюсь, как бы меня не сочли самонадеянным за то, что, избрав тот же предмет, в толковании его я более всего расхожусь с другими. Но, имея намерение написать нечто полезное для людей понимающих, я предпочел следовать правде не воображаемой, а действительной – в отличие от тех многих, кто изобразил республики и государства, каких в действительности не знавал и не видывал.

Ибо расстояние между тем, как люди живут и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру. Из чего следует, что государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением смотря по надобности.

Если же говорить не о вымышленных, а об истинных свойствах государей, то надо сказать, что во всех людях, а особенно в государях, стоящих выше прочих людей, замечают те или иные качества, заслуживающие похвалы или порицания.

А именно: говорят, что один щедр, другой скуп – если взять

тосканское слово, ибо жадный на нашем наречии – это еще и тот, кто хочет отнять чужое, а скупым мы называем того, кто слишком держится за свое, – один расточителен, другой алчен; один жесток, другой сострадателен; один честен, другой вероломен; один изнежен и малодушен, другой тверд духом и смел; этот снисходителен, тот надменен; этот распутен, тот целомудрен; этот лукав, тот прямодушен; этот упрям, тот покладист; этот легкомыслен, тот степенен; этот набожен, тот нечестив и так далее.

Что может быть похвальнее для государя, нежели соединять в себе все лучшие из перечисленных качеств? Но раз в силу своей природы человек не может ни иметь одни добродетели, ни неуклонно им следовать, то благоразумному государю следует избегать тех пороков, которые могут лишить его государства, от остальных же – воздерживаться по мере сил, но не более.

И даже пусть государи не боятся навлечь на себя обвинения в тех пороках, без которых трудно удержаться у власти, ибо, вдумавшись, мы найдем немало такого, что на первый взгляд кажется добродетелью, а в действительности пагубно для государя, и наоборот: выглядит как порок, а на деле доставляет государю благополучие и безопасность.

Глава XVI. О щедрости и бережливости

Начну с первого из упомянутых качеств и скажу, что хорошо иметь славу щедрого государя. Тем не менее тот, кто проявляет

щедрость, чтобы слыть щедрым, вредит самому себе. Ибо если проявлять ее разумно и должным образом, о ней не узнают, а тебя все равно обвинят в скупости, поэтому, чтобы распространить среди людей славу о своей щедрости, ты должен будешь изощряться в великолепных затеях, но, поступая таким образом, ты истощишь казну, после чего, не желая расставаться со славой щедрого правителя, вынужден будешь сверх меры обременить народ податями и прибегнуть к неблаговидным способам изыскания денег.

Всем этим ты постепенно возбудишь ненависть подданных, а со временем, когда обеднеешь, – то и презрение. И после того как многих разоришь своей щедростью и немногих облагодетельствуешь, первое же затруднение обернется для тебя бедствием, первая же опасность – крушением. Но если ты вовремя одумаешься и захочешь поправить дело, тебя тотчас же обвинят в скупости.

Итак, раз государь не может без ущерба для себя проявлять щедрость так, чтобы ее признали, то не будет ли для него благоразумнее примириться со славой скупого правителя? Ибо со временем, когда люди увидят, что благодаря бережливости он удовлетворяется своими доходами и ведет военные кампании, не обременяя народ дополнительными налогами, за ним утвердится слава щедрого правителя. И он действительно окажется щедрым по отношению ко всем тем, у кого ничего не отнял, а таких большая часть, и скупым по отношению ко всем тем, кого мог бы обогатить, а таких единицы.

В наши дни лишь те совершили великие дела, кто прослыл скупым, остальные сошли неприметно. Папа Юлий желал слыть щедрым лишь до тех пор, пока не достиг папской власти, после чего, готовясь к войне, думать забыл о щедрости. Нынешний король Франции[88] провел несколько войн без введения чрезвычайных налогов только потому, что, предвидя дополнительные расходы, проявлял упорную бережливость. Нынешний король Испании[89] не предпринял бы и не выиграл стольких кампаний, если бы дорожил славой щедрого государя.

Итак, ради того чтобы не обирать подданных, иметь средства для обороны, не обеднеть, не вызвать презрения и не стать поневоле алчным, государь должен пренебречь славой скупого правителя, ибо скупость – это один из тех пороков, которые позволяют ему править. Если мне скажут, что Цезарь проложил себе путь щедростью и что многие другие, благодаря тому что были и слыли щедрыми, достигали самых высоких степеней, я отвечу: либо ты достиг власти, либо ты еще на пути к ней.

В первом случае щедрость вредна, во втором – необходима.

Цезарь был на пути к абсолютной власти над Римом, поэтому щедрость не могла ему повредить, но владычеству его пришел бы конец, если бы он, достигнув власти, прожил дольше и не умерил расходов. А если мне возразят, что многие уже были государями и совершали во главе войска великие дела, однако же слыли щедрейшими, я отвечу, что тратить можно либо свое, либо чужое. В первом случае полезна бережливость, во втором – как можно большая щедрость.

Если ты ведешь войско, которое кормится добычей, грабежом, поборами и чужим добром, тебе необходимо быть щедрым, иначе за тобой не пойдут солдаты. И всегда имущество, которое не принадлежит тебе или твоим подданным, можешь раздаривать щедрой рукой, как это делали Кир, Цезарь и Александр, ибо, расточая чужое, ты прибавляешь себе славы, тогда как расточая свое – ты только себе вредишь.

Ничто другое не истощает себя так, как щедрость: выказывая ее, одновременно теряешь самую возможность ее выказывать и либо впадаешь в бедность, возбуждающую презрение, либо, желая избежать бедности, разоряешь других, чем навлекаешь на себя ненависть. Между тем презрение и ненависть подданных – это то самое, чего государь должен более всего опасаться, щедрость же ведет к тому и другому. Поэтому больше мудрости в том, чтобы, слывя скупым, стяжать худую славу без ненависти, чем в том, чтобы, желая прослыть щедрым и оттого поневоле разоряя других, стяжать худую славу и ненависть разом.

Глава XVII. О жестокости и милосердии и о том, что лучше: внушать любовь или страх

Переходя к другим из упомянутых выше свойств, скажу, что каждый государь желал бы прослыть милосердным, а не жестоким, однако следует остерегаться злоупотребить милосердием. Чезаре Борджа многие называли жестоким, но жестокостью этой он навел порядок в Романье, объединил ее, умиротворил и привел к повиновению. И, если вдуматься, проявил тем самым больше милосердия, чем флорентийский народ, который, боясь обвинений в жестокости, позволил разрушить Пистойю[90].

Поэтому государь, если он желает удержать в повиновении подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости. Учинив несколько расправ, он проявит больше милосердия, чем те, кто по избытку его потворствуют беспорядку. Ибо от беспорядка, который порождает грабежи и убийства, страдает все население, тогда как от кар, налагаемых государем, страдают лишь отдельные лица. Новый государь еще меньше, чем всякий другой, может избежать упрека в жестокости, ибо новой власти угрожает множество опасностей. Вергилий говорит устами Дидоны:

> Res dura, et regni novitas me talia cogunt
> Moliri, et late fines custode tueri[91].

Однако новый государь не должен быть легковерен, мнителен и скор на расправу, во всех своих действиях он должен быть сдержан, осмотрителен и милостив, так чтобы излишняя доверчивость не обернулась неосторожностью, а излишняя недоверчивость не озлобила подданных.

Бюст Ганнибала, найденный в Капуе.
Гравюра XIX в.

По этому поводу может возникнуть спор, что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись. Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх. Ибо о людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет нажива: пока ты делаешь им добро, они твои всей душой, обещают ничего для тебя не щадить – ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества, но

когда у тебя явится в них нужда, они тотчас от тебя отвернутся.

И худо придется тому государю, который, доверяясь их посулам, не примет никаких мер на случай опасности. Ибо дружбу, которая дается за деньги, а не приобретается величием и благородством души, можно купить, но нельзя удержать, чтобы воспользоваться ею в трудное время. Кроме того, люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им любовь, нежели того, кто внушает им страх, ибо любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, которой пренебречь невозможно.

Однако государь должен внушать страх таким образом, чтобы если не приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти, ибо вполне возможно внушать страх без ненависти. Чтобы избежать ненависти, государю необходимо воздерживаться от посягательств на имущество граждан и подданных и на их женщин.

Даже когда государь считает нужным лишить кого-либо жизни, он может сделать это, если налицо подходящее обоснование и очевидная причина, но он должен остерегаться посягать на чужое добро, ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества. Тем более что причин для изъятия имущества всегда достаточно, и если начать жить хищничеством, то всегда найдется повод присвоить чужое, тогда как оснований для лишения кого-либо жизни гораздо меньше и повод для этого приискать труднее.

Но когда государь ведет многотысячное войско, он тем более должен пренебречь тем, что может прослыть жестоким, ибо, не прослыв жестоким, нельзя поддержать единства и боеспособности войска. Среди удивительных деяний Ганнибала упоминают и следующее: отправившись воевать в чужие земли, он удержал от мятежа и распрей огромное и разноплеменное войско как в дни побед, так и в дни поражений.

Что можно объяснить только его нечеловеческой жестокостью[92], которая, вкупе с доблестью и талантами, внушала войску благоговение и ужас; не будь в нем жестокости, другие его качества не возымели бы такого действия. Между тем авторы исторических трудов, с одной стороны, превозносят сам подвиг, с другой – необдуманно порицают главную его причину.

Насколько верно утверждение, что полководцу мало обладать доблестью и талантом, показывает пример Сципиона – человека необычайного не только среди его современников, но и среди всех людей. Его войска взбунтовались в Испании[93] вследствие того, что, по своему чрезмерному мягкосердечию, он предоставил

солдатам большую свободу, чем это дозволяется воинской дисциплиной. Что и вменил ему в вину Фабий Максим[94], назвавший его перед Сенатом развратителем римского воинства.

По тому же недостатку твердости Сципион не вступился за локров[95], узнав, что их разоряет один из его легатов, и не покарал легата за дерзость. Недаром кто-то в Сенате, желая его оправдать, сказал, что он относится к той породе людей, которым легче избегать ошибок самим, чем наказывать за ошибки других.

Со временем от этой черты Сципиона пострадало бы и его доброе имя, и слава – если бы он распоряжался единолично; но он состоял под властью Сената, и потому это свойство его характера не только не имело вредных последствий, но и послужило к вящей его славе.

Итак, возвращаясь к спору о том, что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись, скажу, что любят государей по собственному усмотрению, а боятся – по усмотрению государей, поэтому мудрому правителю лучше рассчитывать на то, что зависит от него, а не от кого-то другого; важно лишь ни в коем случае не навлекать на себя ненависти подданных, как о том сказано выше.

Глава XVIII. О том, как государи должны держать слово

Излишне говорить, сколь похвальна в государе верность данному слову, прямодушие и неуклонная честность. Однако мы

знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца; такие государи в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность.

Надо знать, что с врагом можно бороться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых, силой. Первый способ присущ человеку, второй – зверю; но так как первого часто недостаточно, то приходится прибегать и ко второму. Отсюда следует, что государь должен усвоить то, что заключено в природе и человека, и зверя.

Не это ли иносказательно внушают нам античные авторы, повествуя о том, как Ахилла и прочих героев древности отдавали на воспитание кентавру Хирону, дабы они приобщились к его мудрости? Какой иной смысл имеет выбор в наставники получеловека-полузверя, как не тот, что государь должен совместить в себе обе эти природы, ибо одна без другой не имеет достаточной силы?

Итак, из всех зверей пусть государь уподобится двум: льву и лисе. Лев боится капканов, а лиса – волков, следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву, может не заметить капкана. Из чего следует, что разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание.

Такой совет был бы недостойным, если бы люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты должен поступать с ними так же. А благовидный предлог нарушить обещание всегда найдется. Примеров тому множество: сколько мирных договоров, сколько соглашений не вступило в силу или пошло прахом из-за того, что государи нарушали свое слово, и всегда в выигрыше оказывался тот, кто имел лисью натуру.

Однако натуру эту надо еще уметь прикрыть, надо быть изрядным обманщиком и лицемером, люди же так простодушны и так поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий всегда найдет того, кто даст себя одурачить.

Из близких по времени примеров не могу умолчать об одном. Александр VI всю жизнь изощрялся в обманах, но каждый раз находились люди, готовые ему верить. Во всем свете не было человека, который бы так клятвенно уверял, так убедительно обещал и так мало заботился об исполнении своих обещаний. Тем не менее обманы всегда удавались ему, как он желал, ибо он знал толк в этом деле. Отсюда следует, что государю нет

необходимости обладать всеми названными добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть обладающим ими.

Дерзну прибавить, что обладать этими добродетелями и неуклонно им следовать вредно, тогда как выглядеть обладающим ими – полезно. Иначе говоря, надо являться в глазах людей сострадательным, верным слову, милостивым, искренним, благочестивым – и быть таковым в самом деле, но внутренне надо сохранять готовность проявить и противоположные качества, если это окажется необходимо. Следует понимать, что государь, особенно новый, не может исполнять все то, за что людей почитают хорошими, так как ради сохранения государства он часто бывает вынужден идти против своего слова, против милосердия, доброты и благочестия.

Поэтому в душе он всегда должен быть готов к тому, чтобы переменить направление, если события примут другой оборот или в другую сторону задует ветер фортуны, то есть, как было сказано, по возможности не удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла.

Итак, государь должен бдительно следить за тем, чтобы с языка его не сорвалось слова, не исполненного пяти названных добродетелей. Пусть тем, кто видит его и слышит, он предстанет как само милосердие, верность, прямодушие, человечность и благочестие, особенно благочестие. Ибо люди большей частью судят по виду, так как увидеть дано всем, а потрогать руками – немногим. Каждый знает, каков ты с виду, немногим известно, каков ты на самом деле, и эти последние не посмеют оспорить мнение большинства, за спиной которого стоит государство.

О действиях всех людей, а особенно государей, с которых в суде не спросишь, заключают по результату, поэтому пусть государи стараются сохранить власть и одержать победу. Какие бы средства для этого ни употребить, их всегда сочтут достойными и одобрят, ибо чернь прельщается видимостью и успехом, в мире же нет ничего, кроме черни, и меньшинству в нем не остается места, когда за большинством стоит государство. Один из нынешних государей[96], которого воздержусь называть, только и делает, что проповедует мир и верность, на деле же тому и другому злейший враг; но если бы он последовал тому, что проповедует, то давно лишился бы либо могущества, либо государства.

Глава XIX. О том, каким образом избегать ненависти и презрения

Наиважнейшие из упомянутых качеств мы рассмотрели; что же касается прочих, то о них я скажу кратко, предварив рассуждение одним общим правилом. Государь, как отчасти сказано выше, должен следить за тем, чтобы не совершить ничего, что могло бы вызвать ненависть или презрение подданных. Если в этом он преуспеет, то свое дело он сделал, и прочие его пороки не представят для него никакой опасности.

Ненависть государи возбуждают хищничеством и посягательством на добро и женщин своих подданных. Ибо большая часть людей довольна жизнью, пока не задеты их честь или имущество; так что недовольным может оказаться лишь небольшое число честолюбцев, на которых нетрудно найти управу. Презрение государи возбуждают непостоянством, легкомыслием, изнеженностью, малодушием и нерешительностью. Этих качеств надо остерегаться как огня, стараясь, напротив, в каждом действии являть великодушие, бесстрашие, основательность и твердость.

Решения государя касательно частных дел подданных должны быть бесповоротными, и мнение о нем должно быть таково, чтобы никому не могло прийти в голову, что можно обмануть или перехитрить государя.

К правителю, внушившему о себе такое понятие, будут относиться с почтением; а если известно, что государь имеет выдающиеся достоинства и почитаем своими подданными, врагам труднее будет напасть на него или составить против него заговор. Ибо государя подстерегают две опасности: одна изнутри – со стороны подданных, другая извне – со стороны сильных соседей.

С внешней опасностью можно справиться при помощи хорошего войска и хороших союзников; причем тот, кто имеет хорошее войско, найдет и хороших союзников. А если опасность извне будет устранена, то и внутри сохранится мир, при условии что его не нарушат тайные заговоры. Но и в случае нападения извне государь не должен терять присутствия духа, ибо если образ его действий был таков, как я говорю, он устоит перед любым неприятелем, как устоял Набид Спартанский, о чем сказано выше.

Что же касается подданных, то когда снаружи мир, то единственное, чего следует опасаться, – это тайные заговоры. Главное средство против них – не навлекать на себя ненависти и презрения подданных и быть угодным народу, чего добиться необходимо, как о том подробно сказано выше.

Из всех способов предотвратить заговор самый верный – не быть ненавистным народу. Ведь заговорщик всегда рассчитывает на то, что убийством государя угодит народу; если же он знает, что возмутит народ, у него не хватит духа пойти на такое дело, ибо трудностям, с которыми сопряжен всякий заговор, нет числа.

Как показывает опыт, заговоры возникали часто, но удавались редко. Объясняется же это тем, что заговорщик не может действовать в одиночку и не может сговориться ни с кем, кроме тех, кого полагает недовольными властью. Но, открывшись недовольному, ты тотчас даешь ему возможность стать одним из довольных, так как, выдав тебя, он может обеспечить себе всяческие блага.

Таким образом, когда с одной стороны выгода явная, а с другой – сомнительная, и к тому же множество опасностей, то не выдаст тебя только такой сообщник, который является преданнейшим твоим другом или злейшим врагом государя.

Короче говоря, на стороне заговорщика – страх, подозрение, боязнь расплаты; на стороне государя – величие власти, законы, друзья и вся мощь государства; так что если к этому присоединяется народное благоволение, то едва ли кто-нибудь осмелится составить заговор. Ибо заговорщику есть чего опасаться и прежде совершения злого дела, но в этом случае, когда против него народ, ему есть чего опасаться и после, ибо ему не у кого будет искать убежища.

По этому поводу я мог бы привести немало примеров, но ограничусь одним, который еще памятен нашим отцам. Мессер Аннибале Бентивольи, правитель Болоньи, дед нынешнего мессера Аннибале, был убит заговорщиками Каннески, и после него не осталось других наследников, кроме мессера Джованни, который был еще в колыбели. Тотчас после убийства разгневанный народ перебил всех Каннески, ибо дом Бентивольи пользовался в то время народной любовью.

И так она была сильна, что когда в Болонье не осталось никого из Бентивольи, кто мог бы управлять государством, горожане, прослышав о некоем человеке крови Бентивольи, считавшемся ранее сыном кузнеца, явились к нему во Флоренцию и вверили ему власть[97], так что он управлял городом до тех самых пор, пока мессер Джованни не вошел в подобающий правителю возраст.

В заключение повторю, что государь может не опасаться заговоров, если пользуется благоволением народа, и наоборот, должен бояться всех и каждого, если народ питает к нему вражду и ненависть. Благоустроенные государства и мудрые государи принимали все меры к тому, чтобы не ожесточать знать и быть угодными народу, ибо это принадлежит к числу важнейших забот тех, кто правит.

В наши дни хорошо устроенным и хорошо управляемым государством является Франция. В ней имеется множество полезных учреждений, обеспечивающих свободу и безопасность короля, из которых первейшее – парламент с его полномочиями[98]. Устроитель этой монархии, зная властолюбие и наглость знати, считал, что ее необходимо держать в узде; с другой стороны, зная ненависть народа к знати, основанную на страхе, желал оградить знать.

Однако он не стал вменять это в обязанность королю, чтобы знать не могла обвинить его в потворстве народу, а народ – в покровительстве знати, и создал третейское учреждение, которое, не вмешивая короля, обуздывает сильных и поощряет слабых. Трудно вообразить лучший и более разумный порядок, как и более верный залог безопасности короля и королевства.

Отсюда можно извлечь еще одно полезное правило, а именно: что дела, неугодные подданным, государи должны возлагать на других, а угодные – исполнять сами. В заключение же повторю, что государю надлежит выказывать почтение к знати, но не вызывать ненависти в народе.

Многие, пожалуй, скажут, что пример жизни и смерти некоторых римских императоров противоречит высказанному здесь мнению. Я имею в виду тех императоров, которые, прожив

достойную жизнь и явив доблесть духа, либо лишились власти, либо были убиты вследствие заговора. Желая оспорить подобные возражения, я разберу качества нескольких императоров и докажу, что их привели к крушению как раз те причины, на которые я указал выше.

Заодно я хотел бы выделить и все то наиболее поучительное, что содержится в жизнеописании императоров[99] – преемников Марка-философа, вплоть до Максимина, то есть Марка, сына его Коммода, Пертинакса, Юлиана, Севера, сына его Антонина Каракаллы, Макрина, Гелиогабала, Александра и Максимина.

Марк — Марк Аврелий, римский император (161—180), философ-стоик.

Коммод — Луций Элий Аврелий Коммод, император в 180—192 гг., задушен по приказу его любовницы Марции.

Пертинакс — Публий Эльвий Пертинакс, император в январе — марте 193 г., убит через восемьдесят семь дней после вступления на престол.

Цидий Юлиан — Марк Юлиан Север Дидий, император в 193 г., отказался выдать преторианцам обещанный денежный подарок и убит ими спустя шестьдесят шесть дней после вступления на престол.

Септимий Север — Луций Септимий Север Аврелий Антонин, император в 193—211 гг., был провозглашен иллирийскими легионами после смерти Пертинакса; умер, воюя в Британии.

Антонин — Марк Аврелий Антонин Каракалла, император в 211—217 гг., сперва вместе с братом Гетой, которого убил спустя год. Был убит во время войны в Сирии.

Макрин — Марк Опеллий Макрин, император в 217—218 гг., провозглашенный восточными легионами после убийства Каракаллы. Убит своими солдатами после заключения позорного мира с Парфией.

Гелиогабал — Секст Варий Авиций Гелиогабал, император в 218—222 гг., не обладал реальной властью; попытался избавиться от своего двоюродного брата и преемника, Александра Севера, из-за чего и был убит.

Александр — Марк Аврелий Север Александр, император в 222—235 гг., не обладал реальной властью; убит своими солдатами на Рейне во время войны с германцами.

Максимин — Гай Юлий Вер Максимин Фракийский, император в 235—238 гг., в юности пастух, затем кавалерийский офицер. Убит своими солдатами.

Прежде всего надо сказать, что если обыкновенно государям приходится сдерживать честолюбие знати и необузданность народа, то римским императорам приходилось сдерживать еще жестокость и алчность войска. Многих эта тягостная

необходимость привела к гибели, ибо трудно было угодить одновременно и народу, и войску.

Народ желал мира и спокойствия, поэтому предпочитал кротких государей, тогда как солдаты предпочитали государей воинственных, неистовых, жестоких и хищных – но только при условии, что эти качества будут проявляться по отношению к народу, так чтобы самим получать двойное жалованье и утолять свою жестокость и алчность.

Все это неизбежно приводило к гибели тех императоров, которым не было дано – врожденными свойствами или старанием – внушить к себе такое почтение, чтобы удержать в повиновении и народ, и войско. Большая часть императоров – в особенности те, кто возвысился до императорской власти, а не получил ее по наследству, – оказавшись меж двух огней, предпочли угождать войску, не считаясь с народом.

Но другого выхода у них и не было, ибо если государь не может избежать ненависти кого-либо из подданных, то он должен сначала попытаться не вызвать всеобщей ненависти. Если же это окажется невозможным, он должен приложить все старания к тому, чтобы не вызвать ненависти у тех, кто сильнее. Вот почему новые государи, особенно нуждаясь в поддержке, охотнее принимали сторону солдат, нежели народа. Но в этом случае терпели неудачу, если не умели внушить к себе надлежащего почтения.

По указанной причине из трех императоров – Марка, Пертинакса и Александра, – склонных к умеренности, любящих справедливость, врагов жестокости, мягких и милосердных, двоих постигла печальная участь. Только Марк жил и умер в величайшем почете, ибо наследовал императорскую власть *iure hereditario* [100] и не нуждался в признании ее ни народом, ни войском.

Сверх того, он внушил подданным почтение своими многообразными добродетелями, поэтому сумел удержать в должных пределах и народ, и войско и не был ими ни ненавидим, ни презираем. В отличие от него Пертинакс стал императором против воли солдат, которые, привыкнув к распущенности при Коммоде, не могли вынести честной жизни, к которой он принуждал их, и возненавидели его, а так как к тому же они презирали его за старость, то он и был убит в самом начале своего правления.

Здесь уместно заметить, что добрыми делами можно навлечь на себя ненависть точно так же, как и дурными, поэтому государь, как я уже говорил, нередко вынужден отступать от добра ради того, чтобы сохранить государство, ибо если та часть подданных,

чьего расположения ищет государь, – будь то народ, знать или войско, – развращена, то и государю, чтобы ей угодить, приходится действовать соответственно, и в этом случае добрые дела могут ему повредить.

Но перейдем к Александру: кротость его, как рассказывают ему в похвалу, была такова, что за четырнадцать лет его правления не был казнен без суда ни один человек. И все же он возбудил презрение, слывя чересчур изнеженным и послушным матери, и был убит вследствие заговора в войске.

В противоположность этим троим Коммод, Север, Антонин Каракалла и Максимин отличались крайней алчностью и жестокостью. Угождая войску, они как могли разоряли и притесняли народ, и всех их, за исключением Севера, постигла печальная участь. Север же прославился такой доблестью, что не утратил расположения солдат до конца жизни и счастливо правил, несмотря на то что разорял народ.

Доблесть его представлялась необычайной и народу, и войску: народ она пугала и ошеломляла, а войску внушала благоговение, и так как все совершенное им в качестве нового государя замечательно и достойно внимания, то я хотел бы, не вдаваясь в частности, показать, как он умел уподобляться то льву, то лисе, каковым, как я уже говорил, должны подражать государи.

Римский император
Луций Элий Аврелий Коммод
(*161—192*)

Узнав о нерадивости императора Юлиана, Север убедил солдат, находившихся под его началом в Славонии[101], что их долг идти в Рим отомстить за смерть императора Пертинакса, убитого преторианцами. Под этим предлогом он двинул войско на Рим, никому не открывая своего намерения добиться императорской власти, и прибыл в Италию прежде, чем туда донесся слух о его выступлении. Когда он достиг Рима, Сенат, испугавшись, провозгласил его императором и приказал убить Юлиана.

Однако на пути Севера стояло еще два препятствия: в Азии Песценний Нигер, глава азийского войска, провозгласил себя императором, на западе соперником его стал Альбин[102]. Выступить в открытую против обоих было опасно, поэтому Север решил на Нигера напасть открыто, а Альбина устранить хитростью. Последнему он написал, что, будучи возведен Сенатом в императорское достоинство, желает разделить с ним эту честь, просит его принять титул цезаря и по решению Сената объявляет его соправителем. Тот все это принял за правду.

Но после того, как войско Нигера было разбито, сам он умерщвлен, а дела на востоке улажены, Север вернулся в Рим и подал в Сенат жалобу: будто бы Альбин, забыв об оказанных ему Севером благодеяниях, покушался на его жизнь, почему он вынужден выступить из Рима, чтобы покарать Альбина за неблагодарность. После чего он настиг Альбина во Франции и лишил его власти и жизни.

Вдумавшись в действия Севера, мы убедимся в том, что он вел себя то как свирепейший лев, то как хитрейшая лиса; что он всем внушил страх и почтение и не возбудил ненависти войска. Поэтому мы не станем удивляться, каким образом ему, новому государю, удалось так упрочить свое владычество: разоряя подданных, он не возбудил их ненависти, ибо был защищен от нее своей славой. Сын его Антонин также был личностью замечательной и, сумев поразить воображение народа, был угоден солдатам.

Он был истинный воин, сносивший любые тяготы, презиравший изысканную пищу, чуждый изнеженности, и за это пользовался любовью войска. Но, проявив неслыханную свирепость и жестокость – им было совершено множество убийств и истреблены все жители Александрии и половина жителей Рима, – он стал ненавистен всем подданным и даже внушил страх своим приближенным, так что был убит на глазах своего войска одним из центурионов.

Здесь уместно заметить, что всякий, кому не дорога жизнь, может совершить покушение на государя, так что нет верного способа избежать гибели от руки человека одержимого. Но этого не следует так уж бояться, ибо подобные покушения случаются крайне редко.

Важно лишь не подвергать оскорблению окружающих тебя должностных лиц и людей, находящихся у тебя в услужении, то есть не поступать, как Антонин, который предал позорной смерти брата того центуриона, каждый день грозил смертью ему самому, однако же продолжал держать его у себя телохранителем. Это было безрассудно и не могло не кончиться гибелью Антонина,

что, как мы знаем, и случилось.

Обратимся теперь к Коммоду. Будучи сыном Марка, он мог без труда удержать власть, полученную им по наследству. Если бы он шел по стопам отца, то этим всего лучше угодил бы и народу, и войску, но, как человек жестокий и низкий, он стал заискивать у войска и поощрять в нем распущенность, чтобы с его помощью обирать народ. Однако он возбудил презрение войска тем, что унижал свое императорское достоинство, сходясь с гладиаторами на арене, и совершал много других мерзостей, недостойных императорского величия. Ненавидимый одними и презираемый другими, он был убит вследствие заговора среди его приближенных.

Остается рассказать о качествах Максимина. Это был человек на редкость воинственный, и после того как Александр вызвал раздражение войска своей изнеженностью, оно провозгласило императором Максимина. Но править ему пришлось недолго, ибо он возбудил ненависть и презрение войска тем, что, во-первых, пас когда-то овец во Фракии – это обстоятельство, о котором все знали, являлось позором в глазах его подданных; во-вторых, провозглашенный императором, он отложил выступление в Рим, где должен был принять знаки императорского достоинства, и прославил себя жестокостью, произведя через своих префектов жесточайшие расправы в Риме и повсеместно.

После этого презрение к нему за его низкое происхождение усугубилось ненавистью, внушенной страхом перед его свирепостью, так что против него восстала сначала Африка, потом Сенат и весь римский народ, и, наконец, в заговор оказалась вовлеченной вся Италия. К заговору примкнули его собственные солдаты, осаждавшие Аквилею, которые были раздражены его жестокостью и трудностями осады: видя, что у него много врагов, они осмелели и убили императора.

Я не буду касаться Гелиогабала, Макрина и Юлиана как совершенно ничтожных и неприметно сошедших правителей, но перейду к заключению. В наше время государям нет такой уж надобности угождать войску. Правда, войско и сейчас требует попечения; однако эта трудность легко разрешима, ибо в наши дни государь не имеет дела с солдатами, которые тесно связаны с правителями и властями отдельных провинций, как это было в Римской империи. Поэтому если в то время приходилось больше угождать солдатам, ибо войско представляло большую силу, то в наше время всем государям, кроме султанов, турецкого и египетского, важнее угодить народу, ибо народ представляет большую силу.

Турецкий султан отличается от других государей тем, что он

окружен двенадцатитысячным пешим войском и пятнадцатитысячной конницей, от которых зависят крепость и безопасность его державы. Такой государь поневоле должен, отложив прочие заботы, стараться быть в дружбе с войском. Подобным же образом султану Египетскому, зависящему от солдат, необходимо, хотя бы в ущерб народу, ладить со своим войском.

Заметьте, что государство султана Египетского[103] устроено не так, как все прочие государства, и сопоставимо лишь с папством в христианском мире. Его нельзя назвать наследственным, ибо наследниками султана являются не его дети, а тот, кто избран в преемники особо на то уполномоченными лицами. Но его нельзя назвать и новым, ибо порядок этот заведен давно, и перед султаном не встает ни одна из тех трудностей, с которыми имеют дело новые государи.

Таким образом, несмотря на то что султан в государстве – новый, учреждения в нем – старые, и они обеспечивают преемственность власти, как при обычном ее наследовании. Но вернемся к обсуждаемому предмету. Рассмотрев сказанное выше, мы увидим, что главной причиной гибели императоров была либо ненависть к ним, либо презрение, и поймем, почему из тех, кто действовал противоположными способами, только двоим выпал счастливый, а остальным несчастный конец.

Дело в том, что Пертинаксу и Александру, как новым государям, было бесполезно и даже вредно подражать Марку, ставшему императором по праву наследства, а Коммоду и Максимину пагубно было подражать Северу, ибо они не обладали той доблестью, которая позволяла бы им следовать его примеру. Соответственно, новый государь в новом государстве не должен ни подражать Марку, ни уподобляться Северу, но должен у Севера позаимствовать то, без чего нельзя основать новое государство, а у Марка – то наилучшее и наиболее достойное, что нужно для сохранения государства, уже обретшего и устойчивость, и прочность.

Глава XX. О том, полезны ли крепости и многое другое, что постоянно применяют государи

Одни государи, чтобы упрочить свою власть, разоружали подданных, другие поддерживали раскол среди граждан в завоеванных городах; одни намеренно создавали себе врагов, другие предпочли добиваться расположения тех, в ком сомневались, придя к власти; одни воздвигали крепости, другие – разоряли их и разрушали до основания. Которому из этих способов следует отдать предпочтение, сказать трудно, не зная, каковы были обстоятельства в тех государствах, где принималось то или иное решение; однако же я попытаюсь высказаться о них, отвлекаясь от частностей настолько, насколько это дозволяется самим предметом.

Итак, никогда не бывало, чтобы новые государи разоружали подданных, – напротив, они всегда вооружали их, если те оказывались невооруженными, ибо, вооружая подданных, обретаешь собственное войско, завоевываешь преданность одних, укрепляешь преданность в других и таким образом обращаешь подданных в своих приверженцев. Всех подданных невозможно вооружить, но если отличить хотя бы часть их, то это позволит с большей уверенностью полагаться и на всех прочих.

Первые, видя, что им оказано предпочтение, будут благодарны тебе, вторые простят тебя, рассудив, что тех и следует отличать, кто несет больше обязанностей и подвергается

большим опасностям. Но, разоружив подданных, ты оскорбишь их недоверием и проявишь тем самым трусость или подозрительность, а оба эти качества не прощаются государям.

И так как ты не сможешь обойтись без войска, то поневоле обратишься к наемникам, а чего стоит наемное войско – о том уже шла речь выше; но, будь они даже отличными солдатами, их сил недостаточно для того, чтобы защитить тебя от могущественных врагов и неверных подданных.

Впрочем, как я уже говорил, новые государи в новых государствах всегда создавали собственное войско, что подтверждается множеством исторических примеров. Но если государь присоединяет новое владение к старому государству, то новых подданных следует разоружить, исключая тех, кто содействовал завоеванию, но этим последним надо дать изнежиться и расслабиться, ведя дело к тому, чтобы в конечном счете во всем войске остались только коренные подданные, живущие близ государя.

Наши предки, те, кого почитали мудрыми, говаривали, что Пистойю надо удерживать раздорами, а Пизу – крепостями, почему для укрепления своего владычества поощряли распри в некоторых подвластных им городах. В те дни, когда Италия находилась в относительном равновесии[104], такой образ действий мог отвечать цели.

Но едва ли подобное наставление пригодно в наше время, ибо сомневаюсь, чтобы расколы когда-либо кончались добром; более того, если подойдет неприятель, поражение неминуемо, так как более слабая партия примкнет к нападающим, а сильная – не сможет отстоять город.

Венецианцы поощряли вражду гвельфов и гибеллинов в подвластных им городах – вероятно, по тем самым причинам, какие я называю. Не доводя дело до кровопролития, они стравливали тех и других затем, чтобы граждане, занятые распрей, не объединили против них свои силы. Но, как мы видим, это не принесло им пользы: после разгрома при Вайла сначала часть городов, а затем и все они, осмелев, отпали от венецианцев[105].

Подобные приемы изобличают, таким образом, слабость правителя, ибо крепкая и решительная власть никогда не допустит раскола; и если в мирное время они полезны государю, так как помогают ему держать в руках подданных, то в военное время пагубность их выходит наружу.

Без сомнения, государи обретают величие, когда одолевают препятствия и сокрушают недругов, почему фортуна – в особенности если она желает возвеличить нового государя,

которому признание нужней, чем наследному, – сама насылает ему врагов и принуждает вступить с ними в схватку для того, чтобы, одолев их, он по подставленной ими лестнице поднялся как можно выше. Однако многие полагают, что мудрый государь и сам должен, когда позволяют обстоятельства, искусно создавать себе врагов, чтобы, одержав над ними верх, явиться в еще большем величии.

Нередко государи, особенно новые, со временем убеждаются в том, что более преданные и полезные для них люди – это те, кому они поначалу не доверяли. Пандольфо Петруччи[106], властитель Сиены, правил своим государством, опираясь более на тех, в ком раньше сомневался, нежели на всех прочих.

Но тут нельзя говорить отвлеченно, ибо все меняется в зависимости от обстоятельств. Скажу лишь, что расположением тех, кто поначалу был врагом государя, ничего не стоит заручиться в том случае, если им для сохранения своего положения требуется его покровительство. И они тем ревностнее будут служить государю, что захотят делами доказать превратность прежнего о них мнения. Таким образом, они всегда окажутся полезнее для государя, нежели те, кто, будучи уверен в его благоволении, чрезмерно печется о собственном благе.

И так как этого требует обсуждаемый предмет, то я желал бы напомнить государям, пришедшим к власти с помощью части граждан, что следует вдумываться в побуждения тех, кто тебе помогал, и если окажется, что дело не в личной приверженности, а в недовольстве прежним правлением, то удержать их дружбу будет крайне трудно, ибо удовлетворить таких людей невозможно.

Если на примерах из древности и современной жизни мы попытаемся понять причину этого, то увидим, что всегда гораздо легче приобрести дружбу тех, кто был доволен прежней властью и потому враждебно встретил нового государя, нежели сохранить дружбу тех, кто был недоволен прежней властью и потому содействовал перевороту.

Замок Сфорца. *Гравюра 1575 г.*

Замок Сфорца, резиденция миланских герцогов династии Сфорца, был отстроен в середине XV в. и сохранился до наших дней. Интересно, что именно этот замок взяли за основу миланские архитекторы, возводившие Московский Кремль.

Издавна государи ради упрочения своей власти возводят крепости, дабы ими, точно уздою и поводьями, сдерживать тех, кто замышляет крамолу, а также дабы располагать надежным убежищем на случай внезапного нападения врага. Могу похвалить этот ведущийся издавна обычай. Однако на нашей памяти мессер Никколо Вителли[107] приказал срыть две крепости в Читта-ди-

Кастелло, чтобы удержать в своих руках город. Гвидо Убальдо, вернувшись в свои владения, откуда его изгнал Чезаре Борджа, разрушил до основания все крепости этого края, рассудив, что так ему будет легче удержать государство.

Семейство Бентивольи, вернувшись в Болонью[108], поступило подобным же образом. Из чего следует, что полезны крепости или нет – зависит от обстоятельств, и если в одном случае они во благо, то в другом случае они во вред. Разъясню подробнее: тем государям, которые больше боятся народа, нежели внешних врагов, крепости полезны; а тем из них, кто больше боится внешних врагов, чем народа, крепости не нужны. Так, семейству Сфорца замок в Милане, построенный герцогом Франческо Сфорца, нанес больший урон, нежели все беспорядки, случившиеся в их государстве.

Поэтому лучшая из всех крепостей – не быть ненавистным народу: какие крепости ни строй, они не спасут, если ты ненавистен народу, ибо когда народ берется за оружие, на подмогу ему всегда явятся чужеземцы. В наши дни от крепостей никому не было пользы, кроме разве графини Форли, после смерти ее супруга, графа Джироламо[109]; благодаря замку ей удалось укрыться от восставшего народа, дождаться помощи из Милана и возвратиться к власти; время же было такое, что никто со стороны не мог оказать поддержку народу; но впоследствии и ей не помогли крепости, когда ее замок осадил Чезаре Борджа и враждебный ей народ примкнул к чужеземцам[110].

Так что для нее было бы куда надежнее, и тогда и раньше, не возводить крепости, а постараться не возбудить ненависти народа.

Итак, по рассмотрении всего сказанного выше, я одобрю и тех, кто строит крепости, и тех, кто их не строит, но осужу всякого, кто, полагаясь на крепости, не озабочен тем, что ненавистен народу.

Глава XXI. Как надлежит поступать государю, чтобы его почитали

Ничто не может внушить к государю такого почтения, как военные предприятия и необычайные поступки. Из нынешних правителей сошлюсь на Фердинанда Арагонского, короля Испании. Его можно было бы назвать новым государем, ибо, слабый вначале, он сделался по славе и блеску первым королем христианского мира; и все его действия исполнены величия, а некоторые поражают воображение.

Основанием его могущества послужила война за Гранаду, предпринятая вскоре после вступления на престол[111]. Прежде всего, он начал войну, когда внутри страны было тихо, не опасаясь, что ему помешают, и увлек ею кастильских баронов так, что они, занявшись войной, забыли о смутах; он же тем временем, незаметно для них, сосредоточил в своих руках всю власть и подчинил их своему влиянию.

Деньги на содержание войска он получил от Церкви и народа и, пока длилась война, построил армию, которая впоследствии создала ему славу. После этого, замыслив еще более значительные предприятия, он, действуя опять-таки как защитник религии, сотворил благочестивую жестокость: изгнал

марранов[112] и очистил от них королевство – трудно представить себе более безжалостный и в то же время более необычайный поступок.

Под тем же предлогом он захватил земли в Африке[113], провел кампанию в Италии и, наконец, вступил в войну с Францией[114]. Так он обдумывал и осуществлял великие замыслы, держа в постоянном восхищении и напряжении подданных, поглощенно следивших за ходом событий. И все эти предприятия так вытекали одно из другого, что некогда было замыслить что-либо против самого государя.

Величию государя способствуют также необычайные распоряжения внутри государства, подобные тем, которые приписываются мессеру Бернабо да Милано[115]; иначе говоря, когда кто-либо совершает что-либо значительное в гражданской жизни, дурное или хорошее, то его полезно награждать или карать таким образом, чтобы это помнилось как можно дольше. Но самое главное для государя – постараться всеми своими поступками создать себе славу великого человека, наделенного умом выдающимся.

Государя уважают также, когда он открыто заявляет себя врагом или другом, то есть когда он без колебаний выступает за одного против другого – это всегда лучше, чем стоять в стороне. Ибо когда двое сильных правителей вступают в схватку, то они могут быть таковы, что возможный победитель либо опасен для тебя, либо нет.

В обоих случаях выгоднее открыто и решительно вступить в войну. Ибо в первом случае, не вступив в войну, ты станешь добычей победителя к радости и удовлетворению побежденного, сам же ни у кого не сможешь получить защиты: победитель отвергнет союзника, бросившего его в несчастье, а побежденный не захочет принять к себе того, кто не пожелал с оружием в руках разделить его участь. Антиох, которого этолийцы призвали в Грецию, чтобы прогнать римлян, послал своих ораторов к ахейцам, союзникам римлян, желая склонить ахейцев к невмешательству.

Римляне, напротив, убеждали ахейцев вступить в войну. Тогда, чтобы решить дело, ахейцы созвали совет, легат Антиоха призывал их не браться за оружие, римский легат говорил так: «Quod autern isti dicunt non interponendi vos bello, nihil magis alienum rebus vestris est; sine gratia, sine dignitate, praemium victoris eritis»[116].

И всегда недруг призывает отойти в сторону, тогда как друг зовет открыто выступить за него с оружием в руках. Нерешительные государи, как правило, выбирают

невмешательство, чтобы избежать ближайшей опасности, и, как правило, это приводит их к крушению.

Зато если ты бесстрашно примешь сторону одного из воюющих и твой союзник одержит победу, то, как бы ни был он могуществен и как бы ты от него ни зависел, он обязан тебе – люди же не настолько бесчестны, чтобы нанести удар союзнику, выказав столь явную неблагодарность.

Кроме того, победа никогда не бывает полной в такой степени, чтобы победитель мог ни с чем не считаться и в особенности – мог попрать справедливость. Если же тот, чью сторону ты принял, проиграет войну, он примет тебя к себе и, пока сможет, будет тебе помогать, так что ты станешь собратом по несчастью тому, чье счастье, возможно, еще возродится.

Во втором случае, когда ни одного из воюющих не приходится опасаться, примкнуть к тому или к другому еще более благоразумно. Ибо с помощью одного ты разгромишь другого, хотя тому, будь он умнее, следовало бы спасать, а не губить противника; а после победы ты подчинишь союзника своей власти, он же благодаря твоей поддержке неминуемо одержит победу.

Здесь уместно заметить, что лучше избегать союза с теми, кто сильнее тебя, если к этому не понуждает необходимость, как о том сказано выше. Ибо в случае победы сильного союзника ты у него в руках; государи же должны остерегаться попадать в зависимость к другим государям. Венецианцы, к примеру, вступили в союз с Францией против миланского герцога, когда могли этого избежать, следствием чего и явилось их крушение.

Но если нет возможности уклониться от союза, как обстояло дело у флорентийцев, когда Папа и Испания двинули войска на Ломбардию[117], то государь должен вступить в войну, чему причины я указал выше. Не стоит лишь надеяться на то, что можно принять безошибочное решение, – наоборот, следует заранее примириться с тем, что всякое решение сомнительно, ибо это в порядке вещей, что, избегнув одной неприятности, попадаешь в другую. Однако в том и состоит мудрость, чтобы, взвесив все возможные неприятности, наименьшее зло почесть за благо.

Государь должен также выказывать себя покровителем дарований, привечать одаренных людей, оказывать почет тем, кто отличился в каком-либо ремесле или искусстве. Он должен побуждать граждан спокойно предаваться торговле, земледелию и ремеслам, чтобы одни благоустраивали свои владения, не боясь, что эти владения у них отнимут, другие – открывали торговлю, не опасаясь, что их разорят налогами; более того, он должен

располагать наградами для тех, кто заботится об украшении города или государства.

Он должен также занимать народ празднествами и зрелищами в подходящее для этого время года. Уважая цехи, или трибы, на которые разделен всякий город, государь должен участвовать иногда в их собраниях и являть собой пример щедрости и великодушия, но при этом твердо блюсти свое достоинство и величие, каковые должны присутствовать в каждом его поступке.

Глава XXII. О советниках государей

Немалую важность имеет для государя выбор советников, а каковы они будут, хороши или плохи, – зависит от благоразумия государей. Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает; если это люди преданные и способные, то можно всегда быть уверенным в его мудрости, ибо он умел распознать их способности и удержать их преданность.

Если же они не таковы, то и о государе заключат соответственно, ибо первую оплошность он уже совершил, выбрав плохих помощников. Из тех, кто знал мессера Антонио да Венафро[118], помощника Пандольфо Петруччи, правителя Сиены, никто не усомнился бы в достоинствах и самого Пандольфо, выбравшего себе такого помощника.

Ибо умы бывают трех родов: один все постигает сам; другой может понять то, что постиг первый; третий – сам ничего не постигает и постигнутого другим понять не может. Первый ум – выдающийся, второй – значительный, третий – негодный.[119] Из сказанного неопровержимо следует, что ум Пандольфо был если не первого, то второго рода.

Ибо когда человек способен распознать добро и зло в делах и в речах людей, то, не будучи сам особо изобретательным, он сумее т отличить дурное от доброго в советах своих помощников и за доброе вознаградит, а за дурное – взыщет; да и помощники его не понадеются обмануть государя и будут добросовестно ему служить.

Ярый оппонент Чезаре Борджиа Пандольфо Петруччи (умер в 1512 г.) сделался правителем Сиены в 1497 г. и, оставаясь формально всего лишь командующим («капитаном народа»), 15 лет единолично управлял государством. Сделав ставку на торговые круги, добился стабилизации экономики и роста торговли.

Есть один безошибочный способ узнать, чего стоит помощник. Если он больше заботится о себе, чем о государе, и во всяком деле ищет своей выгоды, он никогда не будет хорошим слугой государю, и тот никогда не сможет на него положиться. Ибо министр, в чьих руках дела государства, обязан думать не о себе, а о государе, и не являться к нему ни с чем, что не относится до государя.

Но и государь со своей стороны должен стараться удержать преданность своего министра, воздавая ему по заслугам, умножая его состояние, привязывая его к себе узами благодарности, разделяя с ним обязанности и почести, чтобы тот видел, что государь не может без него обходиться, и чтобы, имея достаточно богатств и почестей, не возжелал новых богатств и почестей, а также чтобы, занимая разнообразные должности, убоялся переворотов. Когда государь и его министр обоюдно ведут себя таким образом, они могут быть друг в друге уверены, когда же они ведут себя иначе, это плохо кончается либо для одного, либо для другого.

Глава XXIII. Как избежать льстецов

Я хочу коснуться еще одного важного обстоятельства, а именно: одной слабости, от которой трудно уберечься правителям, если их не отличает особая мудрость и знание людей. Я имею в виду лесть и льстецов, которых во множестве приходится видеть при дворах государей, ибо люди так тщеславны и так обольщаются на свой счет, что с трудом могут уберечься от этой напасти.

Но беда еще и в том, что когда государь пытается искоренить лесть, он рискует навлечь на себя презрение. Ибо нет другого способа оградить себя от лести, как внушив людям, что если они выскажут тебе всю правду, ты не будешь на них в обиде, но когда каждый сможет говорить тебе правду, тебе перестанут оказывать должное почтение.

Поэтому благоразумный государь должен избрать третий путь, а именно: отличив нескольких мудрых людей, им одним предоставить право высказывать все, что они думают, но только о том, что ты сам спрашиваешь, и ни о чем больше; однако спрашивать надо обо всем и выслушивать ответы, решение же принимать самому и по своему усмотрению.

На советах с каждым из советников надо вести себя так, чтобы все знали, что чем безбоязненнее они выскажутся, тем более угодят государю; но вне их никого не слушать, а прямо

идти к намеченной цели и твердо держаться принятого решения. Кто действует иначе, тот либо поддается лести, либо, выслушивая разноречивые советы, часто меняет свое мнение, чем вызывает неуважение подданных.

Сошлюсь на один современный пример. Отец Лука[120], доверенное лицо императора Максимилиана, говоря о его величестве, заметил, что тот ни у кого совета не просит, но по-своему тоже не поступает именно оттого, что его образ действий противоположен описанному выше.

Ибо император – человек скрытный, намерений своих никому не поверяет, совета на их счет не спрашивает. Но когда по мере осуществления они выходят наружу, то те, кто его окружает, начинают их оспаривать, и государь, как человек слабый, от них отступается. Поэтому начатое сегодня назавтра отменяется, и никогда нельзя понять, чего желает и что намерен предпринять император, и нельзя положиться на его решение.

Лукас ван Лейден. Император Максимилиан I.
Гравюра XVI в.

Таким образом, государь всегда должен советоваться с другими, но только когда он того желает, а не когда того желают другие; и он должен осаживать всякого, кто вздумает, непрошеный, подавать ему советы. Однако сам он должен широко обо всем спрашивать, о спрошенном терпеливо выслушивать правдивые ответы и, более того, проявлять беспокойство, замечая, что кто-либо почему-либо опасается говорить ему правду.

Многие полагают, что кое-кто из государей, слывущих мудрыми, славой своей обязаны не себе самим, а добрым советам своих приближенных, но мнение это ошибочно. Ибо правило, не знающее исключений, гласит: государю, который сам не обладает мудростью, бесполезно давать благие советы, если только такой государь случайно не доверится мудрому советнику, который будет принимать за него все решения.

Но хотя подобное положение и возможно, ему скоро пришел

бы конец, ибо советник сам сделался бы государем. Когда же у государя не один советник, то, не обладая мудростью, он не сможет примирить разноречивые мнения; кроме того, каждый из советников будет думать лишь о собственном благе, а государь этого не разглядит и не примет меры. Других же советников не бывает, ибо люди всегда дурны, пока их не принудит к добру необходимость. Отсюда можно заключить, что добрые советы, кто бы их ни давал, родятся из мудрости государей, а не мудрость государей родится из добрых советов.

Глава XXIV. Почему государи Италии лишились своих государств

Если новый государь разумно следует названным правилам, он скоро утвердится в государстве и почувствует себя в нем прочнее и увереннее, чем если бы получил власть по наследству. Ибо новый государь вызывает большее любопытство, чем наследный правитель, и если действия его исполнены доблести, они куда больше захватывают и привлекают людей, чем древность рода. Ведь люди гораздо больше заняты сегодняшним днем, чем вчерашним, и если в настоящем обретают благо, то довольствуются им и не ищут другого; более того, они горой станут за нового государя, если сам он будет действовать надлежащим образом.

И двойную славу стяжает тот, кто создаст государство и укрепит его хорошими законами, хорошими союзниками, хорошим войском и добрыми примерами; так же как двойным позором покроет себя тот, кто, будучи рожден государем, по неразумию лишится власти.

Если мы обратимся к тем государям Италии, которые утратили власть, таким, как король Неаполитанский, герцог Миланский и другие, то мы увидим, что наиболее уязвимым их местом было войско, чему причины подробно изложены выше. Кроме того, некоторые из них либо враждовали с народом, либо, расположив к себе народ, не умели обезопасить себя со стороны знати.

Ибо там, где нет подобных изъянов, государь не может утратить власть, если имеет достаточно сил, чтобы выставить войско. Филипп Македонский[121], не отец Александра Великого, а тот, что был разбит Титом Квинцием[122], имел небольшое государство по сравнению с теми великими, что на него напали, – Римом и Грецией, но, будучи воином, а также умея расположить к себе народ и обезопасить себя от знати, он выдержал многолетнюю войну против римлян и греков и хотя потерял под конец несколько городов, зато сохранил за собой царство.

Так что пусть те из наших государей, кто, властвуя много лет, лишился своих государств, пеняют не на судьбу, а на собственную нерадивость. В спокойное время они не предусмотрели возможных бед – по общему всем людям недостатку в затишье не думать о буре, – когда же настали тяжелые времена, они предпочли бежать, а не обороняться, понадеявшись на то, что подданные, раздраженные бесчинством победителей, призовут их обратно.

Если нет другого выхода, хорош и такой, плохо лишь отказываться ради него от всех прочих, точно так же как не стоит падать, полагаясь на то, что тебя поднимут. Даже если тебя и выручат из беды, это небезопасно для тебя, так как ты окажешься в положении зависимом и унизительном. А только те способы защиты хороши, основательны и надежны, которые зависят от тебя самого и от твоей доблести.

Глава XXV. Какова власть судьбы над делами людей и как можно ей противостоять

Я знаю, сколь часто утверждалось раньше и утверждается ныне, что всем в мире правят судьба и Бог, люди же с их разумением ничего не определяют и даже ничему не могут противостоять; отсюда делается вывод, что незачем утруждать себя заботами, а лучше примириться со своим жребием. Особенно многие уверовали в это за последние годы, когда на наших глазах происходят перемены столь внезапные, что всякое человеческое предвидение оказывается перед ними бессильно. Иной раз и я склоняюсь к общему мнению, задумываясь о происходящем.

И однако, ради того чтобы не утратить свободу воли, я предположу, что, может быть, судьба распоряжается лишь половиной всех наших дел, другую же половину, или около того, она предоставляет самим людям. Я уподобил бы судьбу бурной реке, которая, разбушевавшись, затопляет берега, валит деревья, крушит жилища, вымывает и намывает землю: все бегут от нее прочь, все отступают перед ее напором, бессильные его сдержать.

Но хотя бы и так – разве это мешает людям принять меры предосторожности в спокойное время, то есть возвести заграждения и плотины так, чтобы, выйдя из берегов, река либо устремилась в каналы, либо остановила свой безудержный и опасный бег?

То же и судьба: она являет свое всесилие там, где препятствием ей не служит доблесть, и устремляет свой напор туда, где не встречает возведенных против нее заграждений. Взгляните на Италию, захлестнутую ею же вызванным бурным разливом событий, и вы увидите, что она подобна ровной местности, где нет ни плотин, ни заграждений. А ведь если бы она была защищена доблестью, как Германия, Испания и Франция, этот разлив мог бы не наступить или, по крайней мере, не причинить столь значительных разрушений. Этим, я полагаю, сказано достаточно о противостоянии судьбе вообще.

Что же касается, в частности, государей, то нам приходится видеть, как некоторые из них, еще вчера благоденствовавшие, сегодня лишаются власти, хотя, как кажется, не изменился ни весь склад их характера, ни какое-либо отдельное свойство. Объясняется это, я полагаю, теми причинами, которые были подробно разобраны выше, а именно тем, что если государь всецело полагается на судьбу, он не может выстоять против ее ударов.

Я думаю также, что сохраняют благополучие те, чей образ действий отвечает особенностям времени, и утрачивают благополучие те, чей образ действий не отвечает своему времени.

Рафаэль. Папа Юлий II. *1511—1512 гг.*

Юлий II (в миру — Джулиано делла Ровере; 1443— 1513) — Папа Римский с 1 ноября 1503 г. Сделался кардиналом благодаря своему дяде Сикусту IV, а после смерти своего предшественника, Пия III, посулами и подкупом сумел убедить конклав отдать тиару ему. Его понтификат был непрерывной чередой войн (главным образом с Венецией и Францией), в которых Папа часто принимал личное участие. Территория папского государства была таким образом значительно расширена, и для защиты его Юлий II создал швейцарскую гвардию. Интересно, что швейцарцы до сих пор несут охрану Ватикана, причем одеты они в ту же униформу, которая была спроектирована по заказу Юлия II Рафаэлем Санти.

Ибо мы видим, что люди действуют по-разному, пытаясь достичь цели, которую каждый ставит перед собой, то есть богатства и славы: один действует осторожностью, другой – натиском; один – силой, другой – искусством; один – терпением, другой – противоположным способом, и каждого его способ может привести к цели. Но иной раз мы видим, что хотя оба действовали одинаково, например осторожностью, только один из двоих добился успеха, и наоборот, хотя каждый действовал по-своему: один осторожностью, другой натиском, – оба в равной мере добились успеха.

Зависит же это именно от того, что один образ действий совпадает с особенностями времени, а другой – не совпадает. Поэтому бывает так, что двое, действуя по-разному, одинаково добиваются успеха, а бывает так, что двое действуют одинаково, но только один из них достигает цели.

От того же зависят и превратности благополучия: пока для того, кто действует осторожностью и терпением, время и обстоятельства складываются благоприятно, он процветает, но стоит времени и обстоятельствам перемениться, как процветанию его приходит конец, ибо он не переменил своего образа действий.

И нет людей, которые умели бы к этому приспособиться, как бы они ни были благоразумны. Во-первых, берут верх природные склонности, во-вторых, человек не может заставить себя свернуть с пути, на котором он до того времени неизменно преуспевал. Вот почему осторожный государь, когда настает время применить натиск, не умеет этого сделать и оттого гибнет, а если бы его характер менялся в лад с временем и обстоятельствами, благополучие его было бы постоянно.

Папа Юлий всегда шел напролом, время же и обстоятельства благоприятствовали такому образу действий, и потому он каждый раз добивался успеха. Вспомните его первое предприятие – захват Болоньи, еще при жизни мессера Джованни Бентивольи. Венецианцы были против, король Испании тоже, с Францией еще велись об этом переговоры, но Папа сам выступил в поход, с обычной для него неукротимостью и напором.

И никто этому не воспрепятствовал, венецианцы – от страха, Испания – надеясь воссоединить под своей властью Неаполитанское королевство[123]; уступил и французский король, так как, видя, что Папа уже в походе, и желая союза с ним против венецианцев, он решил, что не может без явного оскорбления отказать ему в помощи войсками.

Этим натиском и внезапностью Папа Юлий достиг того, чего не достиг бы со всем доступным человеку благоразумием никакой другой глава Церкви; ибо, останься он в Риме, выжидая, пока все

уладится и образуется, как сделал бы всякий на его месте, король Франции нашел бы тысячу отговорок, а все другие – тысячу доводов против захвата. Я не буду говорить о прочих его предприятиях: все они были того же рода, и все ему удавались; из-за краткости правления он так и не испытал неудачи, но, проживи он дольше и наступи такие времена, когда требуется осторожность, его благополучию пришел бы конец, ибо он никогда не уклонился бы с того пути, на который его увлекала натура.

Итак, в заключение скажу, что фортуна непостоянна, а человек упорствует в своем образе действий, поэтому, пока между ними согласие, человек пребывает в благополучии, когда же наступает разлад, благополучию его приходит конец. И все-таки я полагаю, что натиск лучше, чем осторожность, ибо фортуна – женщина, и кто хочет с ней сладить, должен колотить ее и пинать, – таким она поддается скорее, чем тем, кто холодно берется за дело. Поэтому она, как женщина, – подруга молодых, ибо они не так осмотрительны, более отважны и с большей дерзостью ее укрощают.

Глава XXVI. Призыв овладеть Италией и освободить ее из рук варваров

Обдумывая все сказанное и размышляя наедине с собой,

настало ли для Италии время чествовать нового государя и есть ли в ней материал, которым мог бы воспользоваться мудрый и доблестный человек, чтобы придать ему форму – во славу себе и на благо отечества, – я заключаю, что столь многое благоприятствует появлению нового государя, что едва ли какое-либо другое время подошло бы для этого больше, чем наше.

Как некогда народу Израиля надлежало пребывать в рабстве у египтян, дабы Моисей явил свою доблесть, персам – в угнетении у мидийцев, дабы Кир обнаружил величие своего духа, афинянам – в разобщении, дабы Тезей совершил свой подвиг, так и теперь, дабы обнаружила себя доблесть италийского духа, Италии надлежало дойти до нынешнего ее позора: до большего рабства, чем евреи; до большего унижения, чем персы; до большего разобщения, чем афиняне: нет в ней ни главы, ни порядка; она разгромлена, разорена, истерзана, растоптана, повержена в прах.

Были мгновения, когда казалось, что перед нами тот, кого Бог назначил стать избавителем Италии, но немилость судьбы настигала его на подступах к цели. Италия же, теряя последние силы, ожидает того, кто исцелит ей раны, спасет от разграбления Ломбардию, от поборов – Неаполитанское королевство и Тоскану, кто уврачует ее гноящиеся язвы. Как молит она Бога о ниспослании ей того, кто избавит ее от жестокости и насилия варваров! Как полна она рвения и готовности стать под общее знамя, если бы только нашлось, кому его понести!

И самые большие надежды возлагает она ныне на ваш славный дом, каковой, благодаря доблести и милости судьбы, покровительству Бога и Церкви, глава коей принадлежит к вашему дому[124], мог бы принять на себя дело освобождения Италии. Оно окажется не столь уж трудным, если вы примете за образец жизнь и деяния названных выше мужей. Как бы ни были редки и достойны удивления подобные люди, все же они – люди, и каждому из них выпал случай не столь благоприятный, как этот.

Ибо дело их не было более правым, или более простым, или более угодным Богу. Здесь дело поистине правое – «Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma ibi nulla nisi in armis spes est»[125]. Здесь условия поистине благоприятны, а где благоприятны условия, там трудности отступают, особенно если следовать примеру тех мужей, которые названы мною выше.

Нам явлены необычайные, беспримерные знамения Божии: море расступилось, скала источала воду, манна небесная выпала на землю[126]: все совпало, пророча величие вашему дому. Остальное надлежит сделать вам. Бог не все исполняет сам, дабы не лишить нас свободной воли и причитающейся нам части

славы.

Не удивительно, что ни один из названных выше итальянцев не достиг цели, которой, как можно надеяться, достигнет ваш прославленный дом, и что, при множестве переворотов и военных действий в Италии, боевая доблесть в ней как будто угасла. Объясняется это тем, что старые ее порядки нехороши, а лучших никто не сумел ввести. Между тем ничто так не прославляет государя, как введение новых законов и установлений.

Когда они прочно утверждены и отмечены величием, государю воздают за них почестями и славой; в Италии же достаточно материала, которому можно придать любую форму. Велика доблесть в каждом из ее сынов, но, увы, мало ее в предводителях. Взгляните на поединки и небольшие схватки: как выделяются итальянцы ловкостью, находчивостью, силой. Но в сражениях они как будто теряют все эти качества.

Виной же всему слабость военачальников: если кто и знает дело, то его не слушают, и хотя знающим объявляет себя каждый, до сих пор не нашлось никого, кто бы так отличился доблестью и удачей, чтобы перед ним склонились все остальные. Поэтому за прошедшие двадцать лет во всех войнах, какие были за это время, войска, составленные из одних итальянцев, всегда терпели неудачу, чему свидетели прежде всего Таро, затем Алессандрия, Капуя, Генуя, Вайла, Болонья и Местри.

Алессандрия — город в Ломбардии, взятый французами в 1499 г.

Капуя — взята и разграблена французами в 1501 г.

Генуя — сдалась французам в 1507 г.

Вайла — здесь, близ Лоди, 14 мая 1509 г. венецианские войска потерпели поражение от войск Камбрейской лиги.

Болонья — в 1510 г. была оставлена Папой под давлением войска Альфонса д'Эсте.

Местри — местечко близ Виченцы, сожженное испанцами перед битвой при Ла-Мотта (7 октября 1513 г.; вероятно, Макиавелли говорит именно об этой битве).

Если ваш славный дом пожелает следовать по стопам величайших мужей, ставших избавителями отечества, то первым делом он должен создать собственное войско, без которого всякое

предприятие лишено настоящей основы, ибо он не будет иметь ни более верных, ни более храбрых, ни лучших солдат. Но как бы ни был хорош каждый из них в отдельности, вместе они окажутся еще лучше, если во главе войска увидят своего государя, который чтит их и отличает. Такое войско поистине необходимо, для того чтобы италийская доблесть могла отразить вторжение иноземцев.

Правда, испанская и швейцарская пехота считаются грозными, однако же в той и другой имеются недостатки, так что иначе устроенное войско могло бы не только выстоять против них, но даже их превзойти. Ибо испанцы отступают перед конницей, а швейцарцев может устрашить пехота, если окажется не менее упорной в бою. Мы уже не раз убеждались и еще убедимся в том, что испанцы отступали перед французской кавалерией, а швейцарцы терпели поражение от испанской пехоты.

Последнего нам еще не приходилось наблюдать в полной мере, но дело шло к тому в сражении при Равенне – когда испанская пехота встретилась с немецкими отрядами, устроенными наподобие швейцарских. Ловким испанцам удалось пробраться, прикрываясь маленькими щитами, под копья и, находясь в безопасности, разить неприятеля так, что тот ничего не мог с ними поделать, и если бы на испанцев не налетела конница, они добили бы неприятельскую пехоту.

Таким образом, изучив недостатки того и другого войска, нужно построить новое, которое могло бы устоять перед конницей и не боялось бы чужой пехоты, что достигается как новым родом оружия, так и новым устройством войска. И все это относится к таким нововведениям, которые более всего доставляют славу и величие новому государю.

Итак, нельзя упустить этот случай: пусть после стольких лет ожидания Италия увидит наконец своего избавителя. Не могу выразить словами, с какой любовью приняли бы его жители, пострадавшие от иноземных вторжений, с какой жаждой мщения, с какой неколебимой верой, с какими слезами! Какие двери закрылись бы перед ним?

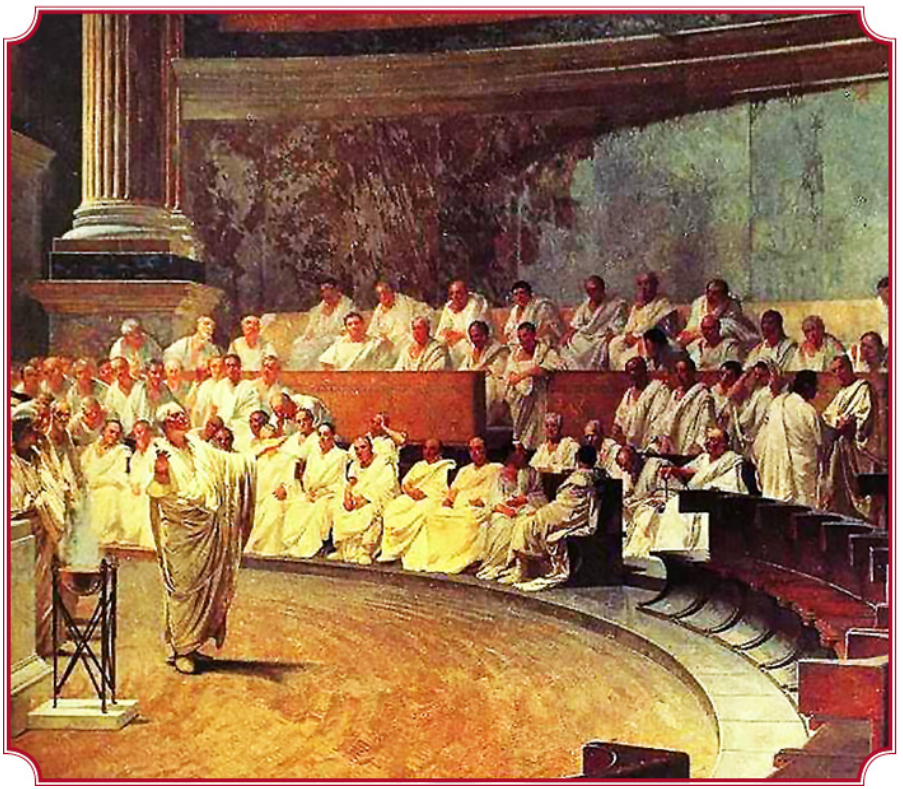
Кто отказал бы ему в повиновении? Чья зависть преградила бы ему путь? Какой итальянец не воздал бы ему почестей? Каждый ощущает, как смердит господство варваров. Так пусть же ваш славный дом примет на себя этот долг с тем мужеством и той надеждой, с какой вершатся правые дела, дабы под сенью его знамени возвеличилось наше отечество и под его водительством сбылось сказанное Петраркой:

Доблесть ополчится на неистовство,

И краток будет бой,
Ибо не умерла еще доблесть
В итальянском сердце[127].

Никколо Макиавелли

Рассуждения о первой декаде Тита Ливия



Никколо Макиавелли. РАССУЖДЕНИЯ О ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ТИТА ЛИВИЯ

Перевод с итальянского *Р. И. Хлодовского*

КНИГА ПЕРВАЯ

Вступление

Хотя по причине завистливой природы человеческой открытие новых политических обычаев и порядков всегда было не менее опасно, чем поиски неведомых земель и морей, ибо люди склонны скорее хулить, нежели хвалить поступки других, я, тем не менее, побуждаемый естественным и всегда мне присущим стремлением делать, невзирая на последствия, то, что, по моему убеждению, способствует общему благу, твердо решил идти непроторенной дорогой, каковая, доставя мне докуки и трудности, принесет мне также и награду от тех, кто благосклонно следил за этими моими трудами.

И если из-за скудости ума, недостаточной искушенности в событиях нынешних и слабого знания событий древних попытка моя окажется безуспешной и не слишком полезной, она все-таки откроет путь кому-нибудь другому, кто, обладая большею силою духа, большим разумом и рассудком, доведет до конца этот мой замысел; поэтому если я и не удостоюсь за труд мой похвал, то и подвергнуться за него порицанию не должен.

Когда я вспоминаю о том, какие почести воздаются древности и сколь часто, – оставляя сейчас в стороне многие другие примеры, – обломок какой-нибудь античной статуи покупается за огромные деньги, чтобы держать его подле себя, украшать им свой дом и выставлять его в качестве образца для подражания всем тем, кто занимается таким же искусством, и как эти последние затем изо всех сил стараются воспроизвести его во всех своих произведениях; и когда я, с другой стороны, вижу, что доблестнейшие деяния, о которых нам повествует история, совершенные в древних царствах и республиках царями, полководцами, гражданами, законодателями и другими людьми, трудившимися на благо отчизны, в наши дни вызывают скорее восхищение, чем подражание, более того, что всякий их до того

сторонится, что от прославленной древней доблести не осталось у нас и следа, – я не могу всему этому не изумляться и вместе с тем не печалиться.

Мое изумление и печаль только еще больше возрастают оттого, что я вижу, как при несогласиях, возникающих у людей в гражданской жизни, или при постигающих их болезнях они постоянно обращаются к тем самым решениям и средствам, которые выносились и предписывались древними. Ведь наши гражданские законы являются не чем иным, как судебными решениями, вынесенными древними юристами.

Будучи упорядоченными, решения эти служат теперь руководством для наших юристов в их судебной практике. Точно так же и медицина является не чем иным, как опытом древних врачей, на котором основываются нынешние врачи, прописывая свои лекарства. Однако как только дело доходит до учреждения республик, сохранения государств, управления королевствами, создания армии, ведения войны, осуществления правосудия по отношению к подданным, укрепления власти, то никогда не находится ни государя, ни республики, которые обратились бы к примеру древних.

Я убежден, что проистекает это не столько от слабости, до которой довела мир нынешняя религия, или же от того зла, которое причинила многим христианским городам и странам тщеславная праздность, сколько от недостатка подлинного понимания истории, помогающего при чтении сочинений историков получать удовольствие и вместе с тем извлекать из них тот смысл, который они в себе содержат.

Именно от этого проистекает то, что весьма многие читающие исторические сочинения с интересом воспринимают разнообразие описываемых в них происшествий, но нимало не помышляют о подражании им, полагая таковое подражание делом не только трудным, но вовсе невозможным, словно бы небо, солнце, стихии, люди изменили со времен античности свое движение, порядок и силу.

Поэтому, желая избавить людей от подобного заблуждения, я счел необходимым написать о всех тех книгах Тита Ливия, которые не разорвала злокозненность времени, все то, что покажется мне необходимым для наилучшего понимания древних и современных событий, дабы те, кто прочтут сии мои разъяснения, смогли бы извлечь из них ту самую пользу, ради которой должно стремиться к познанию истории. Дело это, конечно, не легкое; тем не менее с помощью тех, кто побудил меня взять его на себя, я надеюсь продвинуться в нем так далеко, что преемнику моему останется уже немного дойти до

положенной цели.

Глава II. Скольких родов бывают республики и какова была республика римская

Я хочу не касаться в своих рассуждениях тех городов, которые с самого начала не были независимыми, и стану говорить лишь о таких, которые у истоков своих были далеки от рабского подчинения иноземцам и которые сразу же управлялись своей волей либо как республики, либо как самодержавные княжества. Такого рода города имели различные основы, разные законы и строй. Некоторые из них еще при своем основании или же вскоре после него получали законы от одного человека, и притом сразу. Так, от Ликурга получили законы спартанцы.

Другие, как Рим, получали их от случая к случаю, постепенно, в зависимости от обстоятельств. Подлинно счастливой можно назвать ту республику, где появляется человек столь мудрый, что даваемые им законы обладают такой упорядоченностью, что, подчиняясь им, республика может, не испытывая необходимости в их изменении, жить спокойно и безопасно. Известно, что Спарта свыше восьмисот лет соблюдала свои законы, не извращая их и не переживая гибельных смут. Несколько менее счастлив город, который, не обретя умного и проницательного устроителя, вынужден устраиваться сам собой.

И уже совсем несчастен город, который еще дальше ушел от прочного строя, а дальше всего отстоит от него тот город, который во всех своих порядках совершенно сбился с правильного пути, способного привести его к истинной цели и совершенству. Почти невероятно, чтобы подобный город могли бы выправить какие-нибудь обстоятельства. Те же города, которые – пусть даже они и не обладают совершенным политическим строем – имеют добрую основу, способную к улучшениям, могут при благоприятном стечении обстоятельств достичь совершенства.

Правда, однако, переустройства всегда связаны с опасностью, ибо значительная часть людей никогда не соглашается на новый закон, устанавливающий в городе новый порядок, если только необходимость не докажет им, что без этого не обойтись. А так как такая необходимость никогда не возникает без опасности, то может легко случиться, что республика падет еще до того, как будет приведена к совершенному строю. Это превосходно доказывает пример республики во Флоренции, которую во втором году события под Ареццо вновь восстановили, а в двенадцатом события в Прато вынудили опять распасться.

Итак, желая рассмотреть, каков был политический строй города Рима и какие события привели его к совершенству, я отмечу, что некоторые авторы, писавшие о республиках, утверждали, будто существует три вида государственного устройства, именуемые ими: Самодержавие, Аристократия и Народное правление, и что устанавливающие новый строй в городе должны обращаться к тому из этих трех видов, который покажется им более подходящим.

Другие же авторы, и, по мнению многих, более мудрые, считают, что имеется шесть форм правления – три очень скверные и три сами по себе хорошие, но легко искажаемые и становящиеся вследствие этого пагубными. Хорошие формы правления – суть три вышеназванные; дурные же – три остальные, от трех первых зависящие и настолько с ними родственные, что они легко переходят друг в друга: Самодержавие легко становится тираническим,

Аристократии с легкостью делаются олигархиями, Народное правление без труда обращается в разнузданность. Таким образом, если учредитель республики учреждает в городе одну из трех перечисленных форм правления, он учреждает ее ненадолго, ибо нет средства помешать ей скатиться в собственную противоположность, поскольку схожесть между пороком и добродетелью в данном случае слишком невелика.

Эти различные виды правления возникли у людей случайно. Вначале, когда обитателей на земле было немного, люди какое-то

время жили разобщенно, наподобие диких зверей. Затем, когда род человеческий размножился, люди начали объединяться и, чтобы лучше оберечь себя, стали выбирать из своей среды самых сильных и храбрых, делать их своими вожаками и подчиняться им. Из этого родилось понимание хорошего и доброго в отличие от дурного и злого. Вид человека, вредящего своему благодетелю, вызывал у людей гнев и сострадание.

Они ругали неблагодарных и хвалили тех, кто оказывался благодарным. Потом, сообразив, что сами могут подвергнуться таким же обидам, и дабы избегнуть подобного зла, они пришли к созданию законов и установлению наказаний для их нарушителей. Так возникло понимание справедливости. Вследствие этого, выбирая теперь государя, люди отдавали предпочтение уже не самому отважному, а наиболее рассудительному и справедливому.

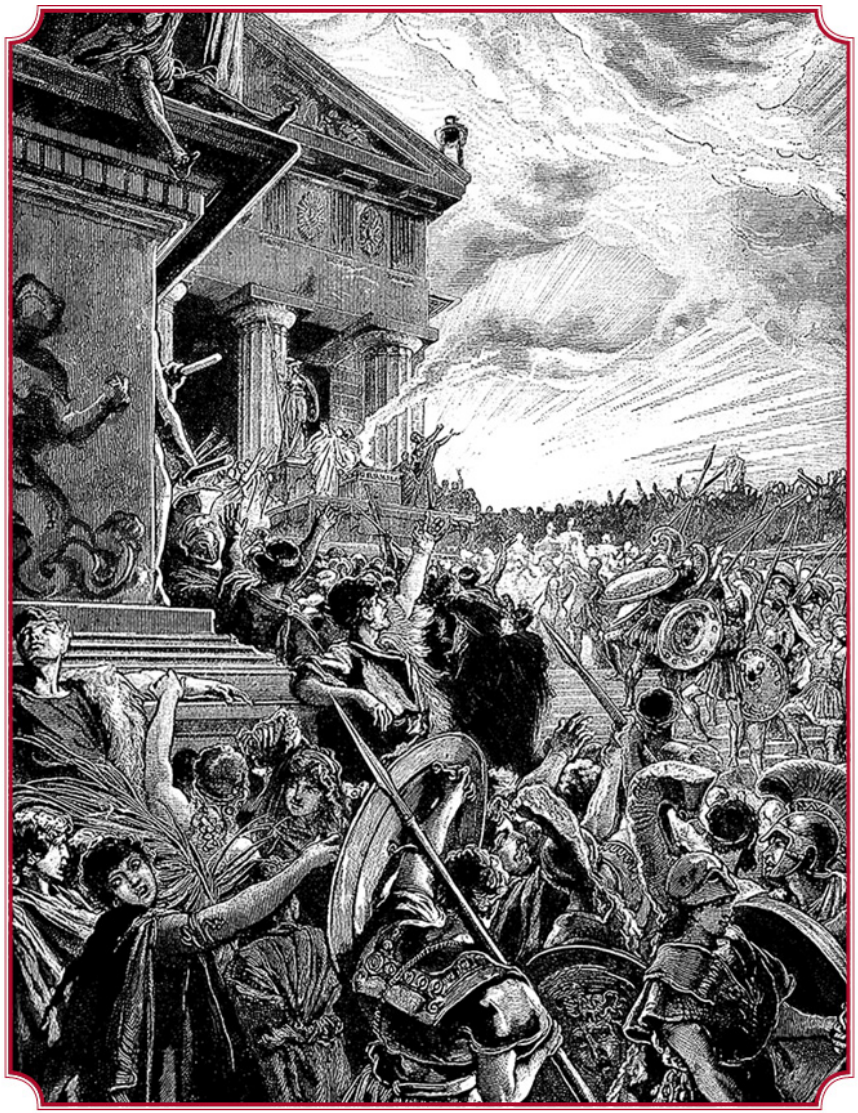
Но так как со временем государственная власть из выборной превратилась в наследственную, то новые, наследственные государи изрядно выродились по сравнению с прежними. Не помышляя о доблестных деяниях, они заботились только о том, как бы им превзойти всех остальных в роскоши, сладострастии и всякого рода разврате. Поэтому государь становился ненавистным; всеобщая ненависть вызывала в нем страх; страх же толкал его на насилия, и все это вскоре порождало тиранию. Этим клалось начало крушению единовластия: возникали тайные общества и заговоры против государей.

Устраивали их люди не робкие и слабые, но те, кто возвышались над прочими своим благородством, великодушием, богатством и знатностью и не могли сносить гнусной жизни государя. Массы, повинуясь авторитету сих могущественных граждан, ополчались на государя и, уничтожив его, подчинялись им, как своим освободителям. Последние, ненавидя имя самодержца, создавали из самих себя правительство. Поначалу, памятуя о прошлой тирании, они правили в соответствии с установленными ими законами, жертвуя личными интересами ради общего блага и со вниманием относясь как к частным, так и к общественным делам.

Однако через некоторое время управление переходило к их сыновьям, которые, не познав превратностей судьбы, не испытав зла и не желая довольствоваться гражданским равенством, становились алчными, честолюбивыми, охотниками до чужих жен, превращая таким образом правление Оптиматов в правление немногих, совершенно не считающееся с нормами общественной жизни. Поэтому сыновей Оптиматов вскоре постигла судьба тирана. Раздраженные их правлением, народные массы с

готовностью шли за всяким, кто только ни пожелал бы выступить против подобных правителей; такой человек немедленно находился и уничтожал их с помощью масс.

Однако память о государе и творимых им бесчинствах была еще слишком свежа; поэтому, уничтожив власть немногих и не желая восстанавливать единовластие государя, люди обращались к Народному правлению и устраивали его так, чтобы ни отдельные могущественные граждане, ни государи не могли бы иметь в нем никакого влияния.



Ликург, дающий законы спартанцам. *Гравюра XIX в.*

Древнеспартанский законодатель Ликург, начало деятельности которого относится к 884 г. до н. э., как повествуют древние авторы, сумел изменить государственное устройство своей страны по примеру Крита, заручившись одобрением дельфийского оракула и содействием влиятельнейших граждан.

Так как любой государственный строй на первых порах внушает к себе некоторое почтение, то Народное правление какое-то время сохранялось, правда, недолго, – пока не умирало создавшее его поколение, ибо сразу же вслед за этим в городе воцарялась разнузданность, при которой никто уже не боялся ни частных лиц, ни общественных; всякий жил как хотел, и каждодневно учинялось множество всяких несправедливостей.

Тогда, вынуждаемые к тому необходимостью, или по наущению какого-нибудь доброго человека, или же из желания покончить с разнузданностью, люди опять возвращались к самодержавию, а затем мало-помалу снова доходили до разнузданности – тем же путем и по тем же причинам.

Таков круг, вращаясь в котором республики управлялись и управляются. И если они редко возвращаются к исходным формам правления, то единственно потому, что почти ни у одной республики не хватает сил пройти через все вышесказанные изменения и устоять. Чаще всего случается, что в пору мучительных перемен, когда республика всегда бывает ослаблена и лишена мудрого совета, она становится добычей какого-нибудь соседнего государства, обладающего лучшим политическим строем. Но если бы этого не происходило, республика могла бы бесконечно вращаться в смене одних и тех же форм правления.

Итак, я утверждаю, что все названные формы губительны: три хорошие по причине их кратковременности, а три дурные – из-за их злокачественности. Поэтому, зная об этом их недостатке, мудрые законодатели избегали каждой из них в отдельности и избирали такую, в которой они оказывались бы перемешанными, считая подобную форму правления более прочной и устойчивой, ибо, сосуществуя одновременно в одном и том же городе, Самодержавие, Оптиматы и Народное правление оглядываются друг на друга.

Из создателей такого рода конституций более всех достоин славы Ликург. Давая Спарте законы, он отвел соответствующую роль Царям, Аристократам и Народу и создал государственный

строй, просуществовавший свыше восьмисот лет и принесший этому городу великую славу и благоденствие. Совсем иное случилось с Солоном, давшим законы Афинам. Установив там одно лишь Народное правление, он дал ему столь краткую жизнь, что еще до своей смерти успел увидеть в Афинах тиранию Писистрата.

И хотя через сорок лет наследники Писистрата были изгнаны и в Афинах возродилась свобода, ибо там было восстановлено Народное правление в соответствии с законами Солона, правление это просуществовало не дольше ста лет, несмотря на то что для поддержания его принимались различные, не предусмотренные самим Солоном постановления, направленные на обуздание наглости дворян и всеобщей разнузданности. Как бы то ни было, так как Солон не соединил Народное правление с сильными сторонами Самодержавия и Аристократии, Афины, по сравнению со Спартой, прожили очень недолгую жизнь.

Обратимся, однако, к Риму. Несмотря на то что в Риме не было своего Ликурга, который бы с самого начала устроил его так, чтобы он мог долгое время жить свободным, в нем создалось множество благоприятных обстоятельств, возникших благодаря разногласиям между Плебсом и Сенатом, и то, чего не совершил законодатель, сделал случай. Поэтому если Риму не повезло вначале, то ему повезло потом.

Первые учреждения его были плохи, но не настолько, чтобы свернуть его с правильного пути, могущего привести к совершенству. Ромул и другие цари создали много хороших законов, отвечающих, между прочим, и требованиям свободы, но так как целью их было основание царства, а не республики, то, когда Рим стал свободным, оказалось, что в нем недостает многого, что надо было бы учредить ради свободы и о чем цари не позаботились.

После того как римские цари лишились власти вследствие обсуждавшихся нами причин и рассмотренным выше образом, изгнавшие их сразу же учредили должность двух Консулов, занявших место Царя, так что из Рима была изгнана не сама царская власть, а лишь ее имя. Таким образом, поскольку в римской республике имелись Консулы и Сенат, она представляла собой соединение двух из трех вышеописанных начал, а именно Самодержавия и Аристократии.

Оставалось только дать место Народному правлению. Поэтому, когда римская знать по причинам, о которых будет говорено дальше, совсем обнаглела, против нее восстал Народ, и, чтобы не потерять всего, ей пришлось поступиться и предоставить Народу его долю в управлении государством. С другой стороны, у

Консулов и Сената сохранилось достаточно власти, чтобы они могли удерживать в республике свое прежнее положение. Так возник институт плебейских Трибунов. После его возникновения состояние римской республики упрочилось, ибо в ней получили место все три правительственных начала.

Судьба была столь благосклонна к Риму, что хотя он переходил от правления Царей и Оптиматов к правлению Народа, проходя через вышеописанные ступени и повинуясь аналогичным причинам, тем не менее царская власть в нем никогда не была полностью уничтожена для передачи ее Оптиматам, а власть Оптиматов не была уменьшена для передачи ее Народу. Смешавшись друг с другом, они сделали республику совершенной. К такому совершенству Рим пришел благодаря раздорам между Плебсом и Сенатом, как это будет подробно показано в двух следующих главах.

Глава III. Какие обстоятельства привели к созданию в Риме плебейских трибунов, каковое сделало республику более совершенной

Как доказывают все, рассуждающие об общественной жизни, и как то подтверждается множеством примеров из истории, учредителю республики и создателю ее законов необходимо заведомо считать всех людей злыми и предполагать, что они

всегда проявят злобность своей души, едва лишь им представится к тому удобный случай. Если же чья-нибудь злобность некоторое время не обнаруживается, то происходит это вследствие каких-то неясных причин, пониманию которых мешает отсутствие опыта; однако ее все равно обнаружит время, называемое отцом всякой истины.

Казалось, что после изгнания Тарквиниев в Риме установилось величайшее согласие между Плебсом и Сенатом; что Знать отказалась от своего высокомерия и настолько прониклась народным духом, что стала выносимой даже для человека из самых низов. Это ее лицемерие не было обнаружено и причины его не были ясны, пока были живы Тарквинии. Боясь их и опасаясь, как бы притесняемый Плебс не примкнул к ним, Знать обращалась с плебеями по-человечески; но едва лишь Тарквинии умерли и у Знати исчез страх перед ними, как она стала извергать на Плебс яд, скопившийся у нее в груди, и угнетать его всеми возможными способами.

Это подтверждает сказанное мной выше: люди поступают хорошо лишь по необходимости; когда же у них имеется большая свобода выбора и появляется возможность вести себя как им заблагорассудится, то сразу же возникают величайшие смуты и беспорядки. Вот почему говорят, что голод и нужда делают людей изобретательными, а законы – добрыми. Там, где что-либо совершается хорошо само собой, без закона, в законе нет надобности; но когда добрый обычай исчезает, закон сразу же делается необходимым.

Поэтому когда умерли Тарквинии, страх перед которыми обуздывал Знать, пришлось подумать о каком-нибудь новом порядке, который оказывал бы такое же действие, что и Тарквинии, пока они были живы. Поэтому после многих смут, волнений и рискованных столкновений между Плебсом и Знатью для безопасности Плебса были учреждены Трибуны. Им были предоставлены большие полномочия, и они пользовались таким уважением, что могли всегда играть роль посредников между Плебсом и Сенатом и противостоять наглости Знати.

Глава IV. О том, что раздоры между плебсом и сенатом сделали Римскую республику свободной и могущественной

Я не хочу оставить без рассмотрения смуты, происходившие в Риме после смерти Тарквиниев и до учреждения Трибунов, и намерен кое-что возразить тем, кто утверждает, будто Рим был республикой настолько подверженной смутам и до того беспорядочной, что, не исправь судьба и военная доблесть его недостатков, он оказался бы ничтожнее всякого другого государства. Я не могу отрицать того, что счастливая судьба и армия были причинами римского владычества; но в данном случае мне представляется неизбежным само возникновение названных причин, ибо хорошая армия имеется там, где существует хороший политический строй, и хорошей армии редко не сопутствует счастье.

Но перейдем к другим примечательным особенностям этого города. Я утверждаю, что осуждающие столкновения между Знатью и Плебсом порицают, по-моему, то самое, что было главной причиной сохранения в Риме свободы; что они обращают больше внимания на ропот и крики, порождавшиеся такими столкновениями, чем на вытекавшие из них благие последствия; и что, наконец, они не учитывают того, что в каждой республике имеются два различных умонастроения – народное и дворянское, и что все законы, принимавшиеся во имя свободы, порождались

разногласиями между народом и грандами.

В этом легко убедиться на примере истории Рима. От Тарквиниев до Гракхов – а их разделяет более трехсот лет – смуты в Риме очень редко приводили к изгнаниям и еще реже – к кровопролитию. Никак нельзя называть подобные смуты губительными. Никак нельзя утверждать, что в республике, которая при всех возникавших в ней раздорах за такой долгий срок отправила в изгнание не более восьми-десяти граждан, почти никого не казнила и очень немногих приговорила к денежному штрафу, отсутствовало внутреннее единство.

И уж вовсе безосновательно объявлять неупорядоченной республику, давшую столько примеров доблести, ибо добрые примеры порождаются хорошим воспитанием, хорошее воспитание – хорошими законами, а хорошие законы – теми самыми смутами, которые многими необдуманно осуждаются. В самом деле, всякий, кто тщательно исследует исход римских смут, обнаружит, что из них проистекали не изгнания или насилия, наносящие урон общему благу, а законы и постановления, укрепляющие общественную свободу.

Возможно, кто-нибудь мне возразит: «Что за странные, чуть ли не зверские нравы: народ скопом орет на Сенат, Сенат – на народ, граждане суматошно бегают по улицам, запирают лавки, все плебеи разом покидают Рим – обо всем этом страшно даже читать». На это я отвечу: всякий город должен обладать обычаями, предоставляющими народу возможность давать выход его честолюбивым стремлениям, а особливо такой город, где во всех важных делах приходится считаться с народом.

Для Рима было обычным, что когда народ хотел добиться нужного ему закона, он либо прибегал к какому-нибудь из вышеназванных действий, либо отказывался идти на войну, и тогда, чтобы успокоить его, приходилось в какой-то мере удовлетворять его желание. Но стремления свободного народа редко бывают губительными для свободы, ибо они порождаются либо притеснениями, либо опасениями народа, что его хотят притеснять.

Если опасения эти необоснованны, надежным средством против них является сходка, на которой какой-нибудь уважаемый человек произносит речь и доказывает в ней народу, что тот заблуждается. Несмотря на то что народ, по словам Туллия, невежествен, он способен воспринять истину и легко уступает, когда человек, заслуживающий доверия, говорит ему правду.

Итак, следует более осмотрительно порицать римскую форму правления и помнить о том, что многие хорошие следствия, имевшие место в римской республике, должны были быть

обусловлены превосходными причинами. И раз смуты были причиной учреждения Трибунов, они заслуживают высшей похвалы. Учреждение Трибунов не только предоставило народу его долю в управлении государством, но и имело своей целью защиту свободы, как то будет показано в следующей главе.

Глава V. Кто лучше охраняет свободы – народ или дворяне, и у кого больше причин для возбуждения смут – у тех, кто хочет приобрести, или же у тех, кто хочет сохранить приобретенное

Те, кто мудро создавали республику, одним из самых необходимых дел почитали организацию охраны свободы. В зависимости от того, кому она вверялась, дольше или меньше сохранялась свободная жизнь. А так как в каждой республике имеются люди знатные и народ, то возникает вопрос, кому лучше поручить названную охрану. У лакедемонян, а во времена более к нам близкие – у венецианцев охрана свободы была отдана в руки Нобилей; но у римлян она была поручена Плебсу.

Необходимо поэтому рассмотреть, какая из этих республик сделала лучший выбор. Если вникать в причины, то можно будет много сказать в пользу каждой из них. Если же взглянуть на результаты, то придется, наверное, отдать предпочтение Нобилям, ибо свобода в Спарте и Венеции просуществовала

дольше, чем в Риме.

Обращаясь к рассмотрению причин, я скажу, имея в виду сперва римлян, что охрану какой-нибудь вещи надлежит поручать тому, кто бы менее жаждал завладеть ей. А если мы посмотрим на цели людей благородных и людей худородных, то, несомненно, обнаружим, что благородные изо всех сил стремятся к господству, а худородные желают лишь не быть порабощенными и, следовательно, гораздо больше, чем гранды, любят свободную жизнь, имея меньше надежд, чем они, узурпировать общественную свободу.

Поэтому естественно, что когда охрана свободы вверена народу, он печется о ней больше и, не имея возможности сам узурпировать свободу, не позволяет этого и другим.

Но, с другой стороны, защитники спартанского и венецианского строя говорят, что при вручении охраны свободы людям могущественным и знатным сразу достигаются две важные цели: во-первых, благодаря этому знать удовлетворяет свое честолюбие и, занимая господствующее положение в республике, держа в своих руках дубину власти, имеет все основания чувствовать себя вполне довольной; а во-вторых, этим сильно ослабляется мятежный дух черни, являющийся причиной бесконечных раздоров и беспорядков в республике и способный довести Знать до такого отчаяния, которое со временем принесет дурные плоды.

В качестве примера они ссылаются на тот же Рим, где после установления должности плебейских Трибунов чернь, получив в свои руки власть, не довольствовалась одним плебейским Консулом, но пожелала, чтобы оба Консула были плебейскими. Потом она потребовала себе Цензуру, Претуру и все другие высшие правительственные должности в государстве. Но и это ее не удовлетворило; поэтому, увлекаемая все тем же неистовством, она начала обожать людей, которых считала способными сокрушить знать. Это породило могущество Мария и погубило Рим.

Поистине, тому, кто должным образом взвесит одну и другую возможность, не легко будет решить, кому следует поручить охрану свободы, не уяснив предварительно, какая из человеческих склонностей пагубнее для республики – та ли, что побуждает сохранять приобретенные почести, или же та, что толкает на их приобретение.

Всякий, кто тщательно исследует этот вопрос со всех сторон, придет в конце концов к следующему выводу: ты рассуждаешь либо о республике, желающей создать империю, подобную Риму, либо о той, которой достаточно просто уцелеть. В первом случае

надо делать все, как делалось в Риме; во втором – можно подражать Венеции и Спарте по причинам, о которых будет сказано в следующей главе.

Но, возвращаясь к рассмотрению того, какие люди опаснее для республики – те ли, что жаждут приобретать, или же те, кто боится утратить приобретенное, – укажу, что когда для раскрытия заговора, возникшего в Капуе против Рима, Марк Менений был сделан диктатором, а Марк Фульвий – начальником конницы (оба были плебеями), они получили от народа также и полномочия установить, кто в самом Риме с помощью подкупа и вообще незаконными путями затевает получить консульство и другие должности.

Знать сочла, что таковые полномочия, данные диктатору, были направлены против нее, и распустила по Риму слухи, будто почетных должностей подкупом и незаконным способом ищут не знатные люди, а худородные, которые, не имея возможности полагаться на происхождение и собственные доблести, пытаются достичь высокого положения незаконным путем. Особенно в этом обвиняли самого диктатора. Обвинения эти были настолько серьезны, что Менений, созвав сходку и жалуясь на клевету, возведенную на него знатью, сложил с себя диктатуру и отдался на суд народа.

Дело его разбиралось, и он был оправдан. На суде много спорили о том, кто честолюбивее – тот ли, кто хочет сохранить приобретенную власть, или же тот, кто стремится к ее приобретению, ибо и то и другое желание легко может стать причиной величайших смут. Чаще всего, однако, таковые смуты вызываются людьми имущими, потому страх потерять богатство порождает у них те же страсти, которые свойственны неимущим, ибо никто не считает, что он надежно владеет тем, что у него есть, не приобретая большего. Не говоря уж о том, что более богатые люди имеют большие возможности и средства для учинения пагубных перемен.

Кроме того, нередко случается, что их наглое и заносчивое поведение зажигает в сердцах людей неимущих желание обладать властью либо для того, чтобы отомстить обидчикам, разорив их, либо для того, чтобы самим получить богатство и почести, которыми те злоупотребляют.

Глава VI. Возможно ли было установить в Риме такой строй, который уничтожил бы вражду между народом и сенатом

Выше мы рассуждали о последствиях, которые имели раздоры между Народом и Сенатом. Однако, проследив их до времени Гракхов, когда они сделались причиной крушения свободной жизни, вероятно, найдется кто-нибудь, кто пожелает, чтобы Рим достиг великих результатов без того, чтобы в нем существовала вышеназванная вражда. Поэтому мне кажется делом, достойным внимания, посмотреть, можно ли было установить в Риме такой строй, который уничтожил бы упомянутые раздоры.

А желая исследовать это, необходимо обратиться к тем республикам, которые долгое время просуществовали свободными без подобной вражды и смут, и посмотреть, каков был у них строй и можно ли было ввести его в Риме. В качестве примера у древних возьмем Спарту, а у наших современников Венецию – государства, о которых я уже говорил.

В Спарте был царь и небольшой Сенат, который ею управлял. Венеция же не имеет различных наименований для членов правительства; все, кто могут принимать участие в управлении, называются там одним общим именем – Дворяне. Такой обычай возник в Венеции больше благодаря случаю, нежели мудрости ее законодателей.

Дело обстояло вот как: на небольших клочках суши, где

расположен теперь город, в силу причин, о которых уже говорилось, скопилось много людей. Когда число их возросло настолько, что для продолжения совместной жизни им потребовались законы, они установили определенную форму правления; часто собираясь вместе на советы, на которых решались вопросы, касающиеся города, они в конце концов постановили, что их вполне достаточно для нормальной политической жизни, и закрыли возможность для участия в правлении всем тем, кто поселился бы там позднее.

А так как со временем в Венеции оказалось довольно много жителей, не имеющих доступа к правлению, то, дабы почтить тех, кто правил, их стали именовать Дворянами, всех же прочих – Пополанами.

Подобный порядок смог возникнуть и сохраниться без смут, потому что когда он родился, любой из тогдашних обитателей Венеции входил в правительство, так что жаловаться было некому; те же, кто поселился в ней позднее, найдя государство прочным и окончательно сложившимся, не имели ни причин, ни возможностей для смут. Причин у них не было потому, что никто их ничего не лишил; возможностей же у них не было оттого, что правители держали их прочно в узде и не использовали там, где они могли бы приобрести авторитет.

Кроме того, тех, кто поселился в Венеции позднее, не было слишком много, так что не существовало диспропорции между теми, кто правил, и теми, кем управляли: число Дворян либо равнялось числу Пополанов, либо превосходило его. Вот причины того, почему Венеция смогла учредить у себя такой строй и сохранить его в целостности.

Спарта, как я уже говорил, управлялась Царем и небольшим Сенатом. Она смогла просуществовать столь долгое время, потому что в Спарте было мало жителей и потому что в нее был закрыт доступ для чужестранцев, желавших там поселиться, а также потому, что, почитая законы Ликурга (их соблюдение уничтожало все причины для смут), спартанцы смогли долго сохранять внутреннее единство.

Ликург своими законами установил в Спарте имущественное равенство и неравенство общественных положений; там все были равно бедны; плебеи не обладали там честолюбием, ибо высокие общественные должности в городе распространялись на немногих граждан и Плебс не подпускался к ним даже близко; аристократы же своим дурным обращением никогда не вызывали у плебеев желания завладеть этими должностями.

Такое положение было создано спартанскими Царями, которые, обладая самодержавной властью и будучи окруженными

со всех сторон Знатью, не имели более верного средства для поддержания своего достоинства, нежели предоставление Плебсу защиты от всякого рода обид. Благодаря этому Плебс не испытывал страха и не стремился к государственной власти; а так как у него не было государственной власти и он не испытывал страха, то тем самым не возникло соперничества между ним и Знатью, отпала причина для смут, и Плебс и Знать могли долгое время сохранять единство.

Два важных обстоятельства обусловливали это единство: во-первых, в Спарте было мало жителей, и поэтому они могли управляться немногими; во-вторых, не допуская в свою республику иноземцев, спартанцы не имели случая ни развратиться, ни до такой степени увеличиться численно, чтобы для них стало невыносимым управляющее ими меньшинство.

Таким образом, приняв все это во внимание, ясно, что законодателям Рима, дабы в Риме установилось такое же спокойствие, как в вышеназванных республиках, необходимо было сделать одно из двух: либо, подобно венецианцам, не использовать плебеев на войне, либо, подобно спартанцам, не допускать к себе чужеземцев. Вместо этого они делали и то и другое, что придало Плебсу силу, увеличило его численно и предоставило ему множество поводов для учинения смут.

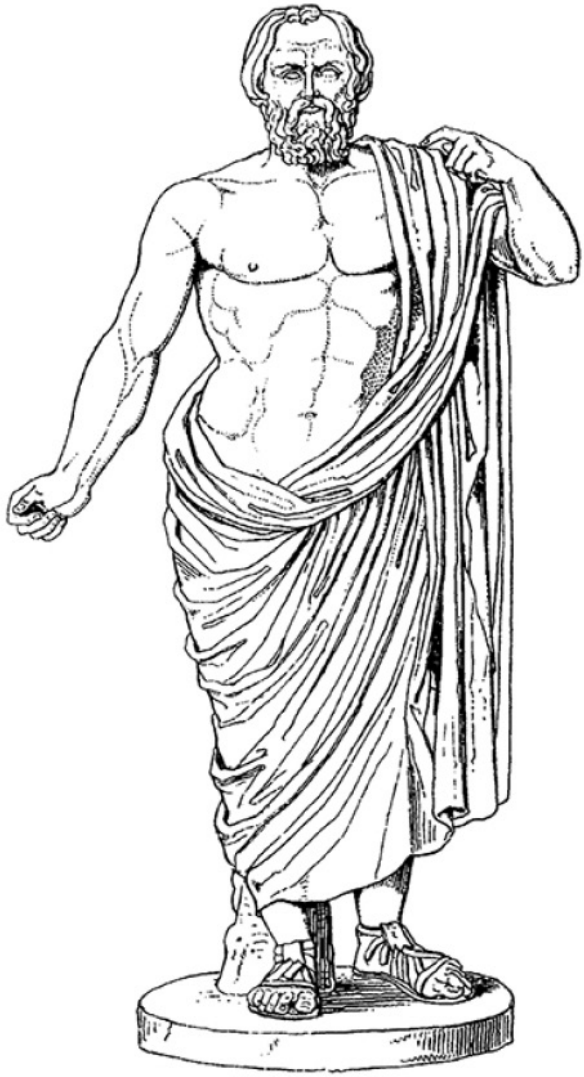
Однако если бы римское государство было более спокойным, это повлекло бы за собой следующее неудобство: оно оказалось бы также более слабым, ибо отрезало бы себе путь к тому величию, которого оно достигло. Таким образом, пожелай Рим уничтожить причины смут, он уничтожил бы и причины, расширившие его границы.

Если вглядеться получше, то увидишь, что так бывает во всех делах человеческих: никогда невозможно избавиться от одного неудобства, чтобы вместо него не возникло другое. Поэтому, если ты хочешь сделать народ настолько многочисленным и хорошо вооруженным, чтобы создать великую державу, тебе придется наделить его такими качествами, что ты потом уже не сможешь управлять им по своему усмотрению.

Если же ты сохранишь народ малочисленным или безоружным, дабы иметь возможность делать с ним все, что угодно, то когда ты придешь к власти, ты либо не сможешь удержать ее, либо народ твой станет настолько труслив, что ты сделаешься жертвой первого же, кто на тебя нападет. При каждом решении надо смотреть, какой выбор представляет меньше неудобств, и именно его считать наилучшим, ибо никогда не бывает так, чтобы все шло без сучка без задоринки.

Рим, таким образом, мог по образу Спарты установить у себя

пожизненную власть государя и учредить небольшой Сенат, но, желая создать великую державу, он не мог, подобно Спарте, не увеличивать число своих граждан; по этой причине пожизненный Царь и малочисленный Сенат мало способствовали бы его единству.



Древнегреческий законодатель Ликург
(IX или XVIII в. до н. э.).
Рисунок с античной статуи

Вот почему если кто пожелает заново учредить республику, ему надо будет прежде всего поразмыслить над тем, желает ли

он, чтобы она расширила, подобно Риму, свои границы и могущество или же чтобы она осталась в узких пределах. В первом случае необходимо устроить ее, как Рим, и дать самый широкий простор для смут и общественных несогласий, ибо без большого числа и притом хорошо вооруженных граждан республика никогда не сможет вырасти или, если она вырастет, сохраниться.

Во втором случае ее можно устроить наподобие Спарты и Венеции; но так как территориальное расширение – яд для подобных республик, надо, чтобы ее учредитель всеми возможными средствами запретил ей завоевания, ибо завоевания, опирающиеся на слабую республику, приводят к ее крушению. Так было со Спартой и с Венецией. Первая из них, подчинив себе почти всю Грецию, обнаружила при ничтожной неудаче непрочность своих основ: восстания в греческих городах, последовавшие за восстанием в Фивах, поднятым Пелонидом, полностью сокрушили эту республику.

То же самое случилось и с Венецией: захватив значительную часть Италии – в большинстве случаев не посредством войн, а благодаря деньгам и хитрости, – она, как только ей пришлось доказать свою силу, в один день утратила все.

Я готов поверить, что можно создать долговечную республику, придав ей такой же внутренний строй, какой был в Спарте или в Венеции; чтобы помещалась она в укрепленном месте и обладала такой силой, что никто не считал бы возможным тут же ее уничтожить; а с другой стороны, чтобы она не была настолько могущественна, дабы внушать страх своим соседям. В этом случае она могла бы долго наслаждаться своим строем. Ведь война против того или иного государства ведется по двум причинам: во-первых, для того чтобы стать его господином, во-вторых, из боязни, как бы оно на тебя не напало.

Обе эти причины почти полностью устраняются вышесказанным способом. Если республику, хорошо подготовленную к обороне, трудно будет одолеть, то, как я полагаю, вряд ли случится, чтобы кто-нибудь задумал ее завоевывать. В то же время, если она не будет выходить из своих пределов и опыт докажет, что она лишена честолюбия, никто из страха за себя не начнет против нее войну, особливо если конституция или специальный закон будут запрещать ей захват чужих территорий.

Я твердо верю, что, имейся возможность сохранить состояние подобного равновесия, в городе установилась бы истинная политическая жизнь и полное спокойствие. Однако поскольку все дела человеческие находятся в движении, то, не будучи в

состоянии оставаться на месте, они идут либо вверх, либо вниз, и необходимость вынуждает тебя к тому, что отвергает твой разум. Так что, когда республику, не приспособленную к территориальным расширениям, необходимость заставляет расшириться, она теряет свои основы и гибнет еще быстрее.

Но, с другой стороны, если бы Небо оказалось к ней столь благосклонным, что ей не пришлось бы вести войну, праздность сделала бы ее либо изнеженной, либо раздробленной. То и другое вместе или порознь стало бы причиной ее падения. Потому, так как невозможно, по-моему, ни добиться названного равновесия, ни избрать средний путь, надо при учреждении республики думать о более почетной для нее роли и устраивать республику так, чтобы когда необходимость вынудит ее к территориальным расширениям, она сумела бы сохранить свои завоевания.

Возвращаясь к началу своих рассуждений, скажу, что считаю нужным следовать римскому строю, а не строю всех прочих республик, ибо не думаю, что можно отыскать промежуточную форму правления, и полагаю, что следует примириться с враждой, возникающей между Народом и Сенатом, приняв ее как неизбежное неудобство для достижения римского величия. Помимо всех прочих доводов, которыми доказывается необходимость трибунской власти для охраны свободы, нетрудно заметить благотворность для республики правомочия обвинять, которым, наряду с другими правами, были наделены Трибуны.

Глава IX. О том, что необходимо быть одному, если желаешь заново основать республику или же преобразовать ее, полностью искоренив в ней старые порядки

Возможно, кому-нибудь покажется, что я слишком углубился в римскую историю, не сказав, однако, ничего ни об основателях римской республики, ни об ее учреждениях, имеющих касательство к религии и армии. Потому, не желая испытывать дольше терпение тех, кто хотел бы узнать кое-что об этом предмете, скажу: многие почтут, пожалуй, дурным примером тот факт, что основатель гражданского образа жизни, каковым был Ромул, сперва убил своего брата, а затем дал согласие на убийство Тита Тация Сабина, избранного ему в сотоварищи по царству.

Полагающие так считают, что подданные подобного государя смогут, опираясь на его авторитет, из честолюбия или жажды власти притеснять тех, кто стал бы восставать против их собственного авторитета. Такое мнение было бы справедливым, если бы не учитывалась цель, подвигнувшая Ромула на убийство.

Следует принять за общее правило следующее: никогда или почти никогда не случалось, чтобы республика или царство с самого начала получали хороший строй или же преобразовывались бы заново, отбрасывая старые порядки, если они не учреждались одним человеком. Напротив, совершенно необходимо, чтобы один-единственный человек создавал облик нового строя и чтобы его разумом порождались все новые учреждения.

Вот почему мудрый учредитель республики, всей душой стремящийся не к собственному, но к общему благу, заботящийся не о своих наследниках, но об общей родине, должен всячески стараться завладеть единовластием. И никогда ни один благоразумный человек не упрекнет его, если ради упорядочения царства или создания республики он прибегнет к каким-нибудь чрезвычайным мерам. Ничего не поделаешь: обвинять его будет содеянное – оправдывать результат; и когда результат, как у Ромула, окажется добрым, он будет всегда оправдан.

Ибо порицать надо того, кто жесток для того, чтобы портить, а не того, кто бывает таковым, желая исправлять. Ему надлежит быть очень рассудительным и весьма доблестным, дабы захваченная им власть не была унаследована другим, ибо, поскольку люди склонны скорее ко злу, нежели к добру, легко может случиться, что его наследник станет тщеславно пользоваться тем, чем сам он пользовался доблестно. Кроме того, хотя один человек способен создать определенный порядок,

порядок этот окажется недолговечным, если будет опираться на плечи одного-единственного человека.

Гораздо лучше, если он будет опираться на заботу многих граждан и если многим гражданам будет вверено его поддержание. Ибо народ не способен создать определенный порядок, не имея возможности познать его благо по причине царящих в народе разногласий, но когда благо сего порядка народом познано, он не согласится с ним расстаться.

А что Ромул заслуживает извинения за убийство брата и товарища и что содеянное им было совершено во имя общего блага, а не ради удовлетворения личного тщеславия, доказывает, что сразу же вслед за этим он учредил Сенат, с которым советовался и в зависимости от мнения которого принимал свои решения.

Всякий, кто посмотрит как следует, какую власть сохранил за собой Ромул, увидит, что она ограничивалась правом командовать войском, когда объявлялась война, и собирать Сенат. Это выявилось позднее, когда в результате изгнания Тарквиниев Рим стал свободным. Тогда римлянами не было обновлено ни одно из древних учреждений, только вместо одного несменяемого Царя появилось два избираемых ежегодно Консула; это доказывает, что все порядки, существовавшие в Риме прежде, более соответствовали гражданскому и свободному строю, нежели строю абсолютистскому и тираническому.

В подтверждение вышесказанного можно было бы привести множество примеров – Моисея, Ликурга, Солона и других основателей царств и республик, которые, благодаря тому что они присвоили себе власть, смогли издать законы, направленные на общее благо, – но я не стану касаться всех этих примеров, считая их широко известными. Укажу лишь на один из них, не очень знаменитый, но достойный внимания тех, кому хотелось бы стать хорошим законодателем.

Ромул и Рем — легендарные братья-основатели Рима.
Изображение на фасаде монастыря Чертоза в современной итальянской провинции Павия

Агид, царь Спарты, хотел снова ввести спартанцев в те пределы, которые установили для них законы Ликурга, ибо полагал, что, выйдя из них, его город в значительной мере утратил свою древнюю доблесть, а вместе с ней также и свою силу и военное могущество; он был сразу же убит спартанскими Эфорами, как человек, якобы стремящийся к установлению тирании. После него царствовал Клеомен; у него возникло то же самое желание под влиянием найденных им сочинений и воспоминаний об Агиде, из которых он узнал, каковы были у того намерения и помыслы.

Но Клеомен понял, что не сможет добиться блага родины, не став единовластным правителем. Он считал, что людское честолюбие помешает ему принести пользу многим вопреки желанию немногих, и приказал убить всех Эфоров, а также

некоторых других граждан, могущих оказать ему сопротивление, после чего полностью восстановил законы Ликурга.

Такое решение могло возродить Спарту и принести Клеомену не меньшую славу, чем та, какой пользовался Ликург, не будь тогда могучей Македония, а остальные греческие государства – слишком слабыми. Ибо после установления в Спарте новых порядков Клеомен подвергся нападению македонян; оказавшись слабее их и не имея к кому обратиться за помощью, он был побежден, а его замысел, справедливый и достойный всяческих похвал, так и остался незавершенным.

Приняв все это во внимание, я прихожу к заключению, что для основания республики надо быть одному. Ромул же за убийство Рема и Тита Тация заслуживает извинения, а не порицания.

Глава X. Сколь достойны всяческих похвал основатели республики или царства, столь же учредители тирании гнусны и презренны

Из всех прославляемых людей более всего прославляемы главы и учредители религий. Почти сразу же за ними следуют основатели республик или царств. Несколько ниже на лестнице славы стоят те, кто, возглавляя войска, раздвинули пределы собственного царства или же своей родины. Потом идут писатели.

А так как пишут они о разных вещах, то каждый из писателей бывает знаменит в соответствии с важностью своего предмета.

Всем прочим людям, число которых безмерно, воздается та доля похвал, которую приносит им их искусство и сноровка. Наоборот, гнусны и омерзительны искоренители религий, разрушители республик и царств, враги доблести, литературы и всех прочих искусств, приносящих пользу и честь роду человеческому, иными словами – люди нечестивые, насильники, невежды, недотепы, лентяи и трусы.

Нет никого, кто окажется так глуп или же так мудр, так подл или так добродетелен, что, представься ему выбор, он не станет хвалить людей, достойных похвал, и порицать достойных порицания. Тем не менее почти все, обманутые видимостью мнимого блага и ложной славы, вольно или невольно скатываются в число именно тех людей, которые заслуживают скорее порицаний, нежели похвал.

Имея возможность заслужить огромный почет созданием республики или царства, они обращаются к тирании и не замечают, какой доброй репутации, какой славы, какой чести, какой безопасности и какого душевного спокойствия, вместе с внутренним удовлетворением, они при этом лишаются, на какое бесславие, позор, опасность, тревоги они себя обрекают.

Невозможно, чтобы люди, как живущие частной жизнью в какой-либо республике, так и те, кто благодаря судьбе и собственной доблести сделались в ней государями, если бы только они читали сочинения историков и извлекали драгоценные уроки из воспоминаний о событиях древности, не пожелали – те, что живут частной жизнью у себя на родине, быть скорее Сципионами, чем Цезарями, те же, кто стал там государями, оказаться скорее Агесилаями, Тимолеонтами, Дионами, нежели Набидами, Фаларисами, Дионисиями, ибо они увидели бы, что последние страшным образом поносятся, а первые превозносятся до небес.

Кроме того, они узнали бы, что Тимолеонт и другие пользовались у себя на родине ничуть не меньшим авторитетом, чем Дионисий и Фаларис, но жили в несравненно большей безопасности.

И пусть никого не обманывает слава Цезаря, как бы сильно ни прославляли его писатели, ибо хваливших Цезаря либо соблазнила его счастливая судьба, либо устрашила продолжительность существования императорской власти, которая, сохраняя его имя, не допускала, чтобы писатели свободно о нем говорили. Однако если кому-нибудь захочется представить, что сказали бы о Цезаре неутесненные писатели,

пусть почитает он, что пишут они о Катилине.

Цезарь заслужил даже большего порицания; ведь больше надобно порицать того, кто причинил, а не того, кто хотел причинить зло. Пусть почитает он также, какие хвалы воздаются историками Бруту; поскольку могущество Цезаря не позволило им ругать его открыто, они прославляли его врага.

Пусть тот, кто сделался государем в республике, посмотрит, насколько больше похвал воздавалось в Риме, после того как Рим стал Империей, императорам, жившим согласно законам и как добрые государи, по сравнению с теми из них, которые вели прямо противоположный образ жизни. Он увидит, что Тит, Нерва, Траян, Антонин и Марк не нуждались для своей защиты ни в преторианской гвардии, ни во множестве легионов, ибо защитой им служили их собственные нравы, расположение народа и любовь Сената.

Он увидит также, что всех западных и восточных армий не хватило для того, чтобы уберечь Калигулу, Нерона, Вителлин и многих других преступных императоров от врагов, которых порождали их пороки и злодейская жизнь. Если бы история римских императоров была как следует рассмотрена, она могла бы послужить хорошим руководством для какого-нибудь государя и показать ему пути славы и позора, безопасности и вечных опасений за собственную жизнь.

Ведь из двадцати шести императоров от Цезаря до Максимилиана шестнадцать были убиты и лишь десять умерли своей смертью. Если в числе убитых оказалось несколько хороших императоров, вроде Гальбы и Пертинакса, то причиной тому было разложение, до которого довели солдат их предшественники. А если среди императоров, умерших естественной смертью, оказался злодей вроде Севера, то объясняется это единственно его величайшим счастьем и доблестью, двумя обстоятельствами, сопутствующими жизни очень немногих людей.

Кроме того, прочтя историю римских императоров, государь увидит, как можно образовать хорошую монархию, ибо все императоры, получившие власть по наследству, за исключением Тита, были плохими; те же из них, кто получил власть в силу усыновления, оказались хорошими; пример тому – пять императоров от Нервы до Марка; когда императорская власть стала наследственной, она пришла в упадок.

Так вот, пусть государь взглянет на время от Нервы до Марка и сопоставит его с временем, бывшим до них и после них; а затем пусть выбирает, в какое время он хотел бы родиться и какому времени – положить начало. Во времена, когда у власти стояли добрые мужи, он увидит ничего не страшащегося государя,

окруженного ничего не опасающимися гражданами, жизнь, преисполненную мира и справедливости; он увидит Сенат со всеми его правомочиями, магистратов во всей их славе, богатых граждан, радующихся своему богатству, благородство и доблесть, повсеместно почитаемые; он увидит, что повсюду воцарилось спокойствие и благо; и вместе с тем – что всюду исчезли обиды, разнузданность, разврат и тщеславие; он увидит золотой век, когда всякому человеку предоставлена возможность отстаивать и защищать любое мнение.

И, наконец, он увидит торжество мира: государя, почитаемого и прославляемого, народ, преисполненный любви и верности. Если же затем он получше всмотрится во времена иных императоров, то увидит времена те ужасными из-за войн, мятежными из-за пороков, жестокими и в дни войны, и в дни мира; он увидит множество государей, гибнущих от меча, неисчислимые гражданские и внешние войны, Италию, удрученную неслыханными несчастиями, города, разрушенные и разграбленные. Он увидит пылающий Рим, Капитолий, разрушенный собственными гражданами, древние храмы осквернённые, поруганные обряды, города, наполненные прелюбодеями; он увидит море, покрытое ссыльными, скалы, залитые кровью.

Он увидит, как в Риме совершаются бесчисленные жестокости, как благородство, богатство, прошлые заслуги, а больше всего доблесть вменяются в тягчайшие преступления, караемые смертью. Он увидит, как награждают клеветников, как слуг подкупают доносить на господ, вольноотпущенников – на их хозяев и как те, у кого не нашлось врагов, угнетаются своими друзьями. Вот тогда-то он очень хорошо поймет, чем обязаны Цезарю – Рим, Италия, весь мир.

Нет сомнения в том, что если только государь этот рожден человеком, он с ужасом отвратится от подражания дурным временам и воспылает страстным желанием следовать примеру времен добрых. Поистине государь, ищущий мирской славы, должен желать завладеть городом развращенным – не для того, чтобы его окончательно испортить, как это сделал Цезарь, но дабы, подобно Ромулу, полностью преобразовать его.

И воистину, ни небеса не способны дать людям большей возможности для славы, ни люди не могут жаждать большего. И если государь, желавший дать городу хороший строй, но не давший его из боязни потерять самодержавную власть, заслуживает некоторого извинения, то нет никакого оправдания тому государю, который не преобразовал город, имея возможность сохранить единодержавие. Вообще пусть помнят те,

кому небеса предоставляют такую возможность, что перед ними открываются две дороги: одна приведет их к жизни в безопасности и прославит их после смерти, другая – обречет их на непрестанные тревоги и после смерти покроет их вечным позором.

Глава XI. О религии римлян

Случилось так, что первым своим устроителем Рим имел Ромула и от него, как если бы он был ему сыном, получил жизнь и воспитание. Однако, решив, что порядки, учрежденные Ромулом, не достаточны для столь великой державы, небеса внушили римскому Сенату решение избрать преемником Ромула Нуму Помпилия, дабы он упорядочил все то, что Ромул оставил после себя недоделанным.

Найдя римский народ до крайности диким и желая заставить его подчиняться нормам общественной жизни посредством мирных средств, Нума обратился к религии как к вещи совершенно необходимой для поддержания цивилизованности и так укоренил ее в народе, что потом в течение многих веков не было республики, в которой наблюдалось бы большее благочестие; оно-то и облегчило как римскому Сенату, так и отдельным великим римлянам осуществление всех задумываемых ими предприятий.

Всякий, кто рассмотрит бесчисленные действия всего народа Рима в целом, а также отдельных римлян, увидит, что римские граждане гораздо больше страшились нарушить клятву, нежели закон, как те, кто почитают могущество бога превыше могущества людей. Это ясно видно на примере Сципиона и Манлия Торквата.

После разгрома, учиненного римлянам при Каннах Ганнибалом, многие римские граждане собрались вместе и, отчаявшись в спасении родины, решили покинуть Италию и уехать в Сицилию. Прослышав про то, Сципион разыскал их и, обнажив меч, заставил их поклясться не покидать родину.

Луций Манлий, отец Тита Манлия, прозванного впоследствии Торкватом, был как-то обвинен плебейским Трибуном Марком Помпонием; однако, прежде чем настал день суда, Тит явился к Марку и, грозя убить его, если только он не поклянется снять с отца обвинение, заставил его дать в том клятву, и тот, поклявшись из страха, отказался потом от обвинения.

Так вот, те самые граждане, которых не могли удержать в Италии ни любовь к родине, ни отеческие законы, были удержаны насильно данною клятвой. А упомянутый Трибун пренебрег ненавистью, обидой, нанесенной ему сыном Луция Манлия, собственной честью, чтобы только никак не нарушить данной им клятвы. Порождалось же это не чем иным, как тою религией, которую Нума насадил в Риме.

Кто хорошо изучит римскую историю, увидит, насколько религия помогала командовать войсками, воодушевлять Плебс, сдерживать людей добродетельных и посрамлять порочных. Так что если бы зашел спор о том, какому государю Рим обязан больше – Ромулу или же Нуме, то, как мне кажется, предпочтение следовало бы отдать Нуме, ибо там, где существует религия, легко создать армию, там же, где имеется армия, но нет религии, насадить последнюю чрезвычайно сложно.

Известно, что для основания Сената и для установления других гражданских и военных учреждений Ромулу не понадобилось авторитета бога. Однако авторитет сей весьма пригодился Нуме; он делал вид, будто завел дружбу с Нимфой и что именно она советовала ему все то, что он потом рекомендовал народу. Проистекало это из того, что Нума хотел ввести новые, невиданные дотоле порядки и не был уверен, хватит ли для этого его собственного авторитета.

В самом деле, ни у одного народа не было никогда учредителя чрезвычайных законов, который не прибегал бы к Богу, ибо в противном случае законы их не были бы приняты; ибо много есть благ, познанных человеком рассудительным, которые сами по себе не столь очевидны, чтобы и все прочие люди могли

сразу же оценить их достоинства. Вот почему мудрецы, желая устранить подобную трудность, прибегают к богам. Так поступал Солон, и так же поступали многие другие законодатели, преследовавшие те же самые цели, что были у Ликурга и у Солона.

Так вот, восхищаясь добротой и мудростью Нумы, римский Народ подчинялся всем его решениям. Правда, времена тогда были весьма религиозные, а люди, над которыми ему приходилось трудиться, были совсем неотесанные. Это сильно облегчало Нуме исполнение его замыслов, ибо он мог лепить из таких людей все, что хотел.

Кто захотел бы в наши дни создать республику, нашел бы для нее более подходящий материал среди горцев, которых еще не коснулась культура, а не среди людей, привыкших жить в городах, где культура пришла в упадок. Так скульптору легче извлечь прекрасную статую из неотесанного куска мрамора, нежели из плохо обработанного кем-нибудь другим.

Итак, рассмотрев все сказанное, я прихожу к выводу, что введенная Нумой религия была одной из первейших причин счастия Рима, ибо религия эта обусловила добрые порядки, добрые же порядки породили удачу, а удача приводила к счастливому завершению всякое предприятие. Подобно тому как соблюдение культа божества является причиной величия государств, точно так же пренебрежение этим культом является причиною их гибели.

Ибо там, где отсутствует страх перед Богом, неизбежно случается, что царство либо погибает, либо страх перед государем восполняет в нем недостаток религии. Но поскольку жизнь государей коротка, то и случается, что такое царство существует лишь до тех пор, пока существует доблесть его царя. Вот почему царства, зависящие только от доблести одного человека, недолговечны, ибо доблесть эта исчезает с его смертью и весьма не часто воскресает в его наследниках, как о том мудро говорит Данте:

> Не часто доблесть, данная владыкам,
> Нисходит в ветви; тот ее дарит,
> Кто может все в могуществе великом.

Поэтому благо республики или царства состоит вовсе не в том, чтобы обладать государем, который бы мудро правил ими в течение всей жизни, а в том, чтобы иметь такого государя, который установил бы в них такие порядки, чтобы названное благо не исчезло с его смертью. И хотя грубых людей легче

убедить принять какой-либо новый порядок или согласиться с каким-нибудь новым мнением, из этого никак не следует, будто вовсе невозможно убедить в том же самом граждан цивилизованных и почитающих себя людьми отнюдь не неотесанными.

Народ Флоренции не кажется ведь ни невежественным, ни грубым; тем не менее брат Джироламо Савонарола убедил его в том, что он беседовал с Богом. Я не хочу разбирать, правда ли то или нет, ибо о такого рода людях надлежит говорить с почтением. Я говорю лишь, что весьма многие ему верили, без того чтобы какое-либо из ряда вон выходящее знаменье вынудило их к этому; для того чтобы вызвать к его словам доверие, достаточно было его образа жизни, его учения, предмета, о котором он толковал.

Поэтому пусть никто не опасается, что ему не удастся достичь того же, что прежде удавалось достигнуть другим; ведь люди, как было говорено в нашем предисловии, рождаются, живут и умирают, всегда следуя одному и тому же порядку вещей.

Глава XII. О том, сколь важно считаться с религией и как, пренебрегая этим, по вине Римской церкви Италия пришла в полный упадок

Государи или республики, желающие остаться неразвращенными, должны прежде всего уберечь от порчи обряды своей религии и непрестанно поддерживать к ним благоговение, ибо не может быть более очевидного признака гибели страны, нежели явное пренебрежение божественным культом. Это легко уразуметь, зная, на чем основана религия, рождающаяся вместе с людьми; ведь жизнь всякой религии поддерживается каким-нибудь ее главным принципом.

Жизнь языческой религии держалась на ответах оракулов и на секте прорицателей и гаруспиков: из этого проистекали все прочие церемонии язычников, их жертвоприношения и их обряды. Ведь нетрудно поверить тому, что бог, который способен предсказать тебе твое грядущее благо или же твое грядущее зло, может также и даровать тебе оные. Отсюда рождались храмы, отсюда – жертвоприношения, отсюда – молитвы и весь прочий ритуал богопочитания.

Вот почему оракул Делоса, храм Юпитера Амона и другие прославленные оракулы преисполняли мир восхищением и благоговением. Когда же впоследствии они начали вещать угодное власть имущим и весь этот обман стал явен народу, люди сделались неверующими и готовыми нарушить любой добрый порядок. Поэтому главам республики или царства надобно сохранять основы поддерживающей их религии.

Поступая так, им будет легко сохранить государство свое религиозным, а следовательно, добрым и единым. Им надлежит поощрять и умножать все, что возникает на благо религии, даже если сами они считают явления эти обманом и ложью. И им следует поступать так тем ревностнее, чем более рассудительными людьми они являются и чем более они сильны в познании природы. Именно поэтому, что подобного образа действий придерживались мудрецы, возникла вера в чудеса, которые почитаются всеми религиями, даже ложными.

Ведь люди знающие раздувают их, какими бы причинами чудеса сии ни порождались. В Древнем Риме такого рода чудес было предостаточно. Вот одно из них. В то время как римские солдаты предавали разграблению город вейентов, некоторые из них вошли в храм Юноны и, приблизившись к статуе богини, спросили у нее: «Vis venire Romam?»[128]

После этого какому-то из солдат показалось, будто статуя кивнула, другому же – что она ответила: «Да». Ведь, будучи людьми глубоко религиозными (согласно Титу Ливию, они вступили в храм чинно, преисполненные почтения и благочестия), солдаты сочли, будто услышали тот самый ответ, каковой, как им представлялось, предполагал их вопрос. Мнение

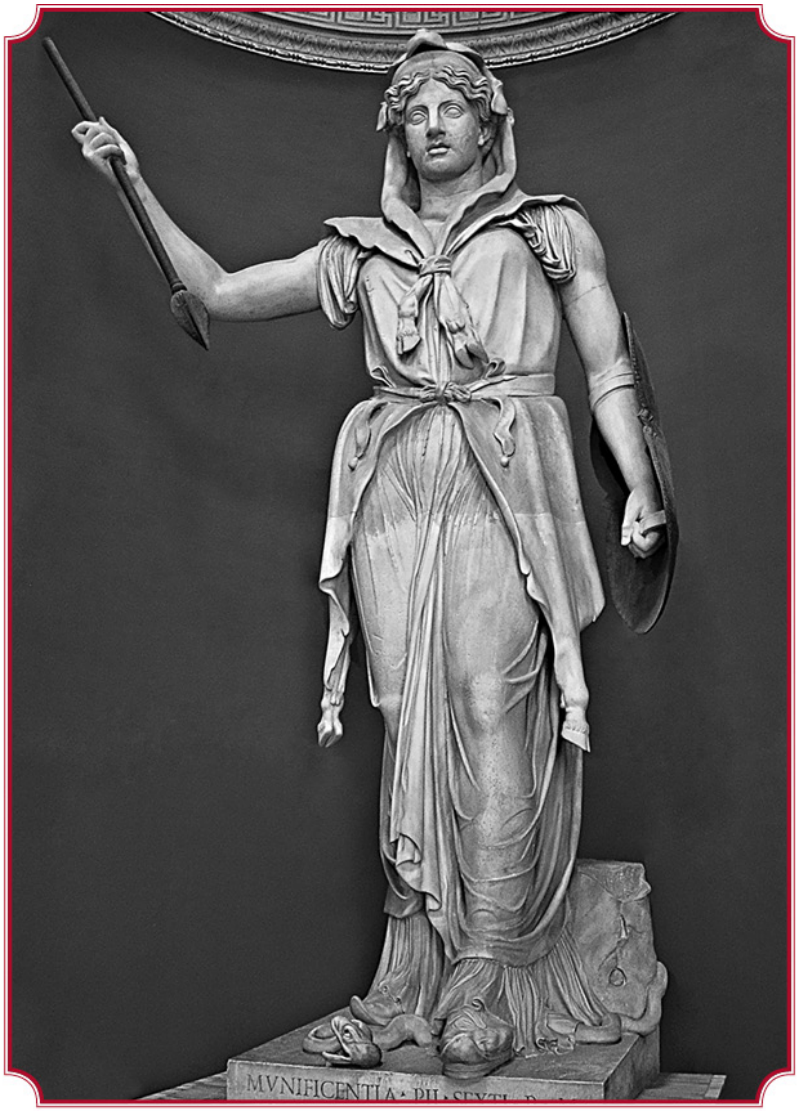
это и суеверие солдат было полностью одобрено и поддержано Камиллом и прочими начальниками города.[129]

Если бы князья христианской республики сохраняли религию в соответствии с предписаниями, установленными ее основателем, то христианские государства и республики были бы гораздо целостнее и намного счастливее, чем они оказались в наше время. Невозможно представить большего свидетельства упадка религии, нежели указание на то, что народ, находящийся ближе всех к римской Церкви, являющейся главой нашей религии, наименее религиозен.

Тот, кто рассмотрит основы нашей религии и посмотрит, насколько отличны ее нынешние обычаи от стародавних, первоначальных, придет к выводу, что она, несомненно, близка либо к своей гибели, либо к мучительным испытаниям.

Так как многие придерживаются мнения, будто благо городов Италии проистекает от римской Церкви, я хочу выдвинуть против этого мнения ряд необходимых для меня доводов. Приведу два из них, чрезвычайно сильных и, как мне представляется, неотразимых. Первый: дурные примеры папской курии лишили нашу страну всякого благочестия и всякой религии, что повлекло за собой бесчисленные неудобства и бесконечные беспорядки, ибо там, где существует религия, предполагается всякое благо, там же, где ее нет, надо ждать обратного. Так вот, мы, итальянцы, обязаны Церкви и священникам прежде всего тем, что остались без религии и погрязли во зле.

Но мы обязаны им еще и гораздо большим, и сие – вторая причина нашей погибели. Церковь держала и держит нашу страну раздробленной. В самом деле, ни одна страна никогда не бывала единой и счастливой, если она не подчинялась какой-нибудь одной республике или же какому-нибудь одному государю, как то случилось во Франции и в Испании. Причина, почему Италия не достигла того же самого, почему в ней нет ни республики, ни государя, которые бы ею управляли, – одна лишь Церковь.



Юнона Соспита.
Вторая половина II в.

Юнона — древнеримская богиня, супруга Юпитера, богиня брака и рождения, материнства, женщин и женской производительной силы. Отождествлялась с греческой богиней Герой.

На изображениях Юнона всегда прикрыта одеждой с ног до головы, обнажены только лицо, часть шеи и руки. Главные атрибуты этой богини — покрывало, диадема, павлин и кукушка.

Укоренившись в Италии и присвоив себе светскую власть, римская Церковь не оказалась ни столь сильной, ни столь доблестной, чтобы суметь установить собственную тиранию над всей Италией и сделаться ее государем; с другой стороны, она не была настолько слаба, чтобы, боясь утратить светскую власть над своими владениями, не быть в состоянии призывать себе на подмогу могущественных союзников, которые защищали бы ее против всякого народа и государства, становящегося в Италии чрезмерно сильным.

В давние времена тому бывало немало примеров. Так, при помощи Карла Великого Церковь прогнала лангобардов, бывших чуть ли не королями всей Италии. В наше время она подорвала мощь венецианцев с помощью французов, а потом прогнала французов с помощью швейцарцев. Таким образом, не будучи в силах овладеть всей Италией и не позволяя, чтобы ею овладел кто-нибудь другой, Церковь была виновницей того, что Италия не смогла оказаться под властью одного владыки, но находилась под игом множества господ и государей.

Это породило столь великую ее раздробленность и такую ее слабость, что она делалась добычей не только могущественных варваров, но всякого, кто только ни желал на нее напасть. Всем этим мы, итальянцы, обязаны Церкви, и никому иному.

А если кто пожелал бы на опыте проверить истинность вышесказанного, ему следовало бы обладать такой силой, чтобы иметь возможность переселить папскую курию, со всей тою властью, какой она располагает в Италии, на земли швейцарцев, каковые ныне являются единственным народом, живущим на манер древних, касается ли это их религии или же порядков в их армии; он увидел бы, что порочные нравы означенной курии за короткое время внесли бы больший разлад в эту страну, нежели любое другое несчастие, которое могло бы когда-либо выпасть на

ее долю.

Глава XVI. Народ, привыкший жить под властью государя и благодаря случаю ставший свободным, с трудом сохраняет свободу

Насколько трудно народу, привыкшему жить под властью государя, сохранить затем свободу, если он благодаря какому-нибудь случаю ее обретет, как обрел ее Рим после изгнания Тарквиниев, показывают многочисленные примеры, содержащиеся в сочинениях древних историков. Трудности эти понятны, ибо подобный народ является не чем иным, как грубым животным, которое мало того что по природе своей свирепо и дико, но вдобавок вскармливалось всегда в загоне и в неволе; будучи случайно выпущенным на вольный луг и не научившись еще ни питаться, ни находить места для укрытия, оно делается добычей первого встречного, который пожелает снова надеть на него ярмо.

То же самое происходит с народом, который, привыкнув жить под властью других, не умея взвешивать ни того, что полезно обществу, ни того, что идет ему во вред, не понимая государей и не будучи понятым ими, вскоре снова склоняет выю под иго, зачастую оказывающееся еще более тяжким, нежели то, которое он только что сбросил.

С подобного рода трудностями сталкивается народ, не подвергшийся нравственной порче. Ибо народ, полностью развращенный, не то что малое время, но вообще ни минуты не может жить свободным, как об этом и будет сказано несколько дальше. Теперь мы станем рассуждать о народе, в который развращенность не проникла еще достаточно глубоко и который более добр, чем испорчен.

К вышеназванным трудностям следует добавить еще одну. Она заключается вот в чем: государство, ставшее свободным, создает партию своих врагов, а не партию друзей. Партию его врагов образуют все те, кто извлекал для себя выгоду из тиранического строя, кормясь от щедрот государя. Когда у них отнимается возможность для злоупотреблений, они теряют покой и оказываются вынужденными пытаться восстановить тиранию, дабы вернуть себе власть и влияние.

Освободившееся государство не приобретает, как я уже говорил, партии друзей, ибо свободная жизнь предполагает, что почести и награды воздаются за определенные и честные поступки, а просто так никто не получает ни почестей, ни наград; когда же кто-нибудь обладает теми почестями и привилегиями, которые, как ему представляется, он заслужил, он никогда не считает, что чем-то обязан людям, которые его вознаградили.

Кроме того, те общие выгоды, которые проистекают из свободной жизни, никем не сознаются, пока они не отняты; заключаются же они в возможности свободно пользоваться собственным добром, не опасаться за честь жены и детей, не страшиться за свою судьбу; но ведь никто никогда не сочтет себя обязанным тому, кто его не обижает.

Итак, как было выше сказано, свободное, заново созданное государство приобретает партию врагов и не приобретает партии друзей. И если кто пожелает избавиться от такого рода неудобства и устранить неурядицы, которые несут с собой вышеозначенные трудности, то для него нет более действенного, более надежного, более верного, более необходимого средства, нежели убить сыновей Брута.

Они, как свидетельствует история, были вместе с другими римскими юношами подвигнуты на заговор против родины только тем, что не могли пользоваться при консульской власти исключительными привилегиями, доступными им при власти царей.

Таким образом, свобода всего римского народа обернулась для них, как им казалось, рабством. Кто берется направлять народные массы по пути свободы или по пути единодержавия и вместе с тем не предпринимает всего необходимого, чтобы

обезопасить себя от врагов нового строя, создает недолговечное государство.

Вот почему я почитаю несчастными тех государей, которые, дабы обезопасить свой строй, прибегают к крайним мерам, имея врагом своим народные массы; ибо имеющий своими врагами немногих может обезопасить себя легко и без большого скандала, имеющий же врагом весь народ не обезопасит себя никогда; чем к большим жестокостям будет он прибегать, тем слабее станет его самодержавный строй. Таким образом, лучшее средство для него – попытаться сделать народ своим другом.

И хотя рассуждение это отступает от темы нашего рассуждения, ибо в нем я говорил о республике, теперь же говорю о государе, тем не менее, дабы не возвращаться больше к этому вопросу, я хочу сказать о нем несколько слов. Так вот, желая приобрести расположение народа, государь – я имею в виду государей, сделавшихся тиранами своей родины, – должен прежде всего выяснить, к чему больше всего стремится народ.

Он обнаружит, что народ всегда стремится к двум вещам: во-первых, отомстить тем, кто оказался причиной его рабства, во-вторых, вновь обрести утраченную свободу. Первое из этих стремлений государь может удовлетворить полностью, второе – отчасти.

Относительно первого имеется хороший пример. Клеарх, тиран Гераклеи, находился в изгнании. Случилось, что в ходе распрей, возникших между народом и Оптиматами Гераклеи, Оптиматы, чувствуя себя слабее, склонились на сторону Клеарха, составили заговор и послали за ним против воли народа Гераклеи, а затем отняли у народа свободу.

Клеарх, очутившись между наглостью Оптиматов, коих он никаким образом не мог ни удовлетворить, ни обуздать, и яростью Пополанов, не способных снести потери свободы, решил одним махом избавиться от бремени грандов и приобрести расположение народа. Воспользовавшись представившимся ему удобным случаем, Клеарх полностью истребил всех Оптиматов к великому удовольствию Пополанов. Таким образом он удовлетворил одно из народных чаяний – желание отомстить.

Что же касается другого стремления народа – вновь обрести утраченную свободу, – то, не имея возможности его удовлетворить, государь должен выяснить, какие причины побуждают народ стремиться к свободе. Он обнаружит, что небольшая часть народа желает быть свободной, дабы властвовать; все же остальные, а их подавляющее большинство, стремятся к свободе ради своей безопасности. Так как во всех республиках, как бы они ни были организованы, командных

постов достигает не больше сорока-пятидесяти граждан и так как число это не столь уж велико, то дело вовсе не сложное обезопасить себя от этих людей, либо устранив их, либо воздав им такие почести, какие, сообразно занимаемому ими положению, могли бы их в значительной мере удовлетворить.

Что же касается всех прочих, которым достаточно жить в безопасности, то удовлетворить их легко, создав порядки и законы, при которых власть государя предполагает общественную безопасность. Когда государь сделает это и когда народ увидит, что никто ни при каких обстоятельствах не нарушает данных ему законов, он очень скоро начнет жить жизнью спокойной и довольной. Пример тому – королевство Франции.

Оно живет спокойно прежде всего потому, что его короли связаны бесчисленными законами, в которых заключено спокойствие и безопасность всего народа. Учредитель его строя пожелал, чтобы французские короли войском и казной распоряжались по своему усмотрению, а всем остальным распоряжались бы лишь в той мере, в какой это допускают законы.

Итак, государю или республике, не обеспечившим собственной безопасности при возникновении своего строя, надлежит обезопасить себя при первом же удобном случае, как то сделали древние римляне. Упустивший подобный случай впоследствии пожалеет о том, что не сделал того, что ему следовало бы сделать.

Поскольку римский народ не был еще испорчен, когда он приобрел свободу, то он сумел сохранить ее после казни сыновей Брута и смерти Тарквиниев с помощью тех действий и порядков, о коих мы рассуждали в другом месте. Однако если бы народ этот был развращен, то ни в Риме, ни в какой другой стране не нашлось бы надежных средств для сохранения свободы. Это мы и покажем в следующей главе.

Глава XVII. Развращенному народу, обретшему свободу, крайне трудно остаться свободным

Я вижу необходимость того, что власти царей в Риме пришел конец: в противном случае Рим очень скоро сделался бы слабым и ничтожным. Ибо римские цари дошли до такой развращенности, что если бы царям этим наследовало еще два-три подобных им преемника и заложенная в них порча начала распространяться по всем членам, вследствие чего члены эти оказались бы прогнившими, то восстановить Рим стало бы уже окончательно невозможно. Но, потеряв главу, когда тело было еще неповрежденным, римляне смогли легко обратиться к жизни свободной и упорядоченной.

Следует принять за непреложную истину, что развращенный город, живущий под властью государя, даже если государь его гибнет вместе со всем своим родом, никогда не может обратиться к свободе. Наоборот, надобно, чтобы одного государя губил в нем другой государь.

Без появления какого-нибудь нового правителя город этот никогда не выстоит, если только добродетель и доблесть названного правителя не поддержат в нем свободы. Однако свобода города просуществует лишь столько, сколько продлится жизнь нового государя. Так было в Сиракузах при Дионе и Тимолеонте: их доблесть, пока они были живы, сохраняла этот город свободным, когда же они умерли, город вернулся к давней тирании.

Однако нет более убедительного примера этому, чем тот, что дает Рим: после изгнания Тарквиниев он сумел сразу же обрести и удержать свободу, но после смерти Цезаря, после смерти Гая Калигулы, после смерти Нерона и гибели всего Цезарева рода Рим никогда не мог не только сохранить свободу, но даже хотя бы попытаться положить ей начало.

Такое различие в ходе событий, имевших место в одном и том же городе, порождено не чем иным, как тем обстоятельством, что во времена Тарквиниев римский народ не был еще развращенным, а в более поздние времена он был развращен до крайности.

Ведь тогда, для того чтобы поддержать в народе твердость и решимость прогнать царей, достаточно было заставить его поклясться, что он никогда не допустит, чтобы кто-нибудь царствовал в Риме; впоследствии же ни авторитета, ни суровости Брута со всеми его восточными легионами не оказалось

достаточным для того, чтобы побудить римский народ пожелать сохранить ту самую свободу, которую он вернул ему, наподобие Брута первого.

Произошло это от развращенности, которую внесла в народ партия марианцев. Сделавшись ее главой, Цезарь сумел настолько ослепить народные массы, что они не признали ярма, которое сами себе надели на шею.

И хотя этот пример из истории Рима можно было бы предпочесть всякому другому примеру, я все-таки хочу по данному поводу сослаться также на опыт современных нам народов. Я утверждаю, что никакие события, сколь бы решительны и насильственны они ни были, не смогли бы сделать Милан или Неаполь свободными, ибо все члены их прогнили. Это обнаружилось после смерти Филиппо Висконти: те, кто тогда пожелали вернуть Милану свободу, не смогли и не сумели ее сохранить.

Поэтому для Рима было великим счастьем то, что его цари быстро развратились; вследствие этого они были изгнаны еще до того, как их растленность перекинулась на чрево города. Неразвращенность Рима была причиной тому, что бесчисленные смуты не только не вредили, а, наоборот, шли на пользу Республике, ибо граждане ее преследовали благие цели.

Итак, можно сделать следующий вывод: там, где материал не испорчен, смуты и другие раздоры не приносят никакого вреда, там же, где он испорчен, не помогут даже хорошо упорядоченные законы, если только они не предписываются человеком, который с такой огромной энергией заставляет их соблюдать, что испорченный материал становится хорошим. Однако я не знаю, случалось ли это когда-либо и вообще возможно ли, чтобы это случилось.

Ибо очевидно, как я уже говорил несколько выше, что город, пришедший в упадок из-за испорченности материала, если когда и поднимается, то только благодаря доблести одного человека, в то время живущего, а не благодаря доблести всего общества, поддерживающего в народе добрые порядки. Едва лишь человек этот умирает, как город тут же возвращается к своему извечному состоянию. Так было с Фивами, которые благодаря доблести Эпаминонда, пока он был жив, могли сохранять форму республики и обладать империей; однако как только он умер, Фивы вернулись к своим прежним неурядицам.

Причина этому та, что не существует столь долговечного человека, чтобы ему хватило времени хорошо образовать город, бывший долгое время плохо образованным, и если чрезвычайно долголетний правитель или же два поколения доблестных его

наследников не подготовят город к свободной жизни, то, как уже было сказано выше, он неминуемо погибнет, если только его не заставят возродиться великие опасности и великая кровь.

Ибо указанная развращенность и малая привычка к свободной жизни порождаются неравенством, царящим в этом городе, и желающий создать в нем равенство неизбежно должен был бы прибегнуть к самым крайним, чрезвычайным мерам, каковыми немногие сумеют или захотят воспользоваться. Подробно об этом будет сказано в другом месте.

Глава XVIII. Каким образом в развращенных городах можно сохранить свободный строй, если он в них существует, или создать его, если они им не обладают

Я полагаю, не будет ни неуместным, ни идущим вразрез с вышеприведенным рассуждением рассмотреть, возможно ли в развращенном городе сохранить свободный строй, буде он в нем существует, или же, когда его в нем не существует, можно ли его создать. Я утверждаю, что и то, и другое сделать крайне трудно. И хотя дать здесь правило – вещь почти немыслимая, ибо пришлось бы пройти по всем ступеням развращенности, я все-таки, поскольку обсудить надо все, не хочу обойти этот вопрос молчанием.

Возьмем город совершенно развращенный, дабы увидеть

наибольшее нагромождение рассматриваемых трудностей: в нем не существует ни законов, ни порядков, способных обуздать всеобщую испорченность. Ибо как добрые нравы, для того чтобы сохраниться, нуждаются в законах, точно так же и законы, для того чтобы они соблюдались, нуждаются в добрых нравах.

Кроме того, порядки и законы, установленные в республике в пору ее возникновения, когда люди были добрыми, оказываются неуместными впоследствии, когда люди делаются порочными. Но если законы в городе меняются в зависимости от обстоятельств, то порядки его не меняются никогда или меняются крайне редко. Вследствие сего одних новых законов еще недостаточно, ибо их ослабляют нерушимые порядки.

Дабы все это стало понятнее, скажу, что в Риме существовал порядок правления или, вернее, государственного строя, а кроме того – законы, которые при посредстве магистратов обуздывали граждан. Порядок государственного строя составляли: власть Народа, Сената, Трибунов, Консулов, способы выдвижения и выборов магистратов, форма принятия законов. Эти порядки мало или вовсе не менялись в зависимости от внешних обстоятельств.

Менялись законы, обуздывающие граждан, – закон о прелюбодеянии, закон против роскоши, закон против злоупотреблений и многие другие; они возникали постепенно, по мере того как граждане становились испорченными. Однако поскольку оставались нерушимыми порядки государственного строя, которые при общественной испорченности перестали быть добрыми, то одного изменения законов не оказалось достаточным для того, чтобы сохранить добрыми людей. Изменения эти сослужили бы хорошую службу, если бы вместе с введением новых законов менялись бы также и порядки.

Справедливость того, что названные порядки в развращенном городе переставали быть добрыми, обнаруживается на примере двух главных проявлений политической жизни – избрания магистратов и принятия законов. Римский народ предоставлял консулат и другие важные государственные должности только тем лицам, кто их домогался. Такой порядок был вначале хорош, ибо сих должностей домогались только такие граждане, которые почитали себя их достойными: получить отказ считалось в то время позором; так что для того, чтобы быть признанным достойным занять государственную должность, каждый старался вести себя хорошо.

Потом же, в развращенном городе, этот обычай стал чрезвычайно вредным, ибо магистратур в нем домогались люди не самые добродетельные, а самые могущественные; не обладающие же силой граждане, даже если они бывали людьми

доблестными, из страха воздерживались от того, чтобы требовать себе должностей. Зло это укоренилось не вдруг, а постепенно, как всегда укореняется зло.

Покорив Африку и Азию, подчинив себе почти всю Грецию, римляне почитали свободу свою обеспеченной и не думали, что у них есть враги, которых им следовало бы опасаться. Эта уверенность народа в обеспеченности своей свободы, а также слабость внешних врагов привели к тому, что, предоставляя консулат, римский народ обращал внимание уже не на доблесть, а на обходительность, и выбирал на эту должность тех, кто умел лучше умасливать сограждан, а не тех, кто умел лучше побеждать врагов.

Затем от людей наиболее обходительных римский народ опустился до людей наиболее могущественных и стал делать их консулами. Таким образом, из-за недостатка одного из порядков государственного строя добрые граждане оказались полностью отстраненными от государственных должностей.

Некогда Трибун, да и вообще любой гражданин мог предлагать Народу закон; за этот закон или против него мог высказываться всякий гражданин, пока относительно предложенного закона не принималось определенное решение. И такой порядок был добр, пока добрыми были граждане, ибо всегда хорошо, когда любой человек, имеющий в виду общественное благо, обладает возможностью выносить на обсуждение свои предложения; и хорошо, когда всякий может высказывать о них свое мнение, дабы народ, выслушав всех, мог остановиться на лучшем.

Однако когда граждане сделались дурными, таковой порядок оказался чрезвычайно плох, ибо законы предлагали теперь только могущественные граждане, и не во имя общей свободы, а ради собственного могущества: из страха перед ними никто не мог возражать против предлагаемых ими законов. Таким образом, народу приходилось – либо потому, что он бывал обманут, либо же потому, что его вынуждали к этому, – выносить решения, ведущие к его гибели.

Следовательно, для того чтобы Рим и в развращенности сохранял свободу, необходимо было, чтобы, создавая в ходе своей жизни новые законы, он создавал бы вместе с ними и новые порядки; ибо надлежит учреждать различные порядки и образ жизни для существа дурного и доброго: не может быть сходной формы там, где материя во всем различна.

Однако, поскольку таковые порядки надо обновлять либо все сразу, когда очевидно, что они перестали быть пригодными, либо мало-помалу, по мере того как познается непригодность каждого

из них, то я скажу, что и то, и другое – вещь почти невозможная. Ибо для постепенного обновления государственного строя необходимо, чтобы они осуществлялись проницательным человеком, который бы загодя видел недостаток той или иной из сторон государственного строя, когда недостаток этот только еще зародился.

Весьма вероятно, что такого человека в городе никогда не найдется; а если он даже и найдется, ему все равно ни за что не удастся убедить других в том, что для него самого совершенно ясно, ибо люди, привыкнув к определенному укладу жизни, не любят его менять, особенно когда они не сталкиваются со злом лицом к лицу, и поэтому им приходится говорить о нем, основываясь на предположениях.

Что же касается внезапного обновления названных порядков, когда уже всякому ясна их непригодность, то я скажу, что ту самую их порчу, которую нетрудно понять, трудно исправить; ибо для этого недостаточно использования обычных путей, так как обычные формы стали дурными, – здесь необходимо будет обратиться к чрезвычайным мерам, к насилию и к оружию, и сделаться прежде всего государем этого города, чтобы иметь возможность распоряжаться в нем по своему усмотрению.

Поскольку же восстановление в городе политической жизни предполагает доброго человека, а насильственный захват власти государя в республике предполагает человека дурного, то поэтому крайне редко бывает, чтобы добрый человек пожелал, даже преследуя благие цели, встать на путь зла и сделаться государем. Столь же редко случается, чтобы злодей, став государем, пожелал творить добро и чтобы ему когда-либо пришло на ум использовать во благо ту самую власть, которую он приобрел дурными средствами.

Из всего вышесказанного следует, что в развращенных городах сохранить республику или же создать ее – дело трудное, а то и совсем невозможное. А ежели все-таки ее в них пришлось бы создавать или поддерживать, то тогда необходимо было бы ввести в ней режим скорее монархический, нежели демократический, с тем чтобы те самые люди, которые по причине их наглости не могут быть исправлены законами, в какой-то мере обуздывались властью как бы царской.

Стремиться сделать их добрыми иными путями было бы делом крайне жестоким или же вовсе невозможным, как я уже говорил раньше, ссылаясь на опыт Клеомена. Он, дабы одному обладать властью, убил Эфоров. По той же причине Ромул убил брата и Тита Тация Сабина. И хотя и Ромул, и Клеомен впоследствии хорошо использовали свою власть, я тем не менее

не могу не отметить, что оба они не имели дела с материалом, испорченным той развращенностью, о которой мы рассуждали в этой главе. Поэтому они смогли проявить волю и, пожелав, довести до конца свои замыслы.

Глава XXV. Кто хочет преобразовать старый строй в свободное государство, пусть сохранит в нем хотя бы тень давних обычаев

Тому, кто стремится или хочет преобразовать государственный строй какого-нибудь города и желает, чтобы строй этот был принят и поддерживался всеми с удовольствием, необходимо сохранить хотя бы тень давних обычаев, дабы народ не заметил перемены порядка, несмотря на то что в действительности новые порядки будут совершенно не похожи на прежние. Ибо люди вообще тешат себя видимым, а не тем, что существует на самом деле. Вот почему римляне, познав необходимость этого в самом начале своей свободной жизни, заменив одного царя двумя выборными Консулами, не захотели, чтобы у Консулов было более двенадцати ликторов, дабы число этих последних не превышало числа прислуживавших царям.

Кроме того, так как в Риме совершалось ежегодное жертвоприношение, которое могло совершаться только лично самим царем, римляне, не желая, чтобы из-за отсутствия царя

народ пожалел бы о старом времени, избрали главу указанного жертвоприношения, назвав его Царь-жертвоприноситель, и подчинили его верховному Жрецу. Таким образом, народ получил для себя вышеупомянутое жертвоприношение и не имел никакой причины из-за отсутствия его желать возвращения царя.

Этого должны придерживаться все те, кто хотят уничтожить в городе старый строй и установить в нем новую, свободную жизнь. Поэтому, хотя новые порядки и изменяют сознание людей, надлежит стараться, чтобы в своих изменениях порядки сохраняли как можно больше от старого.

Если меняется число, полномочия и сроки магистратур, надо, чтобы у них сохранялось от старых их наименование. Всему этому, как я уже сказал, должен следовать тот, кто желает установить политическую жизнь посредством создания республики или монархии, но тому, кому угодно учредить абсолютную власть, именуемую писателями тиранией, надобно переделать все, как о том будет сказано в следующей главе.

Глава XXVI. Новый государь в захваченном им городе или стране должен все переделать по-новому

Когда кто-нибудь становится государем какой-нибудь страны

или города, особенно не имея там прочной опоры, и не склоняется ни к монархическому, ни к республиканскому гражданскому строю, то для него самое надежное средство удержать власть – это, поскольку он является новым государем, переделать в этом государстве все по-новому: создать в городах новые правительства под новыми наименованиями, с новыми полномочиями и новыми людьми; сделать богатых бедными, а бедных – богатыми, как поступил Давид, став царем: алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем, а кроме того – построить новые города и разрушить построенные, переселить жителей из одного места в другое, – словом, не оставить в этой стране ничего нетронутым.

Так, чтобы в ней не осталось ни звания, ни учреждения, ни состояния, ни богатства, которое не было бы обязано ему своим существованием. Он должен взять себе за образец Филиппа Македонского, отца Александра, который именно таким образом из незначительного царя стал государем всей Греции. Писавший о нем автор говорит, что он перегонял жителей из страны в страну подобно тому, как пастухи перегоняют свои стада.

Меры эти до крайности жестоки и враждебны всякому образу жизни, не только что христианскому, но и вообще человеческому. Их должно избегать всякому: лучше жить частной жизнью, нежели сделаться монархом ценой гибели множества людей. Тем не менее тому, кто не желает избрать вышеозначенный путь добра, надобно погрязнуть во зле.

Но люди избирают некие средние пути, являющиеся самыми губительными; ибо они не умеют быть ни совсем дурными, ни совсем хорошими, как то и будет показано на примере в следующей главе.

Глава XXVII. Люди лишь в редчайших случаях умеют быть совсем дурными или совсем хорошими

В 1505 году папа Юлий II пошел походом на Болонью, дабы выгнать оттуда род де Бентивольи, владевший этим городом около ста лет. Ополчившись против всех тиранов, занимавших церковные земли, он решил также выкинуть Джовампаголо Бальони из Перуджи, тираном которой тот был. Подойдя к Перудже, папа Юлий II с его хорошо всем известной смелостью и решительностью не стал дожидаться войска, которое должно было подоспеть ему на помощь, но вошел в город безоружным, несмотря на то что Джовампаголо собрал в нем довольно много людей для своей защиты.

Увлекаемый тем яростным пылом, благодаря которому он подчинял себе все обстоятельства, Юлий II, сопровождаемый только свитой, отдался в руки своего врага, которого затем увел с собой, оставив в Перудже собственного губернатора, установившего в ней власть Церкви.

Людьми рассудительными, находившимися тогда подле папы, была отмечена дерзновенная отвага папы и жалкая трусость Джовампаголо; они не могли уразуметь, как получилось, что человек с репутацией Джовампаголо разом не подмял под себя врага и не завладел богатой добычей, видя, что папу сопровождают все его кардиналы со всеми их драгоценностями.

Люди эти не могли поверить, что его остановила доброта или что в нем заговорила совесть; ведь в груди негодяя, который сожительствовал с сестрой и ради власти убил двоюродных братьев и племянников, не могло пробудиться какое-либо благочестивое чувство. Вот почему и приходится сделать вывод, что люди не умеют быть ни достойно преступными, ни совершенно хорошими: злодейство обладает известным величием или является в какой-то мере проявлением широты души, до которой они не в состоянии подняться.

Так вот, Джовампаголо, не ставивший ни во что ни кровосмешение, ни публичную резню родственников, не сумел, когда ему представился к тому удобный случай, или, лучше сказать, не осмелился совершить деяние, которое заставило бы всех дивиться его мужеству и оставило бы по себе вечную память, ибо он оказался бы первым, кто показал прелатам, сколь мало надо почитать всех тех, кто живет и правит подобно им, и тем самым совершил бы дело, величие которого намного превысило бы всякий позор и связанную с ним, возможно, опасность.

Глава XXXIV. Диктаторская власть причинила Римской республике благо, а не вред: губительной для гражданской жизни оказывается та власть, которую граждане присваивают, а не та, что предоставляется им на основе свободных выборов

Некоторые писатели осуждают Римлян за то, что те ввели в Риме обычай избрания Диктатора: обстоятельство это оказалось-де со временем причиной тирании в Риме. Названные писатели ссылаются на то, что первый тиран, бывший в сем городе, распоряжался в нем, прикрываясь диктаторским званием. Они говорят, что, не будь его, Цезарь не смог бы приукрасить свою тиранию никаким общественным саном. Все это придерживающимися подобного мнения писателями не было должным образом рассмотрено и находится вне доводов разума.

Ибо не сан и не звание Диктатора поработили Рим, а полномочия, присваивавшиеся гражданами вследствие длительности военной власти. И если бы в Риме отсутствовало звание Диктатора, граждане Рима воспользовались бы каким-нибудь другим. Ведь это сила легко получает наименования, а не наименования – силу. Не трудно увидеть, что Диктатура, пока она давалась согласно установленным общественным порядкам, а не вследствие личного авторитета, всегда приносила пользу городу.

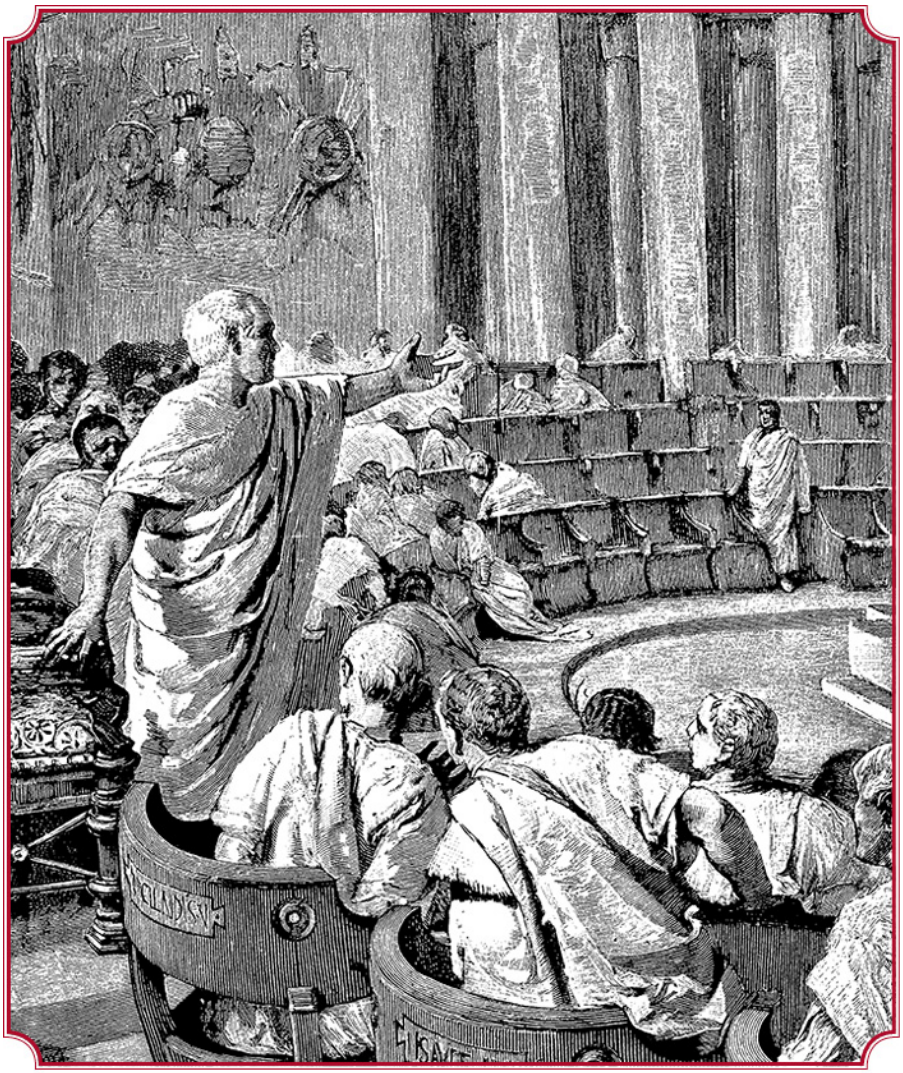
Ибо губят республики те магистратуры и власть, которые создаются и даются незаконным, экстраординарным путем, а не те, что получаются путем обычным. Пример тому – Рим: за много времени ни один Диктатор не причинил Республике ничего, кроме блага.

Почему это так – совершенно ясно. Во-первых, для того чтобы какой-либо гражданин мог угнетать других и захватить чрезвычайную власть, ему надобно обладать многими качествами, которыми в неразвращенной республике обладать он не в состоянии: ему надо быть очень богатым и иметь достаточное количество приспешников и сторонников, которых у него не может появиться там, где соблюдаются законы; когда же они у него появляются, люди эти наводят такой страх, что оказывается невозможно провести свободные выборы.

Кроме того, Диктатор назначался на определенный срок, а не навечно, и только для предупреждения той самой опасности, по причине которой он бывал избираем. Его полномочия давали ему право единолично принимать решения относительно средств, направленных на пресечение названной смертельной опасности, действовать во всем, не советуясь с Народом и другими магистратами, и наказывать любого гражданина без права последнего на апелляцию.

Но он не мог сделать ничего в ущерб государственному строю: он не мог бы, например, лишить Сенат и Народ их полномочий, уничтожить в городе старые порядки и создать новые. Так что при кратковременности его диктатуры и ограниченности предоставленных ему полномочий, а также при

тогдашней неразвращенности римского народа ему было бы невозможно преступить положенные для него пределы и повредить городу. Опыт показывает, что Диктатура всегда оказывалась полезна.



Заседание древнеримского сената
в период республики. *Гравюра XIX в.*

И действительно, среди прочих римских учреждений Диктатура заслуживает того, чтобы ее рассмотрели и причислили к тем из них, которые были причиной величия столь огромной державы. Ибо без подобного учреждения города с трудом справились бы с чрезвычайными обстоятельствами.

Ведь обычные учреждения действуют в республиках медленно (так как и советы, и магистраты не имеют возможности во всем поступать самостоятельно, но нуждаясь друг в друге для решения многих вопросов, а также потому, что для вынесения совместных решений потребно время) и предлагаемые ими меры оказываются крайне опасными, когда им приходится лечить болезнь, требующую незамедлительного вмешательства.

Вот почему республики должны иметь среди своих учреждений нечто подобное Диктатуре. Именно поэтому Венецианская республика, каковая среди нынешних республик является самой замечательной, предоставила полномочия нескольким немногим гражданам в случаях крайней необходимости принимать совместное решение помимо Большого совета.

Ибо, когда в республике отсутствует такого рода институт, неизбежно приходится либо гибнуть, соблюдая установленные порядки, либо ломать их, дабы не погибнуть. Но в республике всегда нежелательно возникновение обстоятельств, для совладания с которыми приходится обращаться к чрезвычайным мерам. Ибо хотя чрезвычайные меры в определенный момент оказывались полезными, сам пример их бывал вреден. Ведь едва лишь устанавливается обыкновение ломать установленные порядки во имя блага, как тут же, прикрываясь благими намерениями, их начинают ломать во имя зла.

Так что республика никогда не будет совершенной, если ее законы не будут предусматривать всего и если против каждого неожиданного обстоятельства у нее не найдется средства и способа с этим обстоятельством совладать. Поэтому в заключение я скажу, что те республики, которые в минуту крайней опасности не прибегают к Диктатуре или к подобной ей власти, оказавшись в тяжелых обстоятельствах, неминуемо погибнут.

Следует также отметить в этом институте обычай его избрания, мудро предусмотренный Римлянами. Так как назначение Диктатора было сопряжено с некоторым позором для Консулов, которые из глав государства становились такими же подчиненными Диктатору гражданами, как и все остальные, и предполагая, что из-за этого может возникнуть у граждан возмущение, Римляне решили, что полномочия избирать Диктатора будут предоставляться Консулам. Римляне считали, что когда случится так, что Риму понадобится подобного рода царская власть, Консулы создадут ее таким способом охотнее, а создав ее сами, будут менее страдать от нее.

Ибо человек от ран и прочих бед, которые он нанес себе сам, по собственной воле и выбору, страдает гораздо меньше, чем от

тех, что ему наносят другие. Однако в дальнейшем, в последние годы Республики, у Римлян вошло в обыкновение вместо Диктатора предоставлять подобного рода полномочия Консулу, пользуясь такими словами: «Videat Consul, ne Respubica quid detrimenti capiat» («Пусть позаботится Консул, чтобы Республика не понесла какого-нибудь урона».)

Дабы вернуться к нашей теме, замечу, что соседи Рима, пытаясь раздавить его, заставили Рим создать порядки, не только способные защитить его от них, но и давшие ему возможность самому нападать на соседей с большею силой, с большей мудростью и с большим авторитетом.

Глава XXXVII. О том, какие раздоры породил в Риме аграрный закон, а также о том, что принимать в республике закон, имеющий большую обратную силу и противоречащий давним обычаям города, – дело, чреватое многими раздорами

Мнение древних писателей таково, что люди обычно печалятся в беде и не радуются в счастье и что обе эти склонности порождают одни и те же последствия. Ибо едва лишь люди перестают бороться, вынуждаемые к борьбе необходимостью, как они тут же начинают бороться, побуждаемые к тому честолюбием. Последнее столь сильно укоренилось в человеческом сердце, что никогда не оставляет

человека, как бы высоко он ни поднялся. Причина этому та, что природа создала людей таким образом, что люди могут желать всего, но не могут всего достигнуть.

А так как желание приобретать всегда больше соответственной возможности, то следствием сего оказывается их неудовлетворенность тем, чем они владеют, и недовольство собственным состоянием. Этим порождаются перемены в человеческих судьбах, ибо по причине того, что одна часть граждан жаждет иметь еще больше, а другая боится утратить приобретенное, люди доходят до вражды и войны, каковая одну страну губит, а другую возвеличивает.

Я привел это рассуждение потому, что римскому Плебсу мало было обезопасить себя от патрициев посредством выборов Трибунов, добиваться которых плебеев вынуждала необходимость: добившись этого, Плебс начал бороться из честолюбия и пожелал делить со Знатью почести и богатство, ибо то и другое почитается людьми превыше всего. Это породило беду хуже чумы, вызвавшую распри вокруг аграрного закона, которые стали в конце концов причиной крушения Республики.

В хорошо устроенных республиках все общество – богато, а отдельные граждане – бедны. В Риме случилось так, что названный закон не соблюдался. Он либо с самого начала был сформулирован таким образом, что его каждодневно приходилось перетолковывать, либо настолько изменился в процессе применения, что обращение к его первоначальной форме оказалось чревато многими раздорами, либо же, будучи хорошо сформулированным вначале, исказился затем от употребления. Как бы то ни было, в Риме никогда не заговаривали об аграрном законе без того, чтобы город не переворачивался вверх дном.

Названный закон имел две главные статьи. Одна из них указывала, что никто из граждан не может владеть больше, чем определенным количеством югеров земли; другая предписывала, чтобы поля, отнятые у врагов, делились между всем римским народом. Отсюда проистекало для Знати двоякое утеснение: тем из нобилей, которые имели больше земель, чем допускал закон (а среди Знати таковых было большинство), приходилось их лишаться; распределение же среди плебеев отнятых у врагов благ закрывало нобилям путь к дальнейшему обогащению.

Поэтому, так как утеснения эти были направлены против сильных мира сего и так как, сопротивляясь им, последние уверяли, будто они отстаивают общее благо, нередко случалось, что весь город, как уже говорилось, переворачивался вверх дном.

Знать терпеливо и хитро оттягивала применение аграрного закона, либо затевая войну вне пределов Рима, либо

противопоставляя Трибуну, предлагающему аграрный закон, другого Трибуна, либо, сделав частичные уступки, выводя колонию в то самое место, которое подлежало разделу. Так случилось с землями Антия. Когда в связи с ними возникла тяжба об аграрном законе, в Антий были посланы из Рима колонисты, которым предоставлялись названные земли.

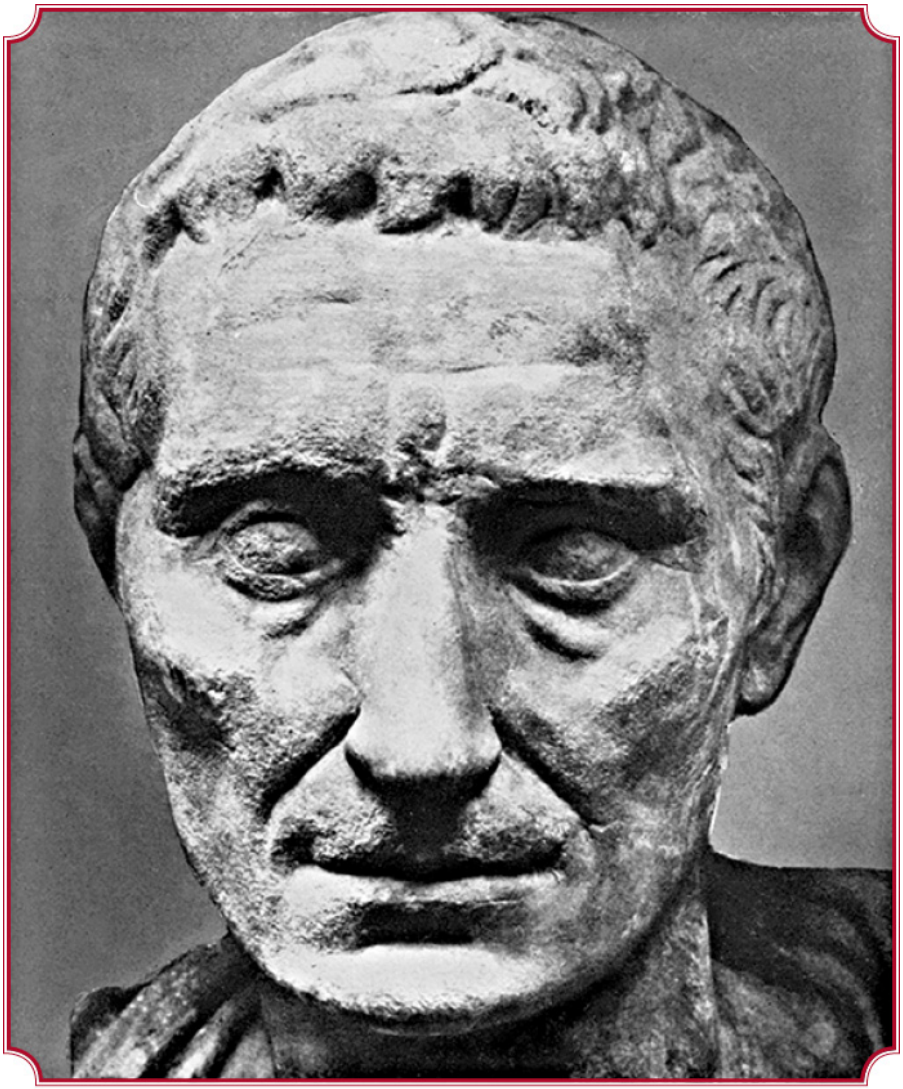
Говоря, что в Риме с трудом отыскались люди, согласившиеся отправиться в упомянутую колонию, Тит Ливий употребляет примечательное выражение: оказалось, что имеется множество плебеев, которые предпочитают желать благ в Риме, нежели владеть ими в Антии.

Лихорадочная жажда аграрного закона некогда столь сильно мучила город, что Римляне стали вести войны на отдаленных землях Италии или же вообще за ее границами. После этого лихорадка сия на некоторое время, по видимости, прекратилась. Произошло это потому, что земли, которыми владели враги Рима, не находясь под носом у плебеев и располагаясь в местах, где их трудно было возделывать, оказались для плебеев менее желанными. Поэтому же и Римляне стали по отношению к своим врагам менее жестокими, и когда они все же отрезали земли от их владений, то отдавали эти земли под колонии.

Так что, в силу названных причин, аграрный закон находился под спудом вплоть до времени Гракхов. Именно Гракхи снова извлекли его на свет и тем погубили римскую свободу. Ибо к тому времени сила противников аграрного закона удвоилась. Поэтому он разжег между Плебсом и Сенатом столь сильную ненависть, что она вылилась в потоки крови и вооруженные столкновения, выходившие за рамки нравов и обычаев цивилизованного общества.

Так как должностные лица не могли с ними справиться и так как на магистратов не надеялась больше ни одна из группировок, враждующие партии стали прибегать к собственным средствам и каждая из них обзавелась главарем, который бы ее защищал.

Зачинщиками этой смуты и беспорядков были плебеи. Они возвеличили Мария, притом настолько, что четырежды делали его Консулом. Они возобновляли его консулат через столь малые промежутки времени, что затем он уже сам смог сделаться Консулом еще три раза. Против подобной беды у Знати не было иного средства, как начать поддерживать Суллу. Сделав его главой своей партии, Знать развязала гражданскую войну и, пролив много крови, испытав различные превратности судьбы, одержала в ней верх.



Юлий Цезарь. *Ок. 40 г. до н. э.*

Те же самые распри возникли во времена Цезаря и Помпея: Цезарь сделался главой партии Мария, а Помпей – Суллы. В схватке между ними верх одержал Цезарь. Он был первым тираном в Риме. После него город этот никогда уже не был свободным.

Вот какое начало и вот какой конец имел аграрный закон.

В другом месте мы доказывали, что вражда между Сенатом и Плебсом поддерживала в Риме свободу, ибо из вражды сей рождались законы, благоприятные свободе. И хотя, как кажется, результаты аграрного закона противоречат подобному выводу, я

все-таки заявляю, что не намерен из-за этого отказываться от своего мнения. Ведь жадность и надменное честолюбие грандов столь велико, что если город не обуздает их любыми путями и способами, они быстро доведут этот город до погибели.

Распрям вокруг аграрного закона понадобилось триста лет для того, чтобы сделать Рим рабским, но Рим был бы порабощен много скорее, если бы плебеи с помощью аграрного закона и других своих требований постоянно не сдерживали жадность и честолюбие нобилей. Ибо римская Знать всегда без большого шума уступала плебеям почести, но как только дело дошло до имущества, она бросилась защищать его с таким упорством, что плебеям, дабы удовлетворить собственные аппетиты, пришлось прибегнуть к вышерассмотренным чрезвычайным мерам.

Зачинщиками этих беспорядков были Гракхи, каковых следует хвалить скорее за их намеренья, нежели за их рассудительность. Ведь желать уничтожить возникшие в городе непорядки и принимать ради этого закон, имеющий большую обратную силу, – дело весьма неблагоразумное. Поступить так – об этом много уже говорилось выше – значит только ускорить то самое зло, к которому ведут названные непорядки. Если же повременить и выждать, зло либо придет позднее, либо, со временем, исчезнет само собой.

Глава LV. О том, как легко ведутся дела в городе, где массы не развращены, а также о том, что там, где существует

равенство, невозможно создать самодержавие, там же, где его нет, невозможно учредить республику

Несмотря на то что выше мы довольно подробно рассуждали о том, чего надобно опасаться городам развращенным и на что им можно надеяться, мне все же представляется нелишним рассмотреть решение Сената относительно обета Камилла отдать Аполлону десятую часть добычи, захваченной у вейентов. Добыча эта попала в руки римского Плебса и, так как не было никакой возможности ее сосчитать, Сенат издал постановление о том, чтобы каждый выложил в общий котел десятую часть того, что им было награблено.

И хотя решение это не было проведено в жизнь, ибо Сенат впоследствии нашел средство по-другому ублажить Аполлона, не чиня обиды Плебсу, оно все-таки показывает, насколько Сенат верил в добродетель плебеев, полагая, что не найдется ни одного из них, кто не представил бы ровно столько добычи, сколько предписывалось названным сенатским решением. С другой стороны, Плебс не подумал как-либо обойти постановление Сената, отдав меньше, чем следовало, но решил освободиться от него, открыто обнаружив недовольство.

Пример этот, так же как и многие другие, о которых говорилось выше, показывает, сколь добродетелен и благочестив был римский народ и сколь много хорошего можно было от него ожидать. И действительно, где нет подобной добродетели, невозможно ожидать чего-либо хорошего, как нечего ждать от стран, которые в последнее время совершенно развратились, – прежде всего от Италии. Даже Франции и Испании коснулась та же самая развращенность.

Если в них не видно таких же раздоров, каковые каждодневно возникают в Италии, то проистекает это не столько от добродетели их народов, каковая у названных народов по большей части отсутствует, сколько потому, что во Франции и Испании имеется король, поддерживающий их внутреннее единство не только благодаря собственной доблести, но главным образом благодаря политическому строю этих королевств, не подвергшемуся еще порче.

Добродетель и благочестие народа очень хорошо видны в Германии, где они все еще очень велики. Именно добродетель и благочестие народа делают возможным существование в Германии многих свободных республик, которые так строго соблюдают свои законы, что никто ни извне, ни изнутри не дерзает посягнуть на их независимость. В подтверждение истинности того, что в тех краях сохранилась добрая часть

античной добродетели, я хочу привести пример, похожий на приведенный выше пример с римским Сенатом и Плебсом.

В германских республиках существует обычай: когда надо получить и израсходовать из общественных средств определенное количество денег, магистраты и советы, обладающие в сказанных республиках полномочиями власти, облагают всех жителей города податью, равною одному-двум процентам от состояния каждого.

И как только принимается подобное постановление, каждый, согласно порядкам своей земли, является к сборщикам подати; дав клятву уплатить должную сумму, он бросает в предназначенный для этого ящик столько денег, сколько велит ему совесть: свидетелем уплаты выступает только сам плательщик.

Из этого можно заключить, как много добродетели и как много благочестия сохранилось еще у этих людей. Мы вынуждены предположить, что каждый из них честно уплачивает подобающую ему сумму, ибо если бы он ее не уплачивал, подать не достигала бы тех размеров, которые устанавливались для нее давними обычаями налогообложения, а если бы она их не достигала, обман был бы обнаружен и, будучи обнаруженным, заставил бы изменить способ сбора податей.

Подобная добродетель в наши дни тем более удивительна, что встречается она до крайности редко: по-видимому, сохранилась она теперь только в Германии.

Порождается это двумя причинами. Во-первых, германцы не имеют широких сношений с соседними народами. Ни соседи не наведываются к ним в гости, ни они сами не наведываются к соседям, ибо довольствуются теми благами, теми продуктами питания и теми шерстяными одеждами, которые изготовляются в их стране.

Тем самым устраняются причина для внешних сношений и начало всяческой развращенности: германцы не усвоили нравов ни французов, ни испанцев, ни итальянцев, каковые нации вкупе являются развратителями мира. Во-вторых, германские республики, сохранившие у себя свободную и неиспорченную политическую жизнь, не допускают, чтобы кто-либо из их граждан был дворянином или же жил на дворянский лад.

Больше того, они поддерживают у себя полнейшее равенство и являются злейшими врагами господ и дворян, живущих в тамошней стране; если те случайно попадают к ним в руки, то они уничтожают их как источник разложения и причину смут.

Дабы стало совершенно ясно, кого обозначает слово «дворянин», скажу, что дворянами именуются те, кто праздно

живут на доходы со своих огромных поместий, нимало не заботясь ни об обработке земли, ни о том, чтобы необходимым трудом заработать себе на жизнь. Подобные люди вредны во всякой республике и в каждой стране. Однако самыми вредными из них являются те, которые помимо указанных поместий владеют замками и имеют повинующихся им подданных.

И теми и другими переполнены Неаполитанское королевство, Римская область, Романья и Ломбардия. Именно из-за них в этих странах никогда не возникало республики и никогда не существовало какой-либо политической жизни: подобная порода людей – решительный враг всякой гражданственности. В устроенных наподобие им странах при всем желании невозможно учредить республику. Если же кому придет охота навести в них порядок, то единственным возможным для него путем окажется установление там монархического строя.

Причина этому такова: там, где развращенность всех достигла такой степени, что ее не в состоянии обуздать одни лишь законы, необходимо установление вместе с законами превосходящей их силы; таковой силой является царская рука, абсолютная и чрезвычайная власть которой способна обуздывать чрезмерную жадность, честолюбие и развращенность сильных мира сего.

Панорама Лукки. *Гравюра начала XVIII в.*

Лукка была основана в 180 г. до н. э. римлянами. Здесь сходились дороги на Рим, Парму, Флоренцию, Пизу и Луни. До начала XIII в. здесь была резиденция герцогов, затем графов и маркграфов Тосканских. В Средние века город достиг значительного экономического развития благодаря производству и продаже шелка и банковской деятельности. Зенит его славы и расцвета приходится на начало XIV в. и правление Каструччо Кастракани. В XV в. Лукка окончательно уступает звание главного города Тосканы Флоренции; впрочем, остается вторым по величине (после Венеции) итальянским городом с республиканской формой правления, которая сохранилась в Лукке до прихода войск Наполеона в конце XVIII в.

Правильность такого рода рассуждений подтверждает пример Тосканы: там на небольшом расстоянии друг от друга долгое время существовало три республики – Флоренция, Сиена и Лукка;

остальные же города этой страны, хотя и были в какой-то мере порабощены, всем духом и строем своим обнаруживали, что они сохранили или хотели бы сохранить свою свободу. Произошло сие потому, что в Тоскане не было ни одного владельца замка и имелось очень мало дворян.

Там существовало такое равенство, что мудрому человеку, знающему гражданские порядки древних, было бы очень просто устроить там свободную гражданскую жизнь. Однако несчастие Тосканы столь велико, что по сей день в ней не нашлось ни одного человека, который сумел бы или же знал бы, как это сделать.

Так вот, из всего вышеприведенного рассуждения вытекает следующий вывод: желающий создать республику там, где имеется большое количество дворян, не сумеет осуществить свой замысел, не уничтожив предварительно всех их до единого; желающий же создать монархию или самодержавное княжество там, где существует большое равенство, не сможет этого сделать, пока не выведет из сказанного равенства значительное количество людей честолюбивых и беспокойных и не сделает их дворянами по существу, то есть пока он не наделит их замками и имениями, не даст им много денег и крепостных, с тем чтобы, окружив себя дворянами, он мог бы, опираясь на них, сохранить свою власть, а они, с его помощью, могли бы удовлетворять свою жадность и свое честолюбие, в этом случае все прочие граждане оказались бы вынуждены безропотно нести то самое иго, заставить переносить которое способно одно лишь насилие.

Именно таким образом устанавливается равновесие между обращающимися к насилию и теми, на кого насилие это направлено, и каждый человек прочно прикрепляется к своему сословию. Превращение страны, приноровленной к монархическому строю, в республику и установление монархии в стране, приспособленной к республиканскому строю, – дело, требующее человека редкостного ума и воли.

Поэтому, хотя брались за него весьма многие, лишь очень немногим удавалось довести его до конца. Огромность встающей перед ними задачи отчасти устрашает людей, отчасти сковывает их – в результате они на первых же шагах спотыкаются и терпят неудачу.

Возможно, высказанное мною мнение о том, что невозможно создать республику там, где имеются дворяне, покажется противоречащим опыту Венецианской республики, где одни лишь дворяне допускаются на общественные и государственные должности. Но на это я возражу, что пример Венеции моему мнению отнюдь не противоречит, ибо в республике сей дворяне

являются дворянами больше по имени, чем по существу: они не получают там больших доходов с поместий, так как источник их богатства – торговля и движимость; кроме того, никто из них не владеет замками и не обладает никакой вотчинной властью над крестьянами; слово «дворянин» является в Венеции почетным званием, никак не связанным с тем, что в других городах делает человека дворянином.

Подобно тому как в других республиках жители делятся на различные группы, по-разному именуемые, жители Венеции делятся на дворян и на народ. Дворяне там обладают или могут обладать всеми почестями; народ же к ним совершенно не допускается. Благодаря этому, в силу причин, о которых уже говорилось, в Венеции не возникает смут.

Итак, пусть устанавливается республика там, где существует или создано полное равенство. И наоборот, пусть учреждается самодержавие там, где существует полнейшее неравенство. В противном случае будет создано нечто несоразмерное и недолговечное.

Глава LVII. Плебеи в массе своей крепки и сильны, а по отдельности слабы

Многие римляне, после того как нашествие французов опустошило их родину, переселились в Вейи, вопреки

постановлению и предписанию Сената. Дабы исправить такой непорядок, Сенат специальными общественными эдиктами повелел всем к известному сроку и под страхом определенного наказания вернуться в Рим. Те, против кого были направлены указанные эдикты, сперва потешались над ними, но потом, когда настал срок повиноваться, подчинились. Тит Ливий говорит по этому поводу: «Ex ferocibus universis singuli metu suo obidientes fuere»[130].

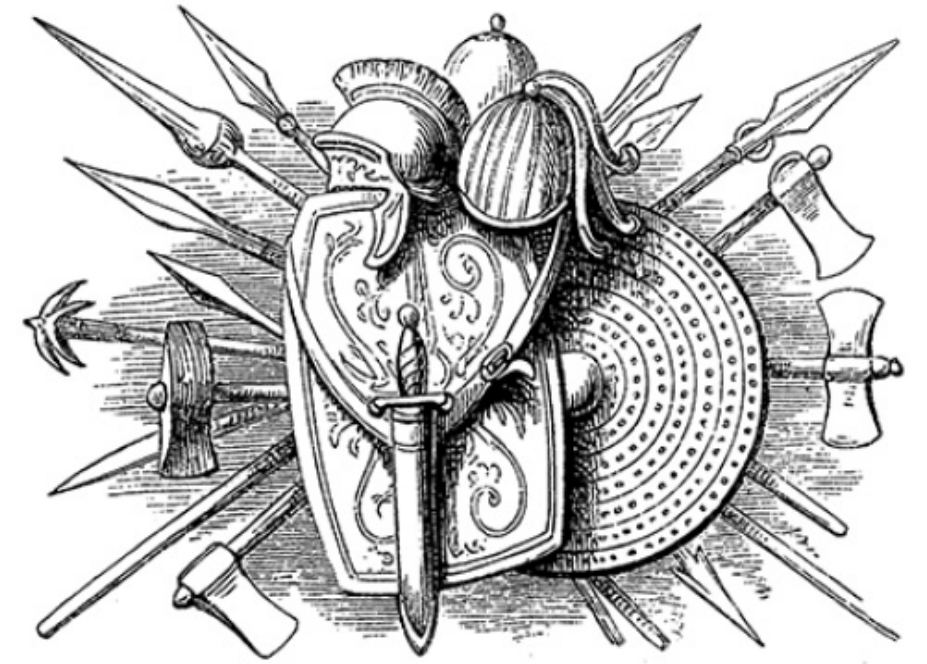
И действительно, нельзя лучше показать природу народных масс, чем показано в приведенном тексте. Массы дерзко и многократно оспаривают решения своего государя, но затем, оказавшись непосредственно перед угрозой наказания, не доверяют друг другу и покорно им повинуются. Таким образом, можно считать непреложным, что тому, что народ говорит о своих добрых или дурных настроениях, не стоит придавать слишком большого значения; ведь ты в состоянии поддержать его, если народ настроен хорошо; если же он настроен дурно, ты можешь заранее помешать ему причинить тебе вред.

Говоря здесь о дурных настроениях народа, я имею в виду все его недовольства, помимо тех, которые вызываются потерей свободы или утратой любимого государя, все еще находящегося в живых: недовольства, порожденные такого рода причинами, – вещь очень страшная, и для обуздания их требуются крайние меры.

Все же прочие народные недовольства легко устранимы – в тех случаях, когда у народа нет вождей. Ибо не существует ничего более ужасного, чем разнузданные, лишенные вождя массы, и вместе с тем – нет ничего более беспомощного: даже если народные массы вооружены, их несложно будет успокоить при условии, что тебе удастся уклониться от их первого натиска; ведь когда горячие головы малость поостынут и все разойдутся по домам, каждый начнет сомневаться в своих силах и позаботится о собственной безопасности, либо обратившись в бегство, либо пойдя на попятный.

Вот почему взбунтовавшимся массам, если они только желают избегнуть подобной опасности, надобно сразу же избрать из своей среды вождя, который бы направлял их, поддерживал их внутреннее единство и заботился об их защите. Именно так поступили римские плебеи, когда после смерти Виргинии они покинули Рим и ради своего спасения избрали из своей среды двадцать Трибунов. В тех же случаях, когда они этого не делали, с ними всегда случалось то, о чем говорит Тит Ливий в вышеприведенной фразе. Все вместе они бывают храбрыми, когда же каждый из них начинает думать о грозящей лично ему

опасности, они становятся слабыми и трусливыми.



Глава LVIII. Народные массы мудрее и постояннее государя

Нет ничего суетнее и непостояннее народных масс – так утверждает наш Тит Ливий, подобно всем прочим историкам. В повествованиях их о людских деяниях часто приходится видеть, как народные массы сперва осуждают кого-нибудь на смерть, а затем его же оплакивают и весьма о нем сожалеют. Пример тому – отношение римского народа к Манлию Капитолийскому, коего он сперва приговорил к смерти, а потом горько о нем пожалел. Историк так говорит об этом: «Populum brevi, posteaquam ab eo periculum nullum erat, desiderium eius tenuit»[131]. В другом месте, показывая события, развернувшиеся в Сиракузах после смерти Гиеронима, внука Гиерона, он говорит: «Hace natura multitudinis est: aut humiliter servit, aut superbe dominatur»[132].

Не знаю, может быть, я взваливаю на себя тяжелое и трудно исполнимое дело, от которого мне либо придется с позором отказаться, либо вести его под бременем порицаний, но я хочу защищать положение, отвергаемое, как мною только что говорилось, всеми историками. Впрочем, как бы там ни было, я никогда не считал и никогда не буду считать пороком готовность отстаивать любое мнение, опираясь на разум и не прибегая к

помощи авторитета и силы.

Так вот, я утверждаю, что тем самым пороком, которым историки попрекают народные массы, можно попрекнуть всех людей вообще и больше всего государей. Всякий человек, не управляемый законами, совершил бы те же самые ошибки, которые допускают разнузданные массы. В этом легко убедиться: немало есть и было разных государей, но добрые и мудрые государи – наперечет. Я говорю о государях, сумевших разорвать сдерживающую их узду; в этот разряд не входят ни государи, существовавшие в Египте и в пору самой древней древности управлявшие этой страной с помощью законов, ни государи, существовавшие в Спарте, ни государи, ныне существующие во Франции.

Монархическая власть сдерживается во Франции законами более, чем в каком-либо из известных нам нынешних царств. Цари эти, правившие согласно конституционным законам, не входят в названный разряд, поскольку нам хотелось бы рассмотреть природу всякого человека, взятого самого по себе, и посмотреть, сходна ли она с природой народных масс. В противовес же названным царям можно было бы поставить массы, так же как и цари, управляемые законами: в этом случае мы обнаружили бы у народных масс те же самые добродетели, что и у царей, и увидели бы, что массы и не властвуют надменно, и не прислуживают рабски.

Именно таким был римский народ, который, пока Республика сохранялась неразвращенной, никогда рабски не прислуживал и никогда надменно не властвовал, но с помощью своих учреждений и магистратов честно и с достоинством играл отведенную ему общественную роль. Когда необходимо было выступать против одного из сильных мира сего, он делал это – пример тому Манлий, Децимвиры и другие, пытавшиеся угнетать народ; когда же необходимо было во имя общественного блага повиноваться Диктаторам и Консулам, он повиновался.

И если римский народ горько сожалел о смерти Манлия Капитолийского, то особенно удивляться тут нечему: он сожалел о его доблести, которая была столь велика, что воспоминания о ней вызывали у каждого слезы. Точно так же поступил бы любой государь, ведь все историки уверяют, что следует прославлять всякую доблесть и восхищаться ею даже у наших врагов. Тем не менее если бы среди проливаемых по нему слез Манлий вдруг воскрес, народ Рима вынес бы ему тот же самый приговор; он точно так же освободил бы его из тюрьмы, а некоторое время спустя осудил бы его на смерть.

В противоположность этому можно видеть, как государи,

почитаемые мудрыми, сперва убивали какого-нибудь человека, а потом крайне о том сожалели. Так поступил Александр с Клитом и другими своими друзьями, а Ирод – с Мариамной.

Но то, что говорит нам историк о природе народных масс, он говорит не о массах, упорядоченных законами, вроде римского народа, а о разнузданной толпе, каковой была сиракузская чернь. Эта последняя совершает ошибки, совершаемые людьми вспыльчивыми и необузданными, вроде Александра Великого и Ирода.

Поэтому не следует порицать природу масс больше, нежели натуру государей, ибо и массы, и государи в равной степени заблуждаются, когда ничто не удерживает их от заблуждений. В подтверждение этого, помимо приведенных мною примеров, можно сослаться на пример римских императоров и на других тиранов и государей; у них мы увидим такое непостоянство и такую переменчивость, каких не найти ни у одного народа.

Итак, я прихожу к выводу, противоречащему общему мнению, полагающему, будто народ, когда он находится у власти, непостоянен, переменчив и неблагодарен. Я утверждаю, что народ грешит названными пороками ничуть не больше, нежели любой государь. Тот, кто предъявит обвинение в указанных пороках в равной мере и народу, и государям, окажется прав; избавляющий же от них государей допустит ошибку. Ибо властвующий и благоустроенный народ будет столь же, а то и более постоянен, благоразумен и щедр, что и государь, притом государь, почитаемый мудрым.

С другой стороны, государь, сбросивший узду закона, окажется неблагодарнее, переменчивее и безрассуднее всякого народа. Различие в их действиях порождается не различием их природы – ибо природа у всех одинакова, а если у кого здесь имеется преимущество, то как раз у народа, – но большим или меньшим уважением законов, в рамках которых они живут.

Всякий, кто посмотрит на римский народ, увидит, что в продолжение четырехсот лет народ этот был врагом царского звания, страстным почитателем славы своей родины и поборником ее общественного блага, – он увидит множество примеров и тому, и другому.

А если кто сошлется на неблагодарность, проявленную римским народом по отношению к Сципиону, то в ответ я приведу тот же самый довод, который подробно рассматривался мною прежде, когда показывалось, что народ менее неблагодарен, нежели государь.

Что же до рассудительности и постоянства, то уверяю вас, что народ постояннее и много рассудительнее всякого государя. Не

без причин голос народа сравнивается с гласом Божьим: в своих предсказаниях общественное мнение достигает таких поразительных результатов, что кажется, будто благодаря какой-то тайной способности народ ясно предвидит, что окажется для него добром, а что – злом. Лишь в самых редких случаях, выслушав речи двух ораторов, равно убедительные, но тянущие в разные стороны, народ не выносит наилучшего суждения и не способен понять того, о чем ему говорят.

А если он, как отмечалось, допускает ошибки, принимая решения излишне смелые, хотя и кажущиеся ему самому полезными, то ведь еще большие ошибки допускает государь, движимый своими страстями, каковые по силе много превосходят страсти народа. При избрании магистратов, например, народ делает несравнимо лучший выбор, нежели государь; народ ни за что не уговоришь, что было бы хорошо удостоить общественным почетом человека недостойного и распутного поведения, а государя уговорить в том можно без всякого труда.

Римские трубачи и воины, несущие военную добычу.
Гравюра XIX в.

Коли уж что-то внушило ужас народу, то мнение его по этому поводу не изменяется веками. Совсем не то мы видим у государей. Для подтверждения правильности обоих вышеизложенных положений мне было бы достаточно сослаться на римский народ. На протяжении сотен лет, много раз избирая Консулов и Трибунов, он и четырежды не раскаялся в своем выборе.

Народ Рима, как я уже говорил, настолько ненавидел титул царя, что никакие заслуги гражданина, домогавшегося этого

титула, не могли спасти его от заслуженного наказания.

Помимо всего прочего, города, в которых у власти стоит народ, за короткое время сильно расширяют свою территорию, много больше, чем те, которые всегда находились под властью одного государя. Так было с Римом после изгнания из него царей; так было с Афинами после освобождения их от Писистрата. Причина тому может быть только одна: народное правление лучше правления самодержавного.

Я не хочу, чтобы этому моему мнению противопоставлялось все то, о чем говорит нам историк в вышеупомянутой фразе или в каком-нибудь другом месте, ибо если мы сопоставим все беспорядки, произведенные народом, со всеми беспорядками, учиненными государями, и все славные деяния народа со всеми славными деяниями государей, то мы увидим, что народ много превосходит государей и в добродетели, и в славе.

А если государи превосходят народ в умении давать законы, образовывать гражданскую жизнь, устанавливать новый строй и новые учреждения, то народ столь же превосходит их в умении сохранять учрежденный строй. Тем самым он приобщается к славе его учредителей.

Одним словом, дабы заключить мои рассуждения о сем предмете, скажу, что много было долговечных монархий и много было долговечных республик; тем и другим потребно было подчинение законам, ибо государь, который способен делать все, что ему заблагорассудится, – безумен, народ же, который способен делать все, что ему угодно, – не мудр. Однако если мы сопоставим государя, уважающего закон, с подчиняющимся законам народом, то убедимся, что у народа доблести больше, чем у государя.

Если же мы сопоставим необузданного государя с тоже необузданным народом, то увидим, что и в этом случае народ допускает менее серьезные ошибки, для исправления которых необходимы более легкие средства. Ведь достаточно доброму человеку поговорить с разнузданным и мятежным народом, и тот тут же опять встанет на правый путь.

А с дурным государем поговорить некому – для избавления от него потребно железо. По этому можно судить о степени серьезности заболевания. Раз для излечения болезни народа довольно слов, а для излечения болезни государя необходимо хирургическое вмешательство, то не найдется никого, кто не признал бы, что там, где лечение труднее, допущены и более серьезные ошибки.

Когда народ совершенно сбрасывает с себя всякую узду, опасаться надо не безумств, которые он творит, и не нынешнего

зла страшиться, – бояться надо того, что из этого может произойти, ибо общественные беспорядки легко порождают тирана. С дурными государями происходит как раз обратное: тут страшатся теперешнего зла и все надежды возлагают на будущее; люди успокаивают себя тем, что сама дурная жизнь государя может возродить свободу. Итак, вот к чему сводится различие между народом и государем: это отличие существующего от того, что будет существовать.

Жестокость народных масс направлена против тех, кто, как опасается народ, может посягнуть на общее благо; жестокость государя направлена против тех, кто, как он опасается, может посягнуть на его собственное, личное благо.

Неблагоприятные народу мнения о нем порождены тем, что о народе всякий говорит плохое свободно и безбоязненно даже тогда, когда народ стоит у власти; о государях же всегда говорят с большим страхом и с тысячью предосторожностей…

КНИГА ВТОРАЯ

Вступление

Люди всегда хвалят – но не всегда с должными основаниями – старое время, а нынешнее порицают. При этом они до того привержены прошлому, что восхваляют не только те давние

эпохи, которые известны им по свидетельствам, оставленным историками, но также и те времена, которые они сами видели в своей молодости и о которых вспоминают, будучи уже стариками. В большинстве случаев таковое их мнение оказывается ошибочным. Мне это ясно, потому что мне понятны причины, вызывающие у них подобного рода заблуждение.

Прежде всего, заблуждение это порождается, по-моему, тем, что о делах далекого прошлого мы не знаем всей правды: то, что могло бы очернить те времена, чаще всего скрывается, то же, что могло бы принести им добрую славу, возвеличивается и раздувается.

Большинство историков до того ослеплено счастьем победителей, что, дабы прославить их победы, не только преувеличивает все то, что названными победителями было доблестно совершено, но также и действия их врагов разукрашивает таким образом, что всякий, кто потом родится в любой из двух стран, победившей или побежденной, будет иметь причины восхищаться тогдашними людьми и тогдашним временем и будет принужден в высшей степени прославлять их и почитать.

Кроме того, поскольку люди ненавидят что-либо по причине либо страха, либо зависти, то, сталкиваясь с делами далекого прошлого, они теряют две важнейшие причины, из-за которых они могли бы их ненавидеть, ибо прошлое не может тебя обижать и у тебя нет причин ему завидовать. Иное дело события, в которых мы участвуем и которые находятся у нас перед глазами: познание открывает тебе их со всех сторон; и, познавая в них вместе с хорошим много такого, что тебе не по нутру, ты оказываешься вынужденным оценивать их много ниже событий древности даже тогда, когда, по справедливости, современность заслуживает гораздо больше славы и доброй репутации, нежели античность.

Я говорю это не о произведениях искусства, которые столь ясно свидетельствуют сами за себя, что время мало может убавить или прибавить к той славе, коей они заслуживают, – я говорю это о том, что имеет касательство к жизни и нравам людей и чему нет столь же неоспоримых свидетелей.

Итак, повторяю: невозможно не признать, что у людей имеется обыкновение хвалить прошлое и порицать настоящее. Однако нельзя утверждать, что, поступая так, люди всегда заблуждаются. Сама необходимость требует, чтобы в каких-то случаях они судили верно. Ведь, находясь в вечном движении, дела человеческие идут либо вверх, либо вниз. Бывает, что город или страна упорядочивается для гражданской жизни каким-

нибудь выдающимся человеком, и в известное время, благодаря его личной доблести, дела в них развиваются к лучшему.

Кто, родившись в ту пору, при тогдашнем строе станет хвалить древность больше, чем современность, допустит ошибку, и причиной его ошибки будут выше рассмотренные обстоятельства. Но родившиеся после него в том же городе или стране, когда этот город или страна вступят в полосу упадка, судя так же, как он, будут судить правильно.

Размышляя о ходе дел человеческих, я прихожу к выводу, что мир всегда остается одинаковым, что в мире этом столько же дурного, сколько и хорошего, но что зло и добро перекочевывают из страны в страну. Это подтверждают имеющиеся у нас сведения о древних царствах, которые сменяли друг друга вследствие изменения нравов, а мир при этом оставался одним и тем же. Разница состояла лишь в том, что та самая доблесть, которая прежде помещалась в Ассирии, переместилась в Мидию, затем в Персию, а из нее перешла в Италию и Рим.

И хотя за Римской империей не последовало империи, которая просуществовала бы длительное время и в которой мир сохранил бы всю свою доблесть целостной, мы все-таки видим ее рассеянной среди многих наций, живущих доблестной жизнью. Пример тому дают королевство Франции, царство турок и царство султана, а ныне – народы Германии и прежде всего секта сарацинов, которая совершила многие великие подвиги и захватила значительную часть мира после того, как она сокрушила Восточную Римскую империю.

Так вот, во всех этих странах, после падения римлян, и во всех этих сектах сохранялась названная доблесть, и в некоторых из них до сих пор имеется то, к чему надобно стремиться и что следует по-настоящему восхвалять. Всякий, кто, родившись в тех краях, примется хвалить прошлые времена больше, нежели нынешние, допустит ошибку. Но тот, кто родился в Италии и в Греции и не стал в Италии французом или германцем, а в Греции – турком, имеет все основания хулить свое время и хвалить прошлое.

Ибо некогда там было чем восхищаться; ныне же ничто не может искупить крайней нищеты, гнусности и позора: в странах сих не почитается религия, не соблюдаются законы и отсутствует армия; теперь они замараны всякого рода мерзостью. И пороки их тем более отвратительны, что больше всего они гнездятся в тех, кто восседает pro tribunali, кто командует другими и кто желает быть боготворимым.

Но вернемся к нашему рассуждению. Если, как утверждаю я, люди ошибаются, определяя, какой век лучше, нынешний или

древний, ибо не знают древности столь же хорошо, как свое время, то, казалось бы, старикам не должно заблуждаться в оценках поры собственной юности и старости – ведь и то, и другое время известно им в равной мере хорошо, так как они видели его собственными глазами.

Это было бы справедливо, если бы люди во все возрасты жизни имели одни и те же суждения и желания; но поскольку люди меняются скорее, чем времена, последние не могут казаться им одинаковыми, ибо в старости у людей совсем не такие желания, пристрастия и мысли, какие были у них в юности. Когда люди стареют, у них убывает сила и прибавляется ума и благоразумия. Поэтому неизбежно, что все то, что в юности казалось им сносным или даже хорошим, в старости кажется дурным и невыносимым. Однако вместо того, чтобы винить свой рассудок, они обвиняют время.

Кроме того, так как желания человеческие ненасытны и так как природа наделила человека способностью все мочь и ко всему стремиться, а фортуна позволяет ему достигать лишь немногого, то следствием сего оказывается постоянная духовная неудовлетворенность и пресыщенность людей тем, чем они владеют. Именно это заставляет их хулить современность, хвалить прошлое и жадно стремиться к будущему даже тогда, когда у них нет для этого сколько-нибудь разумного основания.

Не знаю, возможно, и я заслужил того, чтобы быть причисленным к заблуждающимся, ибо в этих моих рассуждениях я слишком хвалю времена древних римлян и ругаю наше время. Действительно, не будь царившая тогда доблесть и царствующий ныне порок яснее солнца, я вел бы себя более сдержанно, опасаясь впасть в ту самую ошибку, в которой я обвиняю других. Но так как все это очевидно для каждого, то я стану говорить смело и без обиняков все, что думаю о той и о нашей эпохе, дабы молодежь, которая прочтет сии мои писания, могла бежать от нашего времени и быть готовой подражать античности, как только фортуна предоставит ей такую возможность.

Ведь обязанность порядочного человека – учить других, как сделать все то хорошее, чего сам он не сумел совершить из-за зловредности времени и фортуны. Когда окажется много людей, способных к добру, некоторые из них – те, что будут более всех любезны Небу, – смогут претворить это добро в жизнь.

Поскольку в рассуждениях предыдущей книги говорилось о решениях, принимавшихся римлянами по вопросам, касавшимся внутренних дел города, то в этой книге мы поговорим уже о том, что предпринял римский народ для расширения своей державы.

Глава II. С какими народами римлянам приходилось вести войну и как названные народы отстаивали свою свободу

Ничто так не затрудняло римлянам покорение народов соседних стран, не говоря уж о далеких землях, как любовь, которую в те времена многие народы питали к своей свободе. Они защищали ее столь упорно, что никогда не были бы порабощены, если бы не исключительная доблесть их завоевателей. Многие примеры свидетельствуют о том, каким опасностям подвергали себя тогдашние народы, дабы сохранить или вернуть утраченную свободу, как мстили они тем, кто лишал их независимости.

Уроки истории учат также, какой вред наносит народам и городам рабство. Там, где теперь имеется всего лишь одна страна, о которой можно сказать, что она обладает свободными городами, в древности во всех странах жило множество совершенно свободных народов.

В те далекие времена, о которых мы сейчас говорим, в Италии, начиная от Альп, отделяющих ныне Тоскану от Ломбардии, и до ее оконечности на юге, жило много свободных народов. Это были тосканцы, римляне, самниты и многие другие народы, населявшие остальную Италию. Нет никаких указаний на то, что в Италии тогда имелись какие-либо цари за исключением тех, что правили в Риме, да еще Порсены, царя Тосканы, род которого угас, но как и когда – история о том умалчивает.

Тем не менее совершенно очевидно, что в пору, когда римляне осаждали Вейи, Тоскана была уже свободной и так радовалась свободе, до такой степени ненавидела само имя государя, что когда вейенты для своей защиты избрали в Вейях царя, а затем обратились к тосканцам за помощью против римлян, тосканцы после долгих совещаний решили не помогать вейентам, пока те будут жить под властью царя, полагая, что нехорошо защищать родину тех, кто уже подчинил ее чужой воле.

Нетрудно понять, почему у народа возникает такая любовь к свободной жизни. Ведь опыт показывает, что города увеличивают свои владения и умножают богатства, только будучи свободными. В самом деле, диву даешься, когда подумаешь, какого величия достигли Афины в течение ста лет, после того как они освободились от тирании Писистрата. Еще больше поражает величие, достигнутое Римом, освободившимся от царей. Причину сего уразуметь несложно: великими города делает забота не о личном, а об общем благе.

А общее благо принимается в расчет, бесспорно, только в республиках. Ибо все то, что имеет его своей целью, в республиках проводится в жизнь, даже если это наносит урон тому или иному частному лицу; граждане, ради которых делается сказанное благо, столь многочисленны, что общего блага можно достигнуть там вопреки немногим, интересы которых при этом ущемляются.

Обратное происходит в землях, где власть принадлежит государю. Там в большинстве случаев то, что делается для государя, наносит урон городу, а то, что делается для города, ущемляет государя. Так что когда свободную жизнь сменяет тирания, наименьшим злом, какое проистекает от этого для городов, оказывается то, что они не могут больше ни развиваться, ни умножать свою мощь и богатство. Чаще же всего и даже почти всегда они поворачивают вспять.

Если по воле случая к власти и приходит доблестный тиран, который, обладая мужеством и располагая силой оружия, расширяет границы своей территории, то это идет на пользу не всей республике, а только ему одному. Тиран не может почтить ни одного из достойных и добрых граждан, над которыми он тиранствует, без того чтобы тот тут же не попал у него под подозрение. Он не может также ни подчинять другие города тому городу, тираном которого он является, ни превращать их в его данников, ибо не в его интересах делать свой город сильным: ему выгодно держать государство раздробленным, так чтобы каждая земля и каждая область признавала лишь его своим господином.

Вот почему из всех его завоеваний выгоду извлекает один

только он, а никак не его родина. Кто пожелает подкрепить это мнение многими другими доводами, пусть прочтет, что пишет Ксенофонт в трактате «О тирании». Не удивительно поэтому, что древние народы с неумолимой ненавистью преследовали тиранов и так любили свободную жизнь, что само имя свободы пользовалось у них большим почетом.

Вот пример того: когда в Сиракузах погиб Гиероним, внук Гиерона Сиракузского, и весть о его смерти дошла до его войска, стоявшего неподалеку от Сиракуз, войско поначалу принялось волноваться и ополчилось против убийц Гиеронима, но, услышав, что в Сиракузах провозглашена свобода, отложило гнев против тираноубийц и принялось думать, как бы в означенном городе устроить свободную жизнь.

Не удивительно также, что народ жестоко мстит тем, кто отнимает у него свободу. Примеров тому достаточно, я хочу указать лишь на события, имевшие место в Керкире, греческом городе, во время Пелопоннесской войны. Тогда вся Греция разделилась на две партии, одна из которых была на стороне афинян, другая – спартанцев; следствием сего было то, что из многих городов, разделенных на партии, одни стремились к дружбе со Спартой, а другие – с Афинами.

Случилось так, что когда в упомянутом городе верх одержали нобили и отняли у народа свободу, народная партия с помощью афинян собралась с силами, захватила всю знать и заперла нобилей в тюрьму, способную вместить их всех. Затем их начали выводить оттуда по восемь-десять человек зараз, под предлогом отправки в изгнание, и убивать, проявляя при этом большую жестокость.

Проведав про то, оставшиеся в тюрьме решили по возможности избежать столь позорной смерти и, вооружившись чем попало, принялись защищать дверь в тюрьму, отбиваясь от тех, кто хотел в нее ворваться. Сбежавшийся на шум народ сломал крышу тюрьмы и похоронил заключенных в ней нобилей под ее обломками.

Сражение афинян и спартанцев
(*эпизод Пелопоннесской войны*). *Гравюра XIX в.*

Пелопоннесская война (431—404 гг. до н. э.) выявила и обострила исконные противоречия Афин и Спарты, во многом обусловленные различным политическим устройством этих государств. Не удивительно, что Афины проиграли в открытом военном конфликте Спарте, весь внутренний строй которой был настроен на военное воспитание своих граждан. Но хотя победа в Пелопоннесской войне и позволила Спарте установить свою гегемонию, удержать ее надолго не удалось. Уже в 372 г. до н. э. Спарта окончательно утратила свою гегемонию и стала быстро падать, а Афины, хоть и не вернули себе былого влияния, пережили еще несколько расцветов, создав и сохранив культуру, ставшую основой современного западного общества.

Потом в Греции было много других не менее ужасных и примечательных событий. Из всего этого явствует, что за похищенную свободу люди мстят более энергично, чем за ту, которую у них еще только собираются отнять.

Размышляя над тем, почему могло получиться так, что в те стародавние времена народ больше любил свободу, чем теперь, я прихожу к выводу, что произошло это по той же самой причине,

из-за которой люди сейчас менее сильны, а причина этого кроется, как мне кажется, в отличии нашего воспитания от воспитания древних, и в основе ее лежит отличие нашей религии от религии античной. Наша религия, открывая истину и указуя нам истинный путь, заставляет нас мало ценить мирскую славу. Язычники же ставили ее весьма высоко, видя именно в ней высшее благо.

Поэтому в своих действиях они оказывались более жестокими. Об этом можно судить по многим установлениям и обычаям, начиная от великолепия языческих жертвоприношений и кончая скромностью наших религиозных обрядов, в которых имеется некоторая пышность, скорее излишняя, чем величавая, однако не содержится ничего жестокого или мужественного. В обрядах древних не было недостатка ни в пышности, ни в величавости, но они к тому же сопровождались кровавыми и жестокими жертвоприношениями, при которых убивалось множество животных.

Это были страшные зрелища, и они делали людей столь же страшными. Кроме того, античная религия причисляла к лику блаженных только людей, преисполненных мирской славы, – полководцев и правителей республик. Наша же религия прославляет людей скорее смиренных и созерцательных, нежели деятельных. Она почитает высшее благо в смирении, в самоуничижении и в презрении к делам человеческим; тогда как религия античная почитала высшее благо в величии духа, в силе тела и во всем том, что делает людей чрезвычайно сильными.

А если наша религия и требует от нас силы, то лишь для того, чтобы мы были в состоянии терпеть, а не для того, чтобы мы совершали мужественные деяния. Такой образ жизни сделал, по-моему, мир слабым и отдал его во власть негодяям: они могут безбоязненно распоряжаться в нем как угодно, видя, что все люди, желая попасть в рай, больше помышляют о том, как бы стерпеть побои, нежели о том, как бы за них расплатиться.

И если теперь кажется, что весь мир обабился, а небо разоружилось, то причина этому, несомненно, подлая трусость тех, кто истолковывал нашу религию, имея в виду праздность, а не доблесть.

Если бы они приняли во внимание то, что религия наша допускает прославление и защиту отечества, то увидели бы, что она требует от нас, чтобы мы любили и почитали родину и готовили себя к тому, чтобы быть способными встать на ее защиту. Именно из-за такого рода воспитания и столь ложного истолкования нашей религии на свете не осталось такого же количества республик, какое было в древности, и следствием сего

является то, что в народе не заметно теперь такой же любви к свободе, какая была в то время.

Я полагаю также, что в огромной мере причиной тому было также и то, что Римская империя, опираясь на свои войска и могущество, задушила все республики и всякую свободную общественную жизнь. И хотя империя эта распалась, города, находящиеся на ее территории, за очень редким исключением, так и не сумели ни вместе встать на ноги, ни опять наладить у себя гражданский общественный строй.

Как бы там ни было, римляне в каждой, даже самой отдаленной части света встречали вооруженное сопротивление со стороны отдельных республик, которые, объединившись вместе, яростно отстаивали свою свободу. Если бы римский народ не обладал редкой и исключительной доблестью, ему никогда не удалось бы их покорить. В качестве примера достаточно, по-моему, сослаться на самнитов. Они были поразительным народом, и Тит Ливий это признает.

Они были столь могущественны и обладали такой хорошей армией, что могли оказывать сопротивление римлянам вплоть до консульства Папирия Курсора, сына первого Папирия (иными словами, на протяжении сорока шести лет), и это после многих поражений, после того, как их земли не раз опустошались, а страна отдавалась на поток и разграбление. Теперь эта страна, где некогда было множество городов и жило много народа, являет вид чуть ли не пустыни; тогда же она была столь благоустроенна и столь сильна, что ее не одолел бы никто, если бы не обрушившаяся на нее римская доблесть.

Нетрудно уразуметь, откуда проистекала ее тогдашняя благоустроенность и что породило ее нынешнюю неблагоустроенность: тогда все в ней имело своим началом свободную жизнь, теперь же – жизнь рабскую. А все земли и страны, которые полностью свободны, как о том уже было говорено, весьма и весьма преуспевают.

Население в них многочисленнее, ибо браки в них свободнее и поэтому заключаются более охотно; ведь всякий человек охотнее рождает детей, зная, что сумеет их прокормить, и не опасаясь того, что наследство у них будет отнято, а также если он уверен не только в том, что дети его вырастут свободными людьми, а не рабами, но и в том, что благодаря своей доблести они смогут сделаться когда-нибудь первыми людьми в государстве.

В таких странах богатства все время увеличиваются – и те, источником которых является земледелие, и те, которые создаются ремеслами. Ибо каждый человек в этих странах не

задумываясь приумножает и приобретает блага, которыми рассчитывает затем свободно пользоваться. Следствием этого оказывается то, что все граждане, соревнуясь друг с другом, заботятся как о частных, так и об общественных интересах и что общее их благосостояние на диво растет.

Прямо противоположное происходит в странах, живущих в рабстве. Там тем меньше самых скромных благ, чем больше и тягостнее рабство. Из всех же видов рабства самым тягостным является то, в которое тебя обращает республика. Во-первых, потому, что оно самое продолжительное и не дает тебе надежды на освобождение. Во-вторых, потому, что ради собственного усиления республика стремится всех других измотать и обессилить.

Никакой государь не сможет подчинить тебя себе в такой же мере, если только он не является государем – варваром, разорителем стран и разрушителем человеческих цивилизаций, наподобие восточных деспотов. Однако если государь человечен и не обладает противоестественными пороками, то в большинстве случаев он любит, как свои собственные, покорившиеся ему города и сохраняет в них все цехи и почти все старые порядки.

Так что если города эти и не могут расти и развиваться так же хорошо, как свободные, то по крайней мере они не гибнут, подобно городам, обращенным в рабство. Говоря здесь о рабстве, я имею в виду города, порабощенные чужеземцем, ибо о городах, порабощенных своим собственным гражданином, мною было говорено выше.

Так вот, кто примет во внимание все вышесказанное, не станет удивляться тому могуществу, каким обладали самниты, будучи свободными, и их слабости в ту пору, когда они были уже порабощены. Тит Ливий свидетельствует об этом во многих местах, особенно повествуя о войне с Ганнибалом.

Там он рассказывает, как притесняемые стоявшим в Ноле легионом самниты отправили к Ганнибалу послов просить его о помощи. В своей речи послы сказали, что самниты около ста лет сражались с римлянами силою собственных солдат и собственных полководцев, что некогда они не однажды давали отпор сразу двум консульским армиям и двум Консулам, но что теперь они впали в такое ничтожество, что лишь с огромным трудом могут защитить себя от маленького римского легиона, находящегося в Ноле.

Никколо Макиавелли

О военном искусстве

Никколо Макиавелли. О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ

Перевод с итальянского. Современная литературная редакция *А. К. Осмолова*

Предисловие Никколо Макиавелли, гражданина и секретаря флорентийского, к книге о военном искусстве, посвященное Лоренцо, сыну Филиппо Строцци, флорентийскому дворянину

Многие, Лоренцо, держались и держатся того взгляда, что нет в мире вещей, друг с другом менее связанных и более друг другу чуждых, чем гражданская и военная жизнь. Поэтому мы часто замечаем, что когда человек задумает выделиться на военном поприще, он не только сейчас же меняет платье, но всем своим поведением, привычками, голосом и осанкой отличается от всякого обыкновенного гражданина. Тот, кто хочет быть скор и всегда готов на любое насилие, считает невозможным носить гражданскую одежду. Гражданские нравы и привычки не подходят для того, кто считает первые чересчур мягкими, а вторые – негодными для своих целей.

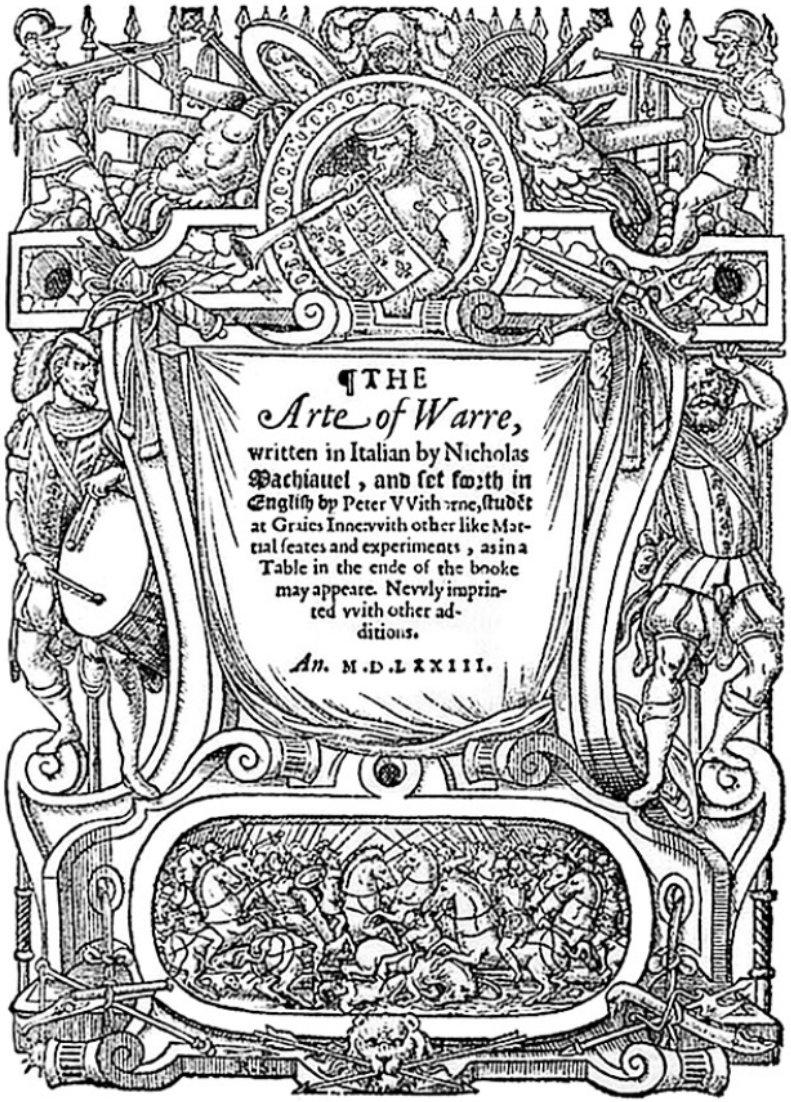
Обычный облик и речь кажутся неуместными тому, кто хочет пугать других бородой и бранными словами. Поэтому для наших времен мнение, о котором я говорил выше, – это сама истина. Однако если посмотреть на установления древности, то не найдется ничего более единого, более слитного, более содружественного, чем жизнь гражданина и воина.

Всем сословиям, существующим в государстве ради общего блага людей, не были бы нужны учреждения, созданные для того, чтобы люди жили в страхе законов и Бога, если бы при этом не подготовлялась для их защиты сила, которая, будучи хорошо устроенной, спасает даже такие учреждения, которые сами по себе негодны.

Наоборот, учреждения хорошие, но лишенные вооруженной поддержки, распадаются совершенно так же, как разрушаются постройки роскошного королевского дворца, украшенные драгоценностями и золотом, но ничем не защищенные от дождя. И если в гражданских учреждениях древних республик и царств делалось все возможное, чтобы поддерживать в людях верность, миролюбие и страх Божий, то в войске усилия эти удваивались, ибо от кого же может отечество требовать верности, как не от

человека, поклявшегося за него умереть?

Кто должен больше любить мир, как не тот, кто может пострадать от войны? В ком должен быть жив страх Божий, как не в том, кто ежедневно подвергается бесчисленным опасностям и всего более нуждается в помощи Всевышнего? Благодаря этой необходимости, которую хорошо понимали законодатели империй и полководцы, жизнь солдата прославлялась другими гражданами, которые всячески старались ей следовать и подражать.



Титульный лист «Искусства войны»
Никколо Макиавелли. *1573 г.*

Теперь же, когда военные установления в корне извращены и давно оторваны от древних устоев, сложились те зловещие мнения, которые приводят к тому, что военное сословие ненавидят и всячески его чуждаются. Я же, по всему мною виденному и почитанному, не считаю невозможным возвратить это сословие к его древним основаниям и, хотя бы отчасти, вернуть ему прежнюю доблесть. Не желая проводить свой досуг без дела, я решился записать для ревнителей подвигов древности

свои мысли о военном искусстве.

Конечно, рассуждать о предмете, неизвестном тебе по опыту, – дело смелое, но я все же не считаю грехом возвести себя на словах в достоинство, которое многие с еще большей самонадеянностью присваивали себе в жизни. Мои ошибки, сделанные при написании этой книги, могут быть исправлены без ущерба для кого бы то ни было, но ошибки людей, совершенные на деле, познаются только тогда, когда приведут к гибели царства.

Вы же, Лоренцо, оцените теперь мои труды и воздайте им в своем приговоре ту похвалу или то осуждение, которого они, по вашему мнению, заслуживают. Посылаю их вам, дабы выразить вам свою благодарность, хотя все, что я могу сделать, далеко не соответствует благодеяниям, которые вы мне оказали. Подобными произведениями обычно стремятся почтить людей, прославленных родом, богатством, умом и щедростью, но я знаю, что мало кто может спорить с вами богатством и родом, умом вам равны лишь немногие, а щедростью – никто.

Никколо Макиавелли, гражданин и секретарь флорентийский, читателю

Дабы читатели могли легко понимать боевой строй, расположение войск и лагерей, о чем здесь пойдет речь, считаю

необходимым показать их наглядно. Поэтому надлежит сперва указать знаки, которыми будут изображены пехота, конница или иные отдельные части войск.

Имейте поэтому в виду, что следующие буквы означают:

o – пехотинцев со щитами
n – пехотинцев с пиками
x – декурионов (начальников десятков)
v – велитов действующих (застрельщиков)
u – велитов запасных
C – центурионов (начальников сотен)
T – командиров батальонов
D – командиров бригад
A – главнокомандующих
S – музыкантов
Z – знаменосцев
r – тяжелую конницу
e – легкую конницу
g – артиллерию

КНИГА ПЕРВАЯ

Я считаю, что каждого человека по смерти его можно хвалить без стеснения, ибо тогда отпадает всякий повод и всякое подозрение в искательстве; поэтому я, не колеблясь, воздам хвалу

нашему Козимо Ручеллаи, имени которого я никогда не мог вспомнить без слез, ибо познал в нем все качества, какие друг может требовать от друзей, а отечество – от гражданина.

Не знаю, дорожил ли он чем-либо настолько (не исключая и самой жизни), чтобы охотно не отдать этого для своих друзей; не знаю того предприятия, которого бы он устрашился, если видел в нем благо для отечества. Заявляю открыто, что среди многих людей, с которыми я был знаком и общался по делам, я не встречал человека, душа которого была бы более открыта всему великому и прекрасному.

В последние минуты он скорбел с друзьями о том, что ему суждено было умереть в постели молодым и неизвестным и что не исполнилось его желание принести всем настоящую пользу; он знал, что о нем можно будет сказать только одно – умер верный друг. Однако, хотя дела его остались незавершенными, мы и другие, знавшие его хорошо, можем все свидетельствовать о высоких его качествах.

Действительно, судьба не была к нему настолько враждебна и не помешала ему оставить после себя некоторые хрупкие памятники его блестящего ума: таковы немногие его произведения и любовные стихи, в которых он, хотя и не был влюблен, упражнялся в молодые годы, чтобы не тратить времени понапрасну в ожидании, пока судьба направит его дух к мыслям более возвышенным. Стихи эти ясно показывают, как счастливо выражал он свои мысли и каких вершин он мог бы достигнуть в поэзии, если бы всецело себя ей посвятил.

Теперь, когда судьба отняла у меня такого друга, мне осталось, как кажется, единственное утешение – радостно о нем вспоминать и повторять его меткие слова или глубокомысленные рассуждения. Самое живое воспоминание – это беседа его у себя в саду с синьором Фабрицио Колонна, во время которой названный синьор подробно говорил о войне, большей частью отвечая на острые и продуманные вопросы Козимо.

Джулиано II ди Лоренцо де Медичи.
Копия неизвестного автора
с утерянного портрета кисти Рафаэля. XVI в.

Джулиано Медичи (1479—1516; третий сын Лоренцо Великолепного (1449—1492) и Клариче Орсини; брат Пьеро, позднее Пьеро II Невезучего, 1472—1503; и Джованни, позднее впоследствии кардинала, а затем и Папы Льва X, 1475—1521), воспитывался под руководством друга отца, его придворного поэта и драматурга, профессора греческой и латинской литературы во Флорентийском университете Анджело Амброджини (Полициано).

После смерти отца ему наследовал Пьеро, однако в 1494 г. он был изгнан из Флоренции. Только через 18 лет роду Медичи удалось вернуть себе главенство в этой республике. 1 сентября 1512 г. Джулиано вместе со старшим братом Джованни во главе испанских войск, выделенных герцогом Кардоной, захватили Флоренцию. Через полгода кардинал Джованни Медичи передал власть над городом в руки Джулиано, а сам вернулся в Рим, где вскоре был избран Папой и пожаловал своему брату титул «капитан-генерала Флорентийской республики».

Этот портрет на фоне замка св. Ангела был написан в 1515 г. Рафаэлем, но впоследствии был утрачен и известен лишь по копиям.

Я с несколькими общими друзьями присутствовал при разговоре и решил восстановить его в памяти, дабы при чтении друзья Козимо, участники беседы, живее вспомнили о его талантах, а прочие пожалели о своем отсутствии и вместе с тем научились из глубокомысленных слов одного из замечательных людей нашего времени многому полезному не только для войны, но и для гражданской жизни.

Фабрицио Колонна, возвращаясь из Ломбардии, где долго и с великой для себя славой сражался за короля-католика[133], будучи проездом во Флоренции, решил отдохнуть несколько дней в этом городе, чтобы посетить его светлость герцога[134] и вновь повидать некоторых дворян, с которыми был знаком раньше.

Козимо счел нужным пригласить его к себе в сады, не столько для того, чтобы блеснуть перед ним роскошью, сколько для того, чтобы воспользоваться возможностью долгой беседы с ним и научиться у него разным вещам, которые можно узнать от такого человека, ибо ему представлялся случай провести день в

разговоре о предметах, привлекательных для его ума.

Фабрицио явился на приглашение и был с почетом принят Козимо и его лучшими друзьями, среди которых были Заноби Буондельмонти, Баттиста делла Палла и Луиджи Аламанни – все молодые люди, ему близкие, страстно увлеченные теми же занятиями, как и он сам; умалчиваю об их прочих достоинствах, так как они ежедневно и ежечасно говорят сами за себя.

По обычаю времени и места Фабрицио был встречен с величайшим почетом. Когда после блестящего пира гости встали из-за стола, насладившись прелестями праздника, которым большие люди с их умом, постоянно устремленным на предметы возвышенные, уделяют мало внимания, было еще рано и стояла сильная жара. Чтобы лучше достигнуть своей цели, Козимо, как будто стараясь укрыться от духоты, увел гостей в самую густую и тенистую часть своего сада.

Когда все расселись, – кто на траве, которая была здесь особенно свежа, кто на скамьях под тенью огромных деревьев, – Фабрицио стал хвалить красоту места и внимательно разглядывал деревья, но некоторые были ему неизвестны, и он затруднялся их назвать. Заметив это, Козимо сказал: «Некоторые из этих деревьев вам, может быть, незнакомы, но не удивляйтесь, так как среди них есть такие, которые больше ценились древними, а теперь мало известны». Затем он назвал деревья по именам и рассказал о том, как много потрудился над разведением этих пород дед его, Бернардо.

«Я так и думал, – отвечал Фабрицио. – Это место и труды вашего предка напоминают мне некоторых князей королевства Неаполитанского, которые тоже с любовью разводили эти породы и наслаждались их тенью». На этом он прервал разговор и некоторое время сидел в раздумьях, а затем продолжал: «Если бы я не боялся вас обидеть, я сказал бы свое мнение; не думаю, что могу вас оскорбить, так как говорю с друзьями и хочу рассуждать о вещах, а не злословить.

Да не будет это никому в обиду, но лучше бы люди старались сравняться с древними в делах мужества и силы, а не в изнеженности, в том, что древние делали при свете солнца, а не в тени, и воспринимали бы в нравах древности то, что в ней было подлинного и прекрасного, а не ложного и извращенного; ведь когда сограждане мои, римляне, стали предаваться подобным вещам, отечество мое погибло». Козимо ответил на это… Но чтобы избежать утомительных постоянных повторений слов: «такой-то сказал», «такой-то ответил», я буду просто называть имена говорящих. Итак, Козимо сказал:

КОЗИМО: Вы начали беседу, которой я давно хотел, и я

прошу вас говорить не стесняясь, как и я без стеснения буду вас спрашивать. Если я в вопросах или ответах буду кого-нибудь защищать или осуждать, это произойдет ни для того, чтобы оправдывать или винить, а для того, чтобы услышать от вас правду.

ФАБРИЦИО: А я с удовольствием скажу вам все, что знаю, в ответ на ваши вопросы, а будет это верно или нет, – судите сами. Вопросы ваши будут мне только приятны, ибо я почерпну из них столько же, сколько вы из моих ответов; мудрый вопрошатель часто заставляет собеседника подумать о многом и открывает ему такие вещи, о которых он без этих вопросов никогда бы ничего не узнал.

КОЗИМО: Я хочу вернуться к тому, о чем вы говорили раньше, – именно, что мой дед и ваши предки поступили бы более мудро, если бы подражали древним в делах мужественных, а не в изнеженности. Мне хотелось бы оправдать моего деда, предоставив вам защищать ваших предков.

Не думаю, чтобы в его времена нашелся человек, который бы так ненавидел изнеженность, как он, и так любил суровую жизнь, которую вы восхваляете; тем не менее он сознавал, что ни сам он, ни дети его этой жизнью жить не могут, ибо он родился в том развращенном веке, когда человек, не желающий подчиняться общему правилу, стал бы для всех и каждого предметом порицания и презрения.

Ведь если бы человек, подобно Диогену[135], летом под палящим солнцем лежал голым на песке, а зимой в самую стужу валялся на снегу – его сочли бы сумасшедшим. Если бы в наше время кто-нибудь, подобно спартанцам, воспитывал своих детей в деревне, заставлял бы их спать на воздухе, ходить босыми, с обнаженной головой и купаться в ледяной воде, чтобы приучить их к боли и отучить от чрезмерной любви к жизни и страха смерти, – он был бы смешон, и его приняли бы скорее за дикого зверя, чем за человека.

Если бы среди нас появился человек, питающийся овощами и презирающий золото, подобно Фабрицио, – его восхваляли бы немногие, но никто не стал бы его последователем.

Так и дед мой испугался нравов, отступил от древних образцов и подражал им в тех вещах, где он мог это делать, обращая на себя меньше внимания.

ФАБРИЦИО: В этой части вы защитили его блестяще, и, конечно, вы правы; однако я говорил не столько об этой суровой жизни, сколько о других порядках, более мягких и более сообразных с привычками наших дней, и мне кажется, что человеку, принадлежащему к числу первых граждан города, было

бы нетрудно их установить. Как всегда, я никак не могу отказаться от примера моих римлян: если вглядеться в их образ жизни и в строй этой республики, мы найдем там много такого, что было бы не невозможно восстановить в гражданском обществе, в котором еще уцелело что-нибудь хорошее.

КОЗИМО: Что же похожего на древние нравы вы хотели бы ввести?

ФАБРИЦИО: Почитать и награждать доблесть, не презирать бедность, уважать порядок и строй военной дисциплины, заставить граждан любить друг друга, не образовывать партий, меньше дорожить частными выгодами, чем общественной пользой, и многое другое, вполне сочетаемое с духом нашего времени.

Все это нетрудно воспринять, если только тщательно обдумать и применить верное средство, ибо истина здесь так очевидна, что она может быть усвоена самым обыкновенным умом. Всякий, кто это поймет, посадит деревья, под тенью которых можно отдыхать еще с большим счастьем и радостью, чем в этом саду.

КОЗИМО: Я ни словом не хотел бы возражать против ваших слов и предоставляю это тем, у кого может быть собственное суждение о таких вещах; обращаюсь теперь к вам как к обвинителю тех, кто не подражает древним в их великих делах, и думаю, что таким путем я ближе подойду к цели нашей беседы.

Мне хотелось бы узнать от вас, почему вы, с одной стороны, мечете громы против тех, кто не подобен древним, и вместе с тем сами в своей же области военного дела, стяжавшей вам столь громкую славу, никогда не обращались к древним установлениям и даже не вводили ничего, что хотя бы приблизительно напоминало их?

ФАБРИЦИО: Вы подошли именно к тому, чего я ожидал, ибо вся моя речь требовала именно этого вопроса, и я ничего другого не хотел. Мне, конечно, было бы легко оправдаться, но чтобы доставить удовольствие вам и себе (благо время нам это позволяет), я хочу побеседовать на данную тему более подробно.

Если люди хотят что-нибудь предпринять, они прежде всего должны со всей тщательностью подготовиться, дабы при удобном случае быть во всеоружии для достижения намеченной ими цели. Когда приготовления произведены осторожно, они остаются тайной и никого нельзя обвинить в небрежности, пока не явится случай раскрыть свой замысел; если же человек и тогда продолжает бездействовать, значит, он или недостаточно подготовился, или вообще ничего не обдумал. Мне же никогда не пришлось показывать, что я готовлюсь к восстановлению древних

устоев военного дела, и потому ни вы, ни кто-либо другой не можете обвинять меня в том, что я этого не исполнил. Думаю, что это достаточно ограждает меня от вашего упрека.

КОЗИМО: Конечно, если бы я был уверен, что случай вам не представился.

ФАБРИЦИО: Я знаю, что вы можете сомневаться, представлялся ли мне случай или нет; поэтому, если вам угодно терпеливо меня выслушать, я хочу поговорить о том, какие приготовления должны быть предварительно сделаны, каков должен быть ожидаемый повод, какие препятствия могут сделать все приготовления бесполезными и уничтожить самую возможность благоприятного случая; словом, я хочу объяснить, почему подобные предприятия бывают одновременно и бесконечно трудными, и бесконечно легкими, хотя это кажется противоречием.

КОЗИМО: Большего удовольствия вы не можете доставить ни мне, ни моим друзьям: если вам не надоест говорить, мы, конечно, не устанем вас слушать. Речь ваша будет, как я надеюсь, продолжительна, и я, с вашего разрешения, хочу в одном обратиться к содействию моих друзей: все мы просим вашего снисхождения, если прервем вас иной раз каким-нибудь, может быть неуместным, вопросом.

ФАБРИЦИО: Ваши вопросы, Козимо, и вопросы этих юношей меня только обрадуют, так как я уверен, что ваша молодость должна возбуждать в вас большую любовь к военному делу и внушить вам большее доверие к моим словам. Пожилые люди с седой головой и застывшей кровью или ненавидят войну, или закостенели в своих ошибках, ибо они верят, что если живут так дурно, как сейчас, то виноваты в этом времена, а не упадок нравов.

Поэтому задавайте мне вопросы свободно и без стеснения; мне это приятно как потому, что я смогу немного отдохнуть, так и потому, что мне хотелось бы не оставить в ваших умах даже тени сомнения. Начну с ваших слов, обращенных ко мне, – именно, что в своей области, то есть в военном деле, я не подражал никаким обычаям древнего мира. Отвечаю, что война – это такого рода ремесло, которым частные люди честно жить не могут, и она должна быть делом только республики или королевства.

Государства, если только они благоустроены, никогда не позволят какому бы то ни было своему гражданину или подданному заниматься войной как ремеслом, и ни один достойный человек никогда ремеслом своим войну не сделает. Никогда не сочтут достойным человека, выбравшего себе занятие,

которое может приносить ему выгоду, если он превратится в хищника, обманщика и насильника и разовьет в себе качества, которые необходимо должны сделать его дурным.

Люди, большие или ничтожные, занимающиеся войной как ремеслом, могут быть только дурными, так как ремесло это в мирное время прокормить их не может. Поэтому они вынуждены или стремиться к тому, чтобы мира не было, или так нажиться во время войны, чтобы они могли быть сыты, когда наступит мир.

Ни та, ни другая мысль не может зародиться в душе достойного человека; ведь если хотеть жить войной, надо грабить, насильничать, убивать одинаково друзей и врагов, как это и делают такого рода солдаты. Если не хотеть мира, надо прибегать к обманам, как обманывают военачальники тех, кому они служат, притом с единственной целью – продлить войну. Если мир все же заключается, то главари, лишившиеся жалованья и привольной жизни, часто набирают шайку искателей приключений и бессовестно грабят страну.

Разве вы не помните, что произошло в Италии, когда после окончания войны осталось много солдат без службы, и как они, соединившись в несколько больших отрядов, называвшихся «компании», рыскали по всей стране, облагали данью города и разбойничали без малейшей помехи?

Разве вы не читали о карфагенских наемниках, которые после Первой Пунической войны взбунтовались под предводительством Матона и Спендиона, самочинно выбранных ими в начальники, и повели против карфагенян войну, оказавшуюся для них более опасной, чем война с римлянами[136]? Во времена отцов наших Франческо Сфорца[137] не только обманул миланцев, у которых он был на службе, но отнял у них свободу и сделался их князем, и поступил так только для того, чтобы иметь возможность жить в роскоши после заключения мира.

Так действовали и все другие итальянские солдаты, для которых война была частным ремеслом. И если, несмотря на свое вероломство, они не сделались герцогами Милана, то тем хуже, потому что такого успеха они не добились, а преступления их были не меньшие. Сфорца, отец Франческо, служивший королеве Джованне, вынудил ее сдаться на милость короля Арагона, потому что совершенно неожиданно ее покинул, и она осталась безоружной среди окружавших ее врагов. А сделал он это или корыстолюбия ради, или из желания отнять у нее престол.

Браччо теми же средствами старался овладеть Неаполитанским королевством, и помешали ему только поражение и смерть его под Аквилою[138]. Единственная причина подобных безобразий – это существование людей, для которых

военное дело было только их частным ремеслом.

Слова мои подтверждает ваша же пословица: «Война родит воров, а мир их вешает». Ведь другого дела эти люди не знают. Существовать своим ремеслом они не могут; смелости и таланта, чтобы объединиться и превратить злодейство в благородное дело, у них нет, так что они поневоле становятся грабителями на большой дороге, и правосудие вынуждено их истреблять.

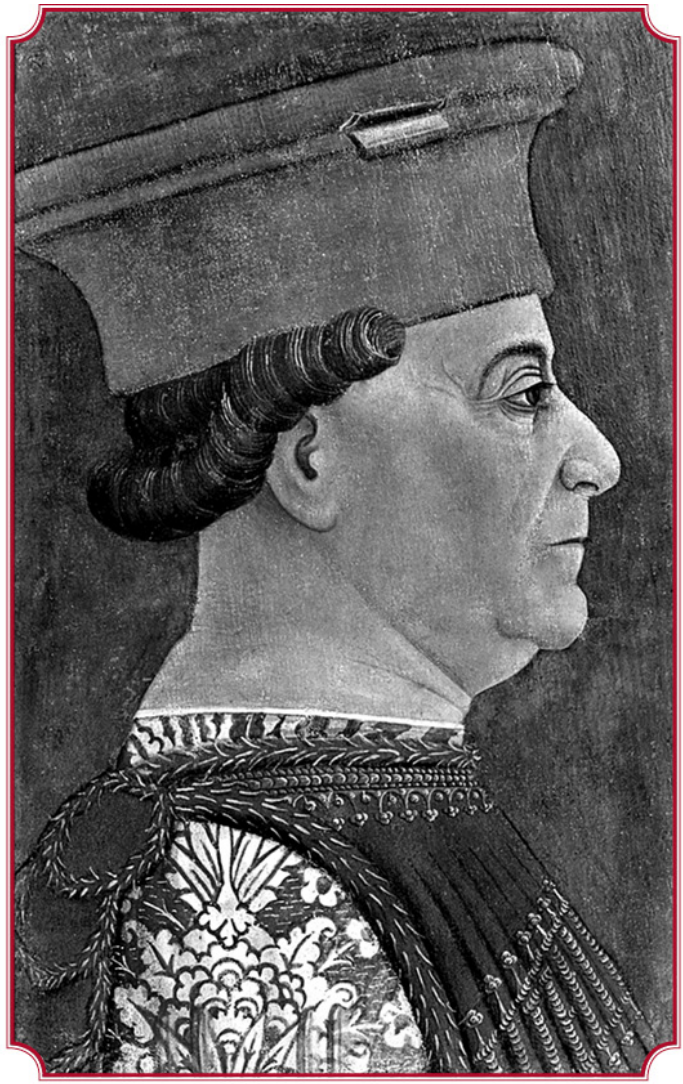
КОЗИМО: Слова ваши почти что уничтожили в моих глазах военное звание, которое казалось мне самым прекрасным и почетным; если вы не объясните это подробно, я останусь неудовлетворенным, ибо если все обстоит так, как вы говорите, то я не знаю, откуда же берется слава Цезаря, Помпея, Сципиона, Марцелла и множества римских полководцев, которых молва превозносит как богов.

ФАБРИЦИО: Я еще далеко не кончил, так как собирался говорить о двух вещах: во-первых, о том, что достойный человек не может избрать себе военное дело только как ремесло; во-вторых, о том, что ни одно благоустроенное государство, будь то республика или королевство, никогда не позволит своим подданным или гражданам превратить в ремесло такое дело, как война.

О первом я сказал уже все, что мог; остается сказать о втором, и здесь я намерен ответить на ваш последний вопрос. Я утверждаю, что известность Помпея, Цезаря и почти всех римских полководцев после Третьей Пунической войны объясняется их храбростью, а не гражданскими доблестями; те же, кто жил до них, прославились и как храбрые воины, и как достойные люди. Происходит это оттого, что они не делали себе из войны ремесла, тогда как для тех, кого я назвал раньше, война была именно ремеслом.

Пока держалась чистота республиканских нравов, ни один гражданин, даже самый гордый патриций, и не думал о том, чтобы, опираясь на военную силу, в мирное время, попирать законы, грабить провинции, захватывать власть и тиранствовать над отечеством; с другой стороны, даже самому темному плебею не приходило в голову нарушать клятву воина, примыкать к частным людям, презирать Сенат или помогать установлению тирании ради того, чтобы кормиться в любое время военным ремеслом.

Военачальники удовлетворялись триумфом и с радостью возвращались в частную жизнь; солдаты слагали оружие охотнее, чем брались за него, и каждый возвращался к своей работе, избранной как дело жизни; никто и никогда не надеялся жить награбленной добычей и военным ремеслом.



Бонифацио Бембо. Портрет
Франческо Сфорца.
Около 1460 г.

В 1447 г. умер последний представитель мужской ветви дома Висконти, и в Милане, которым этот род правил с 1277 г., вспыхнули беспорядки. Их результатом стало создание Амброзийской республики, просуществовавшей, однако, недолго. Когда после нескольких голодных лет в 1450 г. в Милане начался бунт, сенат города передал герцогство под управление Франческо Сфорца (1401—1466), бывшего до той поры сеньором Павии и Лоди. Соседние государства постепенно признали нового герцога, однако формальное пожалование от императора Священной Римской империи, куда Миланское герцогство формально входило как составная часть, получил лишь сын Франческо — Лодовико в 1494 г.

Правление Франческо оказалось удачным. Ему удалось создать в герцогстве эффективную систему сбора налогов, двор его сделался одним из главных центров культуры Возрождения, Милан был модернизирован.

Великий и поучительный пример оставил Аттилий Регул; он был начальником войск в Африке, и когда карфагеняне были почти побеждены, Регул просил у Сената разрешения вернуться домой, чтобы обрабатывать свои земли, запущенные его работниками[139]. Ясно как день, что если бы он занимался военным делом как ремеслом и хотел нажиться этим путем, он, хозяин стольких провинций, не просил бы разрешения вернуться домой и стеречь свои поля; каждый день наместничества приносил бы ему гораздо больше, чем стоило все его имущество.

Но граждане эти были люди истинно достойные, не создававшие из войны ремесла и не желавшие себе от нее ничего, кроме трудов, опасности и славы. Поэтому, поднявшись на высшие ее ступени, они с радостью возвращались к своему очагу и жили трудами своими.

Так вели себя самые простые люди и обыкновенные солдаты. Это видно из того, что каждый из них расставался с военной службой без сожалений. Покидая войско, он, однако, всегда готов был вернуться в строй и вместе с тем во время военной службы с радостью думал об освобождении от нее. Подтверждений этому много; вы ведь знаете, что одной из главных привилегий, какую римский народ мог предоставить своему гражданину, была свобода служить в войске только по своей воле, а не по

принуждению.

Пока крепки были устои Древнего Рима, то есть до времен Гракхов[140], не было солдат, для которых война стала бы ремеслом, а потому в войске было очень мало негодных людей, и если такие обнаруживались, их карали по всей строгости закона. Всякое благоустроенное государство должно поэтому ставить себе целью, чтобы военное дело было в мирное время только упражнением, а во время войны – следствием необходимости и источником славы.

Ремеслом оно должно быть только для государства, как это и было в Риме. Всякий, кто, занимаясь военным делом, имеет в виду постороннюю цель, тем самым показывает себя дурным гражданином, а государство, построенное на иных основах, не может считаться благоустроенным.

КОЗИМО: Я вполне удовлетворен всем, что вы сказали до сих пор, и особенно вашим заключением; для республик я считаю его верным, но не знаю, так ли это для королевств. Мне кажется, что король скорее захочет окружить себя людьми, для которых война будет их единственным ремеслом.

ФАБРИЦИО: Благоустроенному королевству надлежит особенно избегать такого рода мастеров, ибо они погубят короля и будут только служить тирании. Не опровергайте меня примерами современных королевств, потому что я не признаю их благоустроенными. В королевствах, обладающих хорошими учреждениями, у короля нет неограниченной власти, кроме одного только исключения – войска; это единственная область, где необходимо быстрое решение, а следовательно, единая воля.

Во всем остальном короли ничего не могут делать без согласия совета, а советники всегда будут опасаться, что около короля появятся люди, которые во время мира хотят войны, так как им без нее не прожить. Однако я готов быть уступчивее; не стану искать королевства вполне благоустроенного, а возьму королевство, похожее на ныне существующие; в этом случае король точно так же должен бояться людей, для которых война есть ремесло; он должен бояться их потому, что жизненной силой всякого войска, без сомнения, является пехота.

Если король не принимает мер к тому, чтобы пехотинцы его войск после заключения мира охотно возвращались домой и брались бы опять за свой труд, он неминуемо погибнет. Самая опасная пехота – это та, которая состоит из людей, живущих войной как ремеслом, ибо ты вынужден или вечно воевать, или вечно им платить, или вечно бояться свержения с престола. Всегда воевать невозможно, вечно платить нельзя – поневоле остается жить в постоянном страхе.

Пока в моих римлянах еще жила мудрость и гражданская доблесть, они, как я уже говорил, никогда не позволяли своим гражданам смотреть на военное дело как на ремесло, хотя могли платить сколько угодно, ибо все время воевали. Римляне стремились избежать опасностей беспрерывного пребывания граждан в войске. Так как времена изменялись, они стали постепенно заменять новыми людьми тех, кто уже выслужил свой срок, так что в течение пятнадцати лет легион обновлялся целиком.

Таким образом, для войска подбирались люди в цвете лет, то есть от восемнадцати– до тридцатипятилетнего возраста, когда ноги, руки и глаза человека одинаково сильны. Римляне не дожидались того, чтобы ослабла крепость воинов и усилилась их хитрость, как это произошло позднее, во времена общего падения нравов.

Октавиан, а за ним Тиберий уже думали больше о собственном могуществе, чем об общественном благе; поэтому, дабы им легче было властвовать самим, они начали разоружать римский народ и держали на границах империи все одни и те же легионы. Однако им казалось, что для обуздания римского народа и Сената этого мало, и вот появляется новое войско, получившее название преторианцев. Это войско всегда стояло у самых стен Рима и было как бы крепостью, возвышавшейся над городом.

Тогда-то и начали охотно позволять солдатам этих войск обращать военную службу в ремесло – и последствия этого сказались сейчас же: обнаглевшие солдаты стали грозой Сената и опасностью для императоров; многие из последних были убиты зарвавшимися преторианцами, возводившими и свергавшими с престола кого им было угодно. Случалось, что в одно и то же время появлялось несколько императоров, провозглашенных различными частями войск.

В правление первых римских императоров Октавиана Августа (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.) и Тиберия (14—37 гг.) была окончена реформа вооруженных сил, начатая еще Гаем Марием, и римская армия окончательно стала профессиональной.

Такой порядок привел прежде всего к разделению, а потом и

к гибели империи. Поэтому если король хочет безопасности, он должен составлять свои пехотные войска из таких людей, которые при объявлении войны идут на нее охотно из любви к нему, а после заключения мира еще охотнее возвращаются в свои дома. Он этого всегда достигнет, если будет брать в войско солдат, умеющих кормиться не войной, а другими ремеслами.

Поэтому когда настает мир, король должен позаботиться о том, чтобы князья вернулись к делу управления своими вассалами, дворяне – к хозяйству в своих владениях, пехотные солдаты – к обычным занятиям, и вообще добиться того, чтобы все они охотно брались за оружие во имя мира, а не старались нарушить мир во имя войны.

КОЗИМО: Ваше рассуждение кажется мне очень глубоким, но я продолжаю колебаться, так как слова ваши почти противоположны всему, что я думал до сих пор. Я вижу вокруг себя множество синьоров и дворян, которым знание военного дела позволяет существовать во время мира, например, таких, как вы, состоящих на службе у князей и городов; я знаю также, что почти вся тяжелая конница продолжает получать свое жалованье, а пехота остается на службе для охраны городов и крепостей; поэтому мне кажется, что и во время мира каждому найдется место.

ФАБРИЦИО: Мне кажется, вы едва ли сами уверены в том, что любой солдат найдет себе место в мирное время. Если бы даже не было других доводов, можно было бы удовольствоваться указанием на то, что число солдат, остающихся на службе в местах, названных вами, очень невелико: разве есть хоть какое-нибудь соответствие между количеством пехоты, необходимой на войне, и количеством ее во время мира? Ведь гарнизон мирного времени в крепостях и городах должен быть, по крайней мере, удвоен во время войны; сюда надо прибавить большое количество полевых войск, в мирное время распускаемых.

Что касается войск, охраняющих правительство, то пример папы Юлия II и вашей республики наглядно показал, как страшны солдаты, не желающие учиться никакому ремеслу, кроме войны; ведь дерзость этих воинов заставила вас отказаться от их услуг и заменить их швейцарцами – людьми, родившимися и воспитанными в почтении к законам и призванными общинами по всем правилам настоящего набора. Поэтому не говорите больше, что для каждого найдется место во время мира.

В отношении тяжелой конницы ответ на ваше возражение кажется более трудным, так как вся она и по заключении мира сохраняет свое жалованье. Тем не менее если посмотреть на дело внимательнее, то ответ найти легко, ибо этот порядок сохранения

на службе конницы сам по себе вреден и дурен. Дело в том, что все это люди, для которых война – ремесло; будь они только поддержаны достаточно сильными пехотными отрядами, они ежедневно доставляли бы тысячи неприятностей правительствам, при которых состоят; но так как их мало и они сами по себе не могут образовать войско, то и вред от них часто не так уж велик.

Тем не менее они приносили достаточно вреда, как это показывают примеры Франческо Сфорца, его отца и Браччо из Перуджи, о которых я вам уже рассказывал. Поэтому я не сторонник обычая оставлять конницу на постоянной службе – это дурной порядок, который может привести к большим неудобствам.

КОЗИМО: Вы хотели бы совсем без нее обойтись? А если вы ее все же сохраните, то в какой мере?

ФАБРИЦИО: Путем набора, но не так, как это делает король Франции, потому что принятый там порядок так же опасен, как наш, и не защищает от солдатской разнузданности. Я бы поступал, как древние, у которых конница составлялась из их же подданных. Когда заключался мир, конницу распускали по домам и возвращали к обычным делам; впрочем, я подробнее скажу об этом позже. Таким образом, если этот род войск может сейчас даже в мирное время жить своим ремеслом, это происходит лишь от извращенного порядка вещей.

Что касается денег, уплачиваемых мне и другим военачальникам, то я прямо скажу, что это вреднейшая мера: мудрая республика не платила бы такого жалованья никому, а во время войны ставила бы во главе войск только своих же граждан, которые по окончании войны возвращались бы к мирным занятиям. Точно так же поступал бы и мудрый король, а если бы он и платил это жалованье, то либо в награду за какой-нибудь особенный подвиг, либо как цену за услуги, которые военачальник может оказать как в мирное, так и в военное время.

Раз вы ссылаетесь на меня, то я и приведу собственный пример и скажу, что война никогда не была для меня ремеслом, потому что мое дело – это управление моими подданными и защита их, а для того чтобы защищать их, я должен любить мир и уметь вести войну.

Мой король ценит и уважает меня не столько за то, что я понимаю военное дело, сколько за умение быть ему советником во время мира. Если король мудр и хочет править разумно, он должен приближать к себе только таких людей, потому что чрезмерные ревнители мира или слишком рьяные сторонники войны непременно направят его на ложный путь.

Сейчас я вам на этот счет больше ничего не могу сказать, и

если вам этого мало, то вам придется обратиться к собеседнику, который лучше меня сумеет вас удовлетворить. Теперь вы, может быть, начинаете понимать, как трудно применять к современным войнам древние обычаи, как должен готовиться к войне всякий предусмотрительный правитель и на какие обстоятельства он может рассчитывать, чтобы достигнуть поставленных себе целей.

Если моя беседа вас не утомляет, то вы шаг за шагом приблизитесь к более точному пониманию этих вещей, по мере того как мы будем подробно сравнивать древние установления с порядками наших дней.

КОЗИМО: Если нам и раньше хотелось узнать ваше мнение об этих предметах, то после всего, что вы сказали, желание наше только удвоилось; мы благодарим вас за то, что уже получили, и просим рассказать нам остальное.

ФАБРИЦИО: Если таково ваше желание, я начну обсуждать этот предмет с самого начала: так я буду более понятен и лучше смогу доказать свою мысль. Всякий, кто хочет вести войну, ставит себе одну цель – получить возможность противостоять любому врагу в поле и победить его в решающем сражении. Чтобы достигнуть этой цели, необходимо иметь войско. Для этого надо набрать людей, вооружить их, дать им определенное устройство, обучить их действию как малыми отрядами, так и большими частями, вывести их в лагеря и уметь противопоставить их неприятелю тут же на месте или во время движения.

Пехотинцы швейцарского наемного войска XV в.
Гравюра XIX в.

В этом все искусство полевой войны, наиболее необходимой и почетной. Кто заставит неприятеля принять бой в обстановке, для себя выгодной, поправит этим все другие ошибки, сделанные им при руководстве военными действиями. Тот же, у кого этой способности нет, никогда не закончит войну с честью, как бы он ни был искусен в других частностях военного дела. Выигранное сражение сглаживает все другие промахи, и обратно: поражение делает бесполезными все прежние успехи.

Если хочешь составить войско, надо прежде всего найти

людей. Поэтому обращаюсь к способу их выбора, как выражались древние, или набора, как сказали бы мы. Предпочитаю говорить «выбор», чтобы употребить слово более почетное.

Писатели, установившие правила войны[141], предлагают брать в войска жителей стран с умеренным климатом, дабы сочетать в солдате смелость и разум; жаркие страны рождают людей разумных, но не смелых, а холодные – смелых, но безрассудных. Такое правило хорошо для правителя, который властвовал бы над целым миром и мог бы поэтому брать людей из любой местности, какая ему заблагорассудится.

Если же устанавливать правило, годное для всех, то надо сказать, что как республики, так и королевства должны выбирать себе солдат из жителей собственной страны, каков бы ни был ее климат – холодный, жаркий или умеренный.

Пример древних показывает, что во всякой стране хорошие солдаты создаются обучением. Там, где не хватает природных данных, они восполняются искусством, которое в этом случае сильнее самой природы. Набор солдат из чужеземцев нельзя называть выбором, потому что выбирать – значит привлечь в войско лучших людей страны и иметь власть призвать одинаково тех, кто хочет и кто не хочет служить. Понятно, что такого рода отбор возможен только в своей стране, потому что нельзя брать кого угодно в земле, тебе не подвластной, и приходится ограничиваться добровольцами.

КОЗИМО: Однако из этих добровольцев одних мы возьмем, других отпустим, и тогда это все же можно назвать выбором.

ФАБРИЦИО: Вы до известной степени правы, но примите во внимание недостатки такого способа, и тогда окажется, что именно выбора здесь никакого нет. Во-первых, добровольцы из чужеземцев никогда не принадлежат к числу лучших солдат, наоборот, это – подонки [своей] страны: буяны, ленивые, разнузданные, безбожники, убежавшие из дому, богохульники, игроки, – вот что такое эти охотники. Нет ничего более несовместимого с духом настоящего и крепкого войска, чем подобные нравы.

Если эти люди являются в большем количестве, чем нужно, то можно еще выбирать, но так как самый материал плох, то и выбор не может быть хорош. Однако часто бывает, что их приходит слишком мало; тогда приходится брать всех, и получается уже не отбор, а просто наем пехотинцев.

Так беспорядочно составляются теперь войска в Италии и в других странах, кроме Германии[142], и происходит это оттого, что человек становится солдатом не по велению князя, а по своей воле. Скажите теперь сами: какие военные установления древних

мыслимы в войске, набранном подобными способами?

КОЗИМО: Что же делать?

ФАБРИЦИО: То, что я уже сказал: составлять войска из собственных граждан и по приказу князя.

КОЗИМО: А можно было бы тогда ввести хотя бы некоторые древние установления?

ФАБРИЦИО: Конечно, при условии, что в королевстве во главе войска будет стоять сам князь или лицо, облеченное законной властью, а в республике – кто-нибудь из граждан, избранный полководцем; иначе добиться чего-либо хорошего очень трудно.

КОЗИМО: Почему?

ФАБРИЦИО: Отвечу вам в свое время; сейчас удовольствуйтесь тем, что иначе нельзя.

КОЗИМО: Если брать солдат в собственной стране, то где, по вашему мнению, лучше их набирать – в городе или в округе?

ФАБРИЦИО: Все писатели сходятся на том, что лучше брать солдат из окружных крестьян; это люди закаленные, воспитанные в труде, привыкшие к солнцу и не ищущие тени, приученные к обращению с железными орудиями, к земляным работам, к переноске тяжестей, а кроме того, они просты и бесхитростны. Однако я лично считал бы, что так как есть два рода солдат – пешие и конные, то пехоту лучше набирать из крестьян, а конницу – из горожан.

КОЗИМО: Какого возраста должны быть солдаты?

ФАБРИЦИО: Для совсем нового войска я брал бы людей от семнадцати до сорока. Если же войско уже есть и надо было бы его пополнить, то исключительно семнадцатилетних.

КОЗИМО: Мне не вполне ясна эта разница.

ФАБРИЦИО: Я поясню вам. Если бы мне пришлось создавать войско там, где его нет, то для обучения, о котором я буду говорить потом, надо было бы выбрать всех способных носить оружие, лишь бы они достигли призывного возраста. Если же мне пришлось бы производить отбор в стране, где войско уже есть, то для пополнения я брал бы семнадцатилетних, так как остальные были бы взяты уже давно.

КОЗИМО: Значит, вы хотели бы ввести нечто похожее на порядок, принятый у нас?

ФАБРИЦИО: Вы правы, но я не знаю, напоминал ли бы он ваше устройство по вооружению, командованию, обучению и боевому построению.

КОЗИМО: Значит, вы одобряете наше военное устройство?

ФАБРИЦИО: Зачем же мне его порицать?

КОЗИМО: Потому что многие знающие люди всегда его

осуждали.

ФАБРИЦИО: Вы противоречите себе, когда говорите, что знающий человек порицает это устройство; тогда его напрасно считают знатоком.

КОЗИМО: Мы вынуждены так думать, потому что опыт этого порядка всегда был плох.

ФАБРИЦИО: Смотрите, как бы не оказались виноваты вы сами, а вовсе не ваше устройство; вы убедитесь в этом еще до конца нашей беседы.

КОЗИМО: Вы доставите нам этим огромное наслаждение; я даже хочу заранее открыть все обвинения, выставленные против нашего военного устройства, дабы вы затем могли лучше его защитить.

Обвинители рассуждают так: порядок этот или негоден и может привести к гибели республики, или целесообразен, но последствием его легко может быть захват власти военачальником; при этом ссылаются на римлян, у которых собственные войска уничтожили республиканскую свободу; ссылаются также на венецианцев и на короля Франции: венецианцы, дабы не оказаться под властью своего же гражданина, пользуются наемными войсками; король[143] обезоружил своих подданных, чтобы иметь возможность спокойнее повелевать.

Однако они больше опасаются негодности собственных войск, чем захвата власти, и в доказательство своей правоты приводят два довода: первый – неопытность своих солдат, второй – насильственная служба; после известного возраста, говорят они, учиться уже нельзя, а принуждение никогда ни к чему хорошему не ведет.

ФАБРИЦИО: Все эти доводы идут от людей, рассматривающих вещи несколько издалека, как я вам это сейчас докажу. Что касается довода о негодности, то я должен сказать, что лучшая армия та, которая составляется из своих же граждан, и только этим путем можно такую армию образовать. Спора на этот счет нет, и я не стану тратить время на доказательства, так как за меня говорят все примеры древней истории.

Противники этой армии (милиции) ссылаются на неопытность солдат и на принудительную службу; я скажу, что, действительно, неопытность солдат не способствует храбрости, а принуждение вызывает недовольство, но ведь мужество и опытность, как вы увидите впоследствии, воспитываются в солдате вооружением, обучением и военным строем.

Что касается принуждения, то вы должны знать, что люди, набранные в войска повелением князя, служат не вполне

принудительно и не вполне добровольно, ибо полная добровольность привела бы к тем неудобствам, о которых я уже говорил: не было бы настоящего отбора людей, а добровольцев было бы всегда слишком мало; полная принудительность тоже привела бы к дурным последствиям.

Поэтому следовало бы избрать средний путь: люди поступают на службу не вполне добровольно и не безусловно по принуждению, а в силу своего уважения к князю, гнева которого они боятся больше, чем кары.

Немецкий ландскнехт.
Гравюра начала XVI в.

Ландскнехты — немецкие наемные пехотинцы эпохи Возрождения (термин появился в 1470 г.), среди которых были в основном представители низших сословий. Между ландскнехтами и швейцарцами всегда существовала неприязнь, поэтому, сражаясь друг с другом, и те и другие убивали всех пленных.

Считалось, что ландскнехт за месяц заработает больше, чем фермер за год. Но были также ландскнехты, служившие за двойное жалование, которых называли доппельсолднерами.

Получается сочетание принудительности и доброй воли, которое не даст развиться недовольству, грозящему опасными последствиями. Я не говорю, что такое войско непобедимо, так как римские легионы бывали разбиты множество раз, равно как и войско Ганнибала. Вообще нельзя создать такое войско, за непобедимость которого можно было бы ручаться. Ваши знатоки не должны судить о негодности милиции по одной неудаче: сражение можно одинаково проиграть и выиграть, но главное – это устранить причины поражения.

Если начать доискиваться этих причин, то нетрудно убедиться, что сила здесь не в недостатках принятого у вас порядка, а в том, что он еще не доведен до совершенства. Необходимо, как я уже говорил, не осуждать милицию, а исправлять ее; что надо делать – это я вам раскрою постепенно.

Другой довод противников – это возможность захвата власти военачальником. Отвечаю, что оружие в руках собственных граждан или воинов, врученное им в силу закона, никогда еще не приносило вреда; наоборот, оно всегда полезно, и этим путем можно лучше охранить чистоту государственного строя, чем каким-нибудь другим. Рим 400 лет жил свободным государством и был вооружен; в Спарте свобода держалась 800 лет; наоборот, во многих других государствах, не опирающихся на собственную вооруженную силу, свобода не сохранялась даже 40 лет.

Войско необходимо государству, и если у него нет своей военной силы, оно нанимает чужеземцев, чужеземные же войска вреднее для общего блага, чем свои, ибо их проще подкупить и честолюбец скорее может на них опереться. Осуществить эти намерения ему тем легче, что угнетаемые безоружны.

Помимо того, два врага всегда страшнее для республики, чем один. Призывая чужеземное оружие, она одновременно боится и

чужих солдат, и собственных граждан. Что такой страх основателен, об этом вы можете судить, вспомнив мой рассказ о Франческо Сфорца. Наоборот, когда республика располагает собственным войском, для нее страшно только одно – властолюбие своего же гражданина.

Наконец, из всех возможных доводов я сошлюсь только на один: мысль, что жители страны окажутся неспособными защищать ее оружием, еще никогда не приходила в голову ни одному законодателю республики или царства. Венецианцы основали бы новую всемирную монархию, если бы они проявили в своем военном устройстве такую же государственную мудрость, какой проникнуты их другие учреждения.

Судить их надо особенно строго, потому что первые их законодатели создали им военную силу. На суше у них не было владений, поэтому вся их военная мощь сосредоточилась на море, и морскую войну они вели блестяще, расширив силой оружия пределы отечества.

Когда же подошло время вести сухопутную войну для защиты Виченцы, они, вместо того чтобы послать туда наместником кого-нибудь из своих граждан, взяли к себе на службу маркиза Мантуанского. Это было роковое решение, подорвавшее могущество венецианцев, помешавшее им прославить свое имя до небес и безгранично распространить свою власть на земле.

Если они так поступили из-за неуверенности в себе, потому что, будучи знатоками морской войны, они не решались сами воевать на суше, то неуверенность эта была ложной: моряку, привыкшему сражаться с ветрами, бурями и людьми, легче сделаться полководцем, которому приходится биться только с людьми, чем полководцу превратиться в моряка.

По мирному договору 1504 г. Венеция получила значительное «приращение» своих владений в Ломбардии, Романье и Южной Италии, поучаствовав в разделе Неаполитанского королевства. После этого она впервые в своей истории стала обширной державой. Однако после 1509 г. большинство новоприобретенных земель были утрачены.

Мои римляне тоже умели воевать только на суше, а не на море, и тем не менее, когда началась война с Карфагеном, они не пригласили на службу опытных моряков – греков или испанцев, а

возложили это дело на своих граждан, знающих сухопутную войну, и в конце концов победили[144].

Если венецианцы действовали из страха, как бы кто-нибудь из граждан Венеции не стал тираном, – это был страх легкомысленный: ведь, помимо доводов, уже приводившихся мною по этому поводу, надо сказать, что если никто из начальников их флота никогда не становился тираном этого морского города, то исполнить подобный замысел, опираясь на сухопутные войска, было бы еще неизмеримо труднее.

Все это должно вам показать, что тирана создает не свое войско, подчиненное своему же гражданину, а дурные законы и плохое управление; именно оно навлекает на город тиранию. При хорошем управлении бояться своего войска нечего. Таким образом, Венеция поступила неосмотрительно, и это решение стоило ей потери большой доли ее славы и счастья.

Что касается ошибки короля Франции, который не приучает свой народ к войне, то ваши знатоки напрасно ссылаются на него как на пример: каждый беспристрастный человек признает, что это самый большой недостаток французской монархии и что это упущение – главная причина ее слабости.

Однако я слишком распространился и, может быть, отошел от своего предмета. Я хотел ответить вам и доказать, что нельзя опираться ни на какое оружие, кроме своего; собственная же военная сила создается только путем отбора; только так можно образовать войско и утвердить военную дисциплину. Если бы вы изучали установления первых римских царей и особенно Сервия Туллия, вы бы увидели, что деление на классы представляет не что иное, как всеобщее вооружение народа, дававшее возможность немедленно собрать войско для защиты города.

Вернемся, однако, к вопросу о выборе солдат. Я снова скажу, что если бы мне пришлось пополнять войско, уже существующее, я брал бы семнадцатилетних юношей; если бы я создавал новое войско, я призывал бы людей всех возрастов – от семнадцати до сорока, чтобы можно было сейчас же пустить их в дело.

КОЗИМО: Обращали бы вы при этом выборе внимание на их ремесло?

ФАБРИЦИО: Военные писатели проводят это различие, так как они не советуют брать в солдаты птицеловов, рыбаков, поваров, а также людей, промыслы коих бесчестны или состоят только в том, чтобы увеселять других; наоборот, они настаивают на призыве прежде всего земледельцев, а затем слесарей, кузнецов, плотников, мясников, охотников и тому подобных.

Я же обращал бы мало внимания на эти различия, поскольку надо было бы заключать о доброкачественности человека по его

ремеслу, но я бы очень считался с ними, поскольку они показывают, каким образом можно с большей пользой применять различные способности людей.

По этой же причине крестьяне, привыкшие обрабатывать землю, предпочтительнее кого бы то ни было другого, ибо из всех существующих это ремесло применимо в войске лучше всего. Затем идут слесари, плотники, кузнецы, каменщики, которых в войске должно быть много; ремесло их часто может пригодиться, и очень хорошо иметь в войске солдат, от которых бывает двойная польза.

КОЗИМО: Как распознать людей, годных или негодных для военного дела?

ФАБРИЦИО: Я буду говорить сейчас о выборе солдат для образования нового войска, но при этом мне придется сказать и о том, как отбирать людей для пополнения войска, уже действующего. Выбирая солдата, ты познаешь его годность или по опыту, когда он совершил какой-нибудь подвиг, или по предположению. Не может быть доказательств военной доблести у людей, отбираемых впервые и никогда еще не служивших; поэтому в новых милициях эти доказательства встречаются редко или отсутствуют совсем.

Если нельзя судить по опыту, судите по предположению, то есть по возрасту, ремеслу и виду солдата. О первых двух признаках я уже говорил, остается сказать о третьем. Многие, как Пирр, требуют, чтобы солдат был высокого роста; другие, как Цезарь, обращали внимание только на телесную силу. Эта сила тела и духа выражается в сложении и облике.

Писатели отмечают, что у солдата должны быть живые и веселые глаза, крепкая шея, широкая грудь, мускулистые руки, длинные пальцы, втянутый живот, полные бедра, худые ноги; такой человек всегда будет ловок и силен – два качества, которые в солдате ценятся выше всего.

Особенное внимание надо обращать на нравственность: солдат должен быть честен и совестлив; если этого нет, он становится орудием беспорядка и началом разврата, ибо никто не поверит, что дурное воспитание может создать в человеке хотя бы крупицу достохвального воинского мужества.

Значение такого выбора солдата огромно; и чтобы это стало вам понятнее, я считаю не лишним и даже необходимым рассказать о том, каких правил держались при отборе легионов вступающие в должность римские консулы. Благодаря беспрестанным войнам старые солдаты являлись к отбору вперемежку с новичками, и консулы могли судить об одних по опыту, а о других – по догадке. Надо заметить, что при выборе

солдат имеется в виду или сейчас же послать его в бой, или обучить его немедленно, но пустить в дело позднее.

Я уже говорил и буду говорить дальше о всех мерах, необходимых для позднейшей боевой работы солдата, ибо хочу показать вам, как создается войско в странах, где народных ополчений раньше не было и где поэтому не может быть отборных частей, которыми можно воспользоваться сейчас же. В тех же странах, где войско образуется повелением власти, оно может быть пущено в дело немедля, как это было в Риме и теперь еще наблюдается у швейцарцев,

Если при этом порядке отбора в войско попадают и новобранцы, то они тут же встречаются с множеством опытных солдат, привыкших к строю, и смешение старых с молодыми образует единую и крепкую боевую часть. Кроме того, когда императоры перешли к порядку сосредоточения войск в строго определенных постоянных местах, они стали назначать для обучения так называемых тиронов, то есть молодых солдат, особого руководителя, как это видно из жизнеописания императора Максимина.

Пока в Риме держался свободный строй, обучение это производилось не в лагерях, а в самом городе. Молодежь во время этих занятий привыкала к военным упражнениям, и когда ее затем посылали уже в бой, она была настолько закалена опытом этой мнимой войны, что умела легко найтись в условиях настоящей боевой жизни. Однако впоследствии, когда императоры отказались от этого способа обучения, им пришлось установить тот порядок, который я вам уже описал.

Перехожу теперь к римскому способу набора легионов. Вступая в должность, консулы, на которых было возложено военное дело, начинали с упорядочения своего войска (каждому из них вверялись обычно два легиона, набранные из римских граждан и составлявшие основу их военной силы) и назначали для этой цели на каждый легион по шести, а всего двадцать четыре военных трибуна, исполнявших те же обязанности, какие исполняют теперь наши батальонные командиры.

Затем они собирали всех римских граждан, способных носить оружие, и распределяли трибунов по легионам. Трибы, с которых должен был начаться отбор, указывались жребием, и из трибы, выделенной таким образом, выбиралось четверо наиболее годных: одного брали трибуны первого легиона, другого – трибуны второго легиона, из оставшихся двух одного брали трибуны третьего легиона, а последний попадал в четвертый легион.

После первой четверки отбиралась вторая, причем первого

человека брали трибуны второго легиона, второго – трибуны третьего легиона, третьего – трибуны четвертого легиона, а четвертый оставался в первом легионе. Затем шла третья четверка: первый из нее шел в третий легион, второй – в четвертый легион, третий – в первый легион, четвертый оставался во втором легионе[145].

Так действовал последовательно этот порядок, пока отбор, устроенный на равных началах, не заканчивался и не образовывался полный состав легиона. Мы уже говорили выше, что благодаря этому способу легион можно было отправить в дело сейчас же, ибо он составлялся из людей, значительная часть которых знала настоящую войну, а война примерная была известна всем. При выборе людей можно было руководствоваться одновременно и опытом, и догадкой. Однако в стране, где надо создавать войско впервые, отбор людей может производиться только гадательный, основанный на возрасте и внешнем виде человека.

КОЗИМО: Все, что вы сказали, по-моему, верно. Но раньше, чем вы будете продолжать, я хочу задать вам вопрос, на который вы сами навели меня, когда говорили, что в стране, где жители не обучались военному строю, выбор солдат может производиться только по догадке. С разных сторон слышал я осуждения нашей милиции, особенно за ее численность.

Многие утверждают, что людей надо брать меньше, так как это приносило бы ту пользу, что солдаты отбирались бы более тщательно; на граждан не налагалось бы столь тяжелое бремя, а людям, взятым в войско, можно было бы дать некоторое вознаграждение, которое их обрадовало бы и сделало послушнее. Мне хотелось бы знать ваше мнение – предпочитаете ли вы набор в большом или малом количестве и какого порядка придерживались бы вы в обоих случаях?

ФАБРИЦИО: Большое войско, без сомнения, лучше малого; надо даже сказать больше – там, где невозможен крупный набор, невозможно и создание хорошей милиции. Доводы противников этого взгляда легко опровергнуть. Прежде всего надо сказать, что малочисленная милиция в такой населенной стране, как, например, Тоскана, не обеспечивает вам ни лучшего качества солдат, ни большей тщательности отбора.

Ведь если вы хотите при наборе солдат судить о них по опыту, то в этой стране опыт ваш будет применим только к самому ничтожному меньшинству, так как лишь очень немногие были на войне и еще меньше выдвинулись настолько, чтобы оказаться выбранными предпочтительно перед другими. Поэтому если производить отбор в такой стране, надо отказаться от опыта

и брать людей по догадке.

В таких условиях, мне хотелось бы знать, чем же я должен руководиться, когда ко мне явятся двадцать молодых людей подходящей наружности, и по какому правилу я завербую одних и отпущу других? Каждый, несомненно, признает, что раз вы не можете знать, кто из них лучше, то риск ошибки будет меньше, если взять всех, вооружить и обучить, а более точный выбор сделать уже позже, когда при обучении выделятся самые храбрые и сильные.

Поэтому, взвесив все обстоятельства, надо сказать, что мнение о предпочтении в этом случае малого количества во имя лучшего качества совершенно ложно. Насчет меньшего бремени для страны и людей скажу, что набор милиции, будь она велика или мала, не налагает никакого бремени, ибо этот порядок не отрывает никого от работы, не связывает людей настолько, чтобы они не могли заниматься обычными делами, а только обязывает их собираться в дни отдыха для обучения военным упражнениям.

Для страны и для людей здесь нет никаких тягот, а молодежи это доставит только удовольствие. Вместо того чтобы шататься в праздники по кабакам, молодые люди охотно пойдут на эти занятия: ведь военные упражнения очень красивы, и уже поэтому они должны нравиться юношам.

Что касается возможности оплачивать небольшую милицию, которая благодаря этому будет довольна и послушна, то, по-моему, нельзя сократить народное ополчение до таких малых размеров, чтобы содержать его на таком постоянном жалованье, которое бы его удовлетворяло: например, если платить милиции в пять тысяч пехотинцев жалованье, которым она была бы довольна, пришлось бы тратить на это, по меньшей мере, десять тысяч дукатов в месяц. Во-первых, этого количества пехоты мало, чтобы образовать войско, и вместе с тем такой расход очень затруднителен для государства.

С другой стороны, этого жалованья недостаточно для того, чтобы люди были довольны и считали себя обязанными являться по первому требованию. Таким образом, этот порядок стоил бы очень дорого и вместе с тем давал бы стране слабое войско, с которым нельзя ни защищаться, ни нападать. Если увеличить жалованье или набирать больше людей, то невозможность платить только возрастет; если сократить и жалованье, и численность ополчения, милиция будет еще меньше и еще бесполезнее.

Поэтому сторонники народной милиции на постоянном жалованье говорят о вещи или невозможной, или бесполезной. Совсем другое, когда войска набираются для войны: тогда,

конечно, необходимо назначить им жалованье. Если в мирное время такое военное устройство даже причинит гражданам, записанным в солдаты, некоторые неудобства, хотя я этого не усматриваю, они уравновешиваются всеми благами, которые дает стране хорошо организованное войско, потому что без него вообще не может быть никакой безопасности.

В заключение скажу, что желающие образовать небольшую милицию, чтобы держать ее на постоянном жалованье или по другим соображениям, о которых вы говорили, плохо понимают дело; помимо всего прочего, мое мнение подкрепляется еще тем обстоятельством, что число войск, благодаря бесконечным трудностям войны для людей, все равно непрерывно сокращается, и малое количество обратилось бы в нуль.

Наоборот, при большой милиции ты можешь по собственному желанию пользоваться малыми или крупными частями. Наконец, войско полезно не только для самого дела войны, но и потому, что укрепляет твое значение, а, конечно, большое войско всегда придает тебе больше веса. К тому же милиция создается для обучения людей воинскому строю, и если в населенной стране в нее будет записано мало народа, то при большой отдаленности домов граждан друг от друга их без величайших неудобств нельзя будет даже собирать на учения, а без этого милиция не нужна, как я покажу это дальше.

КОЗИМО: Ваш ответ на мой вопрос удовлетворил меня вполне, но теперь мне хочется, чтобы вы разрешили другое сомнение. Противники милиции говорят, что большое количество вооруженных людей вызовет в стране смуту, распри и беспорядок.

ФАБРИЦИО: Это мнение также беспочвенно, и я вам скажу почему. Беспорядки, творимые вооруженными людьми, могут быть двоякого рода: это или схватки между собой, или волнения, направленные против других. Предотвратить это было бы вообще нетрудно, но ведь учреждение милиции само по себе уже пресекает возможность подобных смут; оно предупреждает взаимные столкновения, а не помогает им, потому что при учреждении милиции вы даете ей оружие и начальников.

Если страна, в которой создается милиция, так мало воинственна, что граждане не носят оружия, или настолько едина, что в ней нет главарей партий, то создание милиции сильно ожесточит их против внешних врагов, но никоим образом не разъединит их друг с другом. Ведь при хорошем устройстве государства граждане, вооруженные или безоружные, чтут законы и никогда не станут на них покушаться, если начальники, поставленные вами во главе, сами не явятся виновниками беспорядков; дальше я скажу вам, как с этим бороться.

Наоборот, если страна, в которой учреждается народное войско, воинственна и разъединена, то только такое учреждение, как милиция, способно объединить ее вновь; ведь у граждан уже есть и оружие, и начальники, но оружие не годится для войны, а начальники только сеют смуты. Учреждение милиции дает оружие, годное для войны, и начальников, которые будут подавлять беспорядки.

В такой стране всякий, кто чем-нибудь обижен, обычно идет к главарю своей партии, который, чтобы поддержать свое влияние, склоняет его к мести, а не к миру. Совершенно обратно поступает начальник учреждения государственного; поэтому создание милиции устраняет поводы к раздорам и подготавливает единение граждан. Страны, единые и изнеженные, излечиваются от слабости и сохраняют единство; страны, разъединенные и склонные к междоусобиям, объединяются, и та отвага, которая обычно проявляется в разнузданности, обращена на пользу общественную.

Относительно вреда, который вооруженные люди способны причинить другим, надо иметь в виду, что они могут это сделать только при попустительстве начальников, и если вы хотите, чтобы сами начальники не затевали смут, необходимо позаботиться о том, чтобы они не приобретали слишком большого влияния на подчиненных. Заметьте, что это влияние создается или естественно, или случайно. Для устранения влияния естественного надо поставить дело так, чтобы уроженец известной местности не был во главе жителей той же местности, записанных в милицию, а назначался бы начальником частей, с которыми он никакими естественными узами не связан.

Что касается влияния, приобретаемого случайно, то здесь требуются иные меры: начальники должны ежегодно меняться местами, так как постоянная власть над теми же людьми создает с ними такую тесную связь, которая легко может обернуться князю во вред.

Насколько эти перемещения полезны для тех, кто ими пользовался, и как дорого обходится государствам пренебрежение этим правилом, показывают примеры Ассирийского царства и Римской империи. Ассирия просуществовала тысячи лет без всяких внешних и гражданских войн; объясняется это исключительно тем, что полководцы, стоявшие во главе войск, каждый год перемещались.

Во времена Макиавелли было распространено еще античное представление о том, что Ассирийская империя (XXIV—VII вв. до н. э.) не знала внутренних потрясений. В действительности, ассирийские правители перемещали из одной провинции в другую не только своих чиновников, но и целые народы, лишая их таким образом возможности к восстанию.

Иначе обстояло дело в Риме, где после прекращения Цезарева рода возникло столько гражданских войн между отдельными полководцами и составлялось много заговоров этих полководцев против императоров; причина была одна – постоянное пребывание военачальников на тех же местах.

Если бы первые императоры и преемники их, занимавшие престол со славой, как Адриан, Марк Аврелий, Септимий Север[146] и им подобные, были настолько проницательны, чтобы ввести порядок ежегодного перемещения начальников войск, они, несомненно, укрепили бы спокойствие и прочность империи, ибо у полководцев было бы меньше возможностей бунтовать, а Сенат при перерывах в престолонаследии имел бы больше влияния на выборы императоров, которые от этого, конечно, были бы удачнее.

Все дело в том, что по невежеству ли людей или по равнодушию их, но опыт как дурных, так и хороших примеров бессилен против укоренившихся плохих обычаев.

КОЗИМО: Боюсь, не отклонил ли я вас своими вопросами от хода ваших мыслей, так как мы перешли от выборов к совершенно другим рассуждениям; я заслужил бы упрек, если бы не извинился перед вами.

ФАБРИЦИО: Нисколько. Все эти отступления были необходимы; так как я хотел говорить о милиции, которую многие осуждают, я должен был сначала защитить ее, а особенно ее основу – отбор солдат. Раньше чем перейти к другим предметам, я хочу сказать вам о способах выбора конницы. Древние выбирали ее из среды самых богатых граждан, обращая внимание на возраст и качества людей; выбирали они по триста человек на легион, так что римская конница во всяком консульском войске не превышала шестисот лошадей.

КОЗИМО: Предлагаете ли вы создать конную милицию, которая обучалась бы дома и служила во время войны?

ФАБРИЦИО: Конечно, это необходимо, и ничего другого

сделать нельзя, если вы хотите иметь свои войска, а не нанимать солдат, для которых война является ремеслом.

КОЗИМО: Как будете вы отбирать этих всадников?

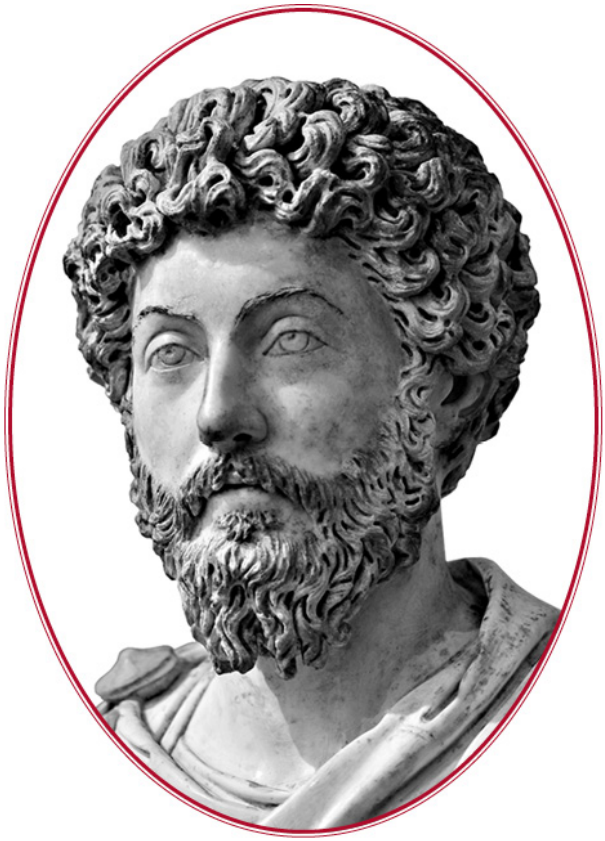
ФАБРИЦИО: Я бы подражал римлянам и составил бы конницу из людей более богатых, дал бы им начальников тем же порядком, как они назначаются сейчас для других родов войск, а затем вооружил и обучил бы их.

КОЗИМО: Следует ли назначать им жалованье?

ФАБРИЦИО: Да, но не больше, чем это нужно на корм лошади, ведь если вы обремените подданных расходами, они начнут роптать. Поэтому необходимо оплатить лошадь и расходы на ее содержание.

КОЗИМО: Какова должна быть численность вашей конницы и как бы вы ее вооружили?

ФАБРИЦИО: Вы переходите к другому предмету. Я скажу об этом в свое время, когда объясню вам, как должна быть вооружена пехота и как ее надо готовить к бою.



Марк Аврелий
(ок. 121—180)

КНИГА ВТОРАЯ

ФАБРИЦИО КОЛОННА: Когда набор солдат кончен, необходимо их вооружить; для этого надо знать, какое оружие употребляли древние, и выбрать самое лучшее. Римская пехота делилась на тяжело вооруженную и легкую, называвшуюся велитами.

Под этим словом разумелись все пехотинцы, вооруженные пращами, луками и дротиками; для защиты большая часть их носила шлем и круглый щит на руке; сражались они впереди и в некотором отдалении от тяжелой пехоты, вооружение которой состояло из шлема, прикрывавшего голову до плеч, лат, защищавших тело до колен, наручников, поножей и щита длиною в два локтя и шириною в локоть, окованного сверху и снизу железным обручем для лучшей защиты от ударов и для

предохранения при трении его о землю.

Для нападения служил меч длиной в полтора локтя, который воины носили у левого бока, и кинжал, прикреплявшийся к правому. В руке они держали метательное копье, называвшееся pilum, которое они пускали в неприятеля при начале боя.

Таково было римское оружие, и с ним они завоевали мир. Правда, некоторые древние писатели приписывают римлянам, кроме названного оружия, еще другое, именно – длинную пику, похожую на рогатину, но я не понимаю, как может воин, державший в руке щит, действовать еще тяжелой пикой. Метать ее обеими руками нельзя, потому что этому мешает щит, а если бросать ее одной рукой, ничего не выйдет, потому что пика слишком тяжела.

Кроме того, при сражении в сомкнутом строю пика бесполезна, так как только солдаты первой шеренги располагают достаточным пространством, чтобы развернуться как следует; бойцы, стоящие в следующих шеренгах, сделать этого не могут, ибо свойство боя, как я покажу это дальше, требует непрерывного смыкания рядов; это тоже неудобство, но все же несравненно меньшее, чем разомкнутый строй, представляющий явную опасность.

Поэтому всякое оружие длиннее двух локтей в сомкнутом строю бесполезно: если вы вооружены пикой и хотите метать ее обеими руками, то, даже допуская, что щит этому не мешает, вы не можете ударить ею врага, вступившего с вами врукопашную; если вы берете пику одной рукой, чтобы в то же время прикрыться щитом, вы можете держать ее только наперевес, и тогда она наполовину торчит сзади, и солдаты рядов, следующих за вашим, не дадут вам ею работать.

Вернее всего, что у римлян или совсем не было этих пик, или они ими почти не пользовались. Прочтите в истории Тита Ливия описание знаменитых сражений, и вы увидите, что о пиках он упоминает только в самых редких случаях, но постоянно говорит о том, как солдаты, бросив свои дротики, хватались за мечи. Поэтому оставим эти пики в стороне и, говоря о римлянах, будем считать меч орудием нападения, а щит и прочее вооружение – орудиями защиты.

Греки для обороны вооружались не так тяжело, как римляне, а при нападении полагались больше на копья, чем на мечи, особенно македонская фаланга, копья которой, так называемые сариссы, были в десять локтей длиной и позволяли ей прорывать неприятельские ряды, смыкая в то же время свой строй.

Некоторые писатели упоминают еще о щитах у македонян, но по причинам, о которых уже сказано, я не могу понять, как они

могли действовать сариссами и в то же время пользоваться щитом. Наконец, в описаниях борьбы между Павлом Эмилием и македонским царем Персеем[147], насколько я помню, ничего не говорится о щитах, а только о сариссах и о том, с каким трудом далась победа римским легионам.

Все это наводит меня на мысль, что македонская фаланга ничем не отличалась от современной бригады швейцарцев, вся сила и мощь которой заключается именно в пиках[148].

Шлемы римской пехоты были украшены перьями, придававшими войску величественный вид, прекрасный для друзей и грозный для врагов. Конница в древнейшие времена Рима носила только круглый щит и шлем – другого оборонительного оружия не было; для нападения служили меч и длинная тонкая пика с одним только передним железным наконечником.

С таким оружием всадник не мог прикрываться щитом, а в схватке пики ломались, и бойцы оставались безоружными и беззащитными. Со временем для конницы установилось то же вооружение, как и для пехоты, но только щиты у них были четырехугольные и меньшие, чем у пехотинцев, а пики толще и окованы железом с обоих концов, так что, когда одно острие ломалось, другой конец еще годился.

С этим оружием, пехотным и конным, римляне завоевали весь мир, и по очевидным плодам их походов можно с полной вероятностью предположить, что лучше снаряженных войск не было никогда. Об этом часто свидетельствует в своей истории Тит Ливий, который при сравнении римских войск с неприятельскими выражается так: «…но римляне своей доблестью, совершенством оружия и воинской дисциплиной были сильнее». По этой причине я больше говорил о вооружении победителей, чем побежденных.

Теперь я хотел бы сказать о вооружении наших современных войск. Для обороны пехоте даются железные латы, а для нападения – копье длиною в девять локтей, называемое пикой; у бока прикреплен меч с концом более закругленным, чем острым.

Таково обычное вооружение нынешней пехоты. Только у немногих есть латы, защищающие спину и руки, а шлемов нет совсем; у этих частей вместо пик имеются алебарды, то есть древко длиной в три локтя с железным наконечником в форме секиры. В пехоте есть также фюзильеры[149]; огнем своего оружия они выполняют ту же задачу, что стрелки из лука и пращники древности.

Вооружение это изобретено германскими народами, особенно швейцарцами; они бедны, но дорожат своей свободой и потому

как прежде, так и теперь вынуждены защищаться от властолюбия германских князей, которым богатство дает возможность держать конницу, что для швейцарцев при их бедности недоступно. Необходимость защищаться пешими против конных противников заставила их обратиться к военным учреждениям древних и к оружию, которое защищало бы их от бешеного натиска конницы.

Та же необходимость заставила их вновь вернуться к древнему боевому строю, вне которого, как правильно говорят некоторые писатели, пехота совершенно бесполезна. По этой же причине они вооружились пиками, то есть оружием, которое лучше всего подходит не только для того, чтобы выдержать нападение конницы, но и для того, чтобы ее победить.

Сила этого оружия и этого строя преисполнила немцев такой отвагой, что отряд в 15 000 или 20 000 германской пехоты не побоится напасть на любую конницу, и за последние 25 лет мы видели этому немало примеров. Пример их силы, основанной на этом оружии и на этом строе, был настолько убедителен, что после похода короля Карла в Италию[150] все народы стали им подражать, в том числе и испанцы; отсюда и пошла громкая военная слава испанских войск.

КОЗИМО: Какое оружие вы ставите выше – современное германское или древнеримское?

ФАБРИЦИО: Несомненно, римское. Я объясню вам сейчас недостатки того и другого. Оружие немецких пехотинцев позволяет им остановить и победить конницу; оно не обременяет их и этим облегчает движение в походе и построение в боевой порядок. Зато, с другой стороны, отсутствие оборонительного оружия делает пехоту беззащитной против ударов, наносимых как издали, так и в рукопашной схватке.

Пехота эта бесполезна при осаде городов и во всякой битве, где противник оказывает настоящее сопротивление. Кроме того, римляне умели останавливать и побеждать конницу не хуже современных немцев. Защитное оружие делало их непроницаемыми для ударов издали и вблизи. Благодаря щитам они были сильнее в нападении и сами могли лучше его выдерживать. Наконец, в схватке они могли лучше действовать мечом, чем немцы пикой; к тому же если у немцев и есть мечи, они без щита в таком бою бесполезны.

Римляне могли с уверенностью идти на приступ городских стен, потому что солдаты были прикрыты латами и могли защищаться щитами. Поэтому единственным неудобством их вооружения была тяжесть щита, из-за которой трудно было его нести, но это препятствие устранялось закаленностью воинов, приученных легко переносить усталость.

Вы сами знаете, что люди, привыкшие к чему-нибудь, от этого уже не страдают. Заметьте, что пехотные части могут встретиться как с неприятельскими пехотинцами, так и с конницей. Они будут вполне бесполезны, если не смогут выдержать нападения конницы или, отбросив ее, испугаются пехоты, которая окажется лучше вооруженной или лучше построенной, чем они сами.

Сравните теперь немецкую пехоту с римской, и вы увидите, что немцы, как мы уже говорили, способны разбить конницу, но положение их явно невыгодно в бою с пехотой, построенной так же, как они, но вооруженной по римскому образцу. Вам станет тогда ясным преимущество той и другой, и вы увидите, что римляне могут одолевать одинаково пехоту и конницу, а немцы – одну только конницу.

КОЗИМО: Я бы очень просил вас для большей ясности привести какой-нибудь определенный пример.

Карл VIII Любезный
(1470—1498)

ФАБРИЦИО: Вы найдете в нашей истории множество мест, из которых увидите, что римская пехота рассеивала бесчисленную конницу, но не найдете ни одного, где говорилось бы о поражении римлян пехотой вследствие слабости их вооружения или превосходства его у врага.

Ведь если бы вооружение было плохое, обязательно произошло бы одно из двух: или римляне встретили бы народ, вооруженный лучше, чем они сами, и завоевания их прекратились

бы, или они переняли бы чужое оружие и отказались бы от своего. Так как ни того, ни другого не случилось, легко предположить, что способ вооружения войск в Риме был лучше, чем где бы то ни было.

Этого никак нельзя сказать о германской пехоте, которую каждый раз постигали неудачи при встрече с пехотой, построенной так же, как и она, и равной ей по стойкости. Когда герцогу Миланскому Филиппо Марии Висконти пришлось иметь дело с 18 000 швейцарцев, он послал против них своего полководца графа Карманьола. Тот выступил с 6000 конницы и небольшим отрядом пехоты и при встрече был отбит, причем с большим уроном.

Карманьола, как человек опытный, сейчас же понял тайну силы неприятельского оружия, его превосходства над конницей и слабости последней перед подобным построением пехоты. Он собрал свои войска, снова выступил против швейцарцев, велел всадникам спешиться при боевом соприкосновении с врагами и в сражении перебил их всех, так что уцелело только 3000, которые, увидев, что помощи ждать неоткуда, побросали оружие и сдались[151].

КОЗИМО: В чем же причина этого поражения?

ФАБРИЦИО: Я вам только что объяснил ее, но сейчас повторю, так как она осталась для вас неясной. Я уже говорил, что немецкая пехота, которой почти нечем обороняться, вооружена для нападения пиками и мечами. С этим оружием она идет на неприятеля в своем обычном строю. Если у противника есть хорошее защитное оружие, каковым оно и было у спешенных всадников Карманьолы, он с мечом врывается в неприятельские ряды, и все дело только в том, чтобы подойти к швейцарцам вплотную.

Если это удастся, успех в бою обеспечен, потому что сама длина пики не позволяет немцу действовать ею против врага, схватившегося с ним врукопашную; приходится браться за меч, который в свою очередь бесполезен, потому что немец ничем не прикрыт, а противник его весь закован в броню.

Таким образом, когда сравниваешь выгоды и невыгоды того и другого порядка, становится ясным, что солдат, не имеющий защитного вооружения, обречен, так как противнику, закованному в латы, нетрудно отбить первый натиск и отбросить пики солдат передней шеренги.

Ведь войска все время приближаются друг к другу (вы поймете это лучше, когда я объясню вам боевое построение), и при этом движении они неизбежно подходят так близко, что схватываются грудь с грудью. Если кто-нибудь даже убит или

опрокинут ударом пики, в строю остается еще столько народу, что этого вполне достаточно для победы. Вот вам объяснение резни, которую Карманьола устроил швейцарцам с ничтожными потерями для себя.

КОЗИМО: Все это так, но ведь солдаты Карманьолы были жандармы[152], которые хоть и сражались пешими, но были сплошь закованы в железо и поэтому одержали верх; отсюда как будто следует, что можно добиться такого же успеха, если соответственно вооружить пехоту.

ФАБРИЦИО: Вы бы этого не думали, если бы вспомнили все, что я вам говорил о римском вооружении; пехотинец, у которого голова защищена железным шлемом, грудь прикрыта латами и щитом, а руки и ноги охранены от ударов, может защититься от них и прорвать неприятельские ряды гораздо лучше, чем спешенный жандарм.

Приведу свежий пример. Отряд испанской пехоты из Сицилии был отправлен на выручку Гонсальво, осажденного французами в Барлетте, и высадился на территории королевства Неаполитанского. Навстречу ему выступил монсеньор Добиньи со своими жандармами и около 4000 немецкой пехоты.

В начале боя немцы пиками прорвали ряды испанской пехоты, но ловкие испанцы, прикрываясь небольшими щитами, смешались с немцами в рукопашном бою и разили их мечами; последствием было почти полное истребление ландскнехтов и победа испанцев[153].

Все знают, как погибали немцы под Равенной. Причина была та же: испанцы подошли к немецкой пехоте на расстояние меча и уничтожили бы ее всю, если бы немцев не спасла французская конница; тем не менее испанцы, сомкнув ряды, могли безопасно отступить[154]. Поэтому я считаю, что хорошая пехота не только должна выдержать нападение конницы, но ей нечего бояться и неприятельской пехоты. Все это, как я не раз уже говорил, зависит от вооружения и от строя.

КОЗИМО: Скажите все же, как бы вы ее вооружили?

ФАБРИЦИО: Я взял бы отчасти римское, отчасти германское оружие и вооружил бы половину пехоты по римскому, а другую – по германскому образцу. Если бы из 6000 пехотинцев у меня было 3000 с римскими щитами, 2000 пикинеров и 1000 фюзильеров, этого было бы достаточно.

Я поместил бы пикинеров или в голове батальона или с той стороны, откуда грозило бы нападение конницы; солдаты со щитами и мечами стояли бы сзади, чтобы в нужную минуту поддержать копейщиков и решить исход боя, как я покажу это дальше. Думаю, что пехота, построенная таким образом, будет

сильнее всякой другой.

КОЗИМО: Нам ясно теперь все, что относится к пехоте, но насчет конницы нам хотелось бы знать, предпочитаете ли вы выбрать для нее древнее или современное вооружение?

ФАБРИЦИО: Думаю, что благодаря седлу с лукой и стременами, которых раньше не знали, всадник в наше время крепче сидит на лошади, чем в древности[155]. Вооружение его, по-моему, тоже лучше, так что выдержать натиск современного эскадрона, обрушивающегося на противника всей тяжестью, труднее, чем было остановить античную конницу.

При всем том я считаю, что не следует придавать конным войскам больше значения, чем это было в древности, потому что, как я уже говорил вам, они в наше время очень часто бывали позорно разбиты пехотой и всегда будут разбиты, когда встретятся с пехотой, вооруженной и построенной по образцу, о котором я вам рассказывал.

Армянский царь Тигран выставил против римского войска под начальством Лукулла 150 000 конницы, причем многие так называемые катафракты были вооружены вроде наших жандармов; у римлян же при 25 000 пехоты не было даже 6000 всадников, так что Тигран, увидав неприятельское войско, сказал: «Для посольства здесь все-таки много всадников».

Однако когда дело дошло до боя, Тигран был разбит, а историк сражения громит этих катафрактов, подчеркивая их полную бесполезность, потому что забрала, сплошь закрывавшие лицо, не позволяли им видеть врага и нанести ему удар, а тяжесть оружия не давала упавшему всаднику возможности встать и пустить в дело свою силу.

Поэтому я нахожу, что народы и цари, предпочитающие конницу пехоте, всегда будут слабыми и обреченными, как мы это и видели в Италии наших дней, которую иноземцы могли разграбить, разорить и опустошить только потому, что она пренебрегала пешей милицией и вся ее военная сила состояла из конницы.

Конница, конечно, нужна, не все же это не первая, а вторая основа войска; она необходима и необычайно полезна для разведок, набегов и опустошения неприятельской страны, для внезапной тревоги и нападения на противника (который из-за этого должен всегда быть в состоянии боевой готовности) и для перерыва подвоза припасов.

Когда же дело доходит до решительного полевого сражения, т. е. до самого существа войны и цели, ради которой вообще создаются войска, конница годится больше для преследования разбитого противника, чем для других дел, и по своей силе,

конечно, далеко отстает от пехоты.

КОЗИМО: У меня есть все же двойное недоумение; во-первых, я знаю, что парфяне во время войны действовали только конницей, и это не помешало им разделить мир с римлянами; во-вторых, я прошу вас объяснить мне, каким образом пехота может поддержать кавалерию и откуда берется сила одной и слабость другой.

ФАБРИЦИО: Я вам уже говорил или хотел сказать, что наша беседа о военных делах ограничена пределами Европы. Поэтому я не обязан принимать во внимание, что привилось в Азии. Могу вам все же сказать, что боевой строй парфян был совершенно противоположен римскому; они сражались всегда на конях и в бою бросались на противника врассыпную. Такой способ боя разнообразен и вполне случаен.

Парфянское царство (начало II в. до н. э. — 226 г. н. э.) — государство, основанное иранским племенем парфян на территории Ирана, Месопотамии, части Афганистана и Средней Азии. Начиная с 53 г. до н. э. это государство несколько раз оказывалось втянутым в военный конфликт с римлянами.

Римляне, можно сказать, сражались почти сплошь пешими и сомкнутым строем. Оба войска одерживали верх попеременно, смотря по просторности или тесноте поля сражения. В последнем случае побеждали римляне, в первом – парфяне, которым удавалось с таким войском многое сделать, принимая в расчет защищаемую местность, то есть бесконечные равнины, лежащие за тысячи миль от берега моря и пересеченные реками, отстоящими друг от друга на расстоянии двух или трех переходов. Городов в этой стране мало, население редкое.

Таким образом, римское войско, тяжело вооруженное и медленно наступавшее походным порядком, могло продвигаться вперед только с большим риском, потому что противником его была легкая и быстрая конница, которая сегодня появлялась в одном месте, а завтра оказывалась уже в другом, на расстоянии пятидесяти миль. Это и помогло парфянам, обходясь с помощью одной только кавалерии, уничтожить войско Марка Красса и едва не погубить Марка Антония[156].

Однако я уже сказал вам, что буду говорить сейчас только о войсках Европы; поэтому я ограничусь сравнением установлений

греков и римлян с современными немецкими.

Вернемся теперь к другому вашему вопросу: о том, какой строй или какие естественные причины создают превосходство пехоты над кавалерией. Скажу вам прежде всего, что конница не может действовать в любом месте, подобно пехоте. Когда нужно менять строй, она отстает, потому что если при наступлении необходимо вдруг переменить направление, повернуться кругом, внезапно двинуться вперед после остановки или столь же внезапно остановиться, то, конечно, конные не могут исполнить это с такой же точностью, как пехотинцы.

Если конница приведена в расстройство натиском неприятеля, то даже при неудаче нападения в ней трудно восстановить порядок; с пехотой это бывает крайне редко. Кроме того, часто бывает, что храброму всаднику попадается пугливая лошадь, а трус сидит на горячем коне, – это нарушает единство строя и приводит к беспорядку. Нет ничего удивительного в том, что небольшой отряд пехоты может выдержать любой конный налет: лошадь – существо разумное, она чувствует опасность и неохотно на нее идет.

Если вы сравните силы, устремляющие лошадь вперед и удерживающие ее на месте, то увидите, что сила задерживающая, несомненно, гораздо больше, потому что вперед ее бросает шпора, а останавливают ее копье и меч. Опыт древности и наших дней показывает одинаково, что даже горсть сплоченной пехоты может чувствовать себя спокойно, так как она для конницы непроницаема.

Не ссылайтесь на стремительность движения, которое будто бы так горячит лошадь, что она готова смести всякое сопротивление и меньше боится пики, чем шпоры. На это я отвечу следующее: как только лошадь замечает, что ей надо бежать прямо на выставленные против нее острия пик, она замедляет ход, а как только почувствует себя раненой, она или останавливается совсем, или, добежав до копий, сворачивает от них вправо или влево.

Если вы хотите в этом убедиться, пустите лошадь бежать на стену, и вы увидите, что очень мало найдется таких лошадей, которые, повинуясь всаднику, прямо ударятся в эту стену. Когда Цезарю пришлось сражаться в Галлии с гельветами, он спешился сам, велел спешить всю конницу и отвести всех лошадей назад, считая их годными больше для бегства, чем для боя[157].

Таковы естественные препятствия для конницы, но, помимо этого, начальник пехотного отряда должен всегда выбирать дорогу, представляющую для конницы наибольшие трудности, и ему всегда, кроме самых редких исключений, удастся спастись,

пользуясь свойствами местности.

Если она холмиста, это одно уже ограждает тебя от всякого стремительного нападения. Если дорога идет по равнине, тебя почти всегда защитят засеянные поля или рощи; всякий кустарник, всякий, даже небольшой, ров замедляют самый бешеный конный натиск, а любой виноградник или фруктовый сад останавливает его совершенно.

То же, что было в походе, повторяется в бою, потому что стоит лошади наткнуться на какое-нибудь препятствие, и она сейчас же остывает. Об одном во всяком случае не надо забывать, именно – о примере римлян: они так высоко ставили свой военный строй и были так уверены в силе своего оружия, что когда приходилось выбирать между пересеченной местностью, защищавшей их от конницы, но мешавшей им самим развернуться, и местностью более ровной, открытой для действия неприятельской конницы, но дающей свободу движений, они всегда выбирали второе.

Итак, мы вооружили нашу пехоту по древним и новым образцам; перейдем теперь к обучению и посмотрим, какие упражнения проделывала римская пехота до отправления ее на войну.

Пехота может быть прекрасно подобрана, еще лучше вооружена – и все же ее необходимо самым тщательным образом обучать, так как без этого еще никогда не было хороших солдат.

Битва при Равенне. *Гравюра начала XVI в.*

Битва при Равенне — главная битва Войны Камбрейской лиги. Состоялась 11 апреля 1512 между армиями Франции (в союзе с Феррарском герцогством) и участниц Священной лиги (Испании и Папской области).

Победа досталась французам, но ценой больших потерь, а поэтому надолго укрепиться в северной Италии им не удалось, и до конца лета того же года французские войска вынуждены были покинуть Апеннинский полуостров.

Обучение это распадается на три части. Прежде всего, это

закаленность тела, приучение его к лишениям, развитие ловкости и проворства; далее – это владение оружием и, наконец, умение сохранять порядок в походе, бою и лагере. Таковы три главных дела всякого войска; если оно на марше, на отдыхе и в бою сохраняет порядок, то даже при неудачном бое честь начальника будет спасена. Поэтому военное обучение тщательно предусматривалось законами и обычаями всех древних республик, не упустивших в этом смысле ничего. Они упражняли свою молодежь, чтобы развить в ней быстроту бега, ловкость прыжка, силу в метании дротика и в борьбе.

Без этих трех качеств солдат почти немыслим, потому что быстрота ног помогает ему предупредить неприятеля и раньше его занять необходимую местность, неожиданно на него напасть и преследовать его после поражения. Ловкость позволяет ему отбивать удары, перепрыгивать рвы и взбираться на валы.

Сила дает ему возможность лучше нести оружие, бить врага и самому выдерживать его натиск. Чтобы лучше закалить тело, солдат прежде всего приучали носить большие тяжести; это безусловно необходимо, ибо в трудных походах солдату, кроме оружия, часто приходится нести на себе многодневный запас продовольствия, и для непривычного такой груз был бы непосильным. Поэтому он не мог бы ни спастись от опасности, ни побеждать со славой.

Обучение владеть оружием производилось так. Юношам давались латы, вдвое тяжелее обыкновенных, а вместо меча они получали свинцовую палицу, по сравнению с ним более тяжелую. Каждый должен был вбить в землю кол высотой в три локтя и такой толщины, что никаким ударом нельзя было его сломать или опрокинуть. Юноши с их щитами и палицами упражнялись на этих кольях, как на неприятелях; они кололи их, направляя удар в голову, лицо, бедро или ногу, отскакивали назад, а затем бросались на них вновь.

Это упражнение давало им необходимую сноровку в защите и нападении, а так как учебное оружие было страшно тяжелым, то настоящее казалось им потом совсем легким. Римляне учили своих солдат колоть, а не рубить, как потому, что такие удары более опасны и от них труднее защититься, так и потому, что воину легче при этом себя прикрыть и он скорее готов к новому удару, чем при рубке.

Не удивляйтесь, что древние обращали внимание на все эти подробности, потому что раз дело идет о бое, необычайно важно всякое, даже малое, преимущество. Я вам не сообщаю ничего нового, а только напоминаю слова военных писателей. Древние считали, что счастлива только та республика, которая

располагает наибольшим числом людей, знающих военное дело, ибо не блеск драгоценных камней или золота, а только страх оружия подчиняет себе врагов.

Все ошибки в других областях можно как-нибудь исправить, но ошибки на войне неисправимы, ибо караются немедленно. Наконец, владение искусством меча рождает отвагу, так как никто не боится идти на дело, к которому он подготовлен. Поэтому древние требовали от своих граждан постоянных занятий военными упражнениями и заставляли их метать в кол дротики тяжелее настоящих; это упражнение развивало меткость удара, укрепляло мышцы и силу рук.

Они учили молодежь стрелять из лука, метать камни из пращи, назначали для каждого упражнения особых руководителей, и когда после этого люди отбирались в легионы, чтобы идти на войну, они уже были солдатами по духу. Оставалось только обучить их военному строю и умению сохранять его в походе и в сражении; это достигалось легко, так как молодые солдаты смешивались с более опытными, уже служившими и знавшими, как сохраняется равнение.

КОЗИМО: Какие упражнения предписали бы вы своим солдатам?

ФАБРИЦИО: Почти все, о которых мы говорили: я бы заставил их бегать, бороться, прыгать, носить оружие тяжелее обыкновенного, стрелять из лука и самострела; я бы прибавил еще ружье – оружие, как вы знаете, новое и безусловно необходимое. Я ввел бы эти упражнения для всей молодежи моей страны, но обратил бы особенное внимание на отборных, которым суждено впоследствии воевать: они упражнялись бы каждый свободный день.

Затем, я учил бы их плавать; это весьма полезно, ибо не везде есть мосты или готовые суда для переправы через реки. Солдат, не умеющий плавать, лишается большого преимущества и поневоле упускает много удобных случаев. Римляне потому и установили военное обучение юношества на Марсовом поле, где рядом протекал Тибр; молодым людям, уставшим от упражнений на суше, можно было освежиться в воде и, кстати, научиться плавать.

Наконец, по примеру древних, я установил бы особые упражнения для конницы; они необходимы, потому что важно не просто уметь ездить верхом, но ездить так, чтобы человек мог на лошади вполне владеть собой.

Для этих упражнений пользовались деревянными лошадьми, на которых молодые люди должны были вскакивать в полном вооружении или безоружными, притом без всякой помощи и с

первого раза. В конце концов люди достигали такого совершенства, что по знаку начальника вся кавалерия спешивалась в одно мгновение, а по другому знаку – с той же быстротой опять была на коне.

Все эти упражнения, пешие или конные, производились тогда вполне беспрепятственно, да и сейчас любая республика или любой князь могут ввести их без всяких затруднений, как показывает опыт некоторых городов Запада, сохранивших эти обычаи. Жители разделены там на несколько отрядов, названных по имени рода оружия, употребляемого ими на войне. Пользуются они копьями, алебардами, луками, ружьями и называются поэтому копьеносцами, алебардьерами, лучниками и фюзильерами.

Все жители обязаны заявить, в какой отряд они намерены записаться, но так как некоторые по старости или по другим причинам не годятся для войны, то из каждого отряда выделяются отборные части, так называемые «поклявшиеся», обязанные в свободные дни упражняться с избранным оружием. Власти отводят каждой части поле для учений, и все записанные в отряд, кроме «поклявшихся», вносят необходимые деньги на расходы[158].

Все это могли бы делать и мы, но наше легкомыслие вообще мешает всякому разумному решению. У древних благодаря описанным мною упражнениям была хорошая пехота, и только этим объясняется превосходство этих западных пехотинцев над нами. Древние обучали своих солдат или дома, как это делалось в республиках, или в лагерях, как делали императоры, по причинам, о которых я уже говорил.

Мы же не хотим обучаться дома и не можем делать это в лагере, ибо наши войска состоят из чужих подданных и нельзя их заставить проходить какое-нибудь обучение, которого они не хотят. Привело же это к тому, что сначала исчезло обучение, а затем пошло общее расстройство военных сил, и теперь как королевства, так и республики, особенно итальянские, находятся в состоянии полного ничтожества.

Возвращаясь к нашему разговору, я должен сказать, что привычка к военным упражнениям, закаленность, сила, быстрота и ловкость еще недостаточны, чтобы быть хорошим солдатом: он должен знать свое место в строю, уметь отличить свое знамя от другого, понимать все сигналы, слушаться голоса начальника. Он должен исполнять все это надлежащим образом на месте, при отступлении и наступлении, в бою и в походе, ибо без этой дисциплины, без строжайшего соблюдения и выполнения этих правил никогда не было настоящего войска.

Нет ни малейшего сомнения в том, что люди отважные, но разрозненные, гораздо слабее робких и сплоченных, так как движение в строю заглушает в человеке сознание опасности, между тем как беспорядок сводит ни к чему самую отвагу. Все, что я скажу дальше, будет для вас яснее, если вы обратите внимание на следующее: все народы при организации своих войск или народных ополчений устанавливали какую-нибудь одну основную войсковую часть, называвшуюся по-разному в отдельных странах, но почти одинаковую по числу людей, ибо в нее входит всегда от 6000 до 8000 человек.

У римлян эта часть называлась легионом, у греков – фалангой, у галлов – катервой. Швейцарцы одни еще сохранили некоторую тень древних военных установлении и называют эту часть именем (баталия), совпадающим с нашим словом «бригада». Части эти повсюду разделены на батальоны, устроенные различно. Мы будем употреблять в разговоре слово «бригада», как более известное, и покажем, как лучше всего ее устроить, следуя древним и новым образцам.

Римский легион, состоявший из 5000 или 6000 человек, делился на 10 когорт, и точно так же я предлагаю разделить нашу шеститысячную пехотную бригаду на 10 батальонов. В каждом батальоне должно быть 450 человек, из них 400 тяжелой пехоты и 50 легко вооруженных; в тяжелой пехоте будет 300 человек со щитами и мечами, которых мы назовем щитоносцами, и 100 человек с пиками, или действующих пикинеров; легкая пехота состоит из 50 человек, вооруженных ружьями, самострелами, алебардами и круглыми щитами; они получат древнее название – действующих велитов; во всех 10 батальонах будет 3000 щитоносцев, 1000 действующих пикинеров и 500 действующих велитов, то есть 4500 человек.

Раньше мы говорили, что в бригаде должно быть 6000 солдат; поэтому нам надо прибавить еще 1500 пехотинцев, именно – 1000 человек с пиками, или запасных пик, и 500 легко вооруженных, или запасных велитов. Таким образом, половина моей пехоты состояла бы из щитоносцев, а другая половина получила бы пики или другое оружие. Во главе каждого батальона стоял бы один начальник, 4 центуриона и 40 декурионов; сверх того, еще начальник действующих велитов и при нем 5 декурионов. Во главе 1000 запасных пик я бы доставил 3 начальников при 10 центурионах и 100 декурионах, а запасные велиты получили бы 2 начальников, 5 центурионов и 50 декурионов.

Далее я назначил бы одного командира для всей бригады; каждый батальон получил бы свое знамя и музыку. Итак, бригада в 10 батальонов состояла бы из 3000 щитоносцев с мечами, 1000

действующих и 1000 запасных пик, 500 действующих и 500 запасных велитов, всего 6000 пехоты, в которой было бы 600 декурионов и 15 начальников батальонов с 15 знаменами и трубачами, 55 центурионов, 10 начальников действующих велитов и один командир всей бригады со знаменем и музыкой.

Я нарочно несколько раз повторил вам это устройство, чтобы вы не запутались впоследствии, когда я буду объяснять способы построения батальонов и войск в боевой порядок. Каждый король или республика, желающие подготовить своих подданных к войне, должны были бы ввести у себя это устройство и вооружение, набирая притом столько бригад, сколько страна в состояниидать. Когда устройство их соответственно моему разделению будет закончено, начинается обучение строю и военным упражнениям по батальонам.

Конечно, каждый батальон по своей малочисленности не может иметь внешний вид настоящего войска, но каждый солдат может выучиться всему, что ему нужно знать, ибо все построения войск бывают двоякого рода: действия каждого отдельного солдата в батальоне и действия всего батальона, составляющего вместе с другими войско. Если люди хорошо научатся первым движениям, они легко усвоят вторые, но, не зная основных одиночных движений, никогда нельзя научиться действовать целыми частями.

Я уже говорил, что каждый батальон сам может учиться сохранять равнение при всяком марше и во всякой местности. Он должен уметь строиться в боевой порядок, понимать боевые сигналы, слушаться их, как моряк слушается свистка, и знать поэтому, что делать: стоять ли на месте, идти ли вперед, отступать или повернуться, обратив в эту сторону оружие. Если войска хорошо держат строй при всяком движении и на всякой местности, хорошо понимают распоряжения начальника, передаваемые сигналами, и умеют мгновенно перестраиваться, они легко научатся всем движениям, которые их батальону придется выполнять при соединении его с другими в целое войско.

Однако эти общие движения никак нельзя считать маловажными, и необходимо поэтому в мирное время раз или два в год собирать всю бригаду, построить ее по образцу целого войска, и каждый день упражнять, как перед боем, расположив на своих местах центр, фланги и запасные части.

Полководец, выстраивая войско в боевой порядок, всегда предполагает или уже видимого, или скрывающегося неприятеля; поэтому войско должно быть подготовлено и к явному, и к внезапному нападению. Его надо обучить так, чтобы оно всегда

было готово к бою во время движения, а солдаты всегда знали, что им делать.

Если ты учишь их борьбе с видимым неприятелем, покажи им, как завязывается бой, куда надо отойти; если нападение отбито, кто должен занять их место; научи их различать свое знамя, сигналы, голос начальника и так подготовь их этими притворными схватками и нападениями, чтобы они с нетерпением ожидали настоящих.

Мужество войска создается не храбростью отдельных людей, а правильным строем, потому что, если я сражаюсь впереди, знаю, куда мне в случае неудачи отойти и кто займет мое место, я всегда буду биться храбро, надеясь на близкую помощь. Если я нахожусь сзади, то поражение передних рядов меня не испугает, ибо я заранее был к этому готов и даже поступал так, чтобы виновником победы моего начальника был именно я, а не другие.

Эти упражнения безусловно необходимы в стране, где войско создается заново, но нужны и там, где оно давно уже существует. Римляне с детства знали устройство своего войска и тем не менее, раньше чем идти на воину, должны были непрерывно обучаться под руководством начальников. Иосиф Флавий рассказывает в своей «Истории», что благодаря этим постоянным упражнениям оказывались полезными в бою даже те толпы, которые всегда следуют за войсками для наживы и торговли, потому что все знали равнение и умели сражаться в строю.

Что же касается нового войска, собранного для войны, уже ведущейся, или народного ополчения, которому еще предстоит сражаться в будущем, то там без этого обучения ничего сделать нельзя ни с отдельным батальоном, ни с целым войском. Военное обучение – вещь необходимая, и надо самым тщательным образом учить новичков и совершенствовать тех, кто уже кое-что знает; на это не жалели ни времени, ни труда многие замечательные полководцы.

КОЗИМО: Мне кажется, что эти рассуждения вас несколько отвлекли, так как вы еще не объяснили нам, как ведется обучение отдельного батальона, а говорили о целом войске и о сражениях.

ФАБРИЦИО: Вы правы. Я глубоко предан древним установлениям, и мне больно, когда я вижу, что они заброшены; однако не беспокойтесь, я сейчас вернусь к своему предмету. Я вам уже говорил, что при обучении батальона самое важное – это хорошо соблюдать равнение фронта. Для этого есть упражнение, которое называется «улиткой»[159].

Я вам уже говорил раньше, что батальон должен состоять из 400 человек тяжелой пехоты, и буду дальше держаться этой цифры. Поставив людей в 80 шеренг по 5 человек в каждой, я

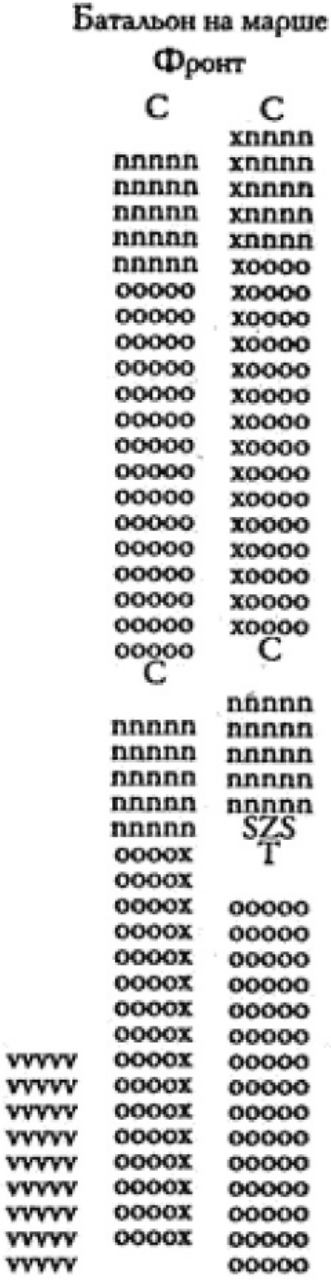
приучу их свертываться и развертываться как на скором, так и на тихом шагу. Все это надо видеть, а не описывать, да и описание здесь не так важно, потому что каждый причастный к военному делу знает, как делается это упражнение, нужное только для того, чтобы приучить солдата соблюдать равнение.

Палач, капитан и оруженосец швейцарского наемного войска XV в. *Гравюра XIX в.*

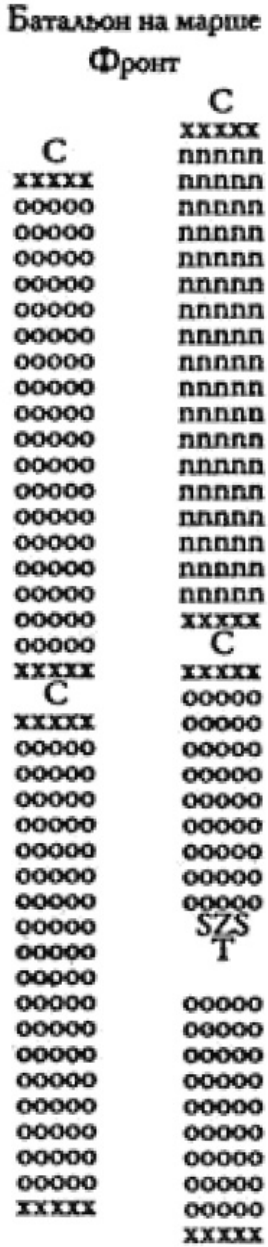
Перейдем к построению батальона в боевой порядок. Это делается тремя способами: первая и самая полезная форма – собрать всю массу в виде двух соединенных квадратов; вторая

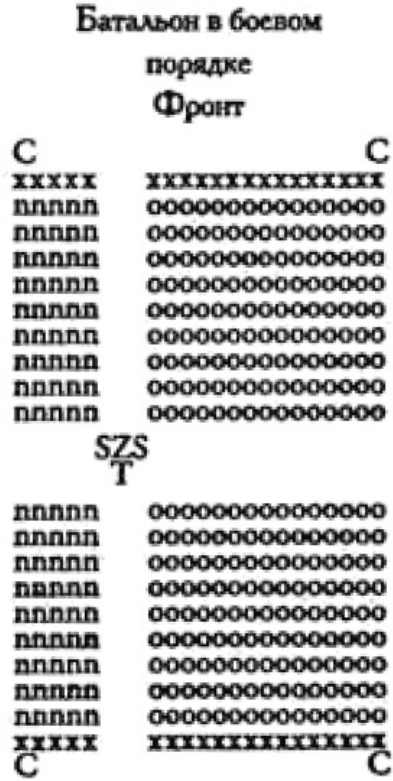
форма – квадрат с выдающимися вперед частями фронта; третья – квадрат, в середине которого остается пустое пространство, которое мы называем «площадью».

Первое построение делается двумя способами. Первый способ – вздваивание рядов, то есть вторая шеренга вступает в первую, четвертая в третью, шестая в пятую и так далее; таким образом, например, вместо 5 рядов и 80 шеренг получается 10 рядов и 40 шеренг. Вздвойте снова ряды, вливая одну шеренгу в другую, и получится 20 рядов по 20 шеренг.



Перестроение батальона к бою при угрозе неприятеля с фронта





Перестроение к бою при угрозе нападения с фланга (*левого*)

Получится построение примерно в виде двух прямоугольников, потому что хотя число людей с каждой стороны одинаково, но в шеренге, где солдат стоит плечом к плечу и локтем к локтю с соседом, он занимает меньше места, чем в ряду, где солдаты отстоят друг от друга по меньшей мере на два локтя.

Таким образом, четырехугольник в глубину длиннее, чем от фланга к флангу.

Так как нам часто придется говорить сегодня о передних частях, о хвосте и о боковой стороне батальона и о всем войске, то знайте, что головой или фронтом я буду называть переднюю сторону, тылом – заднюю и флангами – боковые. 50 действующих велитов не смешиваются с другими шеренгами и при построении батальона размещаются на его флангах.

Сейчас я объясню вам другой способ построения, и так как он лучше первого, то постараюсь показать его возможно нагляднее. Мне кажется, вы запомнили, сколько в батальоне солдат, как они вооружены и сколько у них начальников.

Я уже говорил, что батальон должен быть построен в 20 рядов и 20 шеренг, причем в голове будут 5 шеренг пик, а за ними 15 шеренг щитоносцев; два центуриона идут в голове колонны, два – в хвосте, наподобие древних tergiductores[160]; начальник батальона со знаменем и музыкой помещается между первыми 5 шеренгами пик и 15 шеренгами щитоносцев; по сторонам каждой шеренги находятся декурионы, так что каждый идет рядом со своими людьми; левофланговый командует отделением вправо от себя, правофланговый – влево. 50 велитов расположены на флангах и в тылу батальона.

Если такой батальон идет обычным походным порядком и должен перестроиться в боевой, то надо распорядиться так. Солдаты, как мы уже говорили, выстроены в 80 шеренг по 5 человек в каждой; велиты размещаются либо в голове, либо в хвосте колонны, но непременно особо от прочих войск. Каждый центурион ведет за собой 20 шеренг, причем непосредственно за ним следуют 5 шеренг пик, а дальше идут щитоносцы.

Начальник батальона со знаменем и музыкой находится между пиками и щитоносцами второй сотни, занимая в глубину места трех шеренг щитоносцев; 20 декурионов идут на левых флангах шеренг первой сотни, 20 – на правом фланге последней. Заметьте, что декурион, командующий пиками, вооружен пикой, а командующие щитоносцами – щитами.

Если батальон, двигающийся таким образом, должен построиться в боевой порядок для отпора врагу, то поступают так. Первый центурион со своими 20 шеренгами останавливается, второй продолжает двигаться, заходит вправо и тоже останавливается, дойдя до фланга неподвижно стоящей первой сотни и поравнявшись с ее центурионом; третий центурион точно так же поворачивает вправо и движется по флангу первых двух, пока не поравняется с двумя другими центурионами; наконец, четвертый центурион опять-таки заходит вправо, идет вдоль

правого фланга остановленных центурий, пока голова его сотни не выровняется с другими.

Тогда он останавливается; два центуриона тотчас же переходят с фронта колонны в тыл, и построение батальона в боевой порядок, о котором мы недавно говорили, закончено. Велиты рассыпаются по флангам, как я вам это уже показывал, объясняя первую операцию. Первое построение называется построением по рядам, второе – построением по центуриям.

Первый способ легче, второй – правильнее, удобнее и лучше позволяет применяться к обстоятельствам. В первом случае все определяется числом, потому что вместо 5 рядов постепенно выстраиваются 10, 20 и 40. Таким образом, ты не можешь противопоставить неприятелю фронт в 15, 25, 30 или 35 рядов, а подчинен числу, которое получится вследствие удвоения.

Между тем при отдельных действиях ежедневно случается, что на неприятеля надо бросить часть из 600 или 800 пехотинцев; построение по рядам в этом случае может внести беспорядок. Поэтому я предпочитаю второй способ, трудность которого легко может быть устранена опытом и постоянным обучением войск.

Повторяю еще раз: самое необходимое – это обучить солдат равнению в рядах и умению всегда сохранять порядок как на учениях, так и при быстром марше, при наступлениях и отступлениях, каковы бы ни были трудности местности. Люди, выполняющие это как следует, – уже готовые солдаты и могут считать себя старыми воинами, даже если они никогда не видели неприятеля; наоборот, солдаты, не обученные этим действиям, всегда должны считаться новобранцами, хотя бы они тысячу раз были на войне.

Я объяснил вам построение для боя батальона, двигающегося в походном порядке узкими шеренгами. Представьте себе теперь, что батальон приведен в расстройство условиями местности или разбит неприятелем.

Немедленно построить его вновь – вот одновременно и безусловная необходимость, и трудность, преодолеть которую можно только знанием и опытом, трудность, обращавшая на себя самое пристальное внимание древних писателей. Необходимо соблюдать два требования: первое – установить в батальонах как можно больше отличительных знаков, второе – приучить каждого солдата точно знать свое место в ряду.

Например, если он с начала службы был поставлен во вторую шеренгу, он должен стоять в ней всегда, притом даже не только в той же шеренге, но непременно на том же месте; этому и служат многочисленные значки, о которых я только что упомянул. Знамя должно настолько отличаться, чтобы солдаты могли сразу его

распознать среди других знамен.

Начальник батальона и центурионы должны носить на шлемах различные и хорошо видимые украшения, но самое важное – это узнавать декурионов; у древних этому придавалось такое значение, что на шлеме каждого декуриона был написан его номер, и они назывались первый, второй, третий, четвертый и так далее. Мало того, на щите каждого солдата указывались номер шеренги и его место в ней.

Когда люди так ясно отмечены и привыкли держать строй, легко мгновенно восстановить порядок даже среди полного смешения. Как только обозначится место знамени, центурионы и декурионы могут на глаз определить, где им следует быть; они становятся, как им полагается, слева и справа, соблюдая положенные расстояния, а солдаты, которые уже знают правила и видят отличительные значки начальников, сейчас же оказываются на своих местах.

Так, ничего не стоит вновь сколотить любую бочку, когда все части ее обозначены заранее; если же этого не сделать, то собрать ее невозможно. При усердии и частом упражнении эти вещи легко выучить и усвоить; когда они уже усвоены, трудно их забыть, потому что старые солдаты обучают молодых, и, таким образом, можно со временем ознакомить с военным делом население всей страны.

Очень важно, кроме того, научить солдат быстрым поворотам так, чтобы фланги и хвост колонны становились ее головой и, наоборот, голова делалась бы флангом или хвостом. Это совсем легко – достаточно каждому повернуться по команде, и голова батальона будет в той стороне, куда солдат обращен лицом.

Правда, при повороте направо или налево образуются большие промежутки между рядами; при повороте налево кругом особой разницы не получится, но, поворачивая в сторону, солдаты разомкнутся, что совершенно противоречит правилам обычного построения батальона. Дело опыта и здравого смысла – заставить солдат снова сомкнуться. Беспорядок в этом случае невелик, и люди легко сами его прекращают.

Гораздо важнее и труднее переменить направление всего батальона как единого целого. Здесь требуются большой опыт и умение: например, если вы хотите зайти батальоном налево, вы должны остановить левофлангового солдата первой шеренги, а его ближайшие соседи должны настолько замедлить шаг, чтобы правому флангу не пришлось догонять остальные части батальона бегом; без этой предосторожности все перемешается.

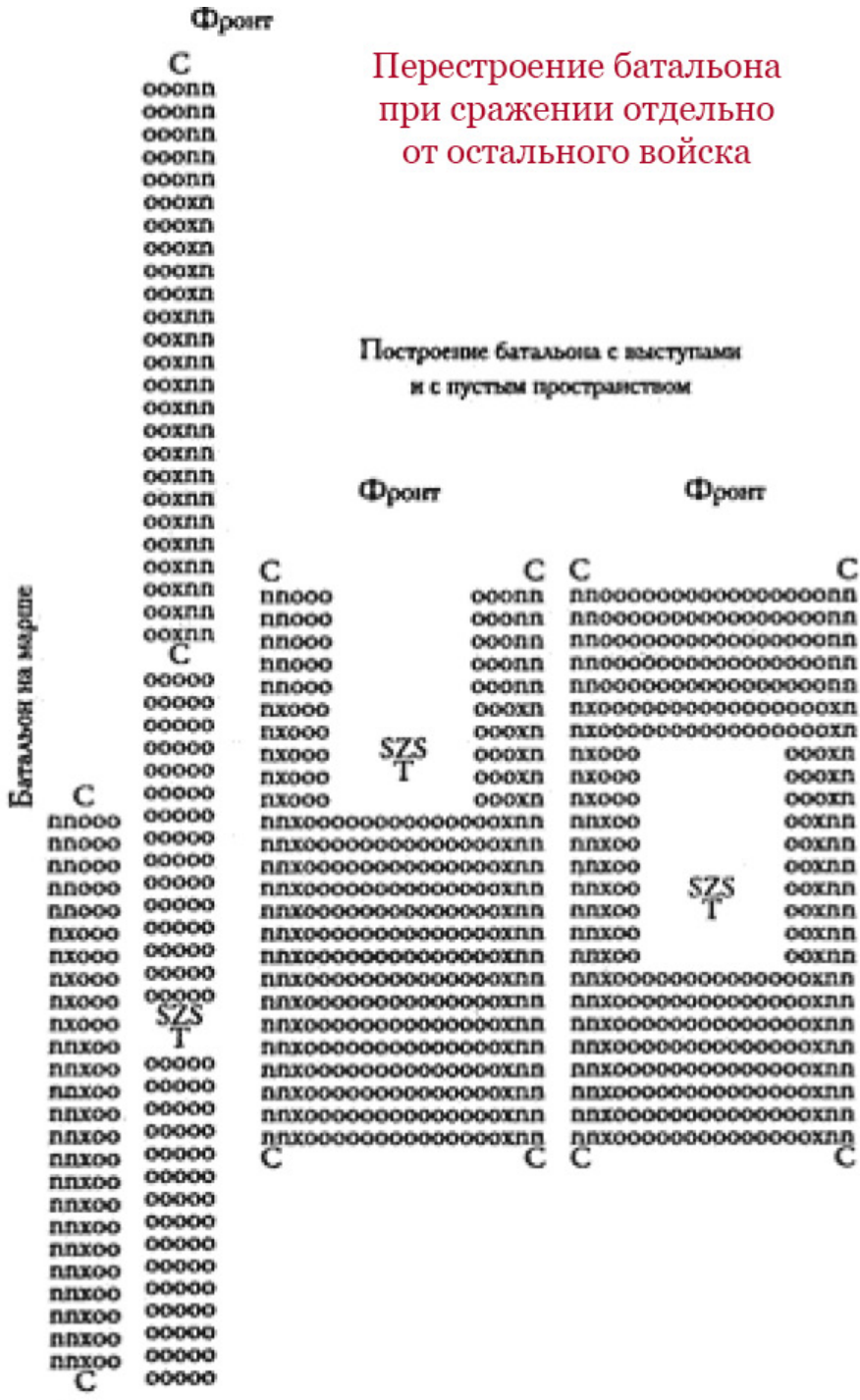
Когда войска идут походным порядком, батальонам, находящимся не впереди, постоянно приходится отражать

нападение с фланга или с тыла. В этом случае батальон должен мгновенно выстроить фронт в сторону, откуда нападение последовало; в этом положении ему необходимо сохранить боевой порядок, описанный раньше, то есть пики должны быть на стороне, обращенной к неприятелю, а декурионы, центурионы и начальник – на своих обыкновенных местах.

Составляется пятирядная колонна в 80 шеренг, причем первые двадцать заняты одними пиками. Командующие, или декурионы, размещаются по пяти в голове и в хвосте. Следующие 60 шеренг заняты щитоносцами и образуют в общем три центурии. В первом и в последнем рядах каждой сотни находятся декурионы; начальник батальона со знаменем и музыкантами помещается в середине первой центурии щитов, а центурионы идут каждый во главе своей сотни.

Если при движении в этом порядке нужно перевести все пики на левый фланг, центурия их останавливается, а все прочие выдвигаются вправо; если пики требуются на правом фланге, построение делается влево.

Таким образом, батальон двигается, имея пики на одном из флангов, декурионов – в голове и в хвосте колонны, центурионов – во главе сотен и начальника – в середине. Таков походный порядок. Если при появлении неприятеля надо встретить его с фланга, весь батальон поворачивается в ту сторону, где находятся пики, и этим самым уже построен описанный мною боевой порядок, потому что, кроме центурионов, все находятся на своих местах, а центурионы занимают их немедленно и без всяких затруднений.



Представьте себе теперь, что на батальон, идущий походным порядком, произведено нападение с тыла; тогда надо построить

его таким образом, чтобы при перестройке в боевой порядок все пики были в хвосте. Для этого нужно только одно – поставить 5 шеренг пик не в передние ряды каждой центурии, как это делается обычно, а сзади; во всем же остальном соблюдать правила, которые я уже объяснил.

КОЗИМО: Насколько мне помнится, вы сказали, что этот способ обучения позволяет образовать из отдельных батальонов целое войско и показывает, как надо приводить его в порядок. Скажите теперь, как вы расположите солдат, если вашим 450 пехотинцам придется сражаться отдельно от прочих войск.

ФАБРИЦИО: Начальник прежде всего должен решить, где ему нужно сосредоточить пики, и сообразно разместить их там; это нисколько не мешает порядку, о котором я вам говорил. Цель его, конечно, в том, чтобы батальон мог действовать в бою совместно с другими, но эти правила построения вполне пригодны для всякой обстановки, в которой придется сражаться. Однако я еще подробнее отвечу на ваш вопрос, когда буду объяснять вам два других способа боевого построения батальона; дело в том, что к ним вообще не прибегают или прибегают только в тех случаях, когда батальон сражается отдельно от остального войска.

Для построения батальона в колонну с двумя выступами пятирядная колонна в 80 шеренг располагается так. За центурионом ставят 25 шеренг, причем слева располагаются 2 ряда пик, а справа – 3 ряда щитов. За первыми 5 шеренгами, то есть в последних 20 шеренгах, находится по одному декуриону, место которого между пиками и щитами; декурионы, вооруженные пиками, стоят вместе с пикинерами. За первыми 25 шеренгами следует другой центурион во главе 15 шеренг щитоносцев.

Потом идет начальник батальона с музыкой и знаменем, за которым идут еще 15 шеренг щитоносцев. Третий центурион ведет 25 шеренг, в которых слева от него размещены 3 ряда щитоносцев, а справа – 2 ряда пик; в последних 20 шеренгах между пиками и щитами идет декурионы. Колонну замыкает четвертый центурион. Теперь из шеренг, построенных таким образом, надо образовать батальон с двумя выступами. Первый центурион и следующие за ним 25 шеренг останавливаются.

Второй центурион со своими 15 шеренгами щитов продолжает движение, заходя вправо, идут вдоль правого фланга 25 шеренг первой центурии и пристраивается к ее последним 15 шеренгам. Начальник батальона во главе своих 15 шеренг щитоносцев обходит правый фланг предыдущих 15 шеренг и пристраивается таким же порядком.

Наконец, третий центурион со своими 25 шеренгами и

следующий за ним четвертый центурион совершают то же движение, обходя правый фланг остановившихся центурий, но не останавливаются на уровне 15 шеренг, а идут вперед, пока последняя шеренга колонны не поравняется с последней шеренгой щитоносцев. Как только батальон выстроится, центурион, шедший во главе второй центурии, переходит в замок.

Таким образом, будет построена колонна в 15 шеренг и 20 рядов, и по обеим сторонам фронта будут два выступа, составленные из 10 шеренг по 5 рядов; между выступами остается пространство, достаточное для размещения 10 рядов. Там поместится начальник батальона, а впереди каждого выступа и в хвосте за фланговыми рядами колонны будет по одному центуриону. На флангах размещаются по 2 ряда пик и по 1 ряду декурионов. В пространство между выступами может поместиться артиллерия, если она имеется, и обоз. Велиты рассыпаются на флангах по обеим сторонам пикинеров.

Если батальон, построенный в колонну с выступами, хотят перестроить в колонну с пустым пространством внутри, то поступают так: из 15 задних шеренг 8 переводятся на концы выступов, и таким образом образуется площадь, замкнутая со всех сторон; здесь могут поместиться обозы, начальник батальона и знамя, но не артиллерия, которая выезжает вперед или располагается на фланге.

Эти способы построения полезны батальону только в том случае, если он двигается под прямой угрозой нападения. Тем не менее и тогда лучше строиться в обыкновенную колонну без площади и выступов; правда, иногда они необходимы, главным образом, для прикрытия нестроевых.

У швейцарцев есть еще много других форм боевого построения, между прочим, в виде креста, когда фюзильеров помещают в промежутках между его сторонами, укрывая их таким образом от ударов неприятеля. Подробности я описывать не буду. Построения этого рода хороши только в редких случаях, когда батальон сражается в одиночку, а я хочу дать вам пример совместного боя нескольких батальонов с неприятелем.

КОЗИМО: Кажется, я вполне понял ваш способ обучения солдат в этих батальонах; но, если я не ошибаюсь, вы говорили, что, кроме 10 батальонов, в вашей бригаде есть еще 1000 запасных пикинеров и 500 запасных велитов. Разве вы не будете их обучать?

ФАБРИЦИО: Конечно, буду, и весьма тщательно; пикинеры должны обучаться, по крайней мере, по сотням в том же порядке, как и остальные батальоны; я предпочитал бы их правильным батальонам при всякого рода частных действиях, как, например,

прикрытие обоза, сбор продовольствия в неприятельской местности и другие подобные операции; велиты же должны, по-моему, обучаться у себя дома, без военных сборов; ведь их дело – это бой врассыпную, и поэтому незачем собирать их вместе с прочими войсками на общее учение; достаточно обучить их действовать в одиночку.

Я уже говорил вам и не перестану это повторять, что солдаты батальона должны быть обучены так, чтобы они умели держать равнение, знали свои места, умели делать быстрые повороты, когда это нужно по условиям местности или при появлении неприятеля; если это усвоено, батальон будет знать свое место и свое дело среди целого войска.

Князь или республика, не жалеющие забот и труда на боевое устроение и обучение, получат для своей страны хороших солдат, одолеют своих соседей и будут предписывать законы другим, а не подчиняться. В наши же дни, среди общей смуты, о которой я уже говорил, эти правила забыты и заброшены; поэтому войска наши плохи, и если даже попадаются способные полководцы и возникают войны, у полководцев нет никакой возможности показать свою военную доблесть.

КОЗИМО: Как должны быть устроены батальонные обозы?

ФАБРИЦИО: Прежде всего, у меня ни центурионы, ни декурионы не ехали бы верхом, да и начальник батальона получит лошака, а не лошадь, если не захочет идти пешком. Ему я дал бы две повозки, центурионам – по одной и на каждых трех декурионов – по две, ибо они именно так будут размещены в лагере, как я скажу дальше. Таким образом, у каждого батальона будет 36 повозок, нагруженных палатками, котлами для варки пищи, топорами и железными кольями для разбивки лагеря; остальное можно нагрузить на них, если окажется свободное место.

КОЗИМО: Я понимаю, что начальники, которых вы определяете в свои батальоны, необходимы, но я боюсь, не слишком ли их много и как бы из-за этого не было замешательства.

ФАБРИЦИО: Это могло бы случиться, если бы они все не подчинялись одной высшей власти, но при правильном подчинении они только поддерживают порядок и, наоборот, без них невозможно руководить войсками. Если стена грозит обвалом, то лучше поддержать ее во многих местах слабыми подпорками, чем поставить их мало, хотя бы и очень прочных; с одной подпоркой, как бы она ни была крепка, стена все равно рухнет. Так и в войске: на каждый десяток людей должен быть человек более деятельный и храбрый, чем другие, или хотя бы

обладающий большей властью, который своим мужеством, словом и примером поддерживает солдат и воодушевляет их к бою.

Насколько в войске необходимо все, о чем я говорил, именно – начальники, знамена, музыка, видно хотя бы из того, что все это есть и у нас, но только никто не делает своего дела. Возьмите декурионов: если вы хотите, чтобы они выполняли свой долг, то каждый из них должен в совершенстве знать своих солдат, жить с ними, стоять вместе с ними в карауле и вместе сражаться.

Когда декурион на посту, шеренга равняется по нему, как по шнурку, и держится так крепко, что не может расстроиться, а если бы это все же произошло, она сейчас же собирается вновь. У нас же они годны только для того, чтобы получать больше жалованья и выполнять разные частные поручения.

То же происходит и со знаменем: у нас оно служит больше для красоты смотров, чем для настоящего военного дела, между тем как у древних знамя указывало путь и место сбора, ибо как только оно останавливалось, каждый солдат уже знал, куда ему идти, и всегда точно занимал свое место. Остановка или движение знамени означали остановку или движение вперед всего батальона.

Поэтому войско должно разделяться на многочисленные отдельные части, имеющие свои особые знамена и начальников; это сообщает ему душу и жизнь.

Пехота должна следовать за знаменем, а знамя – за музыкантами. Если музыканты хороши, то войском командуют они, потому что солдат соразмеряет свой шаг с музыкальным тактом и, таким образом, легко сохраняет свое место в строю. У древних были флейты, рожки и другие духовые инструменты, тон которых был установлен в совершенстве. Как танцор двигается в такт и не собьется, если он его соблюдает, так и войско не расстроится, если правильно идет под музыку.

Разнообразие музыки означало у древних разнообразие движений; одна музыка сменяла другую, когда надо было воспламенить, сдержать или совсем остановить воинов.

У каждого музыкального строя было свое назначение: дорийский строй внушал спокойствие и твердость, фригийский – приводил людей в неистовство. Рассказывают, что Александр, услышав за столом фригийскую музыку, так взволновался, что схватился за оружие.

Все эти мелодии следовало бы восстановить, а если бы это оказалось слишком трудно, то надо бы, по крайней мере, не пренебрегать теми, которые помогают солдату различать команду. Каждый может изменять их, как хочет, лишь бы ухо солдата привыкло их узнавать. Теперь у нас тоже есть музыка, но

толку от нее большей частью нет никакого – один только шум.

КОЗИМО: Мне хотелось бы знать от вас, если только вы сами об этом задумывались, каким образом нынешние войска пали так низко и откуда пошел их развал и пренебрежение военными занятиями?

ФАБРИЦИО: Я охотно поделюсь с вами своими мыслями. Вы знаете, что выдающихся воинов было много в Европе, мало в Африке и еще меньше в Азии. Происходило это оттого, что две последние части света знали только одну или две монархии, республик в них почти не было; наоборот, в Европе монархий было мало, а республик – бесчисленное множество. Люди выделяются и проявляют свои таланты, поскольку их выводит из низов и поощряет властитель, будь то республика или князь.

Поэтому там, где повелителей много, выдающиеся люди рождаются во множестве, в противном случае их бывает мало. В Азии мы встречаем имена Нина, Кира, Артаксеркса, Митридата, рядом с которыми можно поставить еще очень немногих. В Африке, если оставить в стороне египетскую древность, мы видим только Масиниссу, Югурту и нескольких полководцев Карфагенской республики.

Нин — легендарный ассирийский царь, от имени которого производили название Ниневии, одной из столиц Ассирийской империи.

Кир Древний (годы правления — 558—529 гг. до н. э.) — основатель державы Ахеменидов.

Артаксеркс II (правил в 404—358 гг.) — персидский царь, отвоевавший Египет, восстановивший влияние Персии в греческих городах Малой Азии, неоднократно вмешивавшийся во внутригреческие дела.

Митридат Евпатор (годы жизни — 132—63 гг. до н. э.) — величайший владыка Понтийского царства, трижды воевавший с Римом из-за гегемонии на востоке Средиземноморья.

Масинисса (жил ок. 240—148 гг. до н. э.) — царь нумидийского племени массилиев, в 206 г. изменивший Ганнибалу и перешедший на сторону римлян, обеспечив их победу во Второй Пунической войне.

Югурта (жил ок. 160—104 гг. до н. э.) — царь Нумидии, в 115—105 гг. небезуспешно боровшийся против римлян.

По сравнению с Европой число их ничтожно, ибо в Европе выдающихся людей бесконечно много, и их было бы еще больше, если бы к именам, до нас дошедшим, можно было прибавить имена, преданные забвению завистливым временем. Ведь даровитых людей всегда было много там, где было много государств, поощрявших таланты по необходимости или по иной человеческой страсти.

Азия дала мало больших людей, потому что вся эта страна была подчинена единому царству, по самой громадности своей пребывавшему большей частью в бездействии и потому неспособному создавать замечательных деятелей[161]. То же было и в Африке, но там благодаря Карфагенской республике их все же было больше.

Выдающиеся люди чаще встречаются в республиках, где таланты в большем почете, чем в монархиях, где их боятся. Там воспитывают дарования, а здесь – их истребляют. Если посмотреть теперь на Европу, то вы увидите, что она испещрена республиками и княжествами, которые боялись друг друга и поэтому были вынуждены поддерживать в силе военные

установления и окружать почетом людей, отличившихся боевыми заслугами.

В Греции, кроме Македонии, было множество республик, и каждая из них была родиной замечательнейших людей. В Италии были римляне, самниты, этруски, цизальпинские галлы. Галлия и Германия сплошь состояли из республик и княжеств; Испания – точно так же.

Этрусские воины. *Гравюра XIX в.*

Если от этих стран сохранилось по сравнению с Римом мало имен, то виновато в этом только лукавство писателей, которые поклоняются счастью и прославляют поэтому только победителей. Совершенно неправдоподобно, чтобы не было многого множества замечательных людей среди самнитов и этрусков, 150 лет воевавших с римским народом, прежде чем ему покориться[162]. То же относится, конечно, и к Галлии, и к Испании.

Однако если писатели умалчивают о мужестве отдельных граждан, они зато обычно восхваляют величие народов и превозносят до небес их стойкость в защите своей свободы. Если верно, что больших людей тем больше, чем больше на свете государств, то надо, естественно, признать, что с уничтожением их пропадает понемногу и человеческое величие, ибо исчезает сила, его порождающая. С возвышением Римской империи,

поглотившей все республики и царства в Европе, Африке и большей части Азии, доблесть исчезла всюду, сохранившись только в Риме.

Последствия этого сказались в том, что выдающиеся люди и в Европе, и в Азии стали появляться все реже. В дальнейшем доблесть окончательно упала, ибо она целиком сосредоточивалась в Риме. И когда в Риме началось падение нравов, оно распространилось почти на весь мир, так что скифские орды могли спокойно явиться и расхитить империю, уничтожившую доблесть в других странах и не сумевшую сохранить ее у себя.

Потом империя при нашествии варваров распалась на несколько частей, но доблесть от этого не возродилась: первая причина заключалась в том, что трудно восстановить рухнувший порядок вещей; вторая – в том, что современный образ жизни людей при господстве христианской религии не создает для них необходимости вечной самозащиты, как это было в древности.

Ведь тогда побежденные на войне или истреблялись, или становились вечными рабами, ведущими самую жалкую жизнь; покоренные земли опустошались, жители изгонялись, имущество отбиралось, а сами они рассеивались по свету, так что побежденным приходилось терпеть самую страшную нищету.

Этот страх заставлял людей неустанно заниматься военным делом и почитать всех, кто в нем отличался. Теперь же страх этот почти пропал, ведь побежденных очень редко убивают, никто долго не томится в плену, и все легко выходят на свободу. Города могут тысячу раз восставать – их за это не разрушают, оставляют жителям имущество, и самое худшее, чего они могут опасаться, – это военной дани. При таких обстоятельствах люди вовсе не хотят подчиняться требованиям строгого военного устройства и переносить всякого рода тяготы во избежание опасностей, которые для них не страшны.

Наконец, страны Европы по сравнению с прежними временами подчинены власти очень немногих государей: вся Франция подчинена одному королю, Испания – другому, Италия делится на небольшое число государств. Таким образом, слабые города защищаются тем, что отдаются на волю победителя, а сильные, по всем описанным причинам, не боятся разрушения.

КОЗИМО: Однако за последние 25 лет мы были свидетелями разрушения многих городов и падения царств[163]. Казалось бы, этот пример должен был бы предостеречь уцелевших и показать им, что следовало бы восстановить некоторые древние учреждения.

ФАБРИЦИО: Вы правы, но если вы внимательнее

присмотритесь к этим разгромам, вы увидите, что разрушались не столицы, а второстепенные города. Действительно, разграбили ведь Тортону, а не Милан, Капую, а не Неаполь, Брешию, а не Венецию, Равенну, а не Рим. Такие события не заставляют правителей пересматривать свою политику, а, наоборот, укрепляют их в мысли, что от всего можно откупиться. Поэтому они не хотят подвергаться трудностям строгой постановки военного дела – это кажется им или ненужным или непонятным.

Остаются побежденные; примеры эти могли бы их устрашить, но они уже бессильны что-нибудь предпринять. Князья, лишившиеся власти, уже опоздали, а те, которые правят, не умеют или не хотят ничего делать; у них только одно желание – без труда ловить счастье, а не надеяться на собственную силу; они видят, что там, где этой силы не хватает, все вершит судьба, и хотят подчиняться, а не повелевать ей.

В подтверждение своих слов приведу Германию, где сохранилось много княжеств и республик, и благодаря этому там еще сильна военная доблесть. Всем хорошим, что есть в современных войсках, мы обязаны этим народам; они ревниво оберегают свое положение, боятся рабства не в пример другим, и поэтому все сохранили господство и окружены почетом.

Кажется, я достаточно выяснил вам, каковы, по моему мнению, причины нынешнего ничтожества войск. Не знаю, согласитесь ли вы со мной или у вас остались еще какие-нибудь сомнения?

КОЗИМО: Никаких. Вы убедили меня вполне. Мне хочется только вернуться к главному предмету нашего разговора и узнать от вас, как будет устроена кавалерия при ваших батальонах, сколько ее должно быть, кто ею командует и каково ее вооружение?

ФАБРИЦИО: Вы, по-видимому, думаете, что я это упустил; не удивляйтесь, так как много об этом по двум причинам говорить не приходится. Прежде всего, важнейшая жизненная сила войска – это пехота; далее, наша кавалерия лучше пехоты, и если она не сильнее конницы древних, то равна ей.

Я уже раньше говорил о том, как ее обучать. Что касается оружия, я оставил бы существующее вооружение одинаково как для легкой, так и для тяжелой конницы. Мне только казалось бы полезным дать всей легкой коннице арбалеты и присоединить к ним некоторое количество фюзильеров, которые, правда, мало полезны в бою, но великолепны для устрашения противника и лучше всего могут заставить его бросить охраняемый проход; одно ружье стоит двадцати штук любого другого оружия.

Обращаясь к численности этих войск, я должен сказать, что

подражал бы римскому примеру и образовал бы при каждом батальоне отряд не больше чем в 300 лошадей, причем 150 пришлось бы на тяжело вооруженных жандармов, а остальные – на легкую конницу.

Во главе каждого эскадрона стоял бы особый начальник и при нем – 15 декурионов, знамя и музыканты. Каждые 10 жандармов получают 5 повозок, а 10 всадников легкой конницы – 2 повозки, нагружаемые палатками, котлами для пищи, топорами и кольями, а если будет возможно, то и другим походным снаряжением.

Не считайте, что это вызовет беспорядок, потому что сейчас в распоряжение каждого жандарма предоставлены 4 лошади, а это уже большое злоупотребление. В Германии у жандарма есть только одна его лошадь; на каждые 20 человек полагается одна повозка, на которую взвалено все, что им необходимо.

Римская конница тоже обходилась без прислуги; правда, ее размещали рядом с триариями, которые обязаны были помогать ей в уходе за лошадьми. Это легко ввести и у нас, как вы увидите, когда мы будем разбирать устройство лагеря. То, что делали римляне и теперь делают немцы, вполне возможно для вас, и с вашей стороны было бы ошибкой поступать иначе.

Оба эскадрона, составляющие часть бригады, можно иногда собирать вместе с батальонами и устраивать между ними примерные сражения, больше для того, чтобы приучать их различать друг друга в бою, чем для каких-нибудь других целей.

Однако довольно об этом; теперь нам надо узнать, каково должно быть боевое расположение войска, чтобы оно могло заставить противника принять бой и победить. В этом – цель всякого войска и смысл труда, потраченного на его обучение.

КНИГА ТРЕТЬЯ

КОЗИМО: Предмет нашего разговора сегодня меняется, и вместе с тем должен измениться и вопрошающий. Мне не хотелось бы заслужить упрек в самонадеянности, которую я всегда осуждал в других. Поэтому я слагаю диктатуру и передаю ее кому угодно из присутствующих моих друзей.

ЗАНОБИ: Мы были бы вам очень признательны, если бы вы сохранили вашу диктатуру, но если вы настаиваете на своем отказе – назначьте по крайней мере кого-нибудь из нас своим преемником.

КОЗИМО: Предоставляю это синьору Фабрицио.

ФАБРИЦИО: Охотно принимаю полномочия и предлагаю следовать венецианскому обычаю, то есть предоставить первое слово самому младшему[164]. Война – это ремесло молодых, и я считаю, что говорить о нем лучше всего юношам, потому что они раньше всех покажут себя на деле.

КОЗИМО: Итак, очередь за вами, Луиджи. Приветствую своего преемника и думаю, что и вы, синьор Фабрицио, останетесь довольны таким собеседником. Вернемся теперь к предмету разговора и не будем терять время.

ФАБРИЦИО: Несомненно, что для ясного понимания искусства боевого построения войска надо рассказать вам о том, как поступали в этом случае греки и римляне. Однако вы сами можете прочесть об этом у античных писателей; поэтому я опускаю целый ряд подробностей и буду говорить только о том, чему, по-моему, необходимо подражать, если мы хотим хотя бы в некоторой мере усовершенствовать наши современные войска. Я собираюсь пояснить вам одновременно построение войска в боевой порядок, подготовку его к настоящему бою и обучение примерным сражениям.

Самая большая ошибка начальника, строящего войско в боевой порядок, – это вытянуть его в одну линию и поставить судьбу сражения в зависимость от удачи единого натиска. Корень ошибки в том, что забыты действия древних, у которых линии войск располагались последовательно одна за другой. Ведь иначе нельзя ни помочь передним войскам, ни прикрыть их при отступлении, ни сменить их во время боя; римляне знали это лучше всех.

Для большей ясности надо сказать, что каждый легион состоял у них из гастатов, принципов и триариев. Гастаты ставились в первую линию войск, образуя крепкие сомкнутые

ряды, за ними более редкими рядами стояли принципы; сзади всех находились триарии, построенные таким образом, что между рядами у них оставались широкие промежутки, которые в случае нужды могли быть заняты и гастатами, и принципами.

Кроме того, в каждом легионе были пращники, стрелки из лука и другие легковооруженные воины, которые не стояли в одних рядах с пехотой, а располагались впереди войска, между конными и пешими солдатами. Эти-то легковооруженные и завязывали бой; если они побеждали – что бывало редко, – то сами довершали успех; если их отбрасывали, они отступали, обходя фланги сомкнутых войск, или занимали нарочно оставленные для этого промежутки между рядами, располагаясь затем позади.

После отхода легковооруженных с неприятелем схватывались гастаты, которые при неудаче отходили к принципам, занимая промежутки в их рядах, и тогда бой возобновлялся. Если эта вторая линия оказывалась также разбитой, она отступала к триариям, заполняла широкие промежутки между их рядами, и все дело начиналось заново. При новой неудаче бой был проигран, потому что опять собрать войско было невозможно.

Конница размещалась на флангах войска, образуя как бы два крыла. Она сражалась, смотря по необходимости, верхом или спешившись. При таком порядке троекратного возобновления боевой линии поражение было почти невозможно, потому что счастье должно изменить тебе три раза подряд, а доблесть врага должна быть такова, чтобы трижды победить[165].

Греческая фаланга не знала этого способа возобновления боя; правда, она строилась большим числом шеренг со многими начальниками, но располагалась всегда в одну линию. Подкрепление разбитых войск производилось не по римскому способу взаимослияния рядов, а путем замены выбывшего солдата другим. Делалось это так.

Представьте себе фалангу, построенную в 50 шеренг; когда начинался бой, сражаться могли первые шесть, так как их копья, или сариссы, были настолько длинны, что из шестой шеренги выступали остриями дальше передних рядов. На место убитого или раненого бойца сейчас же становился солдат из второй шеренги; его в свою очередь заменял стоявший за ним в третьей, и, таким образом, задние шеренги последовательно покрывали убыль передних.

При этом способе подкрепления шеренги всегда были заполнены и пустых мест не было нигде, кроме задней шеренги, которая постепенно таяла, ибо пополнять ее было уже некому. Вследствие убыли в первых шеренгах задние понемногу

истощались, но передние оставались всегда целыми, и надо сказать, что эту фалангу можно было скорее истребить, чем прорвать, так как глубокий строй делал ее почти непроницаемой.

Римляне вначале пользовались построением фаланги и применительно к нему обучали свои легионы. Позднее этот строй их уже не удовлетворял, и они стали разделять легионы на части, именно – на когорты и манипулы. Они считали, как я уже говорил, что войско тем сильнее, чем больше в нем отдельных живых тел и частей, каждая из которых может действовать сама. В наше время фаланга целиком применяется швейцарцами, воспринявшими и ее глубокий строй, и способ пополнения убыли первых шеренг, причем бригады во время боя вытянуты в одну линию.

Иногда они располагаются друг за другом, но это делается не для того, чтобы одна бригада при отступлении могла влиться в ряды другой, а для того, чтобы части, находящиеся сзади, могли поддерживать передние. Одна бригада стоит впереди, а другая – за ней несколько вправо, так что может быстро двинуться на выручку, если передним войскам потребуется подкрепление. Третья бригада находится сзади первых двух на расстоянии ружейного выстрела.

Делается это с той целью, чтобы в случае поражения передних войсковых частей у них было место для отхода, а третья бригада могла бы двинуться вперед, не рискуя при этом столкнуться с отступающими. Ведь крупная часть не в состоянии влиться в ряды другой, что легко осуществимо для небольшого отряда. Поэтому мелкие и точно обособленные подразделения, составлявшие римский легион, могли быть размещены так, что легко проходили одни через другие и, таким образом, взаимно друг друга поддерживали.

Для доказательства превосходства древнего римского боевого порядка над швейцарским достаточно вспомнить, что в боях с легионами греческие фаланги всегда терпели самые страшные поражения, и причина заключалась именно в том, что, как я уже говорил раньше, вооружение римлян и их способ возобновлять битву были большей силой, чем стойкость фаланги.

Представим себе теперь, что мне предстоит по образцу этих примеров образовать войско; я воспользуюсь для этого оружием и приемами как греческой фаланги, так и римского легиона; в бригаде у меня было бы 2000 пик, то есть македонское оружие, и 3000 щитоносцев с мечами, то есть римское вооружение. Бригада моя будет разделена на 10 батальонов, как это было у римлян, деливших легион на 10 когорт. Велиты, или легковооруженные солдаты, которые начинают бой, поставлены у

меня так же, как у них.

Таким образом, мы заимствуем у обоих народов оружие и боевое построение, так как в первых рядах каждого батальона стоят 5 шеренг пик, а за ними поставлены щитоносцы с мечами. Это позволит мне выдержать натиск конницы неприятеля и вместе с тем прорвать его пехоту, потому что при первом столкновении у меня, как и у него, будут пикинеры, которые его отбросят, а дальше в бой вступят щитоносцы и уже довершат победу.

Принципы и триарии. *Гравюра XIX в.*

В римском войске IV—VI вв. до н. э. принципами называли воинов тяжелой пехоты. Название произошло от латинского слова *princeps*, то есть «первый», поскольку изначально эти воины, вооруженные длинными копьями (пилумами) и короткими мечами-гладиями, составляли первую линию в боевом порядке. Чаще всего они имели также большой прямоугольный щит (скутум), бронзовый шлем и кольчугу, однако полного защитного вооружения не имели.

Триарии, как и принципы,— воины тяжеловооруженные, но уже с полным защитным вооружением. В IV—II вв. до н. э. они составляли третью (triarius) линию римского боевого порядка. С III в. до н. э. так стали называть опытных воинов (40—45 лет), которых вводили в бой в решающий момент.

Изучая этот боевой порядок внимательно, вы поймете его силу, заключающуюся в том, что оба вида оружия могут быть использованы до конца: пики хороши не только против конницы, но и против пехоты и становятся бесполезны, только, когда начинается рукопашная. Чтобы обойти это неудобство,

швейцарцы ставят между каждыми тремя шеренгами пик одну шеренгу алебард. Делается это с целью дать пикам больше простора, но места им все же остается слишком мало.

В нашем же построении пики, поставленные впереди и поддержанные сзади щитоносцами, могут отразить натиск конницы неприятеля, а при начале боя прорвать и расстроить его пехоту. Когда же бой переходит в рукопашную схватку и пики уже бесполезны, их сменяют щитоносцы с мечами, которые могут действовать в самой большой тесноте.

ЛУИДЖИ: Мы с нетерпением ждем, чтобы вы нам рассказали, как вы расположите вооруженное и устроенное вами войско в боевой порядок.

ФАБРИЦИО: Я как раз собираюсь вам это объяснить. Вы должны прежде всего знать, что обычное римское, так называемое консульское, войско состояло не более чем из двух легионов римских граждан, то есть из 600 человек конницы, около 11 000 пехоты и такого же количества пехоты и конницы, присланных союзниками и разделявшихся на две части, которые назывались правым и левым крыльями войск[166].

Римляне никогда не допускали, чтобы пехотинцев в союзных войсках было больше, чем в римских легионах, но в отношении конницы это даже поощрялось. С этим войском в 22 000 человек пехоты и приблизительно 2000 конницы консул предпринимал любые боевые действия и отправлялся в любой поход. Только в редких случаях, когда надо было дать отпор превосходным неприятельским силам, оба консульских войска соединялись.

Заметьте дальше, что при трех главных действиях всякого войска, то есть марше, лагерной стоянке и бое, римляне всегда располагали свои легионы в середине, так как хотели возможно теснее сплотить самые надежные свои силы; далее я скажу об этом подробнее. Впрочем, союзническая пехота, постоянно общавшаяся с легионерами, была так же полезна в бою, как и римская, потому что проходила ту же военную школу и строилась в том же боевом порядке.

Если мы познакомимся теперь с боевым построением одного римского легиона, мы будем знать боевой порядок всего войска. Когда я вам говорил раньше о разделении легиона на три боевые линии, взаимно сменявшие друг друга, я, собственно, уже изобразил вам боевое построение целого войска.

Я хочу строить свои войска в боевой порядок наподобие римлян; поэтому вместо двух легионов я возьму две бригады, построение коих определит построение всего войска, потому что большая численность его только удлинит боевую линию. Мне кажется ненужным напоминать вам о количестве пехоты в

бригаде, о том, что бригада состоит из 10 батальонов, кто ими командует, каково вооружение солдат, кто такие действующие и запасные велиты; обо всем я только что говорил достаточно подробно и думаю, что все это живо в вашей памяти, так как эти основные вещи надо знать для понимания дальнейших подробностей. Перехожу теперь прямо к объяснению боевого порядка войска.

10 батальонов первой бригады составят левое крыло войска, 10 батальонов второй бригады – правое. Войска левого крыла располагаются так: впереди, на линии фронта, стоят рядом 5 батальонов на расстоянии 4 локтей друг от друга, занимая в общем пространство в 141 локоть ширины и 40 локтей в глубину. За этими 5 батальонами, на расстоянии 40 локтей по прямой, находятся еще три, из которых два выравниваются по прямой линии по флангам первых 5 батальонов, а третий занимает серединный промежуток.

Таким образом, 3 батальона второй линии занимают в глубину и в ширину то же пространство, что и 5 батальонов первой, но между первыми батальонами остается промежуток в 4 локтя, а между вторыми – 33 локтя. Дальше расположены 2 последних батальона, отстоящие от 3 батальонов второй линии на 40 локтей и выравненные по их флангам так, что между ними останется свободный промежуток в 91 локоть.

Таким образом, все батальоны вместе займут пространство в 141 локоть в ширину и 200 локтей в глубину. На расстоянии 20 локтей от левого фланга батальонов стоит прикрывающая его семирядная колонна запасных пикинеров, построенная в 143 шеренги так, что глубина их равна глубине всего левого фланга 10 батальонов, построение которых я уже описал; 40 шеренг выделяются для охраны обозов и нестроевых, следующих за войсками; декурионы и центурионы занимают свои обычные места.

Из трех начальников батальонов один находится в голове, другой – в середине и третий – в хвосте всей колонны, исполняя обязанность tergiductor'a, как называли римляне начальника, находившегося сзади войска.

Возвращаюсь теперь к построению головы колонны. Влево от запасных пикинеров стоят 500 запасных велитов, занимающих пространство в 40 локтей, а еще дальше влево рядом с ними будут расположены жандармы, для которых я отвожу пространство в 150 локтей. Наконец, на оконечности левого крыла находится легкая конница, занимающая такое же пространство, как и жандармы.

Действующие велиты должны быть при своих батальонах и

стоять в оставленных между ними промежутках; задача их – прикрывать фланг каждого батальона, но, может быть, я присоединил бы их к запасным пикинерам. Это решается по обстоятельствам. Начальнику всей бригады я отвожу место или между первой и второй линиями батальонов, или впереди, между первым батальоном слева и запасными пикинерами; при нем находятся 30–40 отборных солдат, достаточно толковых, чтобы передать его приказы, и достаточно сильных, чтобы защитить его от вражеского нападения; тут же должны быть знамя и музыканты.

Таков боевой порядок бригады, стоящей на левом крыле и составляющей половину моего войска; оно расположено на пространстве в 541 локоть в ширину и, как я уже говорил, 200 локтей в глубину, не считая еще около 100 локтей в глубину, которые придутся на долю запасных пикинеров, охраняющих нестроевые части.

Совершенно так же построится и другая бригада на правом крыле; между бригадами остается свободное пространство в 30 локтей, защищаемое несколькими пушками, а за ними следует командующий с главным знаменем, музыкой и отборным отрядом в 200 человек, главным образом пехоты, из коих по крайней мере десять или более могут выполнять любое приказание. Командующий должен быть так вооружен, чтобы он мог, смотря по обстоятельствам, ехать верхом или идти пешком во главе войска.

Для осады крепостей достаточно иметь при войске 10 пушек, стреляющих ядрами весом не больше 50 фунтов, но в поле они служили бы у меня не столько для боя, сколько для защиты лагеря. Всю остальную артиллерию я бы составил из десятифунтовых орудий, которые, по-моему, удобнее пятнадцатифунтовых, и расположил бы ее перед фронтом войска, если только по свойству местности нельзя так поставить ее на флангах, чтобы вполне обеспечить от нападения неприятеля.

Боевое построение, которое я вам только что описал, соединяет выгоды греческой фаланги и римского легиона. Впереди густыми, сомкнутыми рядами стоят пики, так что при наступлении на врага или при обороне вполне возможно, по примеру греческой фаланги, пополнять убыль передних шеренг людьми, стоящими позади.

С другой стороны, если вражеский удар так силен, что фронт пик будет прорван и придется отступить, они вольются в свободное пространство между батальонами второй линии и, соединившись с ними, возобновят сражение единой массой. Если они и тут будут разбиты, то могут тем же порядком снова отойти

и опять начать бой уже в третий раз. Таким образом, при этом порядке бой ведется и возобновляется одновременно и по греческому, и по римскому образцу.

Впрочем, едва ли можно представить себе войско более мощное: начальников у него множество, оба крыла его в огромном изобилии защищены всеми видами оружия. Единственно слабое место – это тыл, с обозами и нестроевыми частями, да и здесь для защиты поставлены на фланге отряды запасных пикинеров.

Они готовы отбить всякое нападение, откуда бы оно ни пришло. Что касается тыла, то на самом деле и он обеспечен от удара, так как никакой враг не может быть так силен, чтобы напасть на тебя со всех сторон одновременно; если такой неприятель найдется, с ним вообще нечего воевать.

Пусть противник будет даже втрое сильнее, а войска его устроены не хуже наших, он неминуемо ослабит себя, пытаясь охватить нас с разных сторон, и стоит опрокинуть его в одном месте, чтобы все пошло прахом. Нападения конницы, если она даже сильнее нашей и одолеет ее, бояться нечего, так как пики отразят любую атаку. Начальники поставлены так, что им удобно распоряжаться и передавать полученные приказания.

Промежутки между батальонами и между шеренгами не только позволяют одной части войск пройти через линии другой, но очень удобны для пропуска воинов, прибывших с приказаниями командующего. Войско наше, как и римское, должно насчитывать около 24 000 человек; вспомогательные силы, присоединенные к нашим двум бригадам, должны быть устроены по их образцу, так же как союзнические войска строились и сражались по примеру римского легиона.

При боевом порядке, который я вам только что объяснил, это очень просто: если вы усиливаете ваше войско еще двумя бригадами или двойным количеством солдат, вам надо только соразмерно удлинить боевую линию, поставив 20 батальонов вместо 10, или увеличить глубину фронта – смотря по действиям неприятеля или по условиям местности.

ЛУИДЖИ: Знаете, синьор, я уже как будто вижу это войско и горю желанием посмотреть на него в деле. Я ни за что на свете не хотел бы, чтобы вы были Фабием Максимом, избегали бы врага и откладывали бой. Я бы возмущался вами еще больше, чем римляне Фабием.

ФАБРИЦИО: На этот счет не беспокойтесь. Разве вы не слышите уже грома пушек? Наши открыли огонь, но причинили неприятелю лишь малый урон. Запасные велиты выступают теперь вместе с легкой конницей и с отчаянным криком

бросаются на неприятеля, рассыпаясь как можно шире. Неприятельская артиллерия дала один залп, но снаряды пронеслись через головы нашей пехоты и не причинили ей никакого вреда. Чтобы помешать ей выстрелить второй раз, наши велиты и конница уже напали на нее[167], неприятель двинулся им навстречу, и как нашим, так и вражеским пушкам приходится замолчать.

Посмотрите, как мужественно бьются наши воины, как крепка их дисциплина, выработанная постоянными военными упражнениями и верой в войско, которое идет за ними вслед. Вот оно мерным своим шагом, в полном боевом порядке выступает вместе с тяжелой конницей навстречу противнику.

Наша артиллерия, чтобы пропустить его, отходит на места, только что очищенные велитами. Полководец воодушевляет воинов, обещая им верную победу. Вы видите, что велиты и легкая конница отошли, расположились по сторонам войск и выжидают, нельзя ли налететь на противника с фланга.

Вот войска сошлись! Посмотрите, с каким мужеством и безмолвием наши выдержали удар неприятеля; полководец отдал тяжелой коннице приказ только поддерживать пехоту, не наступая самой и не отдаляясь от пехотных линий. Видели вы, как наша легкая конница ударила на отряд неприятельских стрелков, собиравшихся зайти нам во фланг, как бросились им на помощь эскадроны противника и как стрелки, стиснутые между двух колонн атак, не в состоянии открыть огонь и отступают за линию своих батальонов?

Смотрите, с какой яростью разят противника наши пики, но тяжелая пехота обеих сторон сблизилась настолько, что пикинеры уже не могут работать, и, по правилам нашего боевого построения, они медленно отступают сквозь ряды тяжеловооруженных солдат.

Между тем большой отряд вражеской тяжелой конницы смял наших жандармов на левом крыле. Наши, твердо соблюдая правило, отступили под защиту запасных пик, возобновили с их помощью бой и опрокинули противника, перебив у него множество людей.

Тем временем действующие пики передних батальонов прошли назад сквозь ряды пехоты, и теперь в бой вступают щитоносцы. Смотрите, с какой доблестью, уверенностью и легкостью они уничтожают неприятеля! Разве вы не видите, что ряды так сомкнулись в бою, что солдатам только с большим трудом удается действовать мечами? Смотрите, с какой бессильной злобой умирают враги.

Ведь они вооружены только пиками и мечами, а щитов у них

нет. Пика бесполезна, потому что слишкам длинна, меч бессилен против сильнейшего вооружения наших воинов, и неприятельские солдаты частью падают убитыми или ранеными, частью спасаются бегством. Они бегут и на правом, и на левом крыле. Победа за нами!

Не правда ли, как счастливо прошла битва? Скажу только, что я испытал бы гораздо большее счастье, если бы мне было суждено видеть это сражение на деле. Заметьте, что мне даже не пришлось посылать в дело ни вторую, ни третью линию войск; враг побежден силами одной первой. Вот все, что я мог вам сказать, и хочу только спросить, все ли для вас ясно?

ЛУИДЖИ: Вы победили так стремительно, что я не могу еще опомниться от восторга. Я так ошеломлен, что даже не могу сказать, остались ли у меня какие-нибудь сомнения или нет. Моя вера в вашу мудрость не имеет границ, но я все же позволю себе высказать то, что мне приходит на ум. Скажите прежде всего, почему ваша артиллерия стреляла только один раз?

Почему вы сейчас же увели ее назад и больше о ней не упоминали? Мне кажется далее, что вы слишком легко распорядились неприятельскими пушками, заставляя их стрелять слишком высоко; это, конечно, вполне возможно, но ведь бывает же, и, вероятно, часто, что ядра бьют прямо по вашим солдатам. Что же вы стали бы тогда делать?

Раз уж я заговорил об артиллерии, я скажу вам об этом все, чтобы исчерпать свой вопрос и больше к этому не возвращаться. Я часто слышал пренебрежительные отзывы о вооружении и боевом порядке древних. При этом обычно говорят, что в наши дни эти войска были бы недостаточны и, пожалуй, даже вовсе бесполезны перед мощью артиллерийского огня, который уничтожает самый глубокий строй и пробивает самые мощные латы. Сторонники этого мнения считают безумием вводить боевое построение, которое все равно не может устоять, и мучиться под тяжестью оружия, которое все равно не в состоянии тебя защитить.

ФАБРИЦИО: Ваш вопрос касается очень многих вещей и требует поэтому подробного ответа. Верно, что я приказал своей артиллерии выстрелить только один раз, да и то не без колебания. Дело в том, что для меня гораздо важнее защититься от неприятельских ядер, чем поражать противника своими.

Вы должны знать, что спастись от артиллерийского огня можно только двумя способами: надо поставить войска в такое место, куда ядро не долетит, или укрыть их за стеной или валом. Других средств нет, да и первые удадутся только в случае особой крепости вала или стены. Полководец, решающийся на бой, не может ни укрыть своих войск, ни поставить их в такое место, где

ядра их не достанут.

Раз нельзя защититься от пушек, надо найти средство терпеть от них как можно меньше урона. Средство есть только одно – захватить их сейчас же. Для этого надо стремительно кинуться врассыпную, а не наступать медленно и густыми рядами. Быстрота удара не позволит неприятелю выстрелить во второй раз, а потери при рассыпном строе будут наименьшими. Такое движение невозможно для воинской части, построенной по-боевому.

Если она бежит, ряды расстраиваются, а когда колонна идет в беспорядке, то неприятелю не приходится тратить силы на то, чтобы ее рассеять, потому что она рассыпается сама. Я построил свое войско с расчетом достигнуть двойной цели: расположив на крыльях 1000 велитов, я приказал им сейчас же, после того как наша артиллерия выстрелит, броситься вместе с легкой конницей на неприятельские пушки.

Я не велел своей артиллерии стрелять вторично именно потому, что не хотел дать неприятелю лишнее время: ведь невозможно самому выигрывать время и вместе с тем не позволить этого другому.

Я не продолжал обстрел по той же причине, по которой колебался стрелять с самого начала, – именно потому, что боялся, как бы неприятель не открыл огонь первым. Ведь, если ты хочешь обезвредить артиллерию противника, надо на нее напасть; если он не защищает свои орудия, ты их захватываешь; если он хочет их отстоять, ты должен двинуться вперед, а когда друг и недруг смешаются в общей свалке, то из пушек стрелять нельзя.

Доводы эти, как мне кажется, достаточно убедительны и не нуждаются в примерах; однако древняя история дает нам некоторые образцы, и я хочу их привести. Вентидий перед боем с парфянами, вся сила которых была в стрельбе из луков, подпустил их почти к самому валу лагеря, раньше чем вывести свои войска. Сделал он это только с одной целью – сейчас же вступить в рукопашную схватку, не дав им времени для нового обстрела[168].

Цезарь рассказывает, что во время одной из битв Галльского похода враги бросились на него с таким бешенством, что его воины не успели бросить свои дротики, как это полагается у римлян[169]. Ясно теперь, что спастись в поле от орудия, бьющего издалека, можно только одним путем – захватить его с величайшей быстротой.

Была и другая причина, по которой я шел на врага, не вводя в дело артиллерию. Вы, может быть, сейчас засмеетесь, но я считаю, что пренебрегать ею нельзя. Самая большая опасность

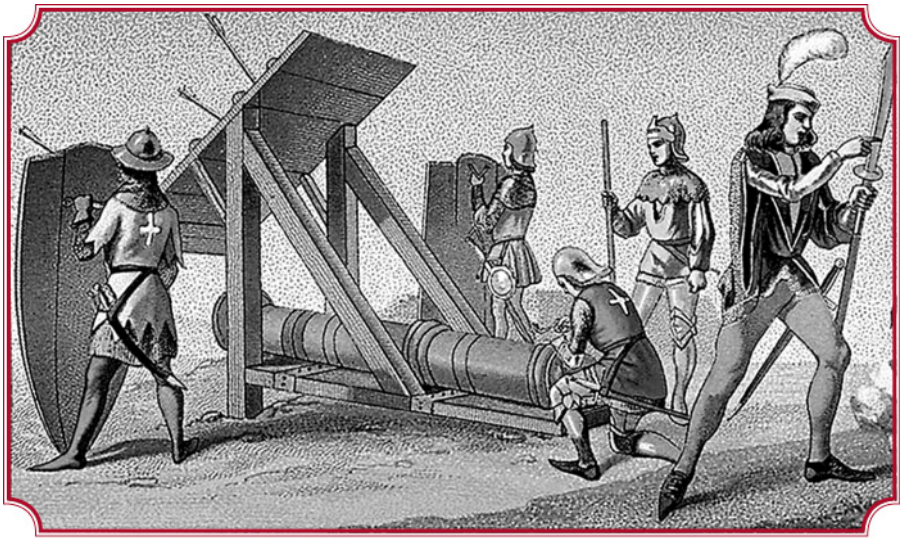
для войска, при которой легче всего начинается смятение, – это невозможность видеть неприятеля. Сильнейшие армии часто бывали разбиты потому, что солдат ослепляли пыль или солнце. Между тем ничто не вызывает такого густого мрака, как пороховой дым; я считаю поэтому, что лучше предоставить неприятелю ослеплять самого себя, чем разыскивать его, ничего не видя.

Поэтому я предпочел бы не стрелять из пушек, или, во избежание упреков ввиду большой славы артиллерии, я расставил бы орудия на флангах, чтобы не ослеплять дымом солдат, так как это для них самое важное.

Чтобы показать вам, насколько полезно испортить врагу видимость поля битвы, я сошлюсь на Эпаминонда, который именно с этой целью выслал против наступавшего неприятеля свою легкую конницу, рассчитывая на то, что поднятая ею густая пыль скроет его войска от лакедемонян. Расчет оправдался и доставил ему победу[170].

Вы говорите далее, что я по-своему распорядился чужой артиллерией, заставив ее стрелять через головы моей пехоты. Должен сказать, что большей частью так и бывает и что огонь тяжелой артиллерии для пехоты почти безвреден. Обратное случается крайне редко. Пехота – очень низкая мишень, а стрелять из тяжелых пушек так трудно, что стоит сделать малейшую ошибку, нацелиться немного выше – и ядро летит через головы, а если цель взята ниже, чем нужно, оно попадает в землю и не доходит вовсе.

Кроме того, пехоту спасает любая неровность почвы, так как самый мелкий кустарник или холмик, отделяющий ее от артиллерии, уже портит меткость пушечного огня. Легче, конечно, попасть в конницу, особенно в тяжелую, которая вообще выше легкой и построена более густыми рядами, но и этого можно избежать, отведя конницу в тыл, пока огонь не прекратится.



Огнестрельное оружие XV в.
Реконструкция XIX в.

Несомненно, что небольшие орудия гораздо опаснее ружья, но лучшее средство против них – это рукопашный бой. Если при первом столкновении многие будут убиты, но это ничего не значит – убитые бывают всегда. Хороший полководец и хорошее войско боятся не частных потерь, а общего крушения и должны подражать в этом швейцарцам, которые никогда не уклоняются от боя из страха перед артиллерией и карают смертью того, кто, испугавшись огня орудий, покинет ряды или проявит малейший признак страха.

Итак, я отвел свою артиллерию назад после первого выстрела, для того чтобы очистить место батальонам. В дальнейшем я о ней не упоминал потому, что с началом общего боя она стала ненужной.

Вы сказали еще, что, по мнению многих, оружие и боевой порядок древних сейчас уже бесполезны ввиду разрушительной силы пушек. Можно заключить из ваших слов, что наши современники изобрели для успешной борьбы с артиллерией какое-то новое оружие и боевое построение. Если эта тайна вам известна, я был бы вам очень признателен за ее раскрытие, ибо пока я такого оружия не знаю и не думаю, чтобы его можно было найти.

Действительно, мне хотелось бы услышать от этих людей, почему наши пехотинцы носят железные латы и нагрудники, а конные вообще закованы в броню; ведь если отрицать древнее

оружие вследствие его бесполезности перед артиллерией, то надо отказаться и от нынешнего.

Хотелось бы также знать, почему швейцарцы, в полном согласии с античным боевым порядком, строят свою бригаду густой колонной в 6000 или 8000 человек пехоты и почему все другие народы им в этом подражают, несмотря на то что артиллерийский огонь при этом построении так же опасен, как и при любом другом, позаимствованном у древних.

Думаю, что ответа не найдется. Если же вы спросите любого знающего военного, он ответит вам так: прежде всего, латы надеваются потому, что они защищают если не от ядер, то от самострелов, пик, мечей, камней и всякого другого неприятельского оружия. Далее, он сказал бы вам, что при построении густыми рядами, по швейцарскому примеру, можно легче отбросить пехоту противника, отразить нападение конницы и вместе с тем затруднить врагу прорыв собственной линии.

Из всего этого ясно, что войскам угрожают не только пушки, но и многое другое, от чего их предохраняют латы и предлагаемый мною боевой порядок. Следовательно, чем лучше вооружено войско, чем плотнее и крепче его ряды, тем надежнее оно защищено. Поэтому приходится сказать, что сторонники мнений, о которых вы здесь говорили, люди или малоопытные, или не продумавшие дело до конца.

Ведь если самое слабое оружие древних, употребляемое ныне, т. е. пики, и наименее совершенное из их боевых построений, то есть швейцарская бригада, приносят огромную пользу и обеспечивают войскам такое превосходство, то почему надо считать бесполезными другие виды древнего оружия и те боевые построения, которые сейчас забыты?

Наконец, если мы, несмотря на артиллерию, все же сохраняем построение густыми рядами, как это делают швейцарцы, то какой же из боевых порядков древности будет для нас еще более опасен? Ведь всем известно, что артиллерийский огонь всего страшнее для войск, наступающих плотной массой.

Наконец, ведь не мешает же артиллерия осаждать крепость, хотя, укрываясь за стенами, она может обстреливать мои войска в полной безопасности и усиливать огонь, как ей угодно, тогда как я захватить ее не могу и вынужден ждать, пока ее не смирит ответный огонь моих собственных пушек; тем более мне нечего бояться артиллерии в поле, где ею можно сейчас же овладеть.

Из всего этого я вывожу, что артиллерия не препятствует восстановлению воинских учреждений древних и доблести их. Я бы развил свою мысль подробнее, если бы уже не беседовал с вами об этом роде оружия; предпочитаю сейчас сослаться на то,

что говорилось раньше.

ЛУИДЖИ: Мы вполне поняли ваши мысли об артиллерии, и в общем вы, по-моему, показали, что лучшее средство борьбы с нею в поле на глазах у врага – это немедленный захват ее в самом начале боя. Однако у меня все же является сомнение: мне кажется, что неприятель может прикрыть артиллерию с флангов и расставить ее так, что она будет поражать ваших солдат, а захватить ее вам не удастся.

Вы, помнится, говорили, что при построении в боевой порядок вы оставляете между батальонами свободное пространство в 4 локтя, а между батальонами и запасными пиками оно расширяется у вас до 20 локтей.

Если враг построит свое войско по вашему образцу и поместит свою артиллерию в эти интервалы, он сможет, по-моему, расстреливать вас совершенно спокойно, ибо вам уже не удастся ворваться в неприятельские линии, чтобы захватить орудия.

ФАБРИЦИО: Ваше сомнение более чем основательно, и я постараюсь сейчас это рассеять или найти средство борьбы с подобной опасностью. Я уже говорил вам, что батальоны как в походе, так и в бою находятся в постоянном движении, причем ряды, естественно, все время смыкаются.

Если вы оставите между ними узкие интервалы и затем поставите туда свою артиллерию, то ряды скоро настолько сомкнутся, что артиллерия не сможет больше стрелять. Если вы, наоборот, оставите широкие интервалы, то избавляетесь от одной опасности, но навлекаете на себя другую, худшую, потому что неприятель получает полную возможность не только захватить ваши орудия, но и порвать ваш фронт.

Заметьте, впрочем, что артиллерию, особенно перевозимую на колесах, ставить между рядами нельзя: дело в том, что пушка стреляет не в ту сторону, куда она движется, а в обратную, так что для стрельбы она должна повернуться кругом, а это требует такого пространства, что 50 артиллерийских повозок приведут в расстройство целое войско. Поэтому орудия приходится держать вне рядов, подвергая их опасности захвата, о чем я вам уже говорил.

Допустим, однако, что артиллерия разместится между рядами и что неприятелю удастся избежать обеих крайностей, то есть и чрезмерного смыкания рядов, мешающего стрельбе, и слишком широких интервалов, открывающих врагу возможность прорыва. Я утверждаю, что и в этом случае легко обезопасить себя, оставив между частями своих войск свободное пространство, куда будут попадать ядра; таким образом, самый яростный

обстрел пропадает даром.

Трудностей это не представляет никаких, потому что неприятель ради безопасности своей артиллерии должен расположить ее сзади, у крайней линии интервалов, и, чтобы не попадать в своих, ей придется всегда стрелять по одному направлению, прямо перед собой; поэтому стоит только очистить ядрам место, и они станут безвредными. Есть общее правило: оставлять свободный проход силе, которую нельзя сдержать; так поступали древние, когда им приходилось встречаться со слонами и военными колесницами.

Я думаю и даже уверен, что вы представляете себе дело так: я разыграл сражение по собственному произволу и потому его выиграл. Однако, если все мною сказанное вас еще не убедило, я должен повторить, что войско, вооруженное и построенное по моему способу, непременно при первом же столкновении должно опрокинуть противника, построенного по образцу современной армии, вытянутой большей частью в одну линию, не имеющей щитов и вооруженной так плохо, что она не может защищаться в рукопашной схватке.

Принятый у нас боевой порядок негоден, потому что если батальоны размещаются рядом в одной линии, то нет глубокого строя, если же они стоят друг за другом, то при неумении пропускать одну часть войск через ряды другой они смешиваются и могут легко прийти в полный беспорядок. Правда, мы даем своим войскам разные наименования, разделяя их на авангард, главные силы и арьергард, но разделение это соблюдается только в походе и в лагере; в сражении же все войска бросаются вперед разом, и судьба их решается первым ударом.

ЛУИДЖИ: В вашем описании сражения я обратил внимание также и на то, что ваша конница была опрокинута неприятельской и укрылась под защиту запасных пик; затем она с их помощью возобновила бой и в свою очередь опрокинула противника. Я верю, что пикинеры могут остановить кавалерию, если они построены густой глубокой массой, как швейцарцы, в вашем же войске имеется только 5 шеренг пик во фронте и 7 – на фланге, так что я не понимаю, как они могут устоять против конного натиска.

ФАБРИЦИО: Я вам уже сказал, что в македонской фаланге могли действовать в одно время только 6 передних шеренг; скажу вам также, что в швейцарской бригаде, будь она даже глубиной в 1000 шеренг, сражаться могут только первые четыре или пять: длина пики – 9 локтей, древко на 1 1/2 локтя отведено назад и закрыто рукой, так что пики первой шеренги выдаются вперед на 7 1/2 локтей.

Вторая шеренга теряет эти 1 1/2 локтя и еще столько же на пространство, отделяющее ее от первой. Следовательно, острия ее пик выдаются из-за первой шеренги только на 6 локтей; пики третьей шеренги выдаются из-за первой на 4 1/2 локтя, четвертой – на 3, пятой – на 1 1/2.

Все остальные шеренги в бою не участвуют; они служат только для замены людей, выбывших из первых шеренг, и образуют для них нечто вроде стены с бойницами. Итак, если 5 швейцарских шеренг могут выдержать напор конницы, то почему это невозможно для моих пикинеров, которых точно так же поддерживают сзади другие войска, вооруженные, правда, не пиками, а мечами.

Если строй запасных пикинеров, расположенных на флангах, кажется вам недостаточно глубоким, то можно перестроить их в каре и поставить на флангах двух батальонов задней линии; оттуда их можно легко двинуть к фронту или к тылу войска, на помощь нашей кавалерии.

ЛУИДЖИ: Будете ли вы всегда пользоваться только той формой боевого построения, которую вы нам описали?

ФАБРИЦИО: Конечно, нет! Боевой порядок меняется смотря по условиям местности, по количеству и качеству неприятельских войск. Я покажу это потом на примерах. Я привел вам свое построение не потому, что оно сильнее всех других, хотя оно действительно сильнейшее, а для того, чтобы дать вам правила и указания, с помощью которых вы можете познать и другие формы боевого порядка. У каждой науки есть общие положения, на которых она большей частью и основывается.

Об одном только вы должны помнить всегда: никогда не стройте войска так, чтобы сражающиеся впереди не могли получить помощи от находящихся сзади; тот, кто сделает эту ошибку, обрекает большую часть своего войска на бездействие и никогда не победит, если встретит сильного врага.

ЛУИДЖИ: У меня явился новый вопрос. В вашем построении вы ставите 5 батальонов впереди, 3 – в середине и 2 – в последней линии. Мне казалось бы, что надо поступать наоборот, потому что прорыв, по-моему, труднее, если наступающий, по мере проникновения его в наши ряды, встречает все более плотную массу войск. При вашем способе дело, по-моему, обстоит так, что чем сильнее нападение, тем слабее становится защита.

ФАБРИЦИО: Ваши сомнения должны несколько рассеяться, если вы припомните, что триариев, составлявших третью линию римского легиона, было не больше 600 человек, и они стояли позади всех. Следуя этому примеру, я поставил в задней линии 2 батальона, то есть 900 человек пехоты. Таким образом, подражая

римскому порядку, я снимаю с передовой линии не слишком мало, а скорее слишком много солдат.

Можно было бы просто сослаться на этот пример, но я хочу вам объяснить, почему я так поступаю. Первая линия войск должна быть крепкой и плотной, так как ей предстоит выдержать неприятельский натиск, а впереди ее нет своих войск, которые отступали бы сквозь ее ряды. Здесь должен быть даже излишек людей, иначе сила линии неминуемо уменьшится вследствие недостаточно глубокого строя или малочисленности солдат.

Наоборот, вторая линия, раньше чем встретит врага, должна быть готова к тому, что в ряды ее вольются свои же отступающие части. Поэтому здесь необходимы большие интервалы, и она должна быть малочисленнее первой линии; если делать ее сильнее первой или равносильной, то пришлось бы или обойтись без интервалов, что вызвало бы беспорядок, или выдвинуть ее с обеих сторон за пределы первой линии войск, что испортило бы боевое построение.

Вы ошибаетесь, если думаете, что чем дальше неприятель проникает в ряды нашей бригады, тем сопротивление становится слабее. Ведь противник вообще не может столкнуться со второй линией, пока она не соединилась с первой, и тогда она будет сильнее, а не слабее, между тем как врагу придется сражаться с двумя линиями зараз.

То же произойдет, если неприятель доберется до третьей линии, так как ему надо будет вступить в бой не с двумя последними свежими батальонами, а со всей бригадой. Эта последняя линия должна вместить еще больше войск. Поэтому свободное пространство между батальонами должно быть еще шире, а состав ее всего меньше.

ЛУИДЖИ: Вы меня вполне убедили, но ответьте мне, пожалуйста, еще на один вопрос. Если 5 первых батальонов отступают сквозь ряды 3 вторых, а затем 8 батальонов второй линии отойдут к 2 батальонам третьей, то как могут эти 8, а затем и 10 батальонов уместиться на пространстве, занятом первоначально первыми пятью?

ФАБРИЦИО: Прежде всего, это не одно и то же пространство, потому что первые 5 батальонов разделены четырьмя интервалами, которые постепенно заполняются по мере отступления их к войскам второй и третьей линий. Остаются затем интервалы между бригадами, а также между батальонами и запасными пиками, образующие в общем достаточно большое пространство.

Прибавьте к этому, что батальоны, построенные в боевой порядок и еще не понесшие убыли, занимают не то пространство,

как после боя, когда их ряды уже поредели; потери приводят или к смыканию, или, наоборот, к расширению рядов. Ряды расширяются, когда людей охватывает такой страх, что они бросаются бежать; наоборот, они смыкаются, если страх заставляет людей искать спасения не в бегстве, а в самозащите. В этом случае вы всегда увидите, что строй сомкнется, а не рассыплется.

Заметьте далее, что передовые пять шеренг пикинеров, начавшие бой, отступают потом сквозь ряды батальонов за последнюю линию войск и очищают место боя щитоносцам с мечами. При отступлении их в тыл командующий может распорядиться ими по своему усмотрению, тогда как в рукопашной схватке они совершенно бесполезны.

Таким образом, интервалы, установленные заранее, могут вполне вместить остаток солдат. Допустим, что этого пространства не хватит – остаются фланговые войска; ведь это не стены, а люди, которые могут расступиться и очистить столько места, сколько понадобится.

ЛУИДЖИ: Как поступаете вы с запасными пиками, поставленными на флангах? Должны ли они при отступлении батальонов первой линии оставаться на месте, образуя как бы два выступа, или отступать вместе с батальонами? Если им надо отступать, то как могут они это выполнить, не имея за собой батальонов с широкими интервалами?

ФАБРИЦИО: Если неприятель, принудивший батальоны к отступлению, на них не нападает, они могут оставаться на месте в боевом порядке и тревожить противника с фланга, когда первые батальоны уже отступят. Если же он, что вероятнее всего, на них нападет, так как он достаточно силен, чтобы потеснить другие войска, то надо отходить. Выполнить это очень легко, хотя интервалов за ними нет: стоит только вздвоить ряды по прямому направлению, влив одну шеренгу в другую, как мы об этом уже говорили, когда речь шла о вздваивании рядов.

Шарль Лебрен. Войско
Александра Македонского
в конном бою на реке Граник. *1672 г.*

Верно, что при отступлении вздваивание производится иначе, чем я вам объяснял; я ведь говорил вам, что вторая шеренга вступает в первую, четвертая – в третью и так далее. Теперь надо идти не вперед, а назад, и начать не с передних, а с задних шеренг, так чтобы при вздваивании получилось не прямое, а попятное движение.

Однако чтобы ответить на все возможные ваши возражения против разыгранного мною сражения, я снова повторяю, что я показал вам это построение и битву с целью объяснить вам две вещи: как строится войско и как оно обучается. Мой боевой порядок для вас как будто вполне ясен; что касается обучения, то сборы батальонов должны устраиваться как можно чаще, чтобы начальники привыкли сами и могли обучить солдат всем

действиям, о которых мы говорили.

Солдату надо хорошо знать все действия батальона, а начальники должны понимать значение батальона в целом войске, и только тогда они будут верно исполнять распоряжения командующего.

Они должны уметь распоряжаться несколькими батальонами одновременно и быстро занимать назначенное им место; поэтому на знамени каждого батальона должен быть ясно обозначен его номер, причем таким образом удобнее передавать приказания командующего, а начальник и солдат легче узнают по номеру свое знамя. Бригады также должны иметь особые номера на главном знамени. Необходимо, чтобы каждый знал номера бригад, стоящих на левом или правом фланге, номера батальонов первой и второй линий и так далее.

Чины войска должны также различаться по номерам: например, номер первый означает декурионов, второй – начальника 50 действующих велитов, третий – центуриона, четвертый – начальника первого батальона, пятый – второго, шестой – третьего и так далее – до начальника десятого батальона, выше которого стоит уже командир бригады. Получить этот последний чин может только тот, кто раньше пройдет все низшие степени.

Кроме того, есть еще три начальника запасных пикинеров и два начальника запасных велитов, которые, по-моему, должны быть равными по чину начальнику первого батальона. Меня нисколько не смущает, что шесть человек окажутся в одном чине: каждый из них будет от этого еще усерднее и постарается превзойти остальных, чтобы быть произведенным в начальники второго батальона.

Зная место своего батальона, каждый начальник займет его в ту минуту, как по звуку трубы взовьется главное знамя и все войско будет построено в боевой порядок. Уметь строиться мгновенно – первое, к чему непременно надо приучить войско. Упражнение это необходимо проделывать ежедневно и даже несколько раз в день.

ЛУИДЖИ: Должны ли быть на знаменах еще какие-нибудь знаки, кроме номеров?

ФАБРИЦИО: На главном знамени должен быть герб князя; на прочих может быть тот же герб в другом поле или иной знак – по усмотрению командующего. Это неважно, лишь бы знамена ясно отличались одно от другого.

Перейдем, однако, к следующему упражнению. Когда войско построено, оно должно научиться двигаться мерным шагом, строго сохраняя при этом равнение.

Третье обучение – боевые приемы; артиллерия должна выстрелить и отъехать назад; запасные велиты выступают вперед и после притворной атаки отходят; батальоны первой линии отступают в интервалы второй, точно они разбиты; обе линии отступают к третьей и возвращаются затем на свои места. Надо так приучить солдат к этим приемам, чтобы они стали естественными и повседневными движениями, а при некотором опыте и навыке это достигается очень легко.

Четвертое упражнение – научить солдат понимать распоряжения командующего по звуку музыки или движению знамени, так как приказания с живого голоса понятны без всякого объяснения. Особенно важны распоряжения, подаваемые музыкой, и потому я скажу вам несколько слов о боевой музыке древних.

У лакедемонян, по рассказу Фукидида, господствовала флейта, так как они считали, что под звуки ее войска идут мерно и спокойно, без ненужных порывов. У карфагенян этой же цели служила цитра. Лидийский царь Алиат употреблял на войне цитру и флейту. Александр Великий и римляне ввели у себя рога и трубы, находя, что эти инструменты зажигают сердца и заставляют воинов биться с удвоенной силой.

Мы же последуем и в этом примеру обоих народов так же, как уже сочетали греческий образец с римским, выбирая оружие войска. При командующем должны быть трубачи, потому что звук трубы не только воспламеняет мужество солдат, но лучше всякого другого инструмента будет слышен среди самого ужасного шума.

При начальниках батальонов и бригад находятся барабанщики и флейтисты; они будут играть не так, как сейчас, а как обычно играют на пирах. Звуком трубы командующий укажет, должны ли войска стоять на месте, идти вперед или отступать, надо ли стрелять артиллерии или выбегать запасным велитам; разнообразие трубного звука ясно покажет солдатам все необходимые движения, а после труб ту же команду повторят барабаны.

Упражнение это очень важно и должно повторяться часто. В кавалерии должны быть трубы, но менее громкие и с иным звуком. Вот все, что я мог вам сказать о боевом порядке и обучении войска.

ЛУИДЖИ: Я все же попрошу вас объяснить мне еще одну вещь: почему ваша легкая конница и велиты бросаются на врага с дикими криками, а остальное войско идет навстречу врагу в полном безмолвии? Я не понимаю этой разницы.

ФАБРИЦИО: Древние полководцы держались разных мнений насчет того, надо ли бежать на неприятеля с криком или

медленно идти молча. В молчании лучше сохраняется порядок и яснее слышны приказания начальника, а крик возбуждает боевой пыл. Я считаю, что и то и другое одинаково важно, и потому приказываю одним частям с криком бросаться на врага, а другим велю идти молча.

Впрочем, я вовсе не считаю, что беспрестанный крик полезен: он заглушает команду, и в этом его большая опасность. Трудно предполагать, что римляне после первого столкновения продолжали кричать. В их истории постоянно говорится о том, как бегущие солдаты останавливались по слову и убеждениям полководца и как они в разгаре сражения перестраивались по его команде; это невозможно, если крики заглушают голос начальника.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ЛУИДЖИ: Под моим начальством одержана столь блистательная победа, что я предпочитаю больше не испытывать судьбу, зная ее изменчивость и непостоянство. Поэтому я слагаю диктатуру и передаю обязанности вопрошающего Заноби, следуя в этом нашему порядку начинать с самого младшего. Знаю, что от этой чести или, лучше сказать, от этого труда он не откажется как по дружбе ко мне, так и по врожденной смелости, которой у него больше, чем у меня. Его не устрашит дело, которое может

одинаково принести победу и поражение.

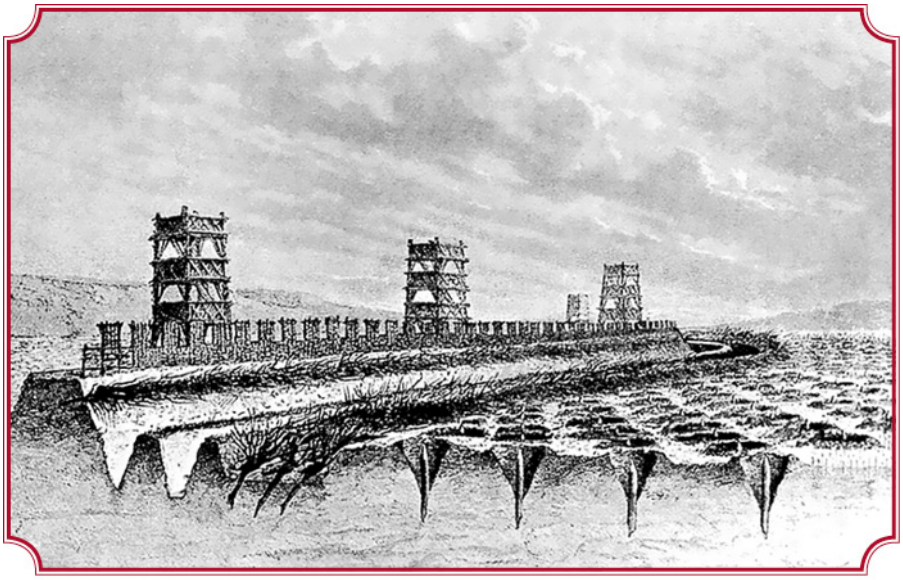
ЗАНОБИ: Я готов повиноваться, хотя предпочел бы участвовать в разговоре как простой слушатель. Ваши вопросы до сих пор удовлетворяли меня больше, чем мои собственные, приходившие мне на ум во время беседы. Однако вы теряете время, синьор Фабрицио, и мы должны просить у вас прощения за то, что утомляем вас этими любезностями.

ФАБРИЦИО: Наоборот, вы доставляете мне удовольствие, так как смена вопрошающих позволяет мне лучше узнать ваш образ мыслей и ваши склонности. Надо ли мне еще что-нибудь добавить ко всему сказанному?

ЗАНОБИ: Я хочу спросить вас о двух вещах, раньше чем идти дальше: первое – признаете ли вы возможность иного боевого порядка; второе – какие предосторожности должен принять полководец до того, как идти в бой, и что он может сделать, если во время битвы произойдут какие-либо неожиданности?

ФАБРИЦИО: Постараюсь вас удовлетворить и не буду отвечать на ваши вопросы отдельно, потому что ответ на первый вопрос во многом разъяснит вам и второй. Я уже говорил вам, что мною предложена известная форма боевого построения, дабы, исходя из нее, вы могли свободно ее менять, смотря по условиям местности и образу действий неприятеля. Ведь от местности и от противника зависят вообще все ваши действия.

Заметьте только одно: самая страшная опасность – это растягивать линию фронта, если только вы не располагаете войском, совершенно исключительным по силе и величине. Во всяком ином случае глубокий строй густыми рядами всегда лучше растянутого и тонкого. Ведь если твое войско меньше неприятельского, надо стараться как-нибудь уравновесить эту невыгоду, именно – обеспечить фланги, прикрыв их рекой или болотом, чтобы не оказаться окруженным, или защищаться рвами, как это сделал Цезарь в Галлии[171].



Осадные сооружения римлян под Алезией — рвы с водой и ловчие ямы. *Реконструкция XIX в.*

Знайте общее правило, что фронт растягивается или сокращается, смотря по численности ваших и неприятельских войск. Если противник слабее, а твои войска хорошо обучены, надо избирать для действия обширные равнины, потому что ты можешь тогда не только охватить врага, но и свободно развернуть свои силы. В местности обрывистой и трудной, в которой невозможен сомкнутый строй, это преимущество пропадает. Поэтому римляне почти всегда избегали неровных мест и предпочитали сражаться на открытой равнине.

Совершенно по-иному поступают, если войско невелико или плохо обучено: тогда надо постараться возместить малочисленность или неопытность людей выгодами местоположения. Хорошо располагаться на высотах, откуда легче обрушиться на противника. Во всяком случае остерегайтесь размещать войско на скатах или где-нибудь близко от подножия горы, если в этой местности ожидается неприятель.

Высота позиции будет тогда только вредна, потому что противник, занявший вершину, поставит на ней пушки и сможет непрерывно и спокойно тебя громить, не опасаясь отпора; ты же будешь стеснен собственными солдатами и потому не сможешь отвечать на его огонь.

Полководец, выстраивающий войско к бою, должен также позаботиться о том, чтобы ни солнце, ни ветер не были ему в

лицо. И то и другое не позволяет разглядеть врага: солнце – своими лучами, а ветер – поднятой пылью. Ветер, кроме того, обессиливает удар метательного оружия, а относительно солнца надо еще иметь в виду следующее: мало позаботиться о том, чтобы оно не светило войскам в лицо при начале боя, это преимущество должно сохраниться и дальше, когда солнце поднимется выше.

Самое лучшее – это располагать войска так, чтобы они стояли к солнцу спиной, потому что тогда пройдет много времени, прежде чем оно окажется прямо над ними. Предосторожности эти соблюдались Ганнибалом при Каннах и Марием в борьбе с кимврами.

Если у тебя мало конницы, располагай войска среди виноградников, кустарников и тому подобных препятствий, как поступили в наше время испанцы под Черинъолой в королевстве Неаполитанском, где они разбили французов[172]. Часто наблюдалось, как те же самые солдаты с переменой боевого порядка местности превращаются из побежденных в победителей.

Так было с карфагенянами, неоднократно разбитыми Марком Регулом и победившими затем под начальством лакедемонянина Ксантиппа, который построил войска в долине, где им удалось восторжествовать над римлянами благодаря коннице и слонам[173].

Вообще, вдумываясь в древние примеры, я вижу, что почти все выдающиеся античные полководцы, уяснив себе сильнейшую сторону неприятельского войска, противопоставляли ей свою слабейшую, и обратно. При начале боя они приказывали самым сильным частям только сдерживать противника, а слабым частям отдавалось распоряжение пробиться и отступить за последнюю линию войска.

Такой способ сражения расстраивает неприятеля двояко: сильнейшая часть его войска оказывается охваченной, а, с другой стороны, обманчивая видимость победы слишком часто порождала беспорядок и внезапный разгром. Корнелий Сципион, действуя в Испании против карфагенянина Гасдрубала, ставил обычно свои лучшие легионы в центре; когда же ему сообщили, что Гасдрубал знает этот порядок и собирается сделать то же самое, он перед боем изменил свое построение, расположил свои легионы на флангах, а худшие войска поместил в центре.

Когда бой начался, Сципион лишь очень медленно продвигал войска в центре, а крыльям отдал приказ стремительно напасть на врага; таким образом, сражение шло только на флангах того и другого войска, а части, стоявшие в середине, не могли сойтись, так как были друг от друга слишком далеко. Сильнейшие войска

Сципиона бились со слабейшими войсками Гасдрубала и, конечно, одолели их[174].

Такая хитрость была полезна в те времена, но сейчас она неприменима, так как существует артиллерия, которая открыла бы огонь, пользуясь свободным пространством между центрами обоих войск, а это, как мы уже говорили, очень опасно. Поэтому следует отказаться от римского образца и вводить в дело все войско, постепенно оттягивая назад его слабейшее крыло.

Если полководец располагает сильнейшим войском и хочет неожиданно окружить противника, он должен построить войско так, чтобы длина его фронта совпадала с неприятельской. Затем, когда бой разгорится, надо постепенно осадить свой центр, растянуть войска на флангах, и таким образом неприятель всегда будет охвачен совершенно незаметно.

Когда полководец хочет дать бой почти без всякого риска, он должен строить войско в местности, поблизости от которой можно найти верное убежище в болотах, горах или крепости: неприятель преследовать его не будет, но сам он неприятеля преследовать может. К этому способу прибегал Ганнибал, когда судьба стала ему изменять и он стал остерегаться встречи с Марком Марцеллом[175].

Некоторые начальники в расчете на замешательство противника приказывали своим легковооруженным войскам начать бой и затем сейчас же отступить сквозь ряды, а когда войска сталкивались и по всему фронту кипела битва, легкая пехота, собранная за флангами, снова вводилась в сражение, ошеломляла неприятеля ударом во фланг и довершала успех.

При недостатке конницы можно, помимо действий, о которых я уже говорил, скрыть за лошадьми батальон пик и в самый разгар боя приказать конным дать им дорогу – победа будет обеспечена. Многие приучают легкую пехоту сражаться между конными войсками, что давало кавалерии огромнейшее преимущество над противником. Из всех полководцев самыми замечательными по искусству располагать войска были во время войны в Африке Ганнибал и Сципион[176].

Ганнибал, войско которого состояло из карфагенян и вспомогательных отрядов различных народов, поставил в первой линии 80 слонов, во второй поместил вспомогательные войска, за которыми шли его карфагеняне, а в самом тылу оставил итальянцев, на которых не полагался.

Построение это было рассчитано на то, чтобы вспомогательные войска не могли бежать, так как перед ними был неприятель, а сзади им закрывали дорогу карфагеняне; поэтому им волей-неволей приходилось по-настоящему

сражаться, и Ганнибал надеялся, что они опрокинут или, по крайней мере, утомят римлян, а он в это время ударит на них свежими силами и легко добьет уже уставшие римские войска.

В противовес этому Сципион поставил гастатов, принципов и триариев обычным порядком, при котором одни части могут вливаться в ряды других и друг друга поддерживать. В первой линии он оставил множество интервалов. Дабы скрыть это от неприятеля и убедить его, что перед ним сплошная стена, Сципион заполнил интервалы велитами, которым при появлении слонов приказано было немедленно очистить дорогу и отходить сквозь ряды; таким образом, удар слонов пришелся по пустому месту, а в сражении победа осталась за римлянами.

ЗАНОБИ: Вы напомнили мне своим рассказом об этой битве, где Сципион приказал своим гастатам не отступать в интервалы линии принципов, а разделил их и направил на фланги, очистив дорогу принципам, когда пришло время двинуть их вперед. Не скажете ли вы мне, почему он уклонился от обычного порядка?

ФАБРИЦИО: Конечно. Дело в том, что Ганнибал сосредоточил свои сильнейшие войска во второй линии. Сципиону пришлось противопоставить ему такую же силу, и он соединил для этого принципов с триариями. Интервалы в линии принципов были заняты триариями, так что для гастатов места уже не было; поэтому Сципион не укрыл их среди принципов, а приказал раздаться в обе стороны и расположиться на флангах.

Заметьте, однако, что раскрывать таким приемом первую линию, чтобы очистить место для второй, можно только при очевидном преимуществе. Движение это происходит тогда в полном порядке, как оно и было выполнено Сципионом. При неудаче такие действия кончаются полным разгромом, и потому необходимо оставить себе возможность оттянуть войска во вторую линию.

Вернемся, однако, к нашему разговору. У азиатских народов среди всяких изобретений, придуманных ими для устрашения врагов, употреблялись колесницы с косами по сторонам; они не только прорывали ряды, но и уничтожали косами противника. Римляне боролись с ними трояко: строили войска глубокими массами, расступались перед колесницами, как перед слонами, очищая им дорогу, или прибегали к другим средствам, как, например, Сулла в войне с Архелаем, у которого этих колесниц с косами было очень много.

Римский полководец вбил в землю за первой линией войск ряд кольев и остановил этим налет колесниц. Заметьте, что Сулла при этом построил свои войска по-новому: он поместил велитов и конницу позади, а всю тяжелую пехоту выдвинул вперед, оставив

при этом достаточно широкие интервалы, чтобы в случае необходимости заполнить их своими запасными силами; в самый разгар сражения конница пронеслась через интервалы и решила этим победу[177].

Если вы хотите во время боя привести неприятельские войска в замешательство, то надо придумать что-нибудь, способное устрашить противника, например, распространить весть о прибывших подкреплениях или обмануть его видимостью их, дабы ошеломленный противник легче поддался. Подобными приемами с успехом пользовались римские консулы Минуций Руф и Ацилий Глабрион.

Другой полководец, Кай Сульпиций, во время битвы с галлами посадил на мулов и других животных непригодные для войны нестроевые части и, расположив их порядком, напоминающим тяжелую конницу, велел им выехать на соседний холм; эта хитрость дала ему победу. То же сделал Марий, воюя с тевтонами.

Минуций Руф — не консул, но проконсул Македонии, воевавший в 109 г. до н. э. со скордисками и даками.

Ацилий Глабрион — консул с 191 г. до н. э., воевавший против селевкидского царя Антиоха Великого.

Гай Марий в 102 г. до н. э. разгромил при Аквах Секстиевых тевтонов.

Если во время боя полезны ложные нападения, то неизмеримо действительнее настоящие атаки, особенно когда они в разгар дела неожиданно производятся с тыла или с фланга. Сделать это трудно, если тебе не благоприятствует местность; ведь для таких действий часть войска должна быть скрыта, а на голой равнине это невозможно. Наоборот, воюя в лесах или горах, очень удобных для засад, можно прекрасно спрятать часть своих сил и нанести противнику сокрушительный и внезапный удар, который всегда доставит тебе верную победу.

Очень важно иной раз распустить во время боя слух о гибели неприятельского полководца или о бегстве части его войска; хитрость эта часто приводила к успеху. Неприятельскую кавалерию легко испугать неожиданным звуком или зрелищем. Так поступил Кир, выставивший верблюдов против лошадей, а Пирр одним видом своих слонов расстроил и разогнал всю

римскую конницу.

В наши дни турки разбили персидского шаха и сирийского султана громом ружейного огня, который так напугал непривычную к такому звуку конницу их, что одолеть ее было уже легко. Испанцы в борьбе с Гамилькаром поставили в первой линии повозки, запряженные быками и набитые соломой, которую в самом начале боя зажгли; испуганные быки бросились на линию войск Гамилькара и прорвали их ряды.

Персидский царь *Кир Старший*, основатель державы Ахеменидов, во время решающего сражения со знаменитой лидийской конницей Креза в 546 г. до н. э. бросил против нее верблюдов.

Эпирский царь *Пирр* неоднократно использовал слонов против неприятельского строя, например, в сражении при Гераклее, в июле 280 до н. э.

Турецкие войска, вооруженные огнестрельным оружием, победили в Чалдыранской битве (1514 г.) конницу иранских шиитов-кызылбаши.

Гамилькар Барка, отец Ганнибала, в 241—228 гг. до н. э. сражался с иберами на территории нынешней Испании.

Многие полководцы любят обманывать противника, заманивая его в засады, когда этому способствует местность. На открытых и широких равнинах выкапывают ямы, слегка прикрытые хворостом и землей; между ними оставлены проходы, и когда завяжется бой, собственные войска отступают, а преследующие их неприятельские солдаты проваливаются в рвы и погибают.

Если во время боя произойдет событие, которое может испугать людей, то очень важно суметь его скрыть и даже извлечь из него пользу, как поступали Тулл Гостилий и Люций Сулла. Заметив измену части своих солдат, перешедших к неприятелю, и страшное впечатление, произведенное этим на всех остальных, Сулла немедленно распорядился объявить по всему войску, что все происходит по его приказу.

Это не только успокоило воинов, но воодушевило их настолько, что победа осталась за римлянами. Тот же Сулла отдал однажды отряду солдат приказ, при исполнении которого

все они погибли. Чтобы не устрашить войско, он велел объявить, что истребленная часть состояла из предателей и он нарочно отдал ее в руки неприятеля. Серторий во время войны в Испании убил своего же воина, сообщившего ему о гибели его легата, и сделал это из боязни, что известие распространится и перепугает все войско.

Тулл Гостилий — легендарный римский царь, правивший в середине VII в. до н. э.

Квинт Серторий — соратник Гая Мария в войне против сулланцев, установил в 80 г. до н. э. в Испании власть партии марианцев.

Самое трудное – это остановить бегущее войско и заставить его возобновить сражение. Необходимо сразу отдать себе отчет, побежало ли все войско или только часть его; если все – то дело пропало, если часть – то можно еще попытаться как-нибудь помочь. Многие римские полководцы бросались бегущим наперерез, заставляли их остановиться и грозно стыдили за трусость, как поступил, например, Люций Сулла.

Увидав, что части его легионов опрокинуты солдатами Митридата, он с мечом в руке бросился к беглецам и крикнул: «Если кто-нибудь спросит вас, где вы покинули своего начальника, отвечайте: мы покинули его в бою на полях Беотийских». Консул Аттилий выставил против бегущих стойкие части и приказал объявить, что если беглецы не повернут обратно, они будут перебиты одновременно и своими, и врагами. Филипп Македонский, знавший, что солдаты его боятся скифов, поставил в задней линии войска отборнейшие конные части и приказал им убивать всякого, кто побежит. Солдаты его предпочли погибать в бою, а не в бегстве, и победили.

В решающем сражении Первой Митридатовой войны *при Орхомене* (85 г. до н. э.) древнеримская армия под началом Луция Корнелия Суллы наголову разгромила войско Понтийского царства под командованием Архелая.

Консул *Аттилий Регул Марк* возглавлял римскую армию в 294 г. до н. э. и воевал с самнитами (у Макиавелли речь о сражении близ Луцерии).

Филипп Македонский воевал со скифами Атея в конце 40-х гг. IV в. до н.э.

Многие римские полководцы вырывали знамя из рук знаменосца, бросали его в самую гущу неприятельских воинов и объявляли награду тому, кто принесет его обратно; делалось это не столько для того, чтобы предупредить бегство, сколько для возбуждения еще большей отваги.

Мне кажется уместным сказать теперь несколько слов о том, что бывает после боя, тем более что замечания об этом будут кратки и, естественно, связаны с предметом нашей беседы. Битва кончается поражением или победой.

Если ты победил, преследуй неприятеля со всей возможной быстротой и подражай в этом Цезарю, а не Ганнибалу, который остановился после победы при Каннах и этим лишился власти над Римом[178]. Цезарь же после победы не задерживался ни на минуту и обрушивался на разбитого противника с еще большей стремительностью и яростью, чем во время боя на грозного врага.

Если же ты разбит, то полководец должен прежде всего сообразить, нельзя ли извлечь из поражения какую-нибудь выгоду, особенно в тех случаях, когда хотя бы часть его войска сохранила боевую силу.

Случай может представиться благодаря непредусмотрительности врага, который после победы обычно становится беспечным и дает тебе возможность его побить, как победил карфагенян римский консул Марций: карфагеняне после гибели обоих Сципионов и разгрома их войск не обращали никакого внимания на остатки легионов, уцелевших у Марция, который напал на них врасплох и совершенно разбил[179].

Легче всего удается то, что враг считает для тебя невозможным, и удар большей частью обрушивается на людей в ту минуту, когда они всего меньше о нем думают. Если же ничего

нельзя сделать, то искусство полководца состоит в том, чтобы, по крайней мере, смягчить последствия поражения.

Для этого надо принять меры, чтобы затруднить противнику преследование или задержать его. Некоторые полководцы, предвидя неудачу, приказывали начальникам отдельных частей быстро отступать в разных направлениях и разными дорогами, заранее назначив место встречи; это озадачивало противника, боявшегося разделить свои силы, и давало возможность благополучно уйти всему войску или большей его части.

Другие, чтобы задержать неприятеля, оставляли ему самое ценное свое имущество, надеясь, что он прельстится добычей и позволит им убежать. Тит Дидий проявил немалое искусство, чтобы скрыть потери, понесенные в бою. После битвы, продолжавшейся до ночи и очень дорого ему обошедшейся, он приказал ночью же зарыть большую часть трупов. Утром неприятель, увидав, что поле сражения завалено телами его солдат, между тем как римских трупов почти не было, решил, что дела его плохи, и обратился в бегство[180].

Мне кажется, что в общем на ваши вопросы я ответил; остается только сказать о возможном построении войск. Некоторые полководцы строили свои войска клином, надеясь таким образом легче прорвать неприятельский фронт. Другие противопоставляли этому вогнутое расположение в виде клещей, дабы зажать в них клин противника и сдавить его со всех сторон.

Я хотел бы указать вам по этому поводу на общее правило: лучшее средство расстроить намерение врага – это сделать добровольно то, что он хочет заставить тебя сделать насильно. Если твои движения добровольны, ты выполняешь их в полном порядке к выгоде для себя и, ущербу для неприятеля; если они вынужденны – ты погиб.

В подтверждение этой мысли я снова напомню вам кое-что, уже сказанное раньше. Противник строится клином, чтобы прорвать ваши ряды. Разомкните их сами, и тогда вы расстроите его войска, а не он ваши. Ганнибал выставляет впереди слонов, чтобы опрокинуть легионы Сципиона, – Сципион размыкает ряды и этим приемом предопределяет свою победу и крушение врага. Гасдрубал ставит сильнейшие части свои в центре, чтобы опрокинуть солдат Сципиона, – тот приказывает им отступить самим и побеждает.

Словом, разгаданный замысел дает победу тому, против кого он направлен. Остается теперь, если память мне не изменяет, объяснить вам предосторожности, которые полководец обязан принять перед сражением. Прежде всего, военачальник никогда не должен вступать в бой, если у него нет явного преимущества

или он не вынужден к этому необходимостью. Преимущество определяется свойствами местности, боевым порядком, превосходством в численности и качестве войск.

Необходимость наступает, когда ты видишь, что бездействие тебя погубит, потому ли, что у тебя нет денег или продовольствия и войско твое может в любую минуту разбежаться[181], или потому, что неприятель ждет больших подкреплений. В таком случае надо всегда давать бой даже с невыгодой для себя, потому что гораздо лучше испытать судьбу, которая может оказаться к тебе благосклонной, чем бояться ее и идти на верную гибель.

Уклониться от битвы в этом случае – это такой же тяжкий грех полководца, как упустить возможность победы по неведению или трусости. Преимущество дается тебе или промахом противника, или собственной проницательностью.

Бдительный неприятель не раз разбивал многих полководцев при переправах через реки, выжидая для нападения минуты, когда войско противника разрезано рекой пополам. Цезарь истребил таким образом четвертую часть войска гельветов[182].

Нельзя упускать также случай напасть свежими и отдохнувшими силами на врага, утомившего своих солдат неосторожным преследованием. Если неприятель старается вовлечь тебя в бой на рассвете, оставайся в лагере как можно дольше и нападай сам, когда противник уже устанет от долгого стояния под оружием и утратит первоначальный боевой пыл. Этого приема держались в Испании Сципион и Метелл, первый – в борьбе против Гасдрубала, а второй – против Сертория[183].

Если силы неприятеля уменьшились вследствие разделения войск, как это было у Сципионов в Испании, или по иной причине, надо точно так же испытать счастье. Осторожные полководцы ограничиваются большей частью тем, что отражают нападение неприятеля и редко нападают на него сами, ибо стойкие и сильные солдаты легко выдерживают самую яростную атаку, а безуспешная ярость легко переходит в трусость. Так действовал Фабий против самнитян и галлов и вышел победителем, а коллега его, Деций, погиб[184].

Некоторые военачальники из страха перед силой врага начинали бой в конце дня, дабы в случае поражения можно было спастись под покровом ночной темноты. Другие, зная, что неприятель по суеверию воздерживается от битвы в известные дни, выбирали для боя именно этот день и выходили победителями.

Так действовали и Цезарь в Галлии против Ариовиста, и Веспасиан в Сирии против иудеев[185]. Самая же необходимая предосторожность для всякого военачальника – окружить себя

преданными и благоразумными советниками с большим боевым опытом, постоянно обсуждая с ними состояние своих и неприятельских войск. Особенно важно знать, на чьей стороне численное превосходство, кто лучше вооружен и обучен, чья конница сильнее, кто более закален, можно ли вернее положиться на пехоту или на конницу.

Необходимо затем обсудить характер местности и выяснить, благоприятствует ли она больше тебе или неприятелю, кому легче добывать продовольствие, надо ли оттягивать сражение или стремиться к нему, работает ли время на пользу или во вред тебе, ибо затяжка войны часто утомляет солдат и они бегут от опротивевшей им тягости походной жизни.

Особенно важно знать, каков неприятельский полководец и окружающие его – смел ли он или осторожен, отважен или робок. Надо также знать, можно ли доверять вспомогательным войскам. Однако есть еще правило, которое важнее всех других, – никогда не вести в бой войско, которое боится врага или сколько-нибудь сомневается в успехе, ибо первый залог поражения – это неуверенность в победе.

В таком случае надо всячески избегать боя, действуя по примеру Фабия Максима, который укреплялся в неприступных местах и отбивал этим у Ганнибала всякую охоту искать с ним встречи. Если же ты боишься, что сила позиции не спасет тебя от неприятеля, решившегося на битву, то надо прекратить полевую войну и разместить войска в крепостях, дабы утомить противника трудностями осады.

ЗАНОБИ: Нельзя ли избежать боя каким-нибудь другим способом, кроме разделения войск и размещения их по крепостям?

ФАБРИЦИО: Я, кажется, уже говорил кому-то из вас, что при полевой войне нельзя избежать боя с противником, который во что бы то ни стало хочет сразиться. Здесь есть только один способ – держаться от врага на расстоянии не меньше 50 миль, дабы можно было всегда вовремя отступить. Ведь Фабий Максим не избегал боя с Ганнибалом, но он хотел, чтобы все выгоды были на его стороне. Ганнибал же на этих позициях победить Фабия не надеялся. Если бы карфагенский полководец был уверен в успехе, Фабию оставалось бы только принять сражение или бежать.

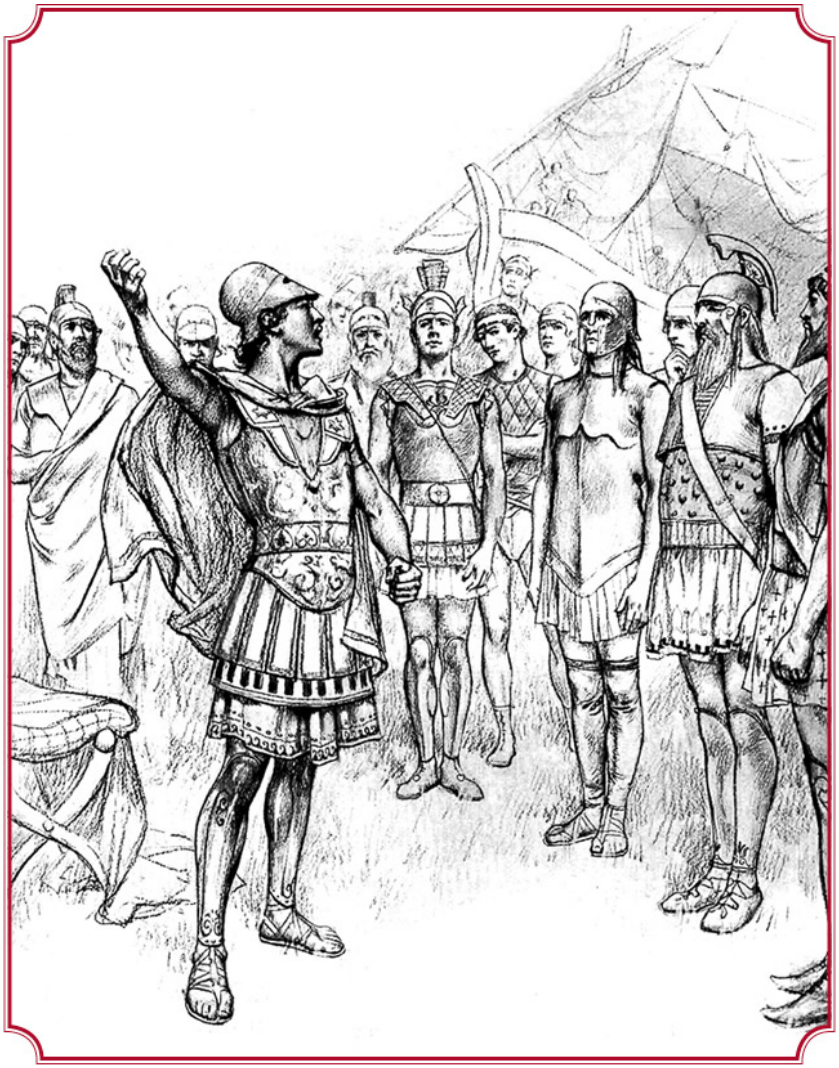
Во время войны с Римом Филипп Македонский, отец Персея, тоже хотел уклониться от боя и нарочно расположился для этого на высокой горе, но римляне пошли на приступ и разбили его[186]. Галльский вождь Верцингеторикс, избегавший сражения с Цезарем, который неожиданно для него перешел какую-то реку, отошел со своим отрядом на много миль[187].

В наши дни венецианцы, если они не хотели сражаться с королем Франции, должны были бы ему подражать и не дожидаться перехода Адды французами, а отойти. Между тем они медлили и не сумели ни избежать сражения, ни дать его в выгодных условиях во время переправы войска через реку. Французы, бывшие поблизости, ударили на венецианцев во время их отступления и разбили их наголову[188].

Все дело в том, что боя нельзя избежать, если неприятель во что бы то ни стало его ищет. Пусть не ссылаются при этом на Фабия, потому что в этом случае он уклонялся от боя не больше и не меньше, чем сам Ганнибал. Часто бывает, что солдаты твои рвутся вперед, ты же понимаешь, что по численности войска, по характеру местности, наконец, по ряду других причин победы не будет, и стремишься их остановить. Бывает и обратное: необходимость или обстановка требуют боя, а солдаты не уверены в себе и никакого желания драться не проявляют. В одном случае надо их напугать, а в другом – увлечь.

Когда требуется охладить солдат и убеждения не помогают, то лучше всего отдать небольшую часть на расправу неприятелю, и тогда все остальные, бывшие и не бывшие в бою, сразу тебе поверят. Здесь можно обдуманно применить то, что у Фабия произошло случайно. Войско его, как вы знаете, требовало сражения с Ганнибалом; добивался этого и начальник конницы.

Сам Фабий боя не хотел, но ввиду таких разногласий войско разделили. Фабий держал свои части в лагере, а начальник конницы пошел на битву, попал в тиски и был бы совершенно разбит, если бы тот же Фабий его не выручил. Этот пример вполне убедил и начальника конницы, и все войско, что Фабия надо слушаться.



Андрэ Кастень. Александр обращается с речью к своим офицерам перед сражением при Иссе. *Рисунок XIX в.*

Наоборот, когда нужно увлечь солдат в бой, то лучше всего обозлить их, передав им вражескую ругань, а также убедить их в том, что у вас во вражеском стане есть связи, благодаря которым часть неприятельского войска подкуплена. Надо расположиться близко от неприятеля и завязывать легкие стычки, потому что люди легко теряют страх перед всем, что повторяется ежедневно. Наконец, надо изобразить гнев, вовремя произнести солдатам речь, упрекая их в трусости, и устыдить их тем, что ты пойдешь в

бой один, если они не хотят за тобой следовать.

Чтобы ожесточить солдат, лучше всего принять еще такую предосторожность: запретить им до конца войны отсылать добычу домой и куда бы то ни было ее прятать; тогда они поймут, что бегством можно спасти жизнь, но не добро, которое они ценят не меньше, и будут драться за него с таким же упорством, как и за себя.

ЗАНОБИ: Вы сказали, что можно словом увлечь солдат в бой. Надо ли, повашему, обращаться ко всему войску или только к начальникам?

ФАБРИЦИО: Убеждать или разубеждать немногих очень легко, потому что там, где слова не действуют, помогает власть или сила. Труднее расшевелить толпу, заставить ее отказаться от мнения, противного твоему собственному или вредного для общего блага. Здесь можно действовать только словом, и если вы хотите убедить всех, то надо говорить перед всеми. Поэтому выдающиеся полководцы должны быть ораторами, ибо едва ли можно чего-нибудь добиться, если не умеешь говорить перед целым войском. В наше время это искусство совершенно исчезло.

Прочтите жизнь Александра Великого, и вы увидите, как часто приходилось ему увещевать людей речами, обращенными ко всему войску; без этого он никогда не мог бы провести по аравийским пустыням в Индию солдат, разбогатевших от военной добычи, среди величайших лишений и опасностей.[189]

Ведь война – это бесконечная цепь случайностей, каждая из которых может погубить войско, если полководец не умеет или не привык говорить с солдатами, ибо слово рассеивает страх, зажигает души, укрепляет стойкость, раскрывает обман, обещает награду, разоблачает опасность и указывает пути к спасению, дает надежду, восхваляет или клеймит, вообще вызывает на свет все силы, способные воспламенить или уничтожить человеческую страсть.

Поэтому князь или республика, замышляющие создание нового войска, должны приучить своих солдат выслушивать речь вождя, а самого вождя – научить говорить с солдатами. В древности могучим средством удерживать солдат в повиновении были религия и клятва верности, произносившаяся перед выступлением в поход; за всякий проступок им грозила не только человеческая кара, но и все ужасы, какие может ниспослать разгневанный бог.

Эта сила наряду с другими религиозными обрядами часто облегчала полководцам древности их задачу и облегчала бы ее всюду, где сохранился бы страх божий и уважение к вере. Серторий уверял свои войска, что победа обещана ему ланью,

которая внушается богами; Сулла толковал им о своих беседах со статуей, увезенной из храма Аполлона, а во времена отцов наших Карл VII, король французский, воевавший с англичанами, говорил, что ему подает советы девушка, ниспосланная богом, которую всюду называли Девой Франции и приписывали ей победу.

Полезно также возбудить в твоих солдатах пренебрежение к противнику; так поступал спартанец Агесилай, показавший своим солдатам нескольких персов голыми, дабы его воины, увидев эти хилые тела, поняли, что таких врагов бояться нечего. Другие вынуждали своих воинов к бою, заявив, что единственная надежда на спасение – это победа.

Последнее средство – самое сильное и лучше всего развивает в солдате стойкость. Стойкость эта еще укрепляется любовью к родине, привязанностью к вождю и доверием к нему. Доверие же создается хорошим оружием и боевым строем, одержанными победами и высоким мнением о полководце. Любовь к родине дана природой, любовь к вождю создана его талантами, которые в этом случае важнее всяких благодеяний. Необходимость многолика, но она безусловна, если на выбор остаются победа или смерть.

КНИГА ПЯТАЯ

ФАБРИЦИО: Я объяснил вам, как строится войско в боевой порядок для битвы с наступающим на него противником, рассказал о том, какими путями достается победа, и прибавил к этому много подробностей о случайностях, возможных во время сражения. Надо показать вам теперь, как располагается войско против врага невидимого, нападения которого можно ждать с минуты на минуту. Это бывает при движении войска через земли неприятельские или затаенно враждебные.

Прежде всего надо сказать вам, что римляне обычно высылали вперед часть конницы для осмотра дороги. За ними следовало правое крыло со всем своим обозом. Позади шли два легиона с обозами, за ними левое крыло с обозом и, наконец, остальная конница. Таков был обычный походный порядок. Если войско в пути подвергалось нападению спереди или с тыла, все обозы сейчас же удалялись в сторону, вправо или влево, смотря по характеру местности. Остальные войска, освободившись от вещей, немедленно выстраивались в боевой порядок и двигались навстречу врагу.

Если нападение шло с фланга, обозы отводились в противоположную безопасную сторону, а войска отражали неприятеля. Я считаю этот хороший и точно продуманный порядок прекрасным образцом и буду точно так же высылать вперед легкую конницу для разведывания местности; далее пойдут одна за другой мои четыре бригады с обозами. Обозы бывают двоякие: одни служат для перевозки солдатских вещей, другие нагружены имуществом, принадлежащим всему войску.

Поэтому я разделяю полковые обозы на четыре части и отдаю каждой бригаде свою; артиллерия и все нестроевые тоже делятся по бригадам, дабы разложить этот груз одинаково на всех. Однако иногда войску приходится идти по стране не просто подозрительной, а настолько враждебной, что ты можешь всегда опасаться нападения. Тогда надо, ради большей безопасности, изменить походный порядок и двигаться таким строем, который вполне обеспечивал бы тебя как от местных жителей, так и от всякого внезапного нападения неприятельского войска.

Полководцы древности в этих случаях двигались в каре – строй, называвшийся так не потому, что он вполне воспроизводил форму квадрата, а потому, что он хорошо приспособлен для боя на четыре стороны. Они говорили, что, идя этим порядком, они готовы и к походу, и к битве. Я не намерен отдаляться от этого образца и буду следовать ему при построении двух бригад, составляющих мое войско.

Итак, я принимаю все меры к безопасному движению по неприятельской стране и вместе с тем хочу быть готовым

отразить внезапное нападение, откуда бы оно ни шло; следуя древним, я располагаю войско в каре, внутри которого остается пустое пространство в 212 локтей с каждой стороны. Прежде всего я выстраиваю фланги на расстоянии 212 локтей друг от друга и устанавливаю на каждом из них колонну в 5 батальонов на расстоянии 3 локтей один от другого; каждый батальон занимает в глубину 40 локтей, а все вместе – 212, считая оставленные между ними интервалы.

Между флангами размещаются в голове и в хвосте остальные 10 батальонов, по 5 с каждой стороны, причем 4 пристраиваются к головному батальону правого фланга и столько же к заднему батальону левого фланга с интервалами в 4 локтя; далее пристраиваются по одному батальону к голове левого и к хвосту правого фланга. Батальоны, построенные таким образом вширь, а не вглубь, занимают вместе с интервалами пространство в 134 локтя, между тем как пространство, разделяющее фланги, равно 212 локтям.

Таким образом, между четырьмя батальонами, примыкающими к голове правого фланга, и пятым, пристроенным к голове левого, остается интервал в 78 локтей. Такой же промежуток образуется и между батальонами, поставленными в хвосте, с той только разницей, что у задних батальонов он будет с правой, а у передних – с левой стороны.

Весь левый интервал в 78 локтей будет занят тысячей действующих, а правый – другой тысячей запасных велитов. Мы уже сказали, что интервал внутри моего каре составляет 212 локтей с каждой стороны; поэтому батальоны, поставленные в голове и в хвосте, не должны занимать ни одной части пространства, приходящегося на фланги. Придется, следовательно, осадить заднюю линию так, чтобы передняя ее шеренга выровнялась с задней шеренгой флангов, а головную продвинуть настолько, чтобы задняя шеренга соприкасалась с передней шеренгой на флангах.

Таким образом, на крайних участках всего построения образуются входящие углы, которые могут принять в себя по одному батальону, то есть. в общем еще 4 батальона запасных пикинеров; оставшиеся 2 батальона пикинеров станут внутри каре, где будет находиться и командующий всем войском со своим отборным отрядом.

Батальоны, построенные таким образом, двигаются все в одну сторону, но сражаются в разных направлениях; поэтому надо разместить войска так, чтобы прикрыть все части, которым особенно грозит нападение. Головные 5 батальонов защищены со всех сторон, кроме фронта. Следовательно, по нашему боевому

порядку пикинеры ставятся у них в первые шеренги; задние 5 батальонов открыты для нападения только с тыла; поэтому пикинеры стоят у них в последних шеренгах, как я вам уже в свое время объяснял. 10 батальонов правого и левого флангов могут ждать нападения только с внешней стороны флангов; поэтому, выстраивая их в боевой порядок, надо разместить пикинеров на угрожаемых сторонах.

Декурионы идут в голове и в хвосте, дабы в случае боя все части по их указаниям были на местах; подробности я уже объяснял, когда мы говорили о построении батальона в боевой порядок. Артиллерию я считаю нужным разделить и расположить ее за флангами с правой и с левой сторон. Легкая конница будет выслана вперед на разведку. Тяжелая конница идет сзади на правом и левом флангах на расстоянии 40 локтей от хвоста последних батальонов.

Заметьте себе как общее правило, что при любом боевом порядке конница всегда ставится позади или на флангах. Если вы располагаете ее впереди, необходимо выдвинуть ее настолько далеко, чтобы она в случае поражения могла отступить, не расстраивая пехоту, или оставить между батальонами широкие интервалы для свободного пропуска всадников.

Не пренебрегайте этим правилом: многие полководцы, забывшие о нем, были разбиты по собственной вине. Обозы и нестроевые помещаются внутри каре, оставляя интервалы для прохода от одного фланга к другому или от головы войска к его хвосту. Батальоны, без артиллерии и конницы, занимают с внешней стороны каждого фланга пространство в 282 локтя.

Все каре составлено из двух бригад, так что необходимо точно указать их места. Бригады, как вы знаете, обозначаются по номерам; каждая состоит из 10 батальонов, соединенных под начальством командира бригады. Поэтому батальоны первой бригады занимают линию фронта и левый фланг, а начальник становится в левом углу фронта. Вторая бригада занимает правый фланг и заднюю линию, а начальник становится в правом углу, выполняя обязанности римского tergiductor'a.

Войско, построенное таким образом, выступает в поход и должно строго соблюдать во время движения этот боевой порядок, вполне обеспечивающий его от нападений местных жителей. Командующему не приходится принимать против них никаких особенных мер; достаточно отдать иной раз приказ легкой коннице или отряду велитов отбросить их подальше.

Беспорядочная толпа никогда не решится подойти к войску на расстояние меча или пики, ибо разрозненная масса всегда боится правильно устроенной силы; она будет подбегать к войску

с устрашающими криками, будет грозить ему, но никогда не сунется слишком близко. Когда Ганнибал, на несчастье римлян, явился в Италию, он прошел всю Галлию, не обращая никакого внимания на полчища туземцев[190].

Во время марша следует высылать для починки дорог пионеров[191], защищая их конными отрядами, отправленными на разведку. Войско может проходить в таком порядке 10 миль в день, и у него останется в запасе еще достаточно времени, чтобы разбить лагерь и поужинать, так как при обыкновенном порядке движения покрывается 20 миль.

Представим себе теперь, что против нас выступают правильные неприятельские силы. Это не может произойти неожиданно, так как всякое настоящее войско идет мерным воинским шагом и этим дает тебе время построиться в боевой порядок в форме, описанной мною раньше или близкой к ней. Если нападение идет спереди, достаточно выслать вперед артиллерию, расположенную на флангах, и конницу, следующую позади, приказав им занять места, указанные заранее. 1000 велитов, находящихся впереди, разделяются на два отряда по 500 человек и отходят на свои места между конницей и фланговыми частями пехоты.

Оставшиеся пустоты заполняются двумя батальонами запасных пикинеров, стоящих внутри каре. 1000 велитов, идущих сзади, рассыпаются по флангам батальонов для их прикрытия. Обоз и нестроевые части отъезжают назад через образовавшийся проход и располагаются в тылу.

Когда внутреннее пространство очищено и все стали на свои места, 5 задних батальонов подаются вперед и направляются через интервал, разделяющий фланги, к головным батальонам; первые 3 останавливаются на расстоянии 40 локтей от первой линии, сохраняя между собой равные интервалы, а 2 батальона остаются позади, тоже на 40 локтей.

Такое построение производится быстро и очень похоже на тот боевой порядок, который я вам объяснял первым; фронт его несколько короче, но фланги защищены лучше, и это дает ему не меньшую крепость. У 5 батальонов задних линий пики, как мы уже говорили, стоят в задних шеренгах; теперь надо выдвинуть их вперед на подкрепление передовой линии.

Поэтому нужно или сделать побатальонно контрмарш, или немедленно пропустить пикинеров через интервалы, оставленные между щитоносцами, и вывести их вперед. Этот способ короче и проще. Такое продвижение задних батальонов вперед необходимо при всяком нападении, как я вам покажу это далее.

Если неприятель появляется с тыла, то прежде всего

поверните все войско налево кругом; задняя линия каре станет передней, а дальше вы будете распоряжаться, как я уже говорил. Если враг нападает на правый фланг, все войско поворачивается направо, и угрожаемый фланг становится фронтом, для защиты которого надо делать все, что я вам только что описал. Само собой понятно, что конница, велиты и артиллерия занимают места соответственно с новой линией фронта. Разница только в том, что при изменении фронта одни части продвигающихся войск должны ускорить, а другие, наоборот, замедлить шаг.

Если фронтом становится правый фланг, то велиты, которым надо пройти в интервалы между крайними батальонами пехоты и конницей, окажутся ближе всех к левому флангу, а место их займут два батальона запасных пикинеров, расположенные внутри каре, пропустив сперва обозы и нестроевые части, отъезжающие за левый фланг, ставший теперь тылом всего войска. Остальные велиты, находившиеся по первоначальному построению в хвосте, останутся на месте, чтобы не было пустот в тылу войска. Все остальное происходит без изменений.

Все, что я говорил о том, как отражать нападение на правый фланг, вполне применимо и к атаке на левый, так как в обоих случаях соблюдается тот же порядок. Если враг превосходными силами нападает на тебя с двух сторон, подкрепи сражающиеся войска батальонами неатакованных фасов каре, удвой число шеренг и расположи в полосах наступления противника артиллерию, велитов и конницу. Если неприятель появляется с трех или с четырех сторон, это значит, что или он, или ты не знаете своего дела.

Умный военачальник никогда не допустит, чтобы враг мог напасть на него со всех сторон многочисленными и благоустроенными войсками. Сделать это с уверенностью в успехе противник может только при огромном численном превосходстве, позволяющем ему наступать с каждой стороны каре силами, равными почти всему твоему войску. Если ты так безрассуден, что углубляешься во вражескую страну при тройном перевесе сил у противника, и тебе потом придется плохо, то пенять можно только на самого себя. Если это случится не по твоей вине, ты погибнешь с честью, как Сципионы в Испании и Гасдрубал в Италии.

Сципионы — Публий Корнелий Сципион и Гней Корнелий Сципион Кальв — полководцы в войне с Ганнибалом. После ряда побед в 211 г. потерпели поражение и погибли в сражении.

Гасдрубал Барка — младший брат Ганнибала, прорвавшийся в 207 г. до н. э. со своими войсками из Испании в Италию и погибший в битве при Метавре.

Наоборот, если силы врага немногим больше твоих и он нападает с нескольких сторон, рассчитывая привести твои войска в замешательство, он делает глупость, выгодную только тебе. Ведь он неминуемо должен при этом так ослабить себя на всех пунктах, что ты легко можешь опрокинуть одну из наступающих частей, сдерживая в то же время остальные, и в короткое время разбить противника начисто.

Я объясняю вам способ построения войска против врага невидимого, но угрожающего нападением. Знать его необходимо, и будет очень полезно, если вы приучите солдат строиться и двигаться в этом порядке, располагаться на походе для головного боя, переходить затем обратно в походный порядок, превращать заднюю линию в фронтовую, перестраиваться для фланговой битвы и возвращаться, наконец, к первоначальному построению.

Все эти упражнения безусловно необходимы, если вы хотите создать подготовленные войска, годные для войны. Над этим обязаны трудиться полководцы и правители, ибо все военное дело не что иное, как искусство правильного приказания и точного выполнения описанных мною действий. Хорошо обучена только та армия, которая приобрела большой навык во всех этих упражнениях.

Поэтому не может быть разбит полководец нашего времени, давший своим войскам настоящее военное воспитание. Правда, построение в каре, которое я вам излагал, несколько сложнее других, но сложность здесь важна именно для упражнений, и когда войско привыкнет к этому строю и научится его сохранять, оно уже совсем легко будет выполнять менее трудные движения.

ЗАНОБИ: Я согласен с вами, что все эти действия безусловно необходимы, и ничего не могу ни прибавить, ни убавить. Однако мне хотелось бы спросить вас о двух вещах: как подается команда, когда армия, на которую напали с тыла или с фланга, поворачивается лицом к врагу, – голосом или боевой музыкой?

Второй вопрос – берете ли вы рабочих, высылаемых на починку и прокладывание дорог, из числа своих же нестроевых солдат или набираете на эту черную работу народ со стороны?

ФАБРИЦИО: Первый вопрос ваш очень важен, так как часто случалось, что из-за ошибки в передаче или понимании приказа в войсках начиналось замешательство. Поэтому команда в опасную минуту должна быть ясной и отчетливой. Если пользуются музыкой, звуки ее должны так точно различаться, чтобы смешение их было немыслимо.

Если команда подается словом, необходимо избегать всяких общих выражений, а употреблять слова вполне определенные и выбирать из них только такие, которые исключают всякое недоумение. Слово «назад» много раз приводило к поражению войска, поэтому так говорить нельзя, а команда должна быть «кругом».

Если вы хотите изменить линию фронта, повернув армию вправо или кругом, никогда не говорите «повернитесь», а командуйте: «направо», «налево», «кругом», «во фронт». Точно так же всякая другая команда должна быть простой и ясной, например: «сомкни ряды», «смирно», «вперед», «кругом». Вообще, когда это только возможно, надо командовать словом. Команда, не передаваемая голосом, подается музыкой.

Что касается вашего второго вопроса, то есть о рабочих, то я бы употреблял для этих работ своих же солдат. Во-первых, потому что так поступали древние; во-вторых, потому что это уменьшило бы в моих войсках число нестроевых и избавило бы их от лишнего груза. Я нарядил бы из каждого батальона столько народа, сколько требуется, снабдив его необходимым инструментом, а оружие велел бы передать людям, идущим в голове батальона; эти люди при появлении неприятеля должны были бы только возвратить оружие пионерам и принять их в свои ряды.

ЗАНОБИ: Кто же понесет инструменты?

ФАБРИЦИО: Они погружаются на особые повозки.

ЗАНОБИ: Боюсь, что вам никогда не удастся поставить ваших солдат на земляные работы.

ФАБРИЦИО: Я отвечу в свое время. Сейчас я об этом говорить не буду, а скажу вам о другом, именно – о продовольствии войск. Мы, кажется, так утомили солдат, что пора освежить их и подкрепить пищей.

Каждый правитель должен стараться обеспечить своим войскам наибольшую подвижность и устранить все, что задерживает их и затрудняет военные действия. Одна из самых больших трудностей – это снабжение войск вином и хлебом.

О вине древние не заботились и, когда его не было, пили

воду, слегка разбавленную для вкуса уксусом; поэтому для них одним из главных предметов продовольствия войск был уксус, а не вино. Они не выпекали хлеба, как это делается теперь у нас в городах, а запасались мукой, которую каждый месил, как хотел, приправляя ее салом и свиным жиром. Это придавало хлебу вкус и хорошо поддерживало силы солдат.

Таким образом, продовольствие войска состояло из муки, уксуса, сала, свиного жира и ячменя для лошадей. За войском следовало обычно несколько стад крупного и мелкого скота, не требовавших перевозки и не причинявших поэтому особенных затруднений. При таком порядке войско могло делать многодневные переходы по пустынным и трудным местам, не испытывая лишений, так как все продовольствие было тут же в тылу и могло легко доставляться[192].

Совершенно по-иному обстоит дело в современных войсках, которые не хотят обходиться без вина и требуют хлеба, выпеченного домашними способами; запасти его надолго невозможно, так что солдаты часто остаются голодными, а если снабжение удается наладить, то лишь ценой невероятных трудов и расходов. Поэтому я изменил бы все продовольствование своих войск и кормил бы их только тем хлебом, который они выпекали бы сами.

Что касается вина, то я не запрещал бы ни пить, ни доставлять его войску, но не прилагал бы ни малейших трудов, чтобы его получить. В отношении других запасов я следовал бы целиком античным образцам. Если вы внимательно обдумаете мою мысль, то увидите, от какого множества затруднений, неудобств и тягот избавляются этим путем полководец и войско и насколько облегчается их задача.

ЗАНОБИ: Мы разбили неприятеля в бою и прошли затем по его земле. Естественно, что при этом захвачена добыча и взяты пленные, а города обложены данью. Мне хотелось бы знать, как поступали в этих случаях древние.

ФАБРИЦИО: Ответить очень легко. Я, помнится, уже обращал ваше внимание на то, что современные войны разоряют одинаково и победителей, и побежденных, так как одни теряют свои владения, а другие – деньги и имущество. В древности было не так, и победитель от войны только богател.

Причины здесь в том, что теперь с добычей поступают не так, как в те времена, а оставляют ее целиком на разграбление солдатам. Это приносит огромный и притом двойной вред. Об одном я только что сказал. Вред другого рода в том, что люди становятся все более алчными и все менее думают о своих обязанностях. Как часто уже одержанная победа превращалась в

поражение. потому что солдаты бросались грабить.

Римляне, найти учителя в военном искусстве, предотвращали эту двойную опасность прежде всего тем, что вся добыча была по закону собственностью государства, распределявшего ее по своему усмотрению. Далее, при войске находились квесторы[193], нечто вроде наших казначеев, обязанные собирать всю дань и добычу, из которой консул платил обычное жалованье солдатам, помогал раненым и больным и покрывал все другие расходы по войску.

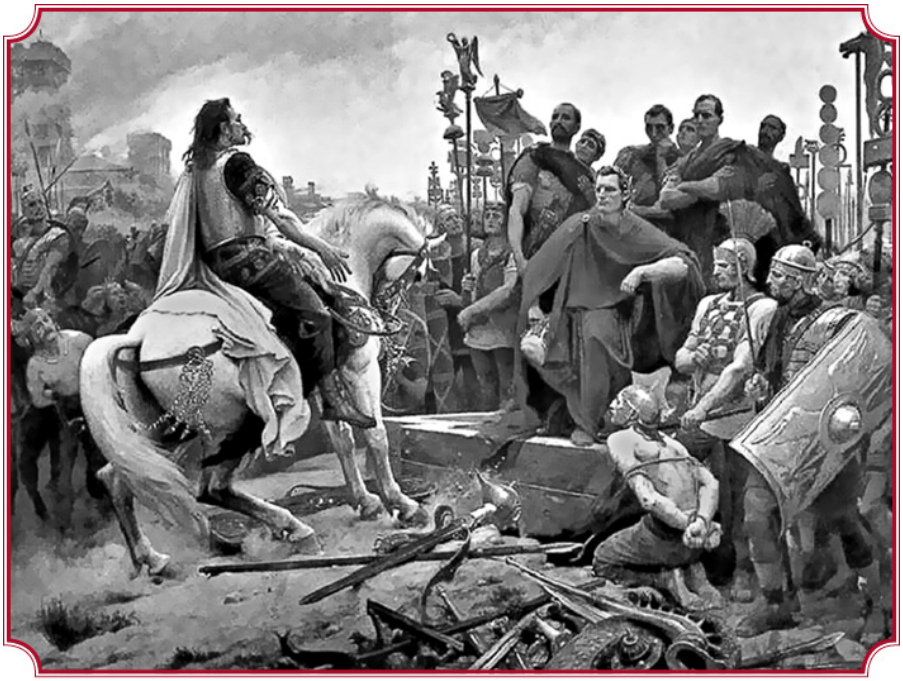
Консул, конечно, мог отдать и часто отдавал добычу солдатам, но эта милость не вызывала никакого беспорядка, так как после победы вся добыча сносилась в одно место и раздавалась каждому, глядя по чину.

Этот порядок заставлял солдат драться для победы, а не для грабежа. Римские легионы разбивали неприятеля, а не гнались за ним, так как солдат никогда не смел уйти из рядов. Врага преследовали только конница, легко вооруженные и прочие солдаты – не легионеры. Если бы добыча предоставлялась всякому, кто ее захватил, то удержать легионы не было бы ни возможности, ни смысла, и это повлекло бы за собой множество опасностей.

Наоборот, римский способ обогащал государство, и каждый консул возвращавшийся с триумфом, отдавал огромные сокровища казне, составлявшейся целиком из дани и добычи.

Римляне применяли и другой прием, тоже весьма разумный: каждый солдат обязан был отдавать треть жалованья знаменосцу своей когорты и получал его обратно только по окончании войны. Это делалось с двойной целью: во-первых, приучить солдата накапливать из жалованья некоторую сумму, так как большая часть войска состояла из людей молодых и беспечных, которые чем больше получают денег, тем лучше бросают их зря; во-вторых, римляне считали, что солдат будет заботливее охранять знамя и упорнее защищать его, зная, что здесь хранится его имущество.

Таким образом, в людях развивались одновременно бережливость и храбрость. Все это – правила, которые надо соблюдать, если вы хотите восстановить настоящие устои всякого войска.



Лайонел Ноэль Ройе. Верцингеторикс сдается Цезарю. *1899 г.*

ЗАНОБИ: Мне кажется, что поход не может пройти без каких-нибудь неожиданностей и опасностей, от которых войско может быть спасено только искусством начальника и доблестью солдат; если вы во время беседы вспомните какие-нибудь примеры, я очень просил бы вас о них рассказать.

ФАБРИЦИО: Очень охотно, тем более, что это необходимо для полного понимания военного дела. Во время похода командующий должен больше всего бояться засады, в которые обычно попадают или нечаянно или неосторожно, поддавшись какой-нибудь ловкой хитрости неприятеля. Чтобы избежать первой возможности, надо выслать двойные отряды на разведку и быть особенно внимательным, если местность удобна для засад, как это бывает в странах лесистых и гористых, где враг всегда прячется в лесу или где-нибудь за холмом.

Засада, которую ты не сумел вовремя рассмотреть, может погубить все войско, но она безвредна, если ты разгадал ее заранее. Часто удавалось обнаружить врага благодаря птицам и пыли. Выступающий неприятель всегда поднимает целую тучу пыли, предупреждающую о его приближении. Наблюдая во время похода стаи голубей и других птиц, кружащихся в воздухе, но никуда не опускающихся, полководцы множество раз

догадывались, что здесь скрывается засада, и высылали вперед отряды, которые обнаруживали неприятеля; они спасались этим сами и били врага.

Другая возможность – это попасть в засаду, в которую враг заманивает тебя хитростью. Чтобы избежать ее, надо всегда быть настороже и не верить никаким неправдоподобным вещам. Например, если враг легко позволяет тебе захватить какую-нибудь добычу, знай, что ты можешь попасться на крючок и что здесь скрывается обман.

Если многочисленный неприятель убегает от нескольких твоих солдат или, наоборот, кучка врагов бросается на большой отряд твоих войск, если противник неожиданно и безрассудно обращается в бегство – бойся обмана и никогда не думай, что враг не знает, что делает.

Избежать хотя бы отчасти этих ловушек и вообще меньше рисковать можно только одним путем – чем слабее и неосторожнее противник, тем ты должен быть осмотрительнее сам. При этом действуй двояко: бойся неприятеля мысленно и принимай все необходимые меры, но на словах и внешне относись к нему пренебрежительно, ибо ты этим ободряешь солдат и усиливаешь в них надежду на победу. Первое же правило научает тебя осторожности и уменьшает риск попасться в расставленные сети. Знай, что движение по вражеской земле таит в себе большие опасности, чем битва.

Поэтому командующий войском обязан быть осторожным вдвойне; прежде всего, у него должны быть точное описание и карта местности, по которой приходится проходить, дабы он знал в ней все: число поселений, расстояние, дороги, горы, реки, болота и свойства их.

Для лучшей осведомленности при полководце должны быть местные люди, знатоки края, которых он будет усердно расспрашивать и затем сличать их показания, отмечая все, что в них совпадает.

Он должен высылать вперед конные отряды с толковыми начальниками, которым поручается не столько обнаруживать неприятеля, сколько изучать страну, дабы командующий мог убедиться, согласуются ли их сведения с картами и с известиями, полученными из других источников. Кроме того, впереди должны идти под конвоем проводники, знающие, что их ожидает либо награда, либо жестокое наказание за измену.

Само войско не должно знать, в какое дело его ведут; и это самое важное, ибо самое главное на войне – это умение скрывать свои намерения. Дабы солдаты не растерялись от внезапного нападения, надо предупреждать их, что возможен бой и они

должны быть наготове; ведь все ожидаемое этим самым уже не так страшно. Многие полководцы, во избежание замешательства в походе, помещали обоз и нестроевых отдельными частями при знаменах каждого батальона и приказывали им следовать за ними, дабы войскам легче было остановиться на отдых или отступить. Такие распоряжения полезны, и я их вполне одобряю.

Точно так же необходимо принять в походе все меры, чтобы одна войсковая часть не отрывалась от другой и чтобы солдаты шли ровно, так как если один идет быстро, а другой медленно, колонна разъезжается и начинается беспорядок. Поэтому на флангах должны быть начальники, наблюдающие за равномерностью движения, удерживая слишком рьяных и подгоняя отсталых; вообще шаг лучше всего устанавливается музыкой.

Необходимо также расширять дороги, чтобы по ним можно было проходить, по крайней мере, фронтом одного батальона. Следует изучить привычки и свойства врага, то есть знать, предпочитает ли он нападать утром, в полдень или вечером и силен ли он пехотой или конницей. Сообразно с этими сведениями делаются распоряжения и принимаются нужные меры.

Однако приведем какой-нибудь пример. Случается, что ты отступаешь под напором сильнейшего врага, с которым ты по этой причине стараешься избежать боя; отходя, ты оказался у берега реки, переправа через которую тебя задержит и позволит противнику догнать твои войска и напасть на них. Некоторые полководцы, очутившиеся в такой опасности, приказывали окопать войско рвом, набить его паклей и зажечь, переправа совершалась беспрепятственно, так как огонь останавливал неприятеля.

ЗАНОБИ: Мне не верится, чтобы подобный пожар мог остановить противника; я слышал когда-то, что карфагенский полководец Ганнон, окруженный врагами, приказал развести огни именно с той стороны, где он решил прорваться. Неприятель считал ненужным подстерегать его в этих местах, и Ганнон провел свои войска через пламя, приказав солдатам закрыть себе лица щитами, чтобы не обжечься и не задохнуться.

ФАБРИЦИО: Вы правы, но обратите внимание на разницу между тем, что я сказал, и тем, что сделал Ганнон. Я говорил, что полководцы окапывали войско рвом, набитым горящей паклей, так что преследователям надо было преодолеть и пламя, и ров. Ганнон же не выкапывал никакого рва, но просто велел развести огонь, а так как он хотел пройти, то огонь был, вероятно, не очень сильный, иначе он помешал бы ему даже и без рва.

Разве вы не помните, что спартанский царь Набис, осажденный римскими войсками, велел поджечь часть города, чтобы остановить римлян, уже ворвавшихся в ограду? Пожар не только заградил им дорогу, но заставил их уйти.

Набис — последний царь Спарты, правивший в 207—192 гг. до н. э. В 195 г. вынужден был противостоять огромной коалиции, куда вошли Ахейский союз, Рим, Родос, Пергамское царство и Филипп Македонский. Столица была обложена, римляне предприняли попытку штурма, но, хотя она была отбита указанным в тексте способом, вскоре Набису пришлось заключить мир, по условиям которого его власть ограничилась только собственно Спартой.

Вернемся однако, к предмету разговора. Римский консул Квинт Лутаций Каттул, преследуемый кимврами, подошел к какой-то реке и, желая выиграть время для переправы, притворился, что хочет дать врагу бой. Он сделал вид, будто располагается лагерем, велел выкопать рвы, разбить несколько палаток и послал небольшие отряды конницы за фуражом в окрестные поля. Кимвры, решив, что он остановился, тоже расположились на отдых и разделили свое войско на несколько частей, чтобы легче добыть продовольствие.

Заметив это, Лутаций сейчас же перешел реку на глазах неприятеля, совершенно бессильного ему помешать[194]. Чтобы перейти реку, на которой не было мостов, некоторые полководцы отводили ее течение и выкапывали ей в тылу у себя новое русло; река мелела, и солдаты легко переходили ее вброд.

Если хотят переправить пехоту вброд через очень быструю реку, то тяжелая конница частью въезжает в воду несколько выше места переправы, чтобы ослабить стремительность течения, а частью становится ниже для спасения солдат, унесенных водой. Если река непереходима вброд, то переправа происходит по мостам, на лодках или бурдюках; эти перевозочные средства всегда должны иметься в необходимом количестве.

Случается, что при переправе через реку на другом берегу появляется неприятель и преграждает тебе дорогу. Лучше всего поступить тогда по примеру Цезаря, когда он в Галлии оказался с войском у берегов какой-то реки, на другом берегу которой находился галльский вождь Верцингеторикс со своими отрядами.

Цезарь несколько дней подряд двигался вдоль берега – и то же самое делал неприятель.

Наконец он остановился в густом лесу, где можно было легко спрятать войско, отделив от каждого легиона три когорты, приказав им оставаться на месте и сейчас же после его ухода перебросить через реку мост и укрепить его; сам же с остальной частью войска пошел дальше. Верцингеторикс опять двинулся за ним, так как видел перед собою то же число легионов и не думал, что какая-нибудь часть их осталась позади. Цезарь же, рассчитав время, когда мост должен был быть готов, повернул обратно и, найдя все в порядке, переправился через реку без всякого затруднения[195].

ЗАНОБИ: Знаете ли вы какой-нибудь способ находить брод?

ФАБРИЦИО: Да. Стоячие воды реки всегда отделены от текущих особой полосой; в этом месте река обычно мелка, и можно перейти ее вброд, так как здесь наносится песок, увлеченный течением со дна. Этот способ определять брод множество раз проверялся на опыте и безусловно точен.

ЗАНОБИ: Как поступите вы, если дно окажется вязким и лошадей начнет затягивать?

ФАБРИЦИО: В этих случаях в воду бросают фашины и переправляются по ним. Однако, не будем отклоняться от главного. Бывает иногда, что полководец зайдет со своим войском в ущелье между двумя высокими горами, из которого есть только два выхода и оба заняты неприятелем.

Тогда остается лишь пуститься на хитрость, уже испытанную в таких обстоятельствах: надо перекопать ущелье сзади глубоким, трудно доступным рвом и внушить неприятелю, что вы постараетесь задержать его на этом участке и, обеспечив свой тыл, будете всеми силами прорываться через свободный проход.

Неприятель, поддавшийся на эту уловку, укрепляется со стороны свободного выхода из ущелья и перестает обращать внимание на часть ущелья, закрытую рвом. Тогда вы перебрасываете через ров деревянный мост, заготовленный уже раньше, и, беспрепятственно пройдя по нему, ускользаете от противника.

Римского консула Луция Минуция, воевавшего в Лигурии, враги загнали в ущелье, отрезав ему все выходы. Решив все же прорваться, консул выслал в направлении, занятом неприятелем, несколько бывших у него в войске нумидийских всадников, плохо вооруженных, ехавших на маленьких, тощих лошадках.

Враги заметили их и сначала приготовились к защите прохода, но, увидев, что эти люди едут в беспорядке на лошадях, которые, по их понятиям, никуда не годятся, успокоились и

перестали за ними следить. Нумидийцы сейчас же воспользовались этой оплошностью, дали шпоры лошадям, ударили на врага и пробились с такой быстротой, что неприятель ничего с ними сделать не мог; вырвавшись на волю, они грабили и опустошали местность и этим заставили противника отойти, выпустив войска Луция из ловушки.[196]

Некоторые полководцы, защищаясь против сильнейшего противника, стягивали все свои силы на небольшом пространстве и позволяли окружить себя, а потом, заметив слабейшее место неприятельской линии, направляли на него главный удар, пробивали себе дорогу и благополучно уходили.

Марк Антоний, преследуемый парфянами, обратил внимание на то, что они всегда нападали на него в самый момент выступления, на рассвете, и потом всю дорогу не переставали его тревожить; поэтому он отдал приказ не выступать до полудня. Парфяне решили, что он в этот день дальше не двинется, и возвратились в свои палатки, а Антоний весь день шел совершенно спокойно.

Тот же полководец придумал для защиты от парфянских стрел такое средство: он приказал солдатам опуститься при появлении неприятеля на одно колено, причем вторая шеренга щитами своими закрывала первую, третья – вторую, четвертая – третью и так далее; все войско оказалось таким образом прикрытым как бы кровлей, защитившей его от вражеских луков.[197]

Вот все, что я мог сказать вам о неожиданностях, возможных во время похода. Если у вас нет других вопросов, перейдем теперь к другому предмету беседы.

КНИГА ШЕСТАЯ

ЗАНОБИ: Мне кажется, я должен сейчас сложить свои обязанности и передать их Баттисте, так как разговор наш переходит на другие предметы. Мы последуем в этом примеру хороших полководцев, которые, по словам синьора Фабрицио, размещают лучших солдат спереди и сзади, дабы передовые линии отважно начали бой, а задние также отважно его завершили. Козимо разумно повел беседу, и Баттиста столь же разумно ее закончит. Мы с Луиджи поддерживали ее, как могли. Каждый из нас нес свою долю охотно, и Баттиста, думается мне, тоже не откажется.

БАТТИСТА: Я подчинялся до сих пор руководству друзей, готов подчиняться ему и дальше. Итак, синьор, благоволите продолжать вашу речь и простите, что мы прерываем вас этими любезностями.

ФАБРИЦИО: Я уже говорил вам, что это мне только приятно. Прерывая меня, вы не утомляете, а, наоборот, освежаете мою мысль.

Вернемся, однако, к главному предмету беседы – нам надо теперь устроить лагерь для войск. Вы знаете, что все в мире стремится к отдыху и безопасности, ибо когда нет настоящего спокойствия, отдых не полон.

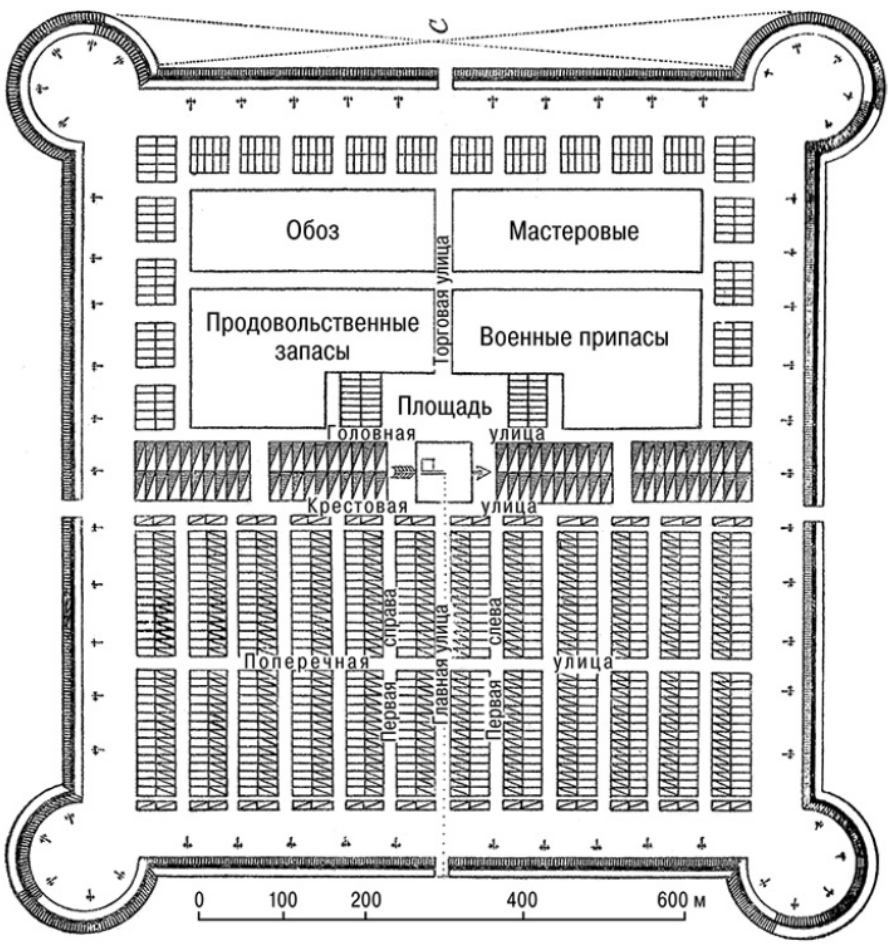
Может быть, вы считали бы более правильным, чтобы я сначала расположил войско в лагере, затем рассказал бы вам о походном порядке и закончил боевым построением, между тем как мы шли обратным путем. Мы были вынуждены так поступить, ибо, описывая вам походный порядок и перестройку его из походного в боевой, мне нужно было сначала показать, как войско строится к бою.

Возвращаясь, однако, к началу беседы, я должен сказать, что лагерь безопасен только тогда, когда он крепок и благоустроен. Благоустройство дается распорядительностью полководца, крепость – природой и искусством. Греки любили защищенные места и никогда не остановились бы лагерем там, где нет ни скал, ни речного обрыва, ни леса, ни другой естественной защиты.

Римляне же полагались в этих делах не столько на природу, сколько на искусство, и никогда не устроили бы лагеря в местности, где было бы невозможно развернуть все войско по принятым у них правилам. Это давало им возможность всегда придерживаться одной формы лагерного устройства, ибо они не подчинялись природе местности, а, наоборот, подчиняли ее себе.

Греки не могли так поступать, ибо приноравливались к местности, а так как характер ее меняется, то им точно так же приходилось изменять лагерное расположение войск и форму самого лагеря. Римляне же действовали иначе, и если природа защищала их слишком слабо, они восполняли этот недостаток искусством и знанием.

В течение всей нашей беседы я настаивал на подражании римлянам и сейчас буду следовать им в деле лагерного устройства войск, но возьму не все установления, а лишь то, что, по-моему, применимо к нашему времени.



План лагеря

Я вам уже несколько раз говорил, что консульские войска состояли из двух легионов римских граждан, то есть примерно 11 000 пехоты, 600 всадников, помимо еще 11 000 вспомогательных

союзнических войск. Численного превосходства союзнических сил над своими никогда не допускалось, и только для конницы делалось исключение, так как в этих частях союзников могло быть даже больше, чем римлян; кроме того, римские легионы всегда сражались в центре, а союзники – на флангах.

Такое же расположение войск сохранялось и в стане, как вы могли прочесть об этом у древних историков. Поэтому я не собираюсь описывать вам во всех подробностях устройство римского лагеря, а хочу рассказать только о том, как бы я расположил войско в лагере теперь, в наше время. Вы увидите тогда, в какой мере я следую римским образцам.

Вы знаете, что я, сообразуясь с силами двух римских легионов, составил свое войско из двух бригад пехоты, по 6000 пехоты и 300 человек конницы на бригаду; вы помните также, на какое число батальонов делится бригада, их вооружение и обозначение. Вы знаете, что при описании походного и боевого порядков я не вводил никаких новых войск, а только указал, что при удвоении сил достаточно вздвоить ряды.

Сейчас, когда я намерен показать вам лагерное расположение, я уже не ограничусь двумя бригадами, а возьму настоящее войско, составленное по римскому примеру из двух бригад и такого же числа вспомогательных сил. Делаю я это потому, что форма лагеря, вмещающего целую армию, будет более правильной и законченной. Для предыдущих рассуждений этого не требовалось.

Итак, нам надо расположить лагерем войско полного состава, то есть 24 000 пехоты и 2000 конницы, разделенное на четыре бригады, из коих две вспомогательные. Как только место для лагеря будет выбрано, я прикажу поставить в середине его главное знамя; вокруг него будет очерчен квадрат, стороны которого отстоят от знамени на 50 локтей каждая и обращены к четырем странам света – востоку, западу, югу и северу; в этом пространстве должна находиться ставка командующего.

Я считал бы правильным, отчасти подражая в этом римлянам, отделить войска от нестроевых и обозов. Все строевые части или большинство их размещаются в восточной, нестроевые и обоз – в западной части лагеря, причем восточная часть будет фронтом, западная – тылом, южная и северная – флангами.

Теперь нам надо отметить участок лагеря, отведенный строевым войскам. Для этого от главного знамени к востоку проводится черта 680 локтей длиною. По обеим сторонам ее, на расстоянии 15 локтей, проводятся еще две параллельные линии такой же длины, крайняя точка которых обозначит место восточных ворот, а пространство между ними образует улицу,

идущую от восточных ворот к ставке командующего.

Ширина улицы – 30 локтей, длина – 630, так как пространство в 50 локтей отходит под ставку; улица эта называется Главной. Другая улица проводится от южных ворот к северным; соприкасаясь с концом Главной, она идет мимо ставки командующего к востоку от нее и пересекает весь лагерь; эта улица называется Перекрестной; длина ее – 1250 локтей, ширина – 30 локтей.

Обозначив таким образом место ставки командующего и проложив две основные улицы, я приступаю к расположению двух бригад собственных войск; одна из них будет размещена справа, другая – слева от Главной улицы. Перейдя Перекрестную улицу, я расположу справа и слева от Главной по 32 ставки, причем между 16-й я 17-й остается свободное пространство в 30 локтей, образующее новую улицу, так называемую Поперечную, пересекающую все пространство, занятое ставками войск, как это будет видно из их распределения.

Первые две ставки с обеих сторон Перекрестной улицы отводятся начальникам тяжелой конницы; в остальных пятнадцати с каждой ее стороны размещаются жандармы, по десяти человек на ставку, так как на всю бригаду жандармов приходится 150. Ширина ставки начальника – 40 локтей, длина – 10 локтей, причем под шириной я всегда разумею протяжение с юга на север, а под длиной – линию с запада на восток. Ставки жандармов рассчитаны на длину в 15 и на ширину в 30 локтей.

За Поперечной улицей начинаются с обеих сторон новые ряды по 15 ставок, одинаковых по объему со ставками тяжелой конницы и занятых легкой кавалерией. В каждой ставке по тому же расчету помещается десять человек; 16-я, свободная ставка отводится начальнику и по размерам своим равна помещению начальника жандармов.

Таким образом, ставки всей конницы обеих бригад расположатся по обе стороны Главной улицы и будут основой для разбивки походного лагеря, о чем я скажу дальше. Прошу вас запомнить, что я разместил 300 человек конницы каждой бригады с их начальниками в 32 ставках по Главной улице, начиная от Перекрестной, оставив между 16-й и 17-й ставками пространство в 30 локтей, образующее новую улицу – Поперечную.

Приступим теперь к расположению 20 батальонов, составляющих мои две бригады; для этого я отвожу каждым двум батальонам помещение прямо за конницей. Размеры пехотных ставок – 15 локтей длины и 30 ширины, то есть одинаковы со ставкой конницы, к которой они непосредственно примыкают.

Первое помещение с каждой стороны, начиная от Перекрестной улицы, в одном ряду со ставкой командира жандармов, назначается начальнику батальона; протяжение его – 20 локтей в ширину и 10 в длину. В остальных 15 отделениях с каждой стороны до Поперечной улицы размещается походный батальон в 450 человек, так что в каждой ставке будет по 30 солдат.

Следующие 15 отделений примыкают к ставкам легких конных частей и одинаковы с ними по размерам; здесь расположится другой батальон пехоты. Последняя ставка отводится начальнику пехоты и стоит в одном ряду с помещением командира легкой конницы; длина ее 10, а ширина – 20 локтей. Таким образом, первые два ряда ставок будут заняты частью кавалерией, частью пехотой. Я считаю, что вся конница должна быть строевой, и не даю ей людей для чистки и присмотра за лошадьми, а возлагаю эту обязанность на пехотных солдат, помещенных в примыкающих ставках и освобожденных, по римскому примеру, от всякой другой лагерной службы.

За первыми двумя рядами ставок остается с каждой стороны Главной улицы свободное пространство в 30 локтей, образующее новые улицы, которые будут называться Первой улицей справа и Первой улицей слева; по их сторонам располагается опять двойной ряд из 32 отделений, примыкающих друг к другу; размеры их одинаковы с первыми, а 16-е и 17-е отделения разделены той же Поперечной улицей.

В этих рядах будут размещены с каждой стороны по четыре батальона пехоты с их начальниками в том порядке, о котором я уже говорил. За ними снова идет с каждой стороны Главной улицы свободное пространство в 30 локтей для новых улиц, которые мы назовем Второй улицей справа и Второй улицей слева. По сторонам их располагается двойной ряд из 32 ставок, в которых разместятся еще по четыре батальона пехоты с их начальниками. Таким образом, три двойных ряда помещений с каждой стороны улицы будут заполнены конницей и пехотой, составляющими вместе две обыкновенные бригады.

Другие две вспомогательные бригады такого же состава размещаются, как и первые две бригады своих войск, то есть в таких же двойных рядах ставок, причем первые ряды, назначенные для пехоты и конницы, отделяются от последних рядов основных бригад пространством в 30 локтей, образующим Третью улицу справа и Третью улицу слева. Сзади этих рядов расположатся с каждой стороны еще два ряда помещений совершенно такого же устройства, как и ставки основных бригад, образуя другие две улицы, обозначаемые по номеру и по их

положению справа или слева от Главной.

Таким образом, для размещения всего войска потребуется 12 двойных рядов ставок и 13 улиц, включая Главную и Перекрестную. Наконец, между крайними лагерными помещениями и валом остается свободное пространство в 100 локтей, а вся площадь, занятая войсками, составит 680 локтей, считая от середины ставки командующего до восточных ворот.

Теперь у нас есть еще две незанятые площади от ставки командующего до южных и северных ворот, каждая в 625 локтей. Если вычесть отсюда пространство в 50 локтей, занятое ставкой командующего, 45 локтей, оставленных с обеих сторон главной ставки, улицу в 30 локтей, разделяющую каждое из этих пространств надвое, и 100 локтей между крайними ставками и валом, то с каждой стороны главной ставки остается еще место в 400 локтей ширины и 100 локтей длины для лагерных помещений, считая длину их одинаковой с длиной ставки командующего.

Разделив это пространство в длину пополам, я размещу с каждой стороны по 40 ставок в 50 локтей ширины и 20 локтей длины, т. е. всего у меня получится 80 ставок для командующих бригадами, казначеев, квартирьеров и всех служащих, оставляя некоторые помещения для приезжающих иностранцев и для добровольцев, отправившихся на войну под покровительством командующего.

Сзади главной ставки прокладывается с юга на север улица в 30 локтей ширины, идущая вдоль всех этих 80 помещений и называющаяся Головной, так что ставка командующего и 80 других по обеим сторонам ее окажутся между улицами Головной и Перекрестной. От этой Головной улицы против главной ставки пройдет другая улица к западным воротам в 30 локтей шириной; она будет продолжением Главной и называется Торговой.

Затем я устрою в начале Торговой и напротив ставки командующего площадь для рынка, примыкающую к Головной улице; она должна иметь форму квадрата в 121 локоть по каждой стороне. Справа и слева от Рыночной площади идут два ряда помещений по восьми двойных ставок в каждом; длина их – 20 локтей, ширина – 30 локтей. Таким образом, с каждой стороны этой площади будет по 16 ставок, всего 32.

В них разместится излишек конницы вспомогательных бригад, и если места не хватит, им будут отведены ставки в одном ряду с Главной, прежде всего ближайшие к лагерному валу. Остается устроить запасных пикинеров и велитов, состоящих при каждой бригаде. Ведь вы помните, что по нашему порядку в каждой бригаде, помимо 10 батальонов, имеется 1000

запасных пик и 500 запасных велитов. Таким образом, в двух бригадах запасных пикинеров будет 2000, запасных велитов – 1000, при таком же числе их у вспомогательных войск.

Приходится, следовательно, подумать о помещениях еще для 6000 пехотинцев; все они разместятся на западной стороне лагеря по валу. Для этого я оставлю вдоль вала свободное пространство в 100 локтей и расположу, начиная от северного конца Головной, двойной ряд из пяти ставок в 75 локтей длины и 60 ширины, так что, при разделении их поперек, длина каждой ставки будет 15, а ширина – 30 локтей. В этих десяти помещениях расположатся 300 пехотинцев по 30 человек в каждом.

На расстоянии 31 локтя от первого ряда будет поставлен другой двойной ряд, также по пяти ставок, такого же размера, и так далее до пяти двойных рядов, расположенных по прямой в 100 локтях от вала и вмещающих 1500 человек пехоты. Затем я поворачиваю налево к западным воротам и возвожу от угла лагеря по валу еще пять двойных рядов совершенно таких же ставок, с той только разницей, что промежутки между рядами будут не более 15 локтей.

Получается помещение еще для 1500 пехотинцев. Таким образом, я устраиваю между северными и западными воротами вдоль вала 100 помещений, расположенных в десяти рядах по пяти двойных ставок в каждом, и располагаю в них всех запасных пикинеров и велитов моих собственных бригад.

Далее, между западными и южными воротами пойдут также десять рядов помещений для запасных пикинеров и велитов вспомогательных войск. Начальники их, в частности командующие батальонами, могут выбрать на стороне, обращенной к валу, ставки, которые они сочтут более удобными. Артиллерия будет расположена вдоль всего окопа, а все оставшееся свободное пространство на западной половине лагеря назначается для нестроевых и лагерного обоза.

Вы знаете, что древние называли нестроевыми всех людей, следовавших за войском и необходимых для него, кроме солдат. Сюда, например, относятся плотники, слесари, кузнецы, каменщики, инженеры, бомбардиры (последние могли бы считаться строевыми), пастухи со стадами быков и баранов, необходимых для продовольствования войска, наконец, всякого рода мастеровые при обозе с военными припасами и продовольствием. Не буду входить в подробности их размещения и укажу только на места, которых они не должны занимать.

Нестроевым отводится все свободное пространство между улицами, разделенное на четыре части; одна часть назначается для пастухов, другая – для мастеровых, третья – для повозок с

продовольствием, четвертая – для боевых припасов. Незанятыми остаются Торговая, Головная и еще одна улица, которая будет называться Средней и пройдет с севера на юг, пересекая Торговую и вполне соответствуя Поперечной улице восточной части лагеря. Наконец, сзади, вдоль помещений запасных пикинеров и велитов, пройдут еще особые улицы в 30 локтей ширины. Артиллерия, как я уже сказал, расставляется по внутренней стороне вала.

БАТТИСТА: Признаюсь, что я в этих делах плохой знаток, и могу сказать это не стыдясь, так как военное искусство никогда не было моим призванием. Тем не менее все, что вы сказали, удовлетворяет меня вполне, и мне хотелось бы только спросить о двух вещах: во-первых, почему улицы и свободные места вашего лагеря так широки, а во-вторых, – и это меня больше затрудняет, – как размещаются люди на отведенном для них пространстве?

ФАБРИЦИО: Я провожу улицы шириной в 30 локтей, чтобы по ним мог свободно проходить пехотный батальон в боевом порядке, занимающий по линии фронта от 25 до 30 локтей. Пространство в 100 локтей между валом и лагерем необходимо для свободного движения войск и артиллерии, провоза добычи и возведения в случае необходимости второго ряда окопов.

Кроме того, лучше устраивать лагерь подальше от вала, чтобы противнику было труднее его обстреливать или иным способом ему вредить.

Что касается второго вопроса, то я вовсе не имею в виду, что каждое место, отведенное под лагерные помещения, будет всегда занято только одной палаткой; оно используется, как это удобно живущим в нем, и они могут ставить там больше или меньше палаток, лишь бы не переходить указанную им границу.

Вообще для разбивки лагеря нужны люди очень опытные и прекрасные строители, которые сейчас же по указанию командующего устанавливают форму лагеря, делят его на участки, проводят улицы, обозначают помещения посредством веревок и кольев и выполняют это с такой быстротой, что все готово мгновенно.

Во избежание замешательства необходимо всегда разбивать лагерь одинаково, чтобы каждый солдат знал, на какой улице и на каком участке он найдет свою палатку. Это должно соблюдаться в любое время и в любом месте, дабы лагерь походил на подвижной город, сохраняющий, куда бы он ни перемещался, те же улицы, те же дома и тот же внешний вид.

Этой выгоды лишены полководцы, ищущие для лагеря неприступную позицию, ибо тогда необходимо изменять его форму, смотря по характеру местности. Римляне же укрепляли

самый лагерь рвами, валами и насыпями, обносили его палисадом и выкапывали кругом ров шириной в 6 локтей и глубиной в 3 локтя, увеличивая его размеры, если собирались долго пробыть на одном месте или опасались неприятеля.

Лично я в настоящее время устроил бы палисад только в том случае, если бы мне пришлось стоять на месте всю зиму. Ров и вал были бы у меня не меньше римского, а даже больше, смотря по необходимости. Кроме того, я устроил бы для артиллерии в каждом углу лагеря окоп в виде полукруга и получил бы таким образом возможность обстреливать продольным огнем неприятеля, штурмующего ров.

Необходимо обучить войска этим работам по устройству лагеря, чтобы начальники умели быстро набрасывать его план, а солдаты знали, как найти свою палатку. Упражнение это совсем нетрудное, и я потом скажу об этом подробнее. Сейчас же я буду говорить об охране лагеря, ибо без точного указания обязанностей часовых все наши труды пропадут даром.

БАТТИСТА: Раньше чем вы перейдете к часовым, я просил бы вас сказать мне, какие необходимы предосторожности при разбивке лагеря поблизости от неприятеля. Я не представляю себе, чтобы тогда можно было безопасно производить все необходимые работы.

ФАБРИЦИО: Прежде всего вы должны знать, что полководец располагается поблизости к неприятелю только в том случае, если он хочет дать бой, а противник намерен его принять. Опасность тогда не больше обычной, ибо две трети войска готовы к битве, и только последняя треть занята устройством лагерных помещений. Римляне в таких обстоятельствах употребляли на работы по укреплению лагеря триариев, а гастаты и принципы стояли под оружием.

Устройство римского военного лагеря.
Рисунки XIX в.

Так поступали потому, что триарии вступали в бой последними и, следовательно, при появлении врага успевали бросить работы и занять свое место в строю. Следуя этому примеру, мы точно так же должны употреблять для разбивки лагеря те воинские части, которые, подобно триариям, будут стоять в последней боевой линии.

Однако вернемся к часовым. Я, кажется, не встречал у античных писателей указаний на то, что охрана лагеря ночью велась передовыми постами, стоявшими за валом, подобно нашим велетам. Древние, вероятно, считали, что войско таким образом легко может быть застигнуто врасплох, так как за часовыми трудно наблюдать, а кроме того, они могут быть подкуплены или захвачены неприятелем.

Следовательно, нельзя доверяться этому способу охраны ни всецело, ни даже отчасти. Все часовые были сосредоточены внутри лагеря, и сторожевая служба выполнялась с величайшей точностью и строгостью, так как всякому провинившемуся

грозила смертная казнь.

Не буду утомлять вас подробностями, с которыми вы можете ознакомиться сами, если до сих пор об этом не читали. Скажу только коротко о том, какие меры я бы принял сейчас. Ночью треть войска должна быть под оружием; четвертая часть этой трети – всегда на ногах; она размещается по всему валу и по всем важным пунктам лагеря. На каждом углу лагеря выставлены двойные сторожевые отряды, причем одни стоят на часах, а другие непрерывно переходят от одного конца лагеря к другому. Если неприятель близко, тот же порядок соблюдается и днем.

Не буду распространяться о паролях, о необходимости менять их каждый вечер и о других мерах обычной предосторожности, так как все это известно. Упомяну только об одной мере, потому что она важнее всех и соблюдение ее приносит большую пользу, а небрежность в этом отношении может кончиться несчастьем. Следите самым тщательным образом за всеми, отлучающимися вечером из лагеря, и за всеми, прибывающими вновь.

Наш порядок очень облегчает наблюдение, потому что каждая палатка рассчитана на точно определенное число людей, и можно очень легко убедиться, есть ли в ней лишний народ или, наоборот, кого-нибудь не хватает. Самовольно отлучившиеся наказываются как беглые, а лишним устраивается допрос о том, кто они, зачем пришли в лагерь, и обо всем прочем, их касающемся.

Такая бдительность затрудняет врагу возможность заводить сношения с кем-либо из начальников твоего войска и узнавать твои намерения. Будь карфагеняне более бдительны, Клавдий Нерон никогда бы не мог почти на глазах у Ганнибала тайно выйти из своего лагеря в Луканию, совершить поход в Пиценум и вернуться, не возбуждая ни малейшего подозрения у противника. Однако все эти хорошие меры недостаточны, если они не соблюдаются с величайшей строгостью, ибо нигде не требуется такой точности, как в военном деле. Поэтому все законы воинской дисциплины должны быть суровы и жестоки, а исполнители – беспощадны.

В 207 г. до н. э. Гай Клавдий Нерон был избран консулом вместе с Марком Ливием. Основной военной задачей консулов было не допустить соединения Гасдрубала Барки и Ганнибала. Узнав, что Гасдрубал перешел Альпы, Нерон поставил небольшой заслон против Ганнибала и совершил маршбросок через всю Италию на помощь Марку Ливию. Этот маневр остался незамеченным ни Ганнибалом, оставшимся в Лукании, ни Гасдрубалом, находившимся в Пицене. Объединившись, войска Нерона и Ливия в битве при Метавре разбили армию Гасдрубала Барки. За это Клавдий удостоился триумфа.

Римляне карали смертью всякого, провинившегося в карауле, покинувшего боевой пост, вынесшего тайком что-нибудь из лагеря, всякого, лживо хваставшегося боевым подвигом, вступившего в бой без приказа начальника или бросившего со страху оружие. Если такой проступок совершался когортой или целым легионом, то, во избежание общей казни, бросали в мешок записки с именами всех солдат и вынимали десятую часть, обреченную жребием на смерть. Наказание, как видите, исполнялось так, что, постигая не всех, оно устрашало каждого.

Однако там, где сильна кара, должна быть велика и награда, дабы в людях одновременно поддерживались надежда и страх. Поэтому римляне щедро награждали всякий боевой подвиг, например, того, кто спасет в бою жизнь согражданину, взойдет первым на стену неприятельского города или первым ворвется в неприятельский лагерь, убьет или ранит в бою врага, сбросит его с лошади. Подвиг ознаменовывался открытым признанием его консулом, наградой и всеобщей похвалой, а воины, получившие подарок за храбрость в бою, помимо славы, приобретаемой этим в войске, имели право по возвращении на родину торжественно выставить свою награду на показ родным и друзьям.

Не приходится удивляться могуществу народа, который так хорошо знал меру наказания и награды для всякого, заслужившего за хорошее или дурное дело хвалу или осуждение. Все эти установления должны были бы в значительной мере сохраниться и у нас.

У римлян существовало еще одно особое наказание, о котором нельзя не упомянуть; оно состояло в том, что когда консул или трибун считали подсудимого уличенным, они слегка

ударяли его тростью. Виновному после этого позволялось бежать, а солдатам разрешалось его убить; в него летели камни и стрелы, на него со всех сторон сыпались удары, и уйти живым ему удавалось только в самых редких случаях.

Вернуться домой виновный тоже не мог, ибо его встречали таким презрением и бесчестьем, что лучше было умереть[198]. Это наказание отчасти перенято швейцарцами, которые приказывают своим солдатам убивать осужденных сотоварищей перед всем войском. Мера эта хороша по замыслу и еще лучше по выполнению.

Если вы хотите, чтобы люди не укрывали преступника, то лучшее средство – заставить их самих его карать; когда человек сам является исполнителем наказания, его интерес к осужденному и стремление к возмездию совершенно иные, чем когда исполнение приговора поручено другому.

Поэтому чтобы не делать народ пособником проступка, лучше всего сделать его судьей. В подтверждение своих слов сошлюсь на пример Манлия Капитолийского: преданный суду Сената, он нашел защиту у народа; но тот же народ приговорил его к смерти, как только стал вершителем его судьбы[199]. Вы видите, что это – действительное средство подавления бунтов и соблюдения правосудия.

Марк Манлий Капитолийский (ум. в 384 г. до н. э.) — патриций, консул 392 г. до н. э.

В 390 г. до н. э. галлы захватили Рим. На Капитолийском холме укрылась часть жителей, которые отказывались сдаться врагу. Галлы предприняли попытку ночного штурма, но их услышали священные гуси в храме Юноны и подняли шум. Первым проснулся Марк Манлий и бросился в схватку. В конце концов атака галлов была отбита.

В 385 г. до н. э. Марк Манлий ввязался в политическую борьбу и, будучи патрицием, выступил в защиту плебеев. Последовало обвинение в стремлении к диктатуре, но на этот раз осудить Манлия не получилось: римляне встали на защиту народного героя. В следующем году Манлия арестовали вновь, приговорили к смерти и сбросили с Тарпейской скалы.

Римляне понимали, что страх законов у людей слишком слаб и этим нельзя держать в руках вооруженную толпу; поэтому они усиливали закон авторитетом религии, всячески старались укрепить ее в сознании солдат и заставляли их с величайшей торжественностью приносить клятву неуклонного соблюдения воинской дисциплины, дабы нарушителям ее грозили не только законы и люди, но и боги.

БАТТИСТА: Допускалось ли у римлян присутствие в войске женщин и позволяли ли они солдатам забавляться игрой, как это принято сейчас?

ФАБРИЦИО: Они запрещали и то и другое. Запрет этот было легко осуществить, ибо ежедневных военных упражнений, занимавших солдат целыми частями или в отдельности, было так много, что воинам некогда было думать ни о Венере, ни об играх, ни о прочих вещах, способствующих безделию или бунту.

БАТТИСТА: Все это прекрасно. Скажите мне теперь, каким образом войска выступали из лагеря?

ФАБРИЦИО: Для этого трубили три раза. По первому сигналу палатки свертывались и укладывались на повозки, по второму – вьючили животных, по третьему – выступали в том порядке, о котором я вам уже говорил, то есть обозы шли в хвосте колонны, а легионы – в центре войска. Поэтому и у вас сперва выступает вспомогательная бригада со своим обозом и четвертой частью общевойскового обоза, размещенного на одной из четырех лагерных площадей, которые я вам только что показал.

Необходимо к каждому полку прикрепить его обоз, дабы при выступлении войска было точно известно его место в колонне. Таким образом, за полком пойдут в хвосте его собственный обоз и четвертая часть общего обоза в том порядке, в каком двигалось римское войско.

БАТТИСТА: Были ли у римлян еще другие правила расположения войск в лагерях, кроме тех, о которых вы нам рассказали?

ФАБРИЦИО: Повторяю, что римляне всегда стремились сохранять одну и ту же форму лагеря, и это было для них важнее всего. Далее, они главным образом заботились о двух вещах – о здоровой местности для лагеря и об устройстве его там, где неприятель не мог ни обложить их, ни отрезать им воду и подвоз продовольствия.

Для предупреждения болезней римляне избегали местностей болотистых или открытых зловредным ветрам. Они судили в этом случае не столько по свойствам почвы, сколько по виду жителей и если находили их бледными, узкогрудыми или вообще больными, то относили лагерь дальше.

Что касается риска быть обложенным неприятельскими войсками, то надо как следует изучить характер местности, где стоят враги или союзники, и составить себе мнение о том, может ли противник запереть тебя в лагере. Поэтому командующий должен быть опытнейшим знатоком местности и окружить себя людьми, столь же хорошо знающими страну, как и он сам. Избежать болезней и голода можно также путем строгого наблюдения за правильным образом жизни солдат: заставьте их ночевать в палатках, разбивайте лагерь там, где деревья дают тень и дрова для варки пищи, не выступайте в самый зной.

Поэтому летом надо сниматься с лагеря на рассвете, а зимой во время метелей и морозов позаботиться о разведении костров на привалах, об одежде солдат, о том, чтобы они не пили мутной воды. Больных надо лечить и всегда помнить, что полководец беззащитен, если он должен одновременно воевать и с болезнями, и с противником.

Однако самое полезное для здоровья войск – это упражнения; недаром они производились у древних ежедневно. Ценность их лучше всего подтверждается тем, что в лагере они сохраняют людям здоровье, а в бою доставляют победу. Наконец, надо позаботиться о том, чтобы войска не голодали. Для этого недостаточно следить за неприятелем, который может отрезать вам пути подвоза; надо обеспечить себе места заготовки продовольствия и наблюдать за тем, чтобы запасы не расточались.

Поэтому надо всегда обеспечивать себя на месяц, а затем наложить на ближайших по соседству союзников повинность ежедневной доставки. Устраивайте склады в крепостях, а главное – заботьтесь о бережливом расходовании, давайте солдату ежедневный разумно рассчитанный паек и вообще никоим образом не допускайте в этом деле беспорядка. Все трудности на войне преодолеваются со временем, и только в этом единственном деле время сильнее тебя.

Ни один враг, который может победить тебя голодом, не будет стараться победить тебя мечом, ибо победа будет, правда, не столь почетной, но более спокойной и верной. Не может избежать голода войско, не соблюдающее правил и безрассудно истребляющее все, что попадает ему в руки. Если нет порядка в доставке продовольствия, оно не получается вовсе; если нет порядка в выдаче, наличные запасы проедаются зря.

Поэтому древние устанавливали и количество, и время еды, ибо ни один солдат не ел, если не ел полководец. Всякий знает, как соблюдается это правило современными армиями, которые являются не благоустроенным и трезвым войском, подобно

древнему, а вполне заслуженно могут быть названы толпой развратников и пьяниц.

БАТТИСТА: Описывая устройство лагеря, вы говорили, что расположите в нем не две, а четыре бригады, чтобы показать, как размещается настоящее войско. Поэтому я хочу спросить вас о двух вещах: как устроите вы лагерь на большее или меньшее количество солдат и какова должна быть численность войска для успешной борьбы против любого неприятеля?

ФАБРИЦИО: На первый вопрос я отвечу, что если войско будет на 4000 или 6000 солдат больше или меньше, то надо прибавить или убавить число рядов, в которых размещаются палатки, и это можно делать до бесконечности. Однако когда римляне соединяли два консульских войска, то разбивали два лагеря, примыкавших друг к другу площадями, отведенными для нестроевых.

На второй вопрос я скажу, что в обычном римском войске было примерно 24 000 солдат; когда же приходилось воевать с очень крупными неприятельскими силами, римляне выставляли самое большее 50 000. С таким числом войск они вышли против 200 000 галлов, напавших на них после Первой Пунической войны[200]; такое же войско было противопоставлено Ганнибалу[201].

Заметьте, что римляне и греки воевали малыми силами, крепкими боевым строем и искусством. Другие народы, западные и восточные, действовали огромными полчищами, причем на западе главной силой была врожденная безудержность, а на востоке – слепое повиновение царю. В Греции и Италии не было ни врожденной лихости, ни слепого повиновения, а потому необходимо было прибегнуть к дисциплине, и она оказалась силой, доставившей малочисленному войску победу над безудержностью и природной стойкостью огромных масс.

Римский военный трибун.
Реконструкция XIX в.

Поэтому я и говорю, что, следуя римскому примеру, войско не должно превышать 50 000 солдат. Пусть оно лучше будет меньше, ибо большая численность приводит к замешательству, нарушениям дисциплины и боевого строя. Пирр любил говорить, что с 15 000 солдат он готов идти на весь мир.

Перейдем теперь к другому предмету. Мы одержали победу в бою и показали, какие случайности возможны во время сражения. Мы видели войско в походе и говорили обо всех трудностях, с которыми оно может встретиться. Наконец, мы расположили его

лагерем, где надо хоть немного отдохнуть от понесенных трудов и вместе с тем подумать о способах окончания войны. В лагере вообще дела много, особенно если в окрестностях еще есть враги и остались колеблющиеся города. Надо себя от них обезопасить и взять те, которые окажутся враждебными.

Необходимо показать вам, как надлежит поступать во всех этих случаях, дабы преодолеть эти трудности с той же славой, с какой мы победили в бою. Допустим, в частности, что большинство жителей страны или весь народ решается на дело, очень выгодное для тебя и очень вредное для него самого, например, разрушение городских стен или изгнание многих граждан. В этом случае их надо обмануть и внушить всем, что тебе до них никакого дела нет, дабы они не поддерживали друг друга и, таким образом, оказались целиком в твоей власти.

Можно также наложить на всех в один и тот же день какую-нибудь тяжелую повинность, дабы каждый был уверен, что она касается только его, и думал об исполнении приказа, а не о самозащите. Таким образом, повеление твое будет исполнено всеми без малейшего шума.

Если ты подозреваешь жителей страны во враждебности и хочешь себя обезопасить или внезапно ее захватить, то для сокрытия своего намерения лучше всего сообщить им о каком-нибудь совершенно другом твоем замысле, просить их помощи и притвориться, что ты против них ровно ничего не имеешь. Они и не подумают обороняться, так как вполне уверены, что ты совсем не собираешься на них напасть, – и дело твое удастся легко.

Если ты чувствуешь, что в войске у тебя есть изменник, сообщающий о твоих планах неприятелю, то надо постараться извлечь пользу из его вероломства, сообщив ему о вымышленном замысле и скрывая этим действительный, или сказать о несуществующих опасениях, умолчав о том, чего ты боишься по-настоящему. Неприятель, в уверенности, что он знает твои намерения, сделает ложный шаг, и тебе будет легко его обмануть и разбить.

Если ты хочешь, подобно Клавдию Нерону, выделить незаметно для врага часть своего войска для помощи союзнику[202], не сокращай размеров лагеря, оставь на месте все знамена и прежние ряды палаток, не уменьшай числа огней и часовых; точно так же, если ты получишь подкрепление и захочешь это скрыть, не расширяй лагерь, ибо самое полезное – это всегда таить свои дела и мысли.

Когда Метелл[203] начальствовал над войсками в Испании, кто-то задал ему вопрос, что он думает делать завтра. «Если бы об этом знала моя рубашка, – ответил Метелл, – я бы тут же ее сжег».

Один из воинов Марка Красса[204] спросил его, когда он прикажет войску выступать. «Думаешь ли ты, что один не услышишь трубы?» – был ответ.

Чтобы разгадать тайны неприятеля, некоторые полководцы наряжали к нему послов, отправляя с ними под видом служителей опытнейших воинов, которые высматривали устройство неприятельского войска, узнавали, в чем его сила и слабость, и сообщениями своими облегчали победу. Другие нарочно отдаляли от себя кого-нибудь из приближенных, который притворно передавался неприятелю, а потом открывал своим замыслы противника. Иногда это удавалось сделать через пленных.

Марий во время войны с кимврами для испытания верности галлов, живших в нынешней Ломбардии и находившихся в союзе с римским народом, послал им одновременно несколько писем, причем одни были запечатаны, а другие нет. В незапечатанных письмах он предписывал вскрыть остальные только в известное, указанное им время; затем он до срока потребовал письма обратно и, получив их распечатанными, понял, что на галлов рассчитывать нельзя.

Некоторые полководцы, вместо того чтобы идти навстречу наступающему неприятелю, отправлялись грабить его земли и этим вынуждали его уйти обратно на защиту собственных границ. Этот способ часто удавался, ибо он приучает солдат к успеху, обогащает их добычей и дает им веру в себя, а войска противника, наоборот, падают духом и чувствуют себя уже не победителями, а побежденными. Многие полководцы, прибегавшие к подобным набегам, имели успех.

Однако это можно позволить себе только в том случае, когда твоя страна обеспечена и укреплена лучше неприятельской, иначе дело кончится плохо. Полководцу, запертому неприятелем в лагере, иногда удавалось добиться на несколько дней перемирия. Неприятель становился беззаботнее, и это давало осажденному возможность ускользнуть, пользуясь какой-нибудь небрежностью врага.

Сулла таким путем дважды спасался от неприятеля, и та же хитрость помогла Гасдрубалу в Испании уйти от окружавшего его со всех сторон Клавдия Нерона.

В такой же обстановке бывает очень полезно озадачить неприятеля каким-нибудь непредвиденным движением. Здесь возможно одно из двух: или бросить в атаку часть своих войск, оттянув на нее неприятельские силы, и этим высвободить остальные, или изобрести что-нибудь совсем неожиданное, дабы удивить врага невиданным зрелищем, напугать его и принудить к

бездействию.

Вы помните рассказ о Ганнибале, окруженном войсками Фабия Максима[205], и знаете, что карфагенский полководец велел ночью привязать к рогам волов, следовавших за войском, связки зажженного хвороста. Фабий был настолько встревожен этой небывалой картиной, что не подумал о защите проходов.[206]

Стремление раздробить неприятельские силы является едва ли не самой главной заботой полководца. Он должен употребить на это все свое искусство и либо найти способ внушить противнику недоверие к ближайшим его помощникам, либо заставить его разделить свою армию и этим себя ослабить. Первая цель достигается особой внимательностью к некоторым приближенным неприятельского вождя, которая скажется, например, в том, что во время войны имущество его уцелеет, а сыновья или родственники будут отпущены без выкупа из плена.

Вы знаете, что Ганнибал, сжегший все окрестности Рима, не тронул только владений Фабия Максима, а Кориолан, подойдя к Риму с войском, пощадил имущество патрициев, между тем как все принадлежащее плебеям было сожжено и разграблено. Метелл, начальствовавший над войсками в войне с Югуртой, убеждал всех послов, являвшихся к нему от Югурты, выдать царя; он писал им об этом письма и в короткое время добился того, что Югурта уже не верил никому из своих советников и всех их разными способами истребил.

Когда Ганнибал нашел убежище у Антиоха, то римские послы вступили с ним в такие доверительные переговоры, что Антиох встревожился и перестал слушаться его советов.

Для другой цели, именно для разделения вражеских войск, лучше всего вторгнуться в неприятельскую землю и этим заставить противника бросить войну и поспешить на защиту своей страны. Так поступил Фабий, воевавший против соединенных сил галлов, этрусков, умбров и самнитов[207]. Тит Дидий, силы которого были значительно меньше неприятельских, ждал из Рима на подкрепление легион, но враги приготовились загородить ему дорогу.

Чтобы не допустить этого, консул объявил по всему войску о назначении боя на следующий день; затем он дал возможность убежать некоторым пленным, которые в свою очередь рассказали о его приказе у себя в лагере и произвели этим такое впечатление, что враги, из опасения себя ослабить, отказались от попытки преградить дорогу римскому легиону, благополучно присоединившемуся к войскам Дидия. Полководец достиг своей цели, состоявшей не в разделении неприятельских сил, а в удвоении его собственных.[208]

Некоторые вожди, чтобы заставить противника разделяться, позволяли ему углубляться в свою страну и даже завладеть многими городами, дабы необходимость оставлять в них гарнизоны уменьшила его войско; пользуясь его раздробленностью, они переходили в наступление и побеждали.

Другие, подготовляя вторжение в какую-нибудь область, притворялись, что собираются идти в совершенно другую сторону, и вели свое дело так искусно, что появлялись внезапно и захватывали край раньше, чем неприятель мог подоспеть на выручку. Противник, не зная, повернешь ли ты опять к месту, которому угрожал первоначально, вынужден оставлять там войска и в то же время спасать другой пункт, а потому он часто не защищал ни того ни другого.

Далее, полководец должен уметь искусно подавлять волнения и улаживать ссоры, начавшиеся между солдатами. Самое лучшее в таких обстоятельствах – наказать главарей, но необходимо при этом захватить их с такой быстротой, чтобы они даже не успели оглянуться. Если они находятся далеко, вызови к себе не только виновных, но и всю войсковую часть, дабы зачинщики не догадались о готовящейся им участи и не успели убежать, а, наоборот, сами облегчили бы тебе суд и расправу.

Если все произошло у тебя на глазах, окружи себя надежными войсками и усмиряй мятеж с их помощью. Если между солдатами начинаются ссоры, лучше всего послать их в бой; опасность сейчас же восстанавливает согласие. Однако надо сказать, что единство поддерживается в войске прежде всего авторитетом главнокомандующего и создается оно единственно его талантом, ибо на войне уважение внушают не род и не власть, а только талант.

Начальнику надлежит первым делом карать солдат и платить им жалованье; если нет жалованья, невозможна и кара. Солдата, которому не платят, нельзя наказывать за грабеж, потому что он не может не грабить, если хочет жить. Наоборот, если ты ему платишь, но не наказываешь, солдат наглеет и перестает с тобой считаться; ты уже не можешь заставить себя уважать, а неуважение к начальнику ведет прямо к мятежам и раздорам, то есть к гибели войска.

У полководцев древности была еще одна забота, от которой современные почти совершенно свободны, – это разъяснение в выгодную для себя сторону дурных предзнаменований; стрела, упавшая в лагерь, затмение солнца или луны, землетрясение, падение начальника с лошади – все это толковалось солдатами как дурной знак и вселяло в них такой страх, что, случись в эту минуту бой, поражение было бы неминуемо. Поэтому античные

полководцы в таких случаях растолковывали происшедшее солдатам, сводя событие к его естественной причине, или толковали эти случайности в свою пользу.

Когда Цезарь упал при высадке на африканский берег, он воскликнул: «Я взял тебя, Африка». Многие другие объясняли солдатам причину затмений луны или землетрясения. В наше время все это невозможно как потому, что нынешние солдаты не так суеверны, так и потому, что наша религия вообще исключает подобные страхи. Если бы нечто в этом роде все же произошло, надо подражать примеру древних. Если на тебя идет противник, ожесточенный до последнего предела голодом, нуждой или слепой яростью, оставайся в лагере и, насколько возможно, избегай сражения.

Так поступали лакедемоняне в войне против мессенян и Цезарь в войне против Афрания и Петрея[209]. Консул Фульвий, начальствовавший над войсками, действовавшими против кимвров, несколько дней подряд вступал с ними в конные стычки и заметил, что неприятель всегда выходил из лагеря для преследования. Устроив позади неприятельского стана засаду, он опять напал конницей на кимвров, а когда те вышли из окопов на преследование, Фульвий внезапно бросился на вражеский лагерь и разгромил его[210].

Очень полезной оказывалась и хитрость иного рода. Находясь на виду у противника, командующий раздавал своим войскам знамена, схожие с неприятельскими, и посылал их грабить собственную страну. Враги принимали их за прибывшие к ним подкрепления, присоединялись к грабившим отрядам, теряли боевой порядок и этим давали возможность себя разбить. Этой уловкой с успехом пользовались Александр, царь эпирский, в войне с иллирийцами и сиракузянин Лептин против карфагенян.

Многие добивались победы тем, что притворялись устрашенными и бросали лагерь со всеми стадами и вином, предоставляя врагу объесться и перепиться, а затем нападали на обессилевших от обжорства неприятельских солдат и опрокидывали их. Так действовала Тамирис против Кира и Тиберий Гракх против испанцев. Другие старались облегчить себе успех тем, что отравляли вино и пищу.

Александр — сын знаменитого Пирра, унаследовавший престол в Эпире после смерти своего отца.

Лептин — брат Сиракузского тирана Дионисия, который во время войны с Карфагеном 398—393 гг. до н. э. командовал различными соединениями сиракузской армии и флота.

Тамирис — царица среднеазиатских скифов, которая в 529 г. до н. э. заманила армию Кира Старшего в пустыню и там ее уничтожила.

Тиберий Семпроний Гракх — пропретор, воевавший в Испании с иберами в 179 г. до н. э.

Под *«другими»* имеется в виду, по-видимому, карфагенский полководец Магарбал, который подмешал в вино снотворное и дал врагам захватить свой обоз с этим вином, после чего без труда захватил их.

Я уже говорил вам, что не встречал у древних указаний на обычай высылать ночью велетов за лагерные укрепления, и объяснял это желанием предупредить возможную опасность. Часто оказывалось, что даже днем причиной поражения были велеты, высланные для наблюдения за неприятелем; их брали в плен и силой заставляли подать сигнал к вызову своих из лагеря, а войска, выступившие по данному знаку, истреблялись или захватывались.

Для обмана противника полезно иногда менять какую-нибудь установившуюся твою привычку, потому что неприятель, зная ее, сообразует с ней свои действия и этим себя губит. Так поступил однажды один начальник, который всегда давал знать своим о приближении неприятеля ночью огнями, а днем – густым дымом. Он приказал беспрерывно подавать сигналы и светом, и дымом, но прекратить все, как только покажется неприятель. Враг, не видя обычных знаков, решил, что идет незамеченным, двинулся без всяких предосторожностей и был разбит.

Желая выманить неприятеля из укрепленной позиции, Мемнон Родосский послал к врагам под видом перебежчика одного из своих воинов, который сообщил, что в войске начались бунты и большая часть его ушла совсем. Для подтверждения этого рассказа Мемнон устроил у себя в лагере притворный мятеж, а противник, решивший, что теперь ему удастся его опрокинуть, пошел на приступ и был разбит.

Не следует, однако, доводить врага до отчаяния; это понял Цезарь во время войны с германцами: он заметил, что невозможность отступления заставляет их биться до последней крайности, и открыл им дорогу, предпочитая преследование бегущих победе над защищающимися. Лукулл, увидев, что часть бывшей в его войске македонской конницы переходит к неприятелю, сейчас же велел трубить наступление и приказал всем остальным войскам идти за перебежчиками. Противник решил, что Лукулл начинает бой и бросился на македонян с такой яростью, что тем пришлось защищаться и невольно из беглецов превратиться в бойцов.[211]

Мемнон Родосский (ок. 380—333 гг. до н. э.) — греческий военачальник, возглавлявший греческих наемников персидского царя Дария III, воевавшего с Александром; фактический вождь антимакедонского движения. Впрочем, рассказанный эпизод может и не иметь отношения к походам Александра.

Очень важно после победы или до нее захватить город, которому ты не доверяешь; древность показывает нам немало примеров этого искусства. Помпей, не доверяя жителям Катины, предложил им впустить к себе нескольких заболевших римских солдат и послал под видом больных отборный отряд, который и захватил город.

Публий Валерий, подозревавший эпидаврийцев, пригласил их в загородный храм на религиозные торжества, нечто вроде нашего отпущения грехов, и когда весь народ собрался, он велел запереть городские ворота и принял обратно только тех, кого считал надежными. Александр Великий, собираясь в Азию и желая обеспечить себя со стороны Фракии, взял с собой первых граждан страны, назначив их на разные должности в войске, и заменил их во Фракии людьми самого низкого происхождения. Таким образом, он удовлетворил аристократию деньгами и удержал в повиновении народ, лишив его вождей[212].

Однако лучшее средство привлекать на свою сторону народы – это целомудрие и справедливость, примеры чего показал в Испании Сципион, возвративший отцу и мужу плененную дочь и жену и завоевавший этим Испанию больше, чем оружием. Цезарь в Галлии велел заплатить за деревья, срубленные на тын для

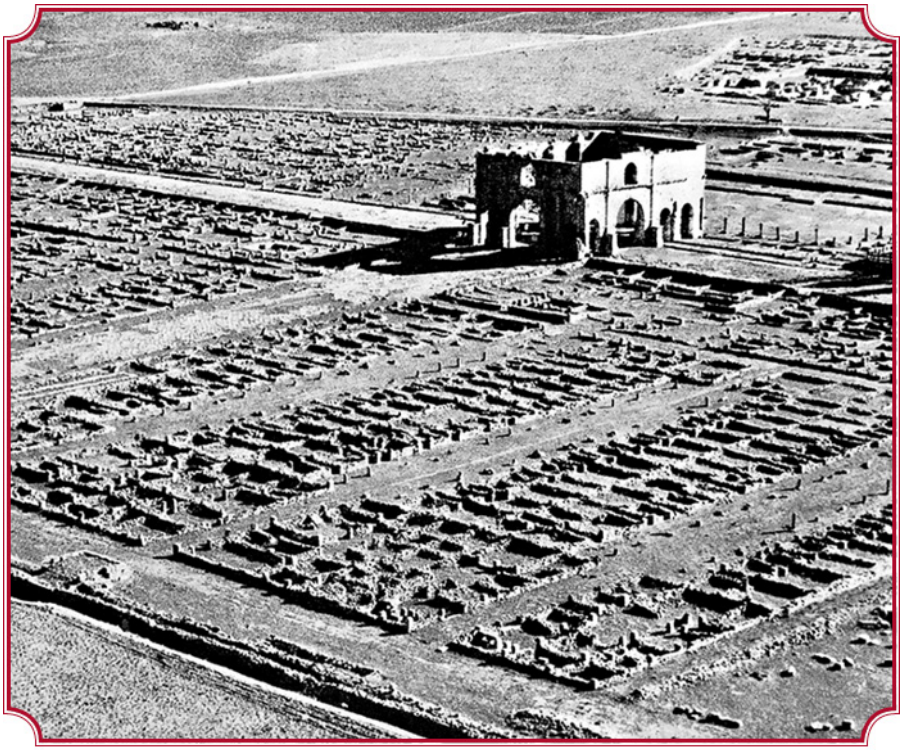
лагеря, и приобрел этим славу справедливости, облегчившую ему покорение страны.

Не знаю, могу ли я еще что-нибудь прибавить, так как рассмотрел как будто все, что можно сказать об этом предмете. Остается объяснить вам способы осады и защиты крепостей, и если вы не возражаете, я вам охотно о них расскажу.

БАТТИСТА: Ваша любезность так велика, что вы исполняете все наши желания, и мы даже не боимся оказаться нескромными, так как вы щедро даете нам больше, чем мы решились бы попросить. Скажу вам поэтому только одно, что вы не можете сделать нам большего одолжения, чем продолжив вашу речь. Я прошу вас только – ответьте сначала на один вопрос: следует ли продолжать войну также зимой, как это принято сейчас, или вести ее только летом, а на зиму отправляться на стоянку, как это делали в древности?

ФАБРИЦИО: Вот что значит мудрый вопрошатель! Ведь я мог бы без него забыть о весьма важном предмете. Повторяю, что древние поступали во всем лучше и осторожнее нас. Если мы часто делаем ошибки в делах гражданских, то в делах военных мы ошибаемся всегда.

Нет ничего опаснее и неосторожнее зимней войны, причем для наступающего она еще много опаснее, чем для обороняющегося. Дело вот в чем: вся строгость военной дисциплины нужна только для того, чтобы войска были в полном порядке, когда наступает час сражения. Вот цель, к которой должен стремиться всякий полководец, ибо бой – это выигрыш или проигрыш войны.



Римский лагерь в Ламбезисе.
Первая половина II в.

Кто сумеет лучше к нему подготовиться и поддержать в своей армии большую дисциплину, тот приобретает безусловное преимущество над противником и может больше рассчитывать на победу. С другой стороны, нет ничего опаснее для движения войск, чем пересеченная местность или холодное и дождливое время.

Неровная местность не позволяет развернуть войска по всем правилам военного искусства; ненастье и морозы не дают возможности держать их в совокупности и противопоставить противнику единую массу, а вынуждают располагать их разрозненно и в беспорядке, считаясь с требованиями замков, городов и деревень, которые могут их принять.

Таким образом весь труд, положенный на создание крепко устроенной армии, пропадет даром. Не удивляйтесь, что теперь воюют зимой, ибо плохо обученные войска не понимают вреда разрозненного расположения и вовсе не хотят утруждать себя воинскими занятиями и соблюдением дисциплины, которой у них нет. А ведь им следовало бы подумать о бедствиях, к которым вела зимняя война, и вспомнить, что в 1503 году французов под

Гарильяно победила зима, а не испанцы[213].

Я уже говорил вам, что наступающему приходится особенно плохо, ибо дурная погода больше вредит тому, кто воюет на чужой земле. Чтобы не раздроблять свои силы, он вынужден терпеть ненастье и морозы, а если он захочет избежать этих неудобств, придется разделить армию на части. Обороняющийся может, наоборот, выбрать удобную местность и выжидать со свежими силами, а затем быстро их сосредоточить и напасть на отдельный неприятельский отряд, который перед ним не устоит.

Так были разбиты французы и все, кто нападал зимой на осторожного противника. Поэтому каждый полководец, который не хочет, чтобы его войска утратили силу, порядок, дисциплину и доблесть, должен решительно восставать против зимней войны. Римляне хотели извлечь пользу из своих трудов и потому одинаково избегали зимних походов, горной войны, трудных условий местности и вообще всего, что помешало бы им показать во всей силе их искусство и доблесть. Этого довольно для ответа на ваш вопрос. А теперь перейдем к обороне крепостей, осаде городов и искусству возводить укрепления.

КНИГА СЕДЬМАЯ

ФАБРИЦИО: Прежде всего вы должны знать, что сила города и крепости дается им или природой, или искусством. Они сильны

от природы, если окружены водами или болотами, подобно Мантуе и Ферраре, или построены на скале или крупной горе, как Монако и Сан-Лео. Наоборот, крепости, расположенные на высотах, более или менее доступных, очень слабы, особенно при современных пушках и подкопах. Поэтому их строят большей частью на ровных местах и укрепляют с помощью искусства.

Первое требование – это возводить стену в виде ломаной линии, по возможности умножая число исходящих и входящих углов. Противник не может тогда близко подойти, так как подвергает себя опасности нападения не только с фронта, но и с фланга. Если стена высока, она слишком открыта для пушечного огня; если она низка, на нее легко взобраться. Если вырыть перед стеной рвы, чтобы затруднить приступ, то многочисленный неприятель легко их засыплет, и стена будет захвачена.

Поэтому я считаю (я, конечно, могу ошибаться), что во избежание этой двойной опасности надо строить высокие стены и устраивать рвы за ними, а не снаружи. Это лучший способ строить укрепления, ибо он защищает тебя одинаково от артиллерии и от приступа, не давая вместе с тем врагу возможности засыпать рвы. Итак, высота стены должна быть во всяком случае достаточной, а ширина – не менее трех локтей, чтобы труднее было ее разрушить.

По крепостной стене стоят башни на расстоянии 200 локтей друг от друга; внутренний ров должен быть шириной не меньше 30 и глубиной в 12 локтей. Вынутая земля вся выбрасывается в сторону города и подпирается стеной, начинающейся от подошвы рва и возвышающейся над насыпью на человеческий рост, благодаря чему увеличится глубина рва. На дне его через каждые 200 локтей будут устроены казематы, вооруженные пушками, которые уничтожат всякого, кто попытается спуститься в ров. Крупные орудия, защищающие город, ставятся за стеной, замыкающей ров, ибо для защиты наружной стены удобны вследствие ее высоты только небольшие или средние орудия.

Если враг решается на приступ, его сразу же задержит высокая внешняя стена. Если он подойдет с артиллерией, то должен будет сначала эту внешнюю стену разрушить, но при этом пострадает сам, так как стена всегда обваливается в сторону обстрела и образуются огромные груды обломков, которым осыпаться некуда, так что они только еще увеличивают глубину рва. Таким образом продвинуться нельзя, ибо этому помешают развалины стены, ров и расположенная сзади него артиллерия, которая бьет осаждающего наверняка.

Остается последнее средство – засыпать ров, но это дело очень и очень трудное: ров широк и глубок, а приблизиться к

нему нелегко, так как стена идет ломаной линией со множеством входящих и исходящих углов и двигаться между ними, по причинам, уже указанным, можно только с большим трудом. Наконец, неприятель должен перетащить все необходимое ему через развалины стены, и это создает ему жесточайшие затруднения. Таким образом, я считаю, что крепость, устроенная по моему предложению, будет совершенно неприступной.

БАТТИСТА: Не станет ли наша крепость еще сильнее, если, кроме внутреннего рва, выкопать еще ров снаружи?

ФАБРИЦИО: Несомненно, но если выкапывается только один ров, лучше делать это с внутренней стороны.

БАТТИСТА: Какие рвы вы предпочитаете – наполненные водой или сухие?

ФАБРИЦИО: На этот счет есть разные мнения, так как водяные рвы предохраняют от подкопов, а сухие труднее засыпать. Однако, взвесив все соображения, я предпочел бы сухие рвы, потому что они безопаснее. Случалось, что водяные рвы зимой замерзали и облегчали этим взятие города, как это и было при осаде Мирандолы Папой Юлием II[214]. Для защиты от неприятельского подкопа я выкапывал бы рвы такой глубины, что всякий, кто вздумал бы рыть дальше, непременно наткнулся бы на воду. Стены и рвы крепостей должны устраиваться точно так же, дабы оказать осаждающему столь же сильное сопротивление.

Защитнику города я настойчиво советую помнить одно: не устраивайте отдельных бастионов вне главной стены. Строителю крепости я советую другое: не устраивайте в ней никаких укреплений, куда гарнизон мог бы укрыться после потери передней стены. Когда я даю первый совет, то думаю о следующем: надо избегать всего, что может сразу и бесповоротно подорвать прежнее высокое мнение о тебе людей. Они перестают тогда считаться с твоими распоряжениями, а прежние твои сторонники боятся за тебя заступиться.

Между тем это непременно случится, если ты возведешь бастионы отдельно от главной городской стены; они всегда будут взяты, ибо в наши дни немыслимо удержать мелкие укрепления, попавшие под уничтожающий огонь пушек, а потеря бастионов будет началом и причиной твоего собственного падения. Когда генуэзцы восстали против Людовика, короля Франции, они возвели некоторые бастионы на холмах, окружающих город, но бастионы эти были сейчас же снесены, и потеря их повлекла за собой взятие самого города.

Скажу теперь о смысле второго совета. Я утверждаю, что самая большая опасность для защиты крепости – это существование в ней укреплений, куда можно отступить после

потери переднего вала. Если солдаты надеются на спасение, отдав неприятелю обороняемые места, они не станут защищаться, а потеря важного пункта приведет к падению всей крепости. За примером ходить недалеко: вспомните взятие крепости Форли, которую графиня Катарина защищала против сына папы Александра VI – Цезаря Борджа, осаждавшего ее во главе французских войск.

Катарина Сфорца — дочь Галеаццо Сфорца, вдова тирана Форли Джироламо Риарио, убитого заговорщиками в 1488 г. Прославилась тем, что дважды сумела защитить крепости Форли. В первый раз — в 1488 г., когда она выстояла против убийц своего мужа, а во второй — в 1499 г., удержавшись против Чезаре Борджиа и французских войск. Позднее вышла замуж за Джованни Медичи, будущего Папу Льва X.

В крепости было множество укреплений, куда можно было последовательно отступать. Во-первых, там находилась цитадель, отделенная от крепости рвом, через который был перекинут подъемный мост; крепость делилась на три части, отделенные водяными рвами и соединявшиеся мостами.

Огонь герцогских орудий сосредоточился на одной из частей, и в стене образовался пролом, а комендант, мессер Джованни да Казале, и не подумал защищать брешь, а отступил и отвел войска к другим укреплениям. Солдаты герцога, проникшие без сопротивления в эту часть, овладели мостами, связывавшими ее с другими частями, и мгновенно оказались хозяевами всей крепости.

Так пала твердыня, считавшаяся неприступной, и произошло это по двум причинам: во-первых, в ней было слишком много бесполезных внутренних укреплений; во-вторых, отдельные части крепости не имели возможности самостоятельно и вовремя поднимать мосты. Скверно построенная крепость и бездарность коменданта погубили мужественную графиню, решившую сопротивляться войску, на борьбу с которым не отваживались ни король Неаполя, ни герцог Милана[215].

Усилия ее, правда, не имели успеха, но борьба принесла ей великую честь, вполне заслуженную ее доблестью. Свидетельством этому является множество стихотворений, сложенных тогда в ее похвалу.

Если бы мне пришлось строить крепость, я бы обнес ее крепкими стенами и рвами по способу, о котором мы уже говорили; внутри я оставил бы только жилые постройки и нарочно делал бы их непрочными и низкими, дабы они не мешали коменданту, находящемуся в центре, обозревать все пространство крепостных стен и видеть, куда надо спешить на помощь.

Каждому солдату я твердо внушил бы, что с потерей стен и рва крепость погибла. Наконец, если бы я и решился устроить внутреннюю оборону, то расположил бы мосты таким образом, что каждая часть крепости могла бы поднимать их самостоятельно; для этого мосты должны опускаться с краев рва на столбы, поставленные в его середине.

БАТТИСТА: Вы сказали, что в наше время невозможно оборонять мелкие укрепления. Помнится, я слышал обратное мнение, именно – что чем укрепление меньше, тем легче его защищать.

ФАБРИЦИО: Вы неправильно меня поняли; я хотел сказать, что сейчас крепостью можно назвать только такое укрепленное место, которое достаточно обширно, чтобы гарнизон в случае необходимости мог отступить за новые стены и рвы. Разрушающий огонь артиллерии так силен, что основывать защиту на силе сопротивления только одной стены или одного вала было бы большой ошибкой. Обыкновенный бастион не имеет двойного вала и потому падает немедленно (говорю «обыкновенный», потому что при больших размерах это будет уже крепость или замок).

Поэтому самое основное – это отказаться от таких бастионов и укреплять вход в крепость, прикрывая ворота равелинами, дабы нельзя было ни войти, ни выйти из них по прямой линии. Равелин отделяется от ворот рвом с подъемным мостом, а ворота, помимо того, защищаются еще опускными решетками, чтобы при неудачной вылазке можно было укрыть за ними солдат и не дать неприятелю ворваться на их плечах в крепость.

Решетки эти, называвшиеся в древности катарактами, были изобретены именно для этого. Дело в том, что в этих случаях нельзя надеяться ни на подъемные мосты, ни на ворота, так как и те и другие забиты бегущей толпой.

БАТТИСТА: Я видел такие опускные двери. В Германии их делают из отдельных брусьев в форме железной решетки, между тем как наши двери – это толстые доски, связанные наглухо. Мне хотелось бы знать, откуда эта разница и какие решетки лучше?

ФАБРИЦИО: Повторяю вам снова, что воинские установления древних и военное искусство их заброшены во всем мире, но в

Италии они забыты совершенно, так что все более или менее хорошее перенимается нами у северных народов. Вы, может быть, слышали, а некоторые, вероятно, еще помнят о том, как слабы были наши крепости вплоть до похода Карла VIII в Италию в 1494 году[216].

Зубцы стен были толщиной не больше полулоктя, бойницы и амбразуры делались узкими снаружи и очень широкими внутри, да и вообще было много всяких других недостатков, о которых не стоит распространяться. Ничего не стоило сбить тонкие зубцы и разбить ядрами амбразуры, устроенные этим способом.

Теперь мы научились у французов делать толстые и прочные зубцы. Наши амбразуры, широкие внутри, суживаются у середины стены и затем снова расширяются в обе стороны; благодаря этому неприятельским орудиям трудно сбивать наши пушки. У французов в военном деле есть много хорошего, чего мы не заметили и потому не оценили. Таковы, между прочим, их опускные решетки из отдельных брусьев, которые, конечно, гораздо лучше наших сплошных.

Когда наша решетка спущена, вы можете только стоять за ней и не в состоянии вредить неприятелю, который легко уничтожит ее топором и огнем. Наоборот, если опускная дверь сделана в виде решетки, вы можете защищаться через отверстия пиками, самострелами и любым другим оружием.

БАТТИСТА: Я наблюдал в Италии еще один иностранный обычай, именно – такое устройство лафетов, при котором спицы колес наклонены к ступице. Мне хотелось бы знать, зачем это делается, ибо, по-моему, лафетные колеса прочнее, если их спицы вставлены отвесно, как у наших обыкновенных колес.

ФАБРИЦИО: Не думайте, что все, отклоняющееся от обычного образца, появляется случайно или что французы это делают для красоты. Где нужна прочность, о красоте не заботятся. Все дело в том, что французские лафетные колеса прочнее и крепче наших. Сейчас я вам это объясню. Когда лафет двигается на передке, он либо идет ровно, либо наклоняется в какую-нибудь сторону.

Если он идет ровно, то тяжесть его распределена между колесами одинаково, и особенной перегрузки их поэтому нет; когда же лафет наклоняется, вся тяжесть его падает на одно колесо. Если спицы вставлены отвесно к ступице, они легко могут сломаться, так как наклоняются вместе с колесом и тяжесть падает на них не по прямой.

Таким образом, обыкновенные колеса всего прочнее, если лафет идет прямо и груз разделен между ними поровну; если же лафет наклонен и тяжесть падает на одно колесо, они гораздо слабее. Совершенно иное представляют собой французские

лафеты с их наклонными спицами, ибо когда весь груз лежит на одном колесе, они вследствие своего обычного наклонного положения выпрямляются и легко выдерживают всю тяжесть. Если же лафет идет ровно, спицы наклонены к ступице, но зато держат лишь половину тяжести.

Возвратимся, однако, к городам и крепостям. Для лучшей защиты ворот, а также для облегчения вылазок и обратного вступления войск в крепость французы пользуются еще одним способом, который в Италии, по-моему, еще никогда не применялся: у конца подъемного моста ставятся два столба; по середине каждого из них укреплена подвижная балка, половина которой висит над мостом, а другая половина остается за ним; наружные части подвижных балок соединены мелкими брусьями, образующими решетку, а с внутренней их стороны прикрепляются цепи.

Чтобы закрыть мост снаружи, спускают цепь и сбрасывают решетку, которая при падении загораживает вход. Наоборот, когда надо открыть мост, цепи подтягивают, поднимают решетку, насколько нужно, чтобы пропустить пехотинца или всадника, а затем сейчас же закрывают ее снова, ибо решетка поднимается и опускается, подобно заслонам бойницы.

Это приспособление лучше обыкновенной опускной двери, которая падает прямо, так что ее всегда можно подпереть, между тем как французская решетка спускается не по прямой, и неприятель не может остановить ее движение. Строители крепостей должны соблюдать все эти предписания.

Кроме того, на расстоянии одной мили от крепостных стен не должно быть ни пашен, ни построек, дабы кругом была открытая равнина без единого кустарника, насыпи, дерева или дома – вообще ничего, что загораживало бы вид и могло бы укрыть подступающего неприятеля. Заметьте, что наружные рвы с насыпями выше уровня местности только ослабляют крепость. Насыпи, с одной стороны, прикрывают подступы осаждающего к укреплениям, а с другой – не останавливают действия осадных орудий, так как легко разрушаются.

Перейдем теперь к описанию внутреннего распорядка крепостей. Не буду много говорить о необходимости иметь в них достаточный запас продовольствия и боевого снаряжения, так как это вещи, каждому понятные, и без них все прочие меры не нужны. Вообще надо постараться снабдить себя в изобилии и вместе с тем помешать противнику пользоваться средствами страны. Поэтому надо уничтожить все продовольствие, а также весь корм и скот, который нельзя ввести к себе в крепость.

Комендант крепости должен строго следить за сохранением в

ней полного порядка и принять все меры к тому, чтобы каждый всегда и во всех случаях знал свои обязанности. Женщины, старики, дети и больные должны сидеть по домам, чтобы не мешать юношам и мужчинам. Гарнизон разделяется на части, расставляемые у стен, ворот и важнейших мест крепости, дабы прекратить всякий начавшийся беспорядок. Некоторые отряды не занимают никаких заранее указанных постов, а держатся наготове, чтобы выступить всюду, куда потребуется.

При таком устройстве беспорядки едва ли возможны вообще. Заметьте себе еще одно важное обстоятельство: при осаде и обороне города неприятель больше всего надеется на успех, если знает, что жители вообще никогда еще не воевали. Как часто бывает, что города сдаются просто со страху, даже не испробовав свои силы!

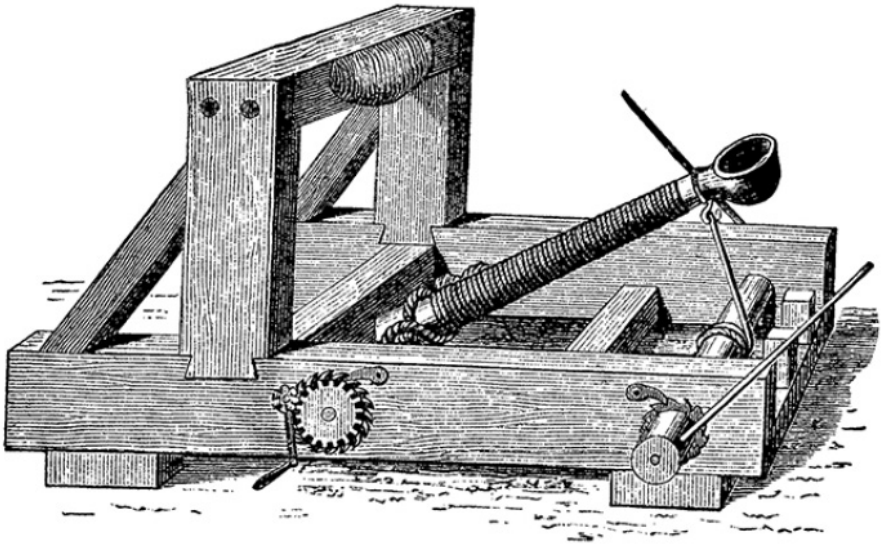
Поэтому осаждающий должен всеми силами стараться как можно больше устрашить население. Осажденный со своей стороны должен поставить на всех угрожаемых пунктах крепких людей, которые могут уступить только оружию, а не молве. Неудача первого приступа укрепит мужество осажденных, и врагу надо тогда надеяться только на свою силу, а не на славу непобедимости.

Для обороны крепостей у древних служили различные орудия, как баллисты, онагры, скорпионы, аркбаллисты, пращи. Для осады употреблялись тараны, башни, подвижные щиты, защитные плетни, деревянные подступы, косы, черепахи. Вместо всех этих орудий сейчас действуют пушки, служащие одинаково для осады и для обороны, так что о них можно не говорить.

Рассмотрим теперь подробнее средства овладения крепостью. Осажденному грозят, собственно, две опасности: голод и неприятельский приступ. Я уже говорил о том, что для предупреждения голода надо как следует снабдить себя провиантом еще до осады. При истощении запасов защитники часто ухитрялись получить продовольствие от союзников каким-нибудь необычным способом. Это не так трудно, особенно если осажденный город разделен пополам рекой.

Во время осады Ганнибалом римской крепости Казилинум римляне, не имея возможности доставить по реке другую пищу, бросали в воду громадное количество орехов, которые беспрепятственно плыли по течению и очень помогли гарнизону. Другие осажденные действовали иначе: желая показать неприятелю, что запасы у них есть в этим отнять у него надежду взять их измором, они выбрасывали хлеб за городской вал или обкармливали им вола и выпускали его на волю, рассчитывая на то, что неприятель его зарежет и по набитому хлебом желудку

животного убедится, что город снабжен в изобилии.



Тяжелая осадная баллиста времен Цезаря.
Реконструкция XIX в.

Считается, что метательные машины появились во времена расцвета Ассирии (I тысячелетие до н. э.), однако о «технике» тех времен почти ничего не известно. А вот машины эллинистического и римского периодов были реконструированы по древним описаниям в XIX в. По принципу действия они были торсионными, то есть использовали энергию скрученных волокон (сухожилий, веревок и пр.). Обычная катапульта, или онагр, весила около двух тонн и метала каменные ядра весом 40 кг на расстояние до 400 м. В среднем — по четыре за час. Самые мощные катапульты весили 15—20 т и стреляли на 300 м валунами по полтонны. Другие машины — баллисты — напоминали гигантские арбалеты с двумя вертикальными торсионами, выполнявшими функции «ветвей лука». Самые мощные баллисты имели размах рычагов до 6 м, 12 м в длину и вес более 4 т, стреляли как камнями, так и копьями весом в центнер. Но чаще всего применялись балисты шириной до 3 м, метавшие стрелы или ядра весом около 2 кг на расстояние до 1 км.

С другой стороны, большие полководцы, осаждавшие города, измышляли самые разнообразные хитрости для истощения неприятеля. Фабий нарочно позволил жителям Кампании засеять поля, чтобы лишить их части зерна. Дионисий при осаде Реджо притворился, что готов пойти на соглашение с осажденными, и уговорил их снабдить его продовольствием во время переговоров, а затем, когда город остался без хлеба, он обложил его еще теснее и выморил голодом.

Александр Великий, готовясь к осаде Левкадии, захватил все окрестные крепости, так что гарнизонам их осталось только уйти в ту же Левкадию, которая оказалась переполненной народом и была вынуждена из-за голода к сдаче.

Квинт Фабий Максим в 215 г. до н. э. боролся с перешедшими на сторону Ганнибала жителями Кампании.

Дионисий Старший, тиран Сиракуз, осаждал Регий в 388—387 гг. до н. э.

Упомянутый Александр, скорее всего, не Александр Великий, а Александр Эпирский, сын Пирра, который около 265 г. до н. э. осадил город Левкадию на одноименном острове.

О приступах мы уже говорили, и я тогда же доказывал вам, что самое важное – это первый штурм. Римляне много раз брали города первой атакой, нападая сразу со всех сторон. Способ этот назывался у них aggredi urbem corona[217]. Так действовал Сципион под Новым Карфагеном в Испании[218]. Однако, если первый приступ отбит, то рассчитывать на взятие города уже трудно.

Если неприятелю даже удастся овладеть стеной и ворваться, то для защитников далеко не все потеряно, лишь бы они не растерялись. Сколько раз бывало, что неприятельские войска, уже проникшие в город, должны были отступить или вовсе погибали.

Осажденным надо в этих случаях занять господствующие места и поражать противника с высоты домов и башен. Со своей стороны нападающие, уже вошедшие в город, действовали обычно двумя способами: они либо открывали ворота и давали гарнизону возможность бежать, либо объявляли через вестника, что пощадят всякого, кто бросит оружие, и уничтожат только вооруженных. Это очень часто облегчало победу.

Наконец, город легко взять внезапным штурмом. Для этого надо расположить войска в некотором отдалении, дабы жители поверили, что ты или не собираешься на них нападать или не можешь сделать это незаметно, вследствие дальности расстояния. Если ты потом подойдешь неожиданно и сразу двинешь войска на приступ, то успех почти несомненен. Я неохотно говорю о делах современных, ибо говорить о себе и своих походах мне было бы трудно, а рассуждая о других, я часто не знал бы, что сказать.

Тем не менее не могу не сослаться на пример Цезаря Борджа, герцога Валентино. Находясь с войсками у Ночеры, он притворился, что собирается идти на Камерино, а затем неожиданно повернул к Урбино и без всякого труда захватил

город в один день, между тем как другой полководец потратил бы на это массу времени и денег.[219]

Осажденные должны быть также настороже против всякого рода ловушек и военных хитростей неприятеля. Если они видят, что враг изо дня в день производит одно и то же действие, пусть не успокаиваются и знают, что здесь скрывается обман и готовится на погибель им нечто совсем новое. Домиций Кальвин, осаждавший какой-то город, усвоил себе привычку ежедневно обходить вокруг стен с большим отрядом войск. Жители решили, что он производит учение, и несколько успокоились. Как только Домиций заметил, что противник стал менее осторожным, он сейчас же пошел на приступ, и город был взят.

Некоторые полководцы, узнав, что к осажденным идут подкрепления, одевали своих солдат по неприятельскому образцу, вводили их благодаря этому переодеванию в крепость и захватывали ее. Кимон Афинский поджег однажды храм, стоявший за городской стеной; жители бросились тушить пожар, а город тем временем достался неприятелю. Некоторые полководцы захватывали неприятельских фуражиров и в их платье переодевали своих солдат; эти солдаты проникали в крепость и открывали ворота неприятелю[220].

Древние полководцы пользовались вообще самыми различными средствами, чтобы ослабить защиту осажденных городов. Сципион во время войны в Африке, желая захватить некоторые карфагенские крепости, не раз делал все приготовления к приступу и затем отступал, как бы из опасения неудачи. Ганнибал поверил, что это действительно так, и стянул к себе все их гарнизоны, чтобы получить численный перевес и легче добиться победы. Как только Сципион об этом узнал, он двинул войска своего союзного полководца Масиниссы к этим крепостям, и они были взяты[221].

Пирр, осаждавший столицу Иллирии, защищенную сильным гарнизоном, притворился, что отчаивается в успехе, и направился к другим крепостям, а иллирийцы попались в западню, послали войска на выручку крепостям и настолько ослабили защиту столицы, что ее уже нетрудно было взять. Многие для овладения городом отравляли воду или отводили течение рек, хотя это средство ненадежное. Иногда осажденных принуждали к сдаче, пугая их ложными известиями о поражении их войск или о прибытии новых подкреплений к осаждающим.

Древние полководцы старались также захватить город изменой, подкупая жителей. Причем действовали разными способами. Одни посылали кого-нибудь из своих, он притворялся перебежчиком, входил в доверие к неприятелю, становился

влиятельным человеком и пользовался этим в интересах того, кто его послал. Другие этим путем узнавали расположение караулов и благодаря полученным сведениям проникали в город. Третьи под каким-нибудь предлогом загромождали ворота повозкой или бревнами, так что их нельзя было вовремя запереть, и осаждающий легко врывался.

Ганнибал, обложив одну римскую крепость, убедил одного из жителей предать ее. Для этого предатель отправлялся на охоту ночью, притворяясь, что днем боится неприятеля. Через некоторое время, возвращаясь в город, он привел с собой отряд солдат, которые перебили часовых и открыли ворота карфагенянам[222].

Иногда осажденных можно обмануть, выманивая их из города на вылазку и притворно обращаясь в бегство, чтобы завлечь их возможно дальше. Многие полководцы, между прочим и Ганнибал, даже отдавали неприятелю свои лагеря, чтобы отрезать ему отступление и взять город.

Полезно также притворное снятие осады. Так поступил, например, афинянин Формион[223], который сначала разорил землю халкидян, а затем принял их послов, надавал им всяких хороших обещаний и, воспользовавшись их неосмотрительностью, овладел городом. Осажденные должны тщательно следить за всеми подозрительными людьми из городских жителей. Впрочем, иногда их можно привлечь на свою сторону не только страхом, но и благодеяниями.

Марцелл знал гражданина Нолы Луция Банция как сторонника Ганнибала, но обходился с ним настолько великодушно, что превратил его из врага в самого преданного друга[224]. Когда неприятель отходит от города, осажденным надо быть осторожнее, чем во время осады. Необходимо особенно охранять именно те места, которые кажутся наиболее безопасными, ибо многие крепости были взяты нечаянным нападением с той стороны, откуда никто его не ждал.

Ошибка осажденных объясняется двояко: они или преувеличивают мощь крепости, считая ее неприступной, или попадаются на обман неприятеля, который производит ложное и шумное нападение с одной стороны, а настоящий приступ готовит совсем в другом месте и в полной тишине. Поэтому осажденные должны смотреть в оба, всегда, и особенно ночью, строжайшим образом охранять крепостные стены и пользоваться для этого, не только людьми, но и злыми, чуткими собаками, обнаруживающими врага своим лаем.

Да и не только собаки спасали иной раз города, а и гуси, как известно по рассказу об осаде галлами Капитолия. Алкивиад[225]

во время осады Афин спартанцами захотел убедиться в бдительности стражи и под страхом жестокого наказания приказал, чтобы в ту минуту, когда он ночью зажжет огонь, все часовые отвечали ему тем же. Афинянин Ификрат[226] убил спавшего часового и сказал затем, что оставил его в том же состоянии, в каком он его застал.

С союзниками осажденные сносятся различно: чтобы не посылать устных сообщений, пишут условленными цифрами и переправляют письма самыми разнообразными способами – их прячут в ножнах меча, запекают в хлебном тесте, скрывают в самых потаенных частях тела, заделывают в ошейник собаки, провожающей гонца. Некоторые писали самое обычное письмо, а между строк вписывали все нужное другим составом, позволяющим обнаружить буквы при смачивании или нагревании бумаги. Способ этот особенно развился в наше время и применяется очень хитро.

Если кто-нибудь хотел тайно написать друзьям, находящимся в крепости, и не желал никому доверять письмо, он прибивал к церковной двери объявление об отлучении в обычной форме, содержавшее между строк сообщение, написанное, как я вам уже говорил, а те, к кому письмо направлялось, узнавали бумагу по условленному знаку, снимали объявление и на досуге его читали. Это очень тонкий и безопасный способ, так как посланный с таким письмом может вовсе и не подозревать о его содержании.

Можно изобрести для сообщений еще бесконечное множество самых разнообразных средств. Все же надо иметь в виду, что легче писать осажденным извне, чем доставлять сведения из обложенной крепости, ибо такие письма могут переносить только мнимые перебежчики, а это – способ ненадежный и опасный, если только неприятель сколько-нибудь осторожен. Наоборот, тот, кто хочет сообщить что-нибудь в крепость, может под разными предлогами послать во вражеский лагерь гонца, который уже всегда найдет возможность туда пробраться.

Обратимся, однако, к другому предмету, именно – к современной осаде и обороне. Допустим, что вы осаждены в крепости, не обнесенной рвами внутри, как я уже вам объяснял. Если вы хотите помешать противнику ворваться в пролом, пробитый пушечным обстрелом (самый пролом заделать невозможно), вы должны еще под огнем выкопать за стеной ров шириной по меньшей мере в 30 локтей и выбрасывать всю вынутую землю в сторону города, чтобы образовать таким образом вал и увеличить глубину рва.

Работы эти необходимо вести как можно быстрее, чтобы к тому времени, когда стена начнет рушиться, глубина рва

достигала по меньшей мере пяти или шести локтей. Ров должен с обоих концов замыкаться казематом. Если же стена продержится так долго, что ты успеешь выкопать ров и устроить казематы, то обстреливаемая часть крепости будет сильнее всех остальных, ибо насыпанный вал заменит внутренние рвы, о которых мы уже говорили.

Если же стена слаба и у тебя не хватит времени на эти работы, то надо проявить все свое мужество и отразить приступ всеми силами и средствами.

Этот способ сооружения вала был применен пизанцами при осаде их нашими войсками, и он удался благодаря крепости стен, задержавших приступ, и глинистой почве, необычайно удобной для устройства валов и преград. Если бы не эти преимущества, пизанцы, несомненно, потерпели бы поражение[227]. Поэтому всегда лучше произвести все эти работы заранее и выкопать внутренний ров по всей окружности города, ибо когда вал сооружен, можно ожидать врага с полным спокойствием.

Древние часто брали города подкопами, причем действовали двояко: они либо вели подземный ход и проникали через него в город, как это было при взятии Вей[228], либо подрывали стены, чтобы в нужную минуту их обрушить. Второй способ очень употребителен в наше время, и благодаря ему выяснилось, что крепости, построенные на высотах, слабее других; их легче подрыть, а если положить в подкоп порох, воспламеняющийся мгновенно, то не только стены взлетят на воздух, но раскроются горы и все укрепления рассыплются на части.

Против этого можно бороться устройством крепости на равнине и сооружением настолько глубокого окружного рва, чтобы неприятель при всякой попытке прорыть его дальше наталкивался на подземные воды, которые одни только и опасны для этих подкопов. Если все же приходится оборонять крепость, расположенную на высоте, то единственное средство – это вырыть в городе множество глубоких колодцев, которые явятся как бы выходами из неприятельского подкопа.

Другой способ борьбы – это встречный подкоп, если только ты знаешь, как его направить; этим путем очень легко остановить работы противника, но вся трудность в том, чтобы их открыть, особенно когда имеешь дело с опытным врагом.

Самое страшное для осажденного – это нападение врасплох во время отдыха войск, например, после отбитого приступа, перед сменой часовых, то есть на рассвете или в сумерки, и особенно во время еды. Множество крепостей было взято именно такими атаками, и, наоборот, осаждающие не раз бывали разбиты этими внезапными вылазками гарнизона.

Поэтому здесь требуется с обеих сторон неусыпная бдительность, причем часть войск всегда должна быть при оружии. Надо вообще сказать, что оборона крепости или лагеря очень затруднена необходимостью раздроблять войска. Ведь неприятель может по своему желанию нападать единой массой с любой стороны. Поэтому ты должен защищать свои линии на всем их протяжении, и в то время как враг бросает на тебя все свои силы, ты можешь противопоставить ему только часть их.

Осажденный может быть совершенно уничтожен, а для осаждающего самое худшее – это только отбитый приступ. Такое положение заставляло многих полководцев, осажденных в лагере или в крепости, делать отчаянную вылазку и вступать в решительный бой, который давал им победу, несмотря на численный перевес неприятеля.

Так поступили Марцелл в Ноле[229] и Цезарь в Галлии. Обложенный в лагере громадными полчищами галлов, он понял, что, оставаясь в укреплениях, он погибнет, так как должен будет разделить свои силы и не сможет, укрываясь за палисадом, обрушиться на врага. Поэтому он открыл один из выходов лагеря, собрал в этом месте все войска и устремился на галлов с такой яростью и силой, что одержал полную победу[230].

Твердость духа осажденных много раз устрашала их противника и заставляла его отчаиваться в успехе. Во время войны между Помпеем и Цезарем, когда войско Цезаря сильно страдало от голода, Помпею был доставлен кусок хлеба, которым питались Цезаревы солдаты. Хлеб этот состоял из травы, и Помпей запретил показывать его войску, дабы оно не смутилось, увидав, с каким противником ему приходится сражаться[231].

Величайшая честь римлян в войне с Ганнибалом – это их удивительная твердость, ибо в самую трудную пору, когда счастье как будто окончательно им изменило, они ни разу не просили мира и не проявили ни малейшей слабости. Наоборот, когда Ганнибал стоял почти у ворот Рима, поля, на которых был разбит его лагерь, продавались по более высокой цене, чем в мирное время. Римляне вообще преследовали свою цель с такой непреклонностью, что ради защиты Рима даже не захотели снять осаду Капуи, обложенной ими в то самое время, когда неприятель угрожал их столице.

Французская тяжелая артиллерия XV—XVI вв.
Гравюра XIX в.

В правление Карла VIII французская артиллерия бурно развивалась. Ко времени вторжения французской армии в Италию в 1494 г. она была уже столь мобильна, что не отставала от войска на марше. Тяжелые орудия стреляли ядрами размером с человеческую голову. Мало того, французская артиллерия способна была маневрировать в бою и оказывала большую поддержку пехоте и кавалерии. Итальянская артиллерия того времени отставала в своем развитии от французской как минимум на полвека. Пушки не имели лафетов, в бою устанавливались на стволы деревьев и не могли маневрировать. Кроме того, скорострельность итальянской артиллерии, по сравнению с французской, была ничтожной. Практически, именно превосходство в артиллерии обеспечило многочисленные победы Карла VIII в Италии.

Многое из того, что я вам сказал, вы могли бы, конечно,

узнать сами. Однако я сделал это намеренно, чтобы лучше обнаружить все превосходство предлагаемых мною воинских установлений и принести некоторую пользу тем (если такие найдутся), кто не мог, подобно вам, участвовать в нашей беседе. Все сказанное мною можно выразить в некоторых общих правилах, которые надо твердо себе усвоить.

Вот эти правила:

Все, что полезно неприятелю, вредно тебе, и все, что полезно тебе, вредно неприятелю. Тот, кто на войне бдительнее следит за неприятелем и тщательнее обучает и упражняет свои войска, подвергается меньшей опасности и может больше надеяться на победу.

Никогда не веди войска в бой, пока ты не внушил им уверенности в себе и не убедился, что они вполне благоустроены и не боятся врага. Никогда не начинай сражения, если ты не знаешь, что войска верят в победу.

Лучше сокрушить неприятеля голодом, чем железом, ибо победа гораздо больше дается счастьем, чем мужеством.

Лучший замысел – это тот, который скрыт от неприятеля, пока ты его не выполнил.

Умей на войне распознавать удобный случай и вовремя за него ухватиться. Это искусство полезнее всякого другого.

Природа редко рождает храбрецов. Они во множестве создаются трудом и обучением.

Дисциплина на войне важнее стремительности.

Если часть неприятельских солдат перейдет к тебе и будет верно служить, это всегда для тебя крупный успех. Беглые больше ослабляют неприятеля, чем убитые, хотя имя перебежчика подозрительно новым друзьям и ненавистно старым.

Выстраивая войска в боевой порядок, лучше оставить за первой линией сильный резерв, чем разбрасывать солдат и растягивать фронт.

Трудно победить того, кто хорошо знает свои силы и силы неприятеля. Храбрость солдат важнее их численности, но выгодная позиция бывает иногда полезнее храбрости. Всякая неожиданность устрашает войско, ко всему привычному и постепенному оно равнодушно; поэтому приучай свое войско к новому врагу и ознакомь его с ним мелкими стычками раньше, чем вести солдат в решительную битву.

Кто в беспорядке преследует разбитого врага, стремится только к тому, чтобы из победителя превратиться в побежденного.

Кто не заботится о продовольствии войск, будет побежден, не обнажая меча.

Тщательно выбирай место боя, смотря по тому, полагаешься ли ты на свою конницу больше, чем на пехоту, или наоборот.

Если ты хочешь узнать, не забрался ли днем в лагерь шпион, прикажи всем разойтись по палаткам.

Умей менять решение, если ты замечаешь, что оно разгадано противником.

Советуйся со многими о том, что надо предпринять; сообщай только избранным о том, что уже решено.

Сдерживай солдат во время мира страхом и наказанием; отправляясь на войну, воодушеви их надеждой и наградой.

Хороший полководец никогда не решится на бой, если его не вынуждает необходимость или заманчивый случай.

Позаботься о том, чтобы враг не знал, в каком порядке твои войска будут выстроены в бою; каковы бы ни были твои распоряжения, первая линия должна иметь возможность отступить сквозь вторую и третью.

Не изменяй во время боя первоначального назначения боевых частей, если не хочешь расстроить войска.

С неожиданным бороться трудно, со всем предвиденным заранее – легко.

Люди, оружие, деньги и хлеб – вот жизненная сила войны. Из этих четырех условий всего важнее первые два, ибо с людьми и оружием всегда можно достать деньги и хлеб, но с одним хлебом и деньгами ты не достанешь ни людей, ни оружия.

Обезоруженный богач – награда бедного солдата.

Приучай своих воинов презирать изнеженную жизнь и богатую одежду.

Таковы основы войны, с которыми я хотел вас познакомить. Знаю, что можно было бы сказать еще многое, хотя бы об устройстве античных войск, их одежде и обучении, и прибавить еще целый ряд подробностей, но я не считал нужным о них говорить, потому что вы можете узнать все это сами, а главное потому, что моей целью вовсе не был рассказ об устройстве войска в древнем мире, а объяснение того, как оно может и должно быть устроено в наше время, дабы приобрести ту силу, которой у него сейчас нет. Поэтому я и говорил об учреждениях древности лишь в той мере, в какой они, по-моему, необходимо должны быть восстановлены теперь.

Знаю также, что следовало бы больше сказать о коннице и рассмотреть морскую войну, ибо военная мощь охватывает одинаково морскую и сухопутную силу, пехоту и кавалерию. О морском деле я говорить не решаюсь, потому что совершенно его не знаю, – слово здесь принадлежит генуэзцам и венецианцам, тщательно его изучившим и творившим в прошлом великие дела.

Относительно конницы я ограничусь уже сказанным, ибо эти войска, как я вам говорил, не так испорчены, как все остальные. При хорошей пехоте – жизненной основе всякого войска – неизбежно будет хороша и конница. Могу дать устроителю ее только два полезных совета, которые помогут увеличить в стране число лошадей: надо воспитывать в своем округе хорошие породы и приучить подданных торговать жеребятами, подобно тому как вы торгуете у себя телятами и мулами.

Дабы обеспечить продавцу покупателя, я позволил бы держать мула только тем, у кого есть лошадь; таким образом, всякий, желающий ездить верхом, поневоле должен будет ее купить. Наконец, я разрешил бы одеваться в шелк только владельцам лошадей. Я слышал, что один из ныне живущих князей установил у себя такой порядок и в самое короткое время создал в своих владениях образцовую конницу. В остальном сошлюсь на сегодняшнюю беседу и на все, что у нас делается.

Вы, может быть, хотите знать, какими качествами должен обладать великий полководец? Отвечу на этот вопрос очень кратко, ибо мыслю себе великого полководца только как такого человека, который сумел бы осуществить все, о чем мы сегодня говорили. Однако этого, конечно, мало, если он в своем деле не творец, ибо без дара изобретательности ни в одной области еще не было великих людей. Изобретательность, конечно, почетна во всех делах, но в военном она приносит великую славу.

Мы ведь знаем, что даже не очень хитрые выдумки восхваляются историками. Они, например, превозносят Александра Великого за то, как он сумел скрыть выступление войска из лагеря. Известно, что он приказал вместо трубного сигнала поднять шлем на копье. Восхваляют его и за то, что он при начале боя велел солдатам стать на левое колено, дабы лучше выдержать натиск неприятеля. Это не только дало Александру победу, но принесло ему такую славу, что все памятники, воздвигнутые в его честь, изображают его в этом положении. Однако пора кончать нашу беседу, и я хочу вернуться к тому, с чего начал, дабы не подвергнуться каре, положенной у вас всем, кто безвозвратно покидает страну.

Вы, Козимо, помнится, говорили мне, что не понимаете, как это я, восторженный почитатель древности и порицатель тех, кто не следует ей в важнейших делах, вместе с тем никогда не подражал ей в военном искусстве, которому посвящена моя жизнь. Я ответил, что всякий, замысливший какое-нибудь дело, должен сначала к нему подготовиться, чтобы он мог осуществить его, когда представится случай. Теперь вы долго меня слушали и можете судить сами, нашел ли бы я в себе силу создать войско на

древних началах или нет. Вы теперь знаете, сколько времени я продумывал эти мысли, и можете, конечно, себе представить, как велико мое желание их осуществить.

Нетрудно ответить и на другой вопрос – мог ли я здесь что-нибудь сделать и представлялся ли для этого подходящий случай. Однако чтобы убедить вас окончательно и вполне перед вами оправдаться, я перечислю вам все имеющиеся возможности и кстати отмечу, как и обещал, все трудности подобного преобразования в настоящее время.

Из всех человеческих учреждений легче всего восстановить на античных началах установления военные, но это по силам только таким князьям, владения которых достаточно обширны, чтобы выставить собственное войско в 15 000 – 20 000 новобранцев. С другой стороны, для государя, не имеющего таких преимуществ, это самое трудное из всех возможных преобразований.

Чтобы пояснить свою мысль, должен напомнить, что полководцы приобретают славу двумя различными путями. Одни, располагая издавна хорошо обученными и вполне благоустроенными войсками, совершали с их помощью великие дела. Таковы были, главным образом, римские полководцы и другие, начальствовавшие над такими войсками, в которых надо было только поддерживать порядок и разумно ими распоряжаться.

Другим путем шли те, кому предстояло не только одолеть врага, но еще задолго до встречи с ним создать и устроить свои силы заново. Они, несомненно, заслуживают большей похвалы, чем те, кто совершал блестящие подвиги, командуя старыми и опытными войсками. Таковы были Пелопид и Эпаминонд, Тулл Гостилий, Филипп Македонский, отец Александра, Кир, царь персов, римлянин Семпроний Гракх.

Пелопид и Эпаминонд — создатели фиванской армии, завоевавшей Фивам гегемонию в Греции в 60-х годах IV в. до н. э.

Третьему римскому царю *Туллу Гостилию* (ум. в 641 г. до н. э.) пришлось восстанавливать воинский римский дух, угасший за время длительного мирного правления его предшественника Нумы Помпилия.

Филипп Македонский сформировал македонскую армию и изобрел фалангу.

Кир Старший — создатель персидского военного могущества.

Семпроний Гракх — это либо консул 179 г. до н. э. Тиберий Семпроний Гракх, либо Гай Семпроний Гракх, который в 123 г. до н. э. пытался распространить римское гражданство на союзников, чтобы увеличить армию.

Все они должны были сначала образовать свое войско и только после этого могли начинать войну. Предприятие их удалось отчасти по мудрости их, отчасти потому, что они располагали достаточным количеством людей, которых можно было призвать под знамена. Никто из этих мужей, каким бы выдающимся человеком он ни был, не мог бы сделать ничего, если бы ему пришлось действовать в чужой стране, среди развращенных людей, не имеющих понятия о том, что значит честно повиноваться.

В Италии недостаточно быть хорошим руководителем готового войска, надо сначала уметь его создать, а потом научиться им повелевать. Это возможно только для князей с большими владениями и многочисленным населением. Я к их числу не принадлежу, ибо всегда командовал и могу командовать только чужими войсками и людьми, зависящими от других, а не от меня.

Предоставляю вам решить, возможны ли в этой среде какие-нибудь задуманные мною улучшения. Могу ли я заставить нынешних солдат носить другое, более тяжелое оружие, кроме трехдневного запаса продовольствия и кирки? Как заставлю я их рыть окопы или каждый день обучаться по нескольку часов в полном вооружении, чтобы сделать из них настоящих воинов, годных для большой войны? Как могу я отучить их от игры,

разврата, богохульства и ежедневных безобразий?

Можно ли подчинить этих людей такой дисциплине и воспитать в них такое чувство повиновения и уважения, чтобы они, как те древние солдаты, о которых мы постоянно читаем у историков, не смели тронуть яблони, растущей в середине лагеря? Могу ли я обещать им нечто такое, что внушит им ко мне уважение, любовь или страх, если по окончании войны мы все разойдемся в разные стороны?

Какими средствами могу я пристыдить людей, родившихся и выросших без понятия о чести? Почему они должны меня уважать, когда они меня не знают? Какими богами и святыми заставлю я их клясться – теми, которых они чтут, или теми, над которыми кощунствуют? Не знаю, кого они чтут, но кощунствуют они над всеми. Можно ли вообще верить клятвам, данным перед существом, над которым они издеваются? Как могут они, глумясь над богом, уважать людей?

Мыслимо ли вообще отлить в какую-нибудь форму подобный материал? Не возражайте мне ссылками на швейцарцев или на испанцев. Я согласен, что они не в пример лучше итальянцев. Но если вы вспомните все, что я вам сказал, и сопоставите мои слова с военными порядками той и другой армии, то вы увидите, как им еще далеко до вершин античного мира.

Швейцарцы, по причинам, о которых я говорил, – хорошие солдаты от природы; испанцев же создала необходимость – они воюют в чужой стране, где им остается только победить или умереть, потому что отступать некуда, и неудивительно, что они стали храбрецами. Однако при всех качествах этим войскам очень многого не хватает, и превосходство их сказывается больше всего в том, что они привыкли подпускать неприятеля на расстояние меча или пики. Обучить их тому, чего им недостает, не может никто, тем более если он не знает языка.

Вернемся, однако, к итальянцам, которые, по неразумию своих князей, не получили настоящего военного устройства и не создали его сами, так как их не вынуждала к этому необходимость, тяготевшая над испанцами; поэтому они и являются посмешищем мира. Виноваты в этом, конечно, не народы, а властители, заслуженно наказанные за свое невежество унизительной и позорной потерей владений. Хотите убедиться в истине моих слов?

Посмотрите, сколько войн разразилось над Италией со времени вторжения Карла VIII до наших дней. Войны обычно воспитывают в людях боевой дух и приносят им признание других, но в Италии чем крупнее и более жестокой была война, тем больше бесславила она и вождей, и солдат. Это может

объясняться только тем, что принятые военные установления никуда не годятся, а новых никто не сумел ввести.

Поверьте, что восстановить славу итальянского оружия можно только на пути, мной указанном, и доступно это лишь крупнейшим властителям, так как предлагаемый мной порядок осуществим только среди людей простых и грубых, притом коренных жителей страны, а не среди развращенных и распущенных чужеземцев. Ни один хороший скульптор не станет лепить прекрасную статую из куска мрамора, испорченного другим, а потребует себе никем не тронутую глыбу.

Пока ваши итальянские князья еще не испытали на себе ударов войны, нагрянувшей с севера, они считали, что правителю достаточно уметь написать ловко составленное послание или хитрый ответ, блистать остроумием в словах и речах, тонко подготовить обман, украшать себя драгоценностями и золотом, есть и спать в особенной роскоши, распутничать, обирать и угнетать подданных, изнывать в праздности, раздавать военные звания по своему произволу, пренебрегать всяким дельным советом и требовать, чтобы всякое слово князя встречалось как изречение оракула.

Эти жалкие люди даже не замечали, что они уже готовы стать добычей первого, кто вздумает на них напасть.

Вот откуда пошло то, что мы видели в 1494 году – весь этот безумный страх, внезапное бегство и непостижимые поражения; ведь три могущественнейших государства Италии были несколько раз опустошены и разграблены. Но самое страшное даже не в этом, а в том, что уцелевшие властители пребывают в прежнем заблуждении и живут в таком же разброде. Они никогда не подумают о примерах людей древнего мира, которые в своем стремлении к власти делали сами и заставляли других делать все, о чем мы сегодня говорили, закаляли свое тело и приучали свою душу ничего не бояться.

Цезарь, Александр и все великие люди и полководцы античности сражались всегда в первых рядах, шли пешком в полном вооружении и если лишались власти, то только вместе с жизнью. Поэтому они жили и умирали со славой. Их можно отчасти упрекнуть в чрезмерном властолюбии, но в них не было никогда и тени дряблости, изнеженности или робости. Если бы наши князья когда-нибудь прочли их жизнеописание и прониклись их примером, они не могли бы не изменить своего образа жизни, а с этим, конечно, изменились бы и судьбы их стран.

Александр Великий.
Бронзовая античная статуэтка

Эта статуэтка найдена была в 1761 г. в Геркулануме. Считается, что это — уменьшенная копия работы Лисиппа, изображающая Александра в битве при Гранике (334 до н. э.), где он в сражении с персами потерял шлем.

В начале нашего разговора вы жаловались на свою милицию, а я утверждаю, что жалобы эти были бы верны только в том случае, если бы вы ее сначала устроили по моим указаниям и убедились бы на деле, что опыт не удался. Теперь же, когда она не благоустроена и не обучена по моим правилам, не вам жаловаться на нее, а ей на вас за то, что вы родили недоноска, а не полноценное существо. Венецианцы и герцог Феррарский оба приступили к преобразованию войска, но не сумели его

довершить; виноваты в этом они, а не их войска[232].

Я утверждаю, что тот итальянский князь, который первым вступит на мой путь, будет властелином всей страны. Государство его получит значение Македонии под правлением Филиппа, который научился у фиванца Эпаминонда искусству создавать войско, воспринял его военные порядки и правила обучения солдат и стал так силен, что, пока Греция пребывала в праздности и увлекалась комедиями, он в несколько лет покорил ее всю и заложил основы такого могущества, что сын его мог уже стать повелителем мира.

Кто пренебрегает этими мыслями, равнодушен к своей власти, если он князь, и к отечеству, если он гражданин республики. Я считаю себя вправе роптать на судьбу, потому что она должна была либо отказать мне в возможности познания таких истин, либо дать мне средства осуществить их в жизни.

Теперь, когда я стар, случая к этому, конечно, больше не представится. Я потому-то и откровенен с вами, что вы молоды, занимаете высокое положение и, если согласитесь со мной, можете в нужный момент воспользоваться благосклонностью к вам князей и быть их советниками в преобразовании военного дела. Не бойтесь и не сомневайтесь, ибо наша страна как бы рождена для воскрешения всего, что исчезло, и мы видели это на примере поэзии, живописи и скульптуры.

Возраст мой уже не позволяет питать подобные надежды, но если бы судьба в прошлом дала мне необходимую власть, я в самое короткое время показал бы всему миру непреходящую ценность античных воинских установлений. Верю, что мог бы вознести свою родину на высоты могущества или, по крайней мере, погибнуть без позора.

А. К. Дживелегов

Никколо Макиавелли

А. К. Дживелегов. НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ

Doloroso Machiavelli Maturava il pio desir… G. Carducci

Чистую вынашивал мечту Макиавелли скорбный. Дж. Кардуччи

I

Едва ли случайно, что мы не знаем буквально ничего о молодости Макиавелли. В 1498 году, двадцатидевятилетним зрелым человеком, поступил он на службу республики. До этого он ничего не писал. До этого он нигде не выступал. И до такой степени сразу в своих служебных донесениях и в неслужебных писаниях он обретает манеру обстоятельного чиновника и язык опытного литератора, что начинает казаться, будто ничем другим в жизни он так и не был.

А молодым вообще не был никогда. Представить себе Макиавелли юным, с гибким телом, со свежими красками на лице, с искрящимися глазами, с беззаботным смехом, всегда готовым на любую сумасбродную проделку, – необыкновенно трудно. Его единственный, по-видимому не фантастический, портрет[233] показывает его совсем другим.

Алексей Карпович Дживелегов (1875—1952) — российский литературовед, театровед, член-корреспондент АН Армении (1945). С 1930 г.— профессор ГИТИСа.

Бюст костлявого, чуть сгорбленного человека. Лицо худое. Плохо выбритые, впалые щеки. Утомленные глаза сидят глубоко, смотрят рассеянно и беспокойно, но в них много затаенной думы, и они способны загораться порывами решимости и энергии. Много думы и под высоким морщинистым лбом, лысеющим спереди зализами. Рот большой, окружен бесчисленными складками, в которых прячутся большие и малые душевные боли, тоска, разочарование.

Губы чувственные; если на них заиграет улыбка, она будет насмешливая, недоверчивая, злая, циничная, едва ли часто добродушная. Нос – длинный, крючковатый, с тонким висящим концом. Голова мыслителя и человека дела, невеселого эпикурейца, Мефистофеля в миноре. На гравюре нет красок, и так становится жалко, что лицо одного из величайших людей Италии и Европы не увековечила кисть большого мастера: сколько их было кругом него во все моменты его жизни!

Каков был Макиавелли в пожилые годы, таков должен был быть и в молодости. Знакомясь с его жизнью и с его произведениями, особенно с самыми интимными, с его замечательными письмами, нельзя отделаться от одного впечатления. На протяжении тридцати лет, что мы его знаем, всегда, при всех обстоятельствах – в делах, в творчестве, в развлечениях, в моменты серьезные и радостные, – сидело в нем что-то больное, не растворяющийся ни при каких условиях осадок горечи. Откуда он?

Момент поступления на службу делит жизнь Макиавелли на две почти равные половины. Вторая известна нам хорошо. Первую мы не знаем совсем, а знаем только то, что служило ей фоном. Бурные были времена, и в то же время самые блестящие в истории его родного города. В 1478 году, девятилетним мальчуганом, Никколо видел, как обезумевший народ гонялся по улицам за членами семьи Пацци и их сторонниками, как висели в окнах Дворца Синьории архиепископ Сальвиати в лиловой рясе, Франческо Пацци совсем голый, с окровавленной ногою, и трое Якопо: два Сальвиати, родственники архиепископа, и один Браччолини, сын Поджо.

Четвертый Якопо, Пацци, повешенный тоже спустя два дня и похороненный в Санта Кроче, был удален из церкви и закопан где-то под стенами. Его вырыли из второй могилы, и мальчишки, захлестнув труп за шею веревкою, волокли его по городу, подтащили к собственному его дому, громко крича, чтобы отворили хозяину. Потом бросили в Арно. Маленький Никколо если и не был свидетелем всего этого, то не мог не слышать разговоров. Порукою необыкновенная даже в «Истории Флоренции» пластичность рассказа о заговоре Пацци[234].

Подрастая, Никколо наблюдал режим Лоренцо, необыкновенный блеск культуры и быта: празднества, турниры, процессии, карнавальные шествия с мифологическими фигурами, в устройстве которых соперничали Сандро Боттичелли и Пьеро ди Козимо. Он ходил смотреть в Санта Мариа Новелла только что открытые, сверкавшие свежими красками фрески Гирландайо и слушал около них разговоры о том, как похожи изображенные

художником Анджело Полициано, Марсилио Фичино, Кристофоро Ландино[235].

Наблюдательность понемногу становилась острее, и он начинал понимать, что под этим блеском уже кое-где проступают признаки упадка, что торговля и промышленность больше не поднимаются, а идут к уклону, что тирания Лоренцо жестче, чем тирания его деда, что республика крепко зажата в кулак, а свобода существует только в льстивых панегириках, расточаемых Лоренцо гуманистами. И чем лучше понимал это Никколо, тем меньше нравились ему пышные процессии и тем меньше хотелось ему веселиться под звуки карнавальных песен.

Доменико Гирландайо. Благовещение о рождестве Иоанна Предтечи. *Деталь фрески в капелле Торнабуони. 1486—1490 гг.*

Ему было двадцать три года, когда смерть Лоренцо резко покончила с этим обманчивым покоем. При Пьеро Медичи флорентийская тирания, поглупевшая и обнаглевшая, стала быстро катиться к пропасти. Не успело успокоиться ликование, вызванное падением Пьеро, как в город явились французы.

Диалог между Карлом VIII и Пьеро Каппони: «Я прикажу ударить в барабаны». – «А мы ударим в колокола», – короткий,

как звон скрестившихся клинков, заставил город целые дни трепетать от тревоги и ярости. Но король испугался, и французские барабаны вместо атаки забили отступление. Никколо переживал со всеми эту встряску. И все думал.

Потом пришло царство монаха. Революционные пророчества гремели под куполом Брунеллеско. Конституция переделывалась по указаниям библейских текстов и благочестивых видений. Очистительные костры зловещим заревом освещали городские площади. Вериги и власяница истязали под нарядами тела женщин. Савонарола попал в круг зрения Никколо, когда его дела решительно пошли хуже. И не покорил его, как других.

Никколо ни на одну минуту не был увлечен бурным, экстатическим красноречием его проповедей и был даже непрочь смотреть на него как на вульгарного обманщика[236]. Он не мог не видеть костра, на котором сгорел неистовый пророк, и если стоял не очень далеко, видел и то, как сверху «падал дождь из крови и внутренностей». Когда бросили в Арно прах Савонаролы, Никколо поступил на службу к республике, спешно секуляризировавшейся под успокоенные благословения Папы Александра VI.

Поводов для размышления было достаточно, а голова – хорошая. Не хватало только настоящей подготовки. В семье не было избытка, и образование Никколо получил самое суммарное. Греческого он, по-видимому, все-таки не знал[237], а в латинском не мог угнаться за матерыми гуманистами.

На юридическом факультете перенесенного во Флоренцию Пизанского студио, где учился Гвиччардини, ему побывать не пришлось. Он не имел даже нотариального стажа. Его учитель друг Адриани носил классическое имя – Марчелло Вирджилио, но совсем не был для него тем, чем для Данте его Вергилий. Он слегка учил его латыни и помог потом устроиться на службу.

Настоящею школою Никколо была флорентийская улица, этот удивительный организм, где формировалось столько больших умов. Дома он читал древних и Данте. Бродя по улице, получал среднее и высшее образование. И проходил курс политики. Ибо в Италии, а значит и во всем мире, не было города, где политику можно было бы изучать с большим успехом. У венецианцев опыта и умения политически рассуждать было, конечно, не меньше. Но в Венеции политика была уделом немногих: для большинства она находилась под строжайшим запретом.

Во Флоренции политиками были все. Только там можно было видеть на улице живые хранилища политического опыта, важные фигуры в разноцветных кафтанах и плащах, в капюшонах с

длинными концами, обвивавшими шею и перекинутыми через плечо, носителей самых громких имен славного республиканского прошлого, модели Беноццо, Гирландайо, Филиппино. Они любили стоять на площадях перед большими церквами, торжественные, с серьезными, неулыбающимися лицами, со стиснутыми губами, которые словно боялись разомкнуться, чтобы не выдать тайну, с тихой скупой речью.

Не всегда во Флоренции политический опыт накапливался в спокойной обстановке, иногда его приходилось усваивать под звон мечей, под грохот разрушаемых зданий, под жуткое гудение набата, в дыму пожаров: среди заговоров и революций. А в мирное время политика сплеталась с весельем, ей вторили карнавальные песни и хороводные припевы. Политика пропитывала все. Макиавелли ею опьянялся.

И все-таки капля горечи отравляла его дух уже в молодости. Происхождение и способности открывали ему дорогу к широкой политической карьере: не было нужных связей. Для преуспевания в обществе он обладал всеми данными: не хватало средств. Успеху у женщин мешала несчастная наружность. А когда наконец удалось устроиться – поздно, в двадцать девять лет, – место было отнюдь не блестящее: наиболее доходные доставались по традиции людям с хорошим гуманистическим стажем.

В канцеляриях Дворца Синьории на лучших постах корпело над бумагами сколько угодно таких надутых, бездарных гуманистических павлинов. Никколо был принят в канцелярию Синьории – канцлером на месте Салютати, Бруни и Поджо сидел его учитель Адриани – и откомандирован в качестве секретаря в Коллегию десяти, ведавшую иностранными и военными делами. Должность хлопотливая, утомительная, требовавшая огромной работоспособности, быстрого, точного, красивого пера и совершенно исключительной физической неутомимости.

А вдобавок не давала ни достаточной самостоятельности, ни хорошего дохода, ни надежды выдвинуться. Где Никколо сел в 1498 году, после аутодафе Савонаролы, там и прижала его в 1512 медичийская реставрация. Когда новые хозяева Флоренции прогнали его с места, он ни деньгами, ни положением не был богаче, чем четырнадцатью годами раньше. А горечи накопилось много.

У секретаря Коллегии десяти были обязанности двух родов: он управлял канцелярией Коллегии и должен был исполнять дипломатические миссии, которые почему-либо считалось неудобным поручать аккредитованному послу, «оратору»[238] республики. Никколо не имел полномочий вести переговоры и решать вопросы[239]. Он должен был добиваться приема,

разговаривать, убеждать, собирать сведения и о результатах доносить Десяти, или самой Синьории.

За четырнадцать лет таких поездок набралось около двух десятков. Никколо их не любил и должен был сильно морщиться, когда получал очередной наказ. Все они начинались более или менее одинаково. «Niccolò, tu anderai infino a…» Или: «Niccolò, tu cavalcherai in poste a…» Или: «Niccolò, tu cavalcherai in ogni celerita a trovare…» «Ты отправишься…», «Ты поедешь на почтовых…», «Ты поскачешь как можно скорее…», «Ты поедешь!», «Ты поскачешь!» – слова, которые, казалось, подчеркивали, что он человек маленький и подневольный.

Денег при этом отпускали ему в обрез, так что частенько приходилось приплачивать из собственного кармана, надоедать сослуживцам просьбами о присылке денег и обременять дипломатические донесения аналогичными постскриптумами. Купцы, правившие республикой, не любили раскошеливаться без крайней нужды. Между тем у Никколо расходы росли. Он женился, пошли дети. Требования представительства становились больше.

И хотелось не так скупо тратить на жизнь и на удовольствия: ибо Никколо – мы увидим – не был ни стоиком, ни аскетом. Средств решительно не хватало. Накопление опыта и коллекционирование политических наблюдений было единственной радостью, какую давала служба. А годы шли. Волос на голове становилось меньше, прибавлялись морщины на лбу, складки вокруг рта и горечь внутри.

В 1512 году разразилась катастрофа: сначала лишение службы, потом привлечение по делу о заговоре против Медичи, тюрьма, пытка веревкою. Потом – чистилище после ада – долгое прозябание в деревне, бесплодные попытки устроиться вновь и ощущение бесповоротно разбитой жизни. Ибо в глазах самого Макиавелли создание гениальных произведений было ничто по сравнению с тем, что ему не удалось вновь и по-настоящему выбиться на дорогу.

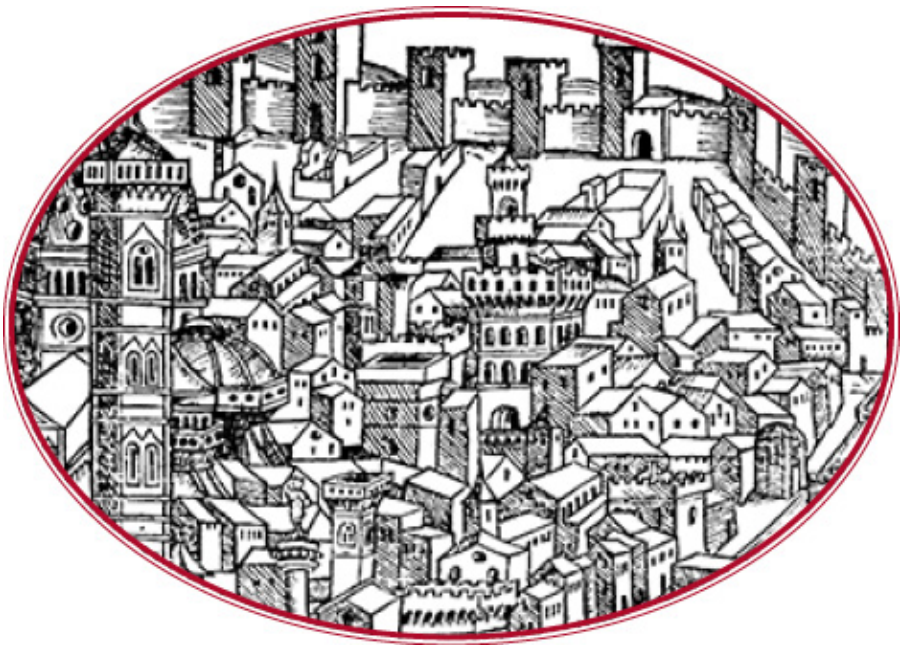
Горечи стало так много, что она превратилась в мрачный пессимизм.

Один из приятелей писал ему однажды: «Если бы я знал, куда обратиться с такой молитвою, я бы просил, чтобы скорее все беды этого мира свалились мне на голову, чем та, моровой язве подобная, отвратительная, гнилая (pestiferissimo e dispiatatissimo et putrefato) болезнь, которая зовется меланхолией и которая, я знаю, гнетет одного любимейшего нашего друга. Да избавит его от нее природа»[240].

Макиавелли это отлично чувствовал и знал, что от такой

болезни нет лекарства. В одном из писем к Веттори[241], пересыпанном шутками, он вспомнил стихи Петрарки:

Però se alcuna volta io rido e canto
Faccio perché non ho se non quest'una
Via da sfogare il mio angoscioso pianto
И если иногда смеюсь я иль пою,
То потому, что мне лишь этот путь остался,
Чтоб горькую слезу не показать свою[242].



II

Однажды, когда Макиавелли, находившемуся в командировке, грозила некая неприятность, Биаджо Бонаккорси, его приятель, служивший у него в канцелярии, в взволнованном письме сообщал ему обстоятельства дела и, рассказывая, как он старался ликвидировать инцидент, писал: «У вас так мало людей, которые хотели бы прийти к вам на помощь; я не знаю почему»[243].

Простодушный Биаджо поставил вопрос, который и сейчас еще не перестает интересовать всякого, кого интересует судьба Макиавелли. Действительно, почему никогда не имел Никколо настоящего друга, который готов бы был не то что чем-нибудь

для него пожертвовать, а просто сделать для него что-то, требующее серьезных усилий?

Такие, как сам Биаджо или их общие приятели, Бартоломео Руффини и Агостино Веспуччи, конечно не в счет. Их связывали с Никколо канцелярия, интересы общей службы, зависимость от него, и близость их характеризуется больше непристойностями, которыми полна их переписка, чем настоящими душевными отношениями[244].

Он знал, что это – великие друзья на малые услуги, и не обольщал себя. После катастрофы 1512 года они, как тараканы, расползлись во все стороны, забились каждый в свою щель и бесследно исчезли. И именно теперь, когда для Никколо дружеская поддержка была по-настоящему вопросом существования, вокруг него образовалась пустота.

Остался один Франческо Веттори, его товарищ по миссии в Германию, в это время «оратор» Флоренции при курии Льва X. Он два года поддерживал с ним переписку, все кормил его обещаниями, но, имея все возможности, пальцем о палец не ударил, чтобы ему помочь. В конце 1517 года Никколо получил доступ в общество садов Ручеллаи. Молодежь образовала там вокруг больного Козимино Ручеллаи нечто вроде вольной академии[245]. Кто-то привел Никколо, и он очень скоро сделался душою кружка, потому что никто не умел лучше него поддерживать живую и содержательную беседу.

Молодежь была богатая и знатная, с большими связями: Дзаноби Буондельмонти, Филиппо деи Нерли, поэт Луиджи Аламанни, его тезка – кузен, философ Якопо Диачето, Баттиста делла Палла. Козимино был родственник Медичи, Филиппо – близкий им человек. Пока в 1522 году дело о новом заговоре не разбило кружка, члены его очень помогли Никколо. Именно они, по– видимому, выхлопотали ему заказ на «Историю Флоренции». Но их отношение к Никколо была не дружба, а почитание учениками учителя.

Около этого же времени Макиавелли сошелся с человеком очень крупным, родным ему по духу и равным по уму, вполне способным его понять, – с Франческо Гвиччардини. Однако и тут не было настоящей дружбы. Гвиччардини был важный сановник и большой барин, Макиавелли – бедный литератор и опальный чиновник. Гвиччардини очень ценил ум и талант Никколо, охотно принимал его советы и услуги, но Никколо ни разу не мог забыть, какое отделяло их друг от друга расстояние[246].

Таковы факты. Друзей Никколо не имел. Его не любили. Об этом свидетельствует современник, которому можно поверить, – Бенедетто Варки, историк. Рассказывая о смерти Никколо, Варки

говорит[247]: «Причиной величайшей ненависти, которую питали к нему все, было, кроме того, что он был очень невоздержан на язык и жизнь вел не очень достойную, не приличествовавшую его положению, – сочинение под заглавием “Государь”[248]». Но, конечно, главная причина «ненависти» была не в том, что Макиавелли писал вещи, которые разным людям и по-разному не очень нравились.

Дело было в том, что Варки считал обстоятельством второстепенным: в личных свойствах Никколо. Такой, каким он был, для своей среды он был непонятен и потому неприятен. Его, не стесняясь, ругали за глаза. Верный Биаджо не раз сообщал ему об этом с сокрушением сердечным[249]. Что же делало его чужим среди своих?

Итальянская буржуазия не приходила в смущение от сложных натур. Наоборот, сложные натуры в ее глазах приближались к тому идеалу, который не так давно формулировали по ее заказу гуманисты, – к идеалу широко разностороннего человека, uomo universale. Но была некоторая особенная степень сложности, которую буржуазия переносила с трудом. Ее не пугали ни сильные страсти, ни самая дикая распущенность, если их прикрывала красивая маска.

Она прощала самую безнадежную моральную гниль, если при этом соблюдались какие-то необходимые условности. Гуманисты научились отлично приспособляться ко всем таким требованиям. За звонкие афоризмы, наполнявшие их диалоги о добродетели, им спускали все что угодно. Макиавелли наука эта не далась. Он не приспособлялся и ничего в себе не прикрашивал.

Во всяком буржуазном обществе царит кодекс конвенционального лицемерия. Тому, кто его не преступает, заранее готова амнистия за всякие грехи. Макиавелли шагал по нему, не разбирая, а иной раз и с умыслом топтал его аккуратные предписания. Он был не такой, как все, и не подходил ни под какие шаблоны.

Была в нем какая-то нарочитая, смущавшая самых близких прямолинейность, было ничем не прикрытое, рвавшееся наружу даже в самые тяжелые времена нежелание считаться с житейскими и гуманистическими мерками, были всегда готовые сарказмы на кончике языка, была раздражавшая всех угрюмость, манера хмуро называть вещи своими именами как раз тогда, когда это считалось особенно недопустимым.

Когда «Мандрагора» появилась на сцене, все смеялись: не смеяться было бы признаком дурного тона. Но то, что лица «Мандрагоры» были изображены как типы, а сюжет был разработан так, что в нем, как в малой капле воды, было

представлено глубочайшее моральное падение буржуазного общества, раздражало. Сатира была более злая, чем допускала лицемерная условность.

Если его осуждали за дурной характер и пробовали хулить за то, что он выходит из рамок, он всем назло делал вдвое, не боясь клепать на себя, и выдумывал себе несуществующие недостатки сверх имеющихся. Гвиччардини – правда, ему одному, потому что он был уверен, что будет понят им до конца, – Никколо признавался с некоторым задором: «Уже много времени я никогда не говорю того, что думаю, и никогда не думаю того, что говорю, а если мне случится иной раз сказать правду, я прячу ее под таким количеством лжи, что трудно бывает до нее доискаться»[250].

И эта бравада, по поводу которой Гвиччардини мог бы заметить, что она вполне подпадает под действие софизма об Эпимениде-критянине, и все остальные, которые так бесили его общество, имели источником своим полупренебрежительный, полупессимистический взгляд Макиавелли на ближнего своего. В последней, восьмой песне неоконченного «Золотого осла» он вкладывает в уста свиньи грозно хрюкающую филиппику против человека, в которой разоблачаются недостатки, свойственные его природе.

И сатире «Осла» вторят общие положения больших трактатов: «люди злы и дают простор дурным качествам своей души всякий раз, когда для этого имеется у них легкая возможность»; «люди более наклонны ко злу, чем к добру»; «о людях решительно можно утверждать, что они неблагодарны, непостоянны, полны притворства, бегут от опасностей, жадны к наживе»[251].

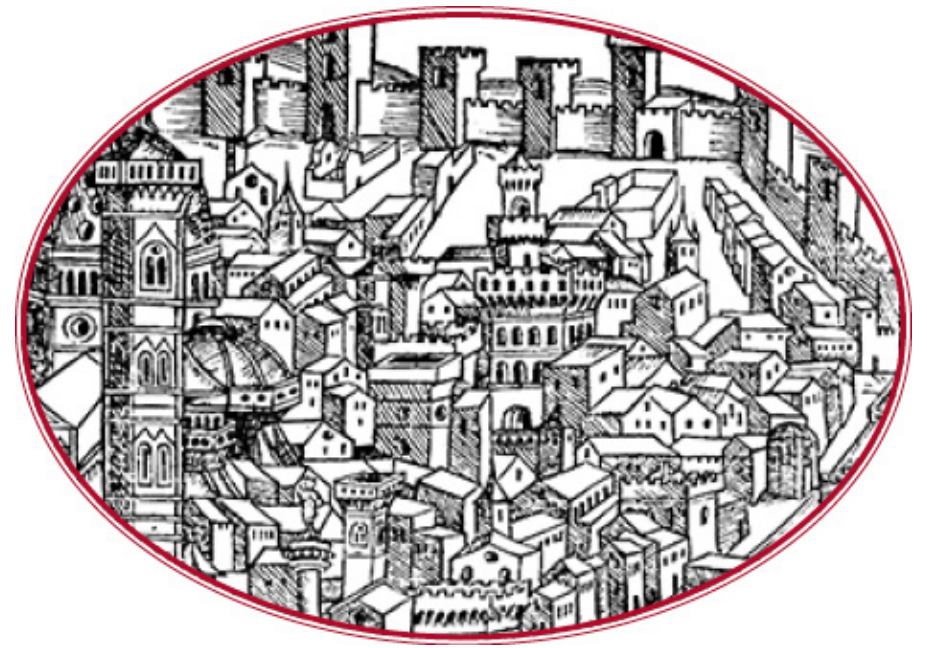
Люди не стоят того, чтобы быть с ними искренними. Люди не стоят того, чтобы из-за них терпеть невзгоды и огорчения. Люди не стоят того, чтобы задумываться об их участи, когда им грозит несчастье. А если они провинились и заслуживают наказания, не стоит их жалеть. Когда Паоло Вителли, кондотьер на службе у Флоренции, руководивший осадою Пизы, стал вести себя подозрительно и в руки комиссаров республики попали уличающие его документы, Макиавелли был в числе тех, кто требовал его казни (1499), а когда она была совершена, громко ее оправдывал.

Когда Ареццо, летом 1501 года восставший и на некоторое время отложившийся от Флоренции, был приведен к покорности, Макиавелли в качестве секретаря [Коллегии] десяти писал комиссару с требованием выслать во Флоренцию главарей восстания: «Пусть их будет скорее двадцатью больше, чем одним меньше. И не задумывайся над тем, что опустеет город»[252].

Но когда он сам сделался игралищем судьбы, попал в тюрьму и «на плечах его остались следы шестикратной пытки веревкою», он призывал гром и молнию на головы всего остального человечества, лишь бы его оставили в покое. «Пусть несчастье постигнет других, только бы мне спасти свою шкуру. Пусть бросят врагам моим кого-нибудь на растерзание, только бы они перестали грызть меня»[253]. Он – отдельно. Он выше других.

Другие могут стать жертвою политического террора или судебной ошибки, он – нет. Мерки разные. Как могло такое пренебрежение не злить тех, кого оно поражало?

И они ему отплатили. В то время как целая куча людей, неизмеримо менее нужных, чем он, бездарные буквоеды, трухлявые насквозь, были окружены кольцом близких, обременены почестями и благами, Никколо прошел свой путь одинокой, безрадостной тенью, и богатая Флоренция, умевшая оплачивать труды, позволяла ему с огромной семьею на руках горько нуждаться и искать заработка в сомнительных подчас аферах[254].



III

Как это ни странно, в эпоху такой неслыханной распущенности людям больше, чем что-нибудь, не нравились беспорядки интимной жизни Макиавелли. Варки – мы видели –

на это определенно указывал. Гвиччардини дружески его за это журил. Правда, Никколо с некоторой, быть может, надрывной развязностью не делал из этих вещей никакого секрета. А злились на него больше всего те, кто особенно усердно скрывал свои собственные делишки.

Переписка Макиавелли дает пеструю и красочную картину этой стороны его жизни. Когда он говорит о женщинах, чувствуется, что каждая, самая мимолетная связь чем-то его мучит. А он все-таки продолжает самым неразборчивым образом бросаться в новые приключения. Имена женщин мелькают в письмах постоянно. Все они – невысокого полета. То некая Янна, то другая, которую мы знаем не по имени, а только по месту жительства[255], то старая прачка в Вероне, которую подсунули ему в темноте и которая при свете оказалась до такой степени омерзительной, что его вырвало[256].

То куртизанка второй или третьей категории, Ричча, недостаточно к нему внимательная, то молоденькая девушка в деревне, в которую он пылко влюбился, но которая далеко не осталась его единственной утешительницею в изгнании[257]. То, наконец, Барбера, куртизанка более высокого ранга, имевшая связи и обладавшая сценическими талантами; она играет в его пьесах; он устраивает ей гастроли в провинции; на старости лет ездит за ней, занятый по горло серьезнейшими делами, как молодой воздыхатель, и смертельно о ней тоскует, когда она уезжает.

А приятели вдобавок вкрапливают ему в письма – латинские по этому специальному случаю – намеки, которые заставляют думать о каких-то серьезных уклонах Никколо в этих делах[258]. Возможно, конечно, что инсинуации «стрaдиотов» канцелярии – самое обыкновенное непристойное трепачество, всегда увлекавшее недоносков гуманизма. Канцелярия Дворца Синьории была ведь «вральней» (il bugiale) не хуже, чем ватиканская. Но переписка с Веттори свидетельствует, что Никколо умел смаковать, хотя тоже не без гримасы боли, рассказы, всего меньше добродетельные и доверху полные всякими уклонами[259].

Веттори жил барином в Риме. Дела у него были необременительные, денег достаточно, и единственной серьезной заботою его было ублажать свою грешную плоть. Блудил он по-сановному: степенно, добросовестно, неторопливо. А когда в его безмятежное житье вторгались разные деликатные казусы, он повергал их на суждение Макиавелли. Например. В его доме – двое приживальщиков: один, Джулиано Бранкаччи – большой поклонник женского пола, другой, Филиппо Казавеккиа – совсем

наоборот.

Когда «оратора» посещает куртизанка, его знакомая, Филиппо ворчит, что это недостойно лица в его положении. Когда приходит – по делу, уверяет Веттори, – некий сер Сано, своеобразные вкусы которого составляют притчу во языцех в Риме, Флоренции и окрестностях, протесты Филиппо внезапно смолкают, но выходит из себя Джулиано и кричит, что Сано – uomo infame[260], что принимать его – позор. Веттори не знает, как ему быть[261].

Макиавелли в письме, великолепном по силе иронии и по меткости «воображаемых портретов», подсказывает посланнику выход, а в одном из ответных – это чудесная маленькая новелла, от которой не отказались бы ни Фиренцуола, ни Банделло – сам рассказывает, как некий единомышленник сера Сано и Филиппо «охотился за птицами» во Флоренции в темную ночь, как, наохотившись всласть, пытался заставить расплатиться за свое невинное удовольствие приятеля, такого же убежденного «птицелова», и как на этом попался[262]. А разве не новелла тоже – бытовая картинка, которая развертывается еще в двух письмах Веттори?[263]

К «оратору» пришла в гости соседка, вдова, очень почтенная, с двадцатилетней дочерью, с четырнадцатилетним сыном и с братом, очевидно, в качестве телохранителя. Бранкаччи немедленно стал таять около девушки, Филиппо присоседился к мальчику и, тяжело дыша, повел с ним разговор об его ученье. Посланник беседовал с родительницею, одним глазом следя за Филиппо, другим за Джулиано. Потом пошли к столу, и неизвестно, каким образом нашли бы примирение столь многочисленные противоречивые интересы, если бы не неожиданный приход других гостей.

Через несколько дней добродетельная матрона привела дочку к Веттори уже без телохранителя и, уходя, забыла ее. Девушка оказалась не строптивой. «Оратор» так ею увлекся, что испугался сам: как бы страсть не захватила его серьезно. Потребовалась диверсия. Он вызвал к себе своего племянника Пьеро. «Прежде мальчик приходил ко мне ужинать, когда хотел, теперь не ходит. Еще можно было бы, кажется, потушить этот огонь: он не разгорелся настолько, чтобы такая вода не могла его залить». Огонь – девушка, вода – Пьеро.

В доме посланника явно впали в уклон даже стихии.

Сидя в деревне, Никколо с любопытством следил, как развертываются эти разносторонне – во многих смыслах – запутанные извивы. На фоне густых римских удовольствий его собственные похождения с бесхитростными и необученными

деревенскими прелестницами представлялись ему, может быть, элементарными и убогими, но замысловатый переплет, в котором копошились римские приятели, все-таки должен был вызывать у него не одну мефистофельскую улыбку.

Это видно по его ответным письмам. Он ничего не осуждает. Он только наблюдает. Как мудрец и как художник. Потому что человеческие документы этого рода его жадно интересуют. Веттори знал, что у Никколо встретит сочувствие и такое его сверхэпикурейское размышление: «Когда я отдаюсь мыслям, они часто нагоняют на меня меланхолию, а этого я терпеть не могу. Поневоле приходится думать о вещах приятных, а какая вещь может доставить большее удовольствие, когда думаешь о ней или делаешь ее, чем il fottere[264]»[265].

Самое удивительное то, что наряду со всем этим Никколо был очень привязан к семье. По-настоящему, по-хорошему. Несмотря на все грехи, он никогда от нее не отдалялся. Когда его дела шли плохо, его больше всего тяготило, что будет нуждаться его «команда» (la brigata). В письмах к детям, особенно более поздних, есть неподдельная теплота. Но Никколо не хочет давать ей воли: он не умеет быть нежным на словах. И мона Мариетта, жена его, по-видимому, эти вещи понимала хорошо.

У нее было много такта, беспутного мужа своего она принимала каким он был, очень его любила и была превосходной матерью. Из их многочисленного потомства пятеро выросли и пережили отца. Умер Никколо как добрый семьянин, на руках у жены и детей[266]. И ни из чего не видно, чтобы свои внесемейные увлечения Макиавелли считал чем-то непозволительным. Для него это – вещи другого ряда, и только. Таких distinguo[267] у него сколько угодно.

Он без всяких усилий переключал себя из одного настроения в другое. И не только когда дело касалось интимных отношений. В письмах первых, самых тяжелых лет после жизненного крушения 1512 года – целый калейдоскоп набросков, рисующих его срывы и взлеты.

«Томмазо сделался чудным, диким, раздражительным и скаредным до такой степени, что, когда вы вернетесь, вам будет казаться, что это другой человек. Я хочу рассказать вам, что у меня с ним вышло. На прошлой неделе он купил семь фунтов телятины и послал к Марионе. Потом ему стало казаться, что он истратил чересчур много, и, желая сложить на кого-нибудь часть издержек, он пустился клянчить себе компаньонов на обед.

Я пожалел его и пошел вместе с двумя другими, которых я же и сосватал. Когда обед кончился и стали рассчитываться, на долю каждого пришлось по четырнадцать сольди. При мне было только

десять. Четыре я остался ему должен, и он каждый день их у меня требует. Еще вчера приставал он ко мне с этим на Ponte Vecchio… У Джулиано дель Гуанто умерла жена. Три или четыре дня он ходил, как оглушенный судак.

Потом встряхнулся и теперь хочет непременно жениться снова. Все вечера мы просиживаем на завалинке у дома Каппони и обсуждаем предстоящий брак. Граф Орландо все еще сходит с ума по одному мальчику известного сорта, и к нему нельзя подступиться. Донато дель Корно открыл другую лавочку»[268].

Альбергаччо.
Современная фотография

Альбергаччо — имение в Перкуссине, неподалеку от Сан-Кашьяно, где жил и работал Н. Макиавелли после заключения.

«Когда я бываю во Флоренции, я делю свое время между лавкою Донато и Риччей. И кажется мне, что я стал в тягость

обоим. Один зовет меня несчастьем своей лавочки (impacciа-bottega), другая – несчастьем своего дома (impaccia-casa). Но и у него, и у нее я слыву за человека, способного дать хороший совет, и до сих пор эта репутация настолько мне помогала, что Донато позволяет мне погреться у камелька, а Ричча дает иной раз, правда украдкою, поцеловать себя.

Думаю, что эта милость продлится недолго, потому что и тут и там мне пришлось дать советы – и неудачно. Еще сегодня Ричча сказала мне, делая вид, что разговаривает со служанкою: “Ах, эти умные люди, эти умные люди! Не знаю, что у них в голове! Кажется мне, что им все видится шиворот-навыворот”»[269].

Ничего страшного, однако, не произошло. «Наш Донато вместе с приятельницей, о которой я вам как-то писал, – единственные два прибежища для моего суденышка, которое из-за непрекращающихся бурь осталось без руля и без ветрил (senza timone et senza vele)»[270].

Мещански-серое, не очень сытое, уязвляющее на каждом шагу самолюбие житье в городе беспрестанно гнало Никколо в деревню и заставляло подолгу там оставаться. У него было именьице, называвшееся Альбергаччо, в Перкуссине, неподалеку от Сан-Кашьяно, по дороге в Рим. Там, худо ли, хорошо ли, мог он жить с семьей не попрошайничая, имел кров, пищу и даже общество, правда, иной раз самое неожиданное.

«Встаю я утром вместе с солнцем и иду в свои лесок, где мне рубят дрова. Там, проверяя работу предыдущего дня, я провожу час-другой с дровосеками, у которых всегда имеются какие–нибудь нелады с соседями или между собою. Из лесу я иду к фонтану, а оттуда – на птичью ловлю[271]. Под мышкою у меня всегда книга: или Данте, или Петрарка, или кто-нибудь из менее крупных поэтов – Тибулл, Овидий, другие.

Читаю про их любовные страсти, про их любовные переживания, вспоминаю о своих. Эти думы развлекают меня на некоторое время. Потом прохожу на дорогу, в остерию, разговариваю с прохожими, расспрашиваю, что нового у них на родине, узнаю разные вещи, отмечаю себе разные вкусы и разные мнения у людей. Тем временем настает час обеда. Я ем вместе со всей командою (la brigata, то есть семья) то, что мое бедное поместье и малые мои достатки позволяют.

Пообедав, возвращаюсь в остерию. Там в это время бывает ее хозяин и с ним обыкновенно мясник, мельник и два трубочиста. В их обществе я застреваю до конца дня, играю с ними в крикку и в трик-трак[272]. За игрою вспыхивают тысячи препирательств, от бесконечных ругательств содрогается воздух. Мы воюем из-за каждого кватрино[273], и крики наши слышны в Сан-Кашьяно. Так,

спутавшись с этими гнидами (pidocchi), я спасаю свой мозг от плесени и даю волю злой моей судьбине: пусть она истопчет меня как следует, и я погляжу, не сделается ли ей стыдно.

Когда наступает вечер, я возвращаюсь домой и вхожу в свою рабочую комнату (scrittoio). На пороге я сбрасываю свои повседневные лохмотья, покрытые пылью и грязью, облекаюсь в одежды царственные и придворные (reali e curiali). Одетый достойным образом, вступаю я в античное собрание античных мужей. Там, встреченный ими с любовью, я вкушаю ту пищу, которая уготована единственно мне, для которой я рожден.

Там я не стесняюсь беседовать с ними и спрашивать у них объяснения их действий, и они благосклонно мне отвечают. В течение четырех часов я не испытываю никакой скуки. Я забываю все огорчения, я не страшусь бедности, и не пугает меня смерть. Весь целиком я переношусь в них»[274].

Это замечательное письмо, которое наряду с последней главою «Il Principe» обошло все хрестоматии, дает ключ ко многому. «Пусть судьба истопчет меня – я посмотрю, не станет ли ей стыдно». Какое отчаяние, какой безнадежный пессимизм в этих словах! Ведь все, что в характере и в поведении Никколо так злило и так оскорбляло современников, – все в этом крике души.

Жизнь била его, не давая вздохнуть. Впереди ничего. Так пусть же он будет еще хуже, чем о нем думают. Пусть все знают, до какого смрадного дна способен он докатиться. Пусть все морщатся от его сарказмов и мефистофельского его смеха. Пусть! «Средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».

А способен ли кто-нибудь после глубочайшего падения взлететь к солнцу, «когда божественный глагол до слуха чуткого коснется»? Из грязной придорожной деревенской остерии, из москательной лавки Донато, из домика захудалой куртизанки способен ли кто-нибудь перенестись сразу в общество величайших мужей древности, упиваться «беседою» с ними, парить в недосягаемой высоте творческих экстазов? Только он. Этого не хотят видеть? Не хотят его признавать? Тем хуже! Прикосновение к тому вечному, что есть у древних, даст в нем выход родникам мысли, и, выпрямленный, он будет создавать ценности, равные античным.

Вот эта способность творить и действовать, преодолевая постоянные внутренние боли, не давая жизненным невзгодам задушить силы духа, торжествуя над мутящим мозг пессимизмом, способность творить и действовать, раскрывая до конца дары ума и воли, темперамента и энергии, и приобщила Макиавелли к сонму великих.

IV

Общество, которое не хотело понимать Макиавелли и отвергало его, было общество Возрождения. Никколо был его родным детищем, но капризным и своенравным: свет и тени в нем были распределены по-другому, чем у огромного большинства.

Культура Возрождения – организм сложный и противоречивый. Различные ее элементы сталкивались между собою с резкой непримиримостью, но в конце концов как-то все-таки уживались вместе.

Разложение быта и семьи, моральный скептицизм, апофеоз удачи, преклонение перед человеком и силами его духа, перед красотою в природе и в человеческих творениях, расцвет искусства и литературы, первые серьезные завоевания науки, разрыв с церковными идеалами и утверждение мирских – все это переплеталось между собою и сливалось в видение необычайного блеска, который ослеплял чужестранцев, а итальянцев наполнял гордостью и высокомерным сознанием превосходства над другими народами.

Простейшими и самыми естественными плодами, которые произрастали в этой атмосфере, были неутолимая тяга к соблазнам и прельщениям жизни, жадная хватка, напор, неудержимый рост хищных инстинктов: в идейном обрамлении,

как у Пьетро Аретино, или в полной обнаженности, как у большинства. У Никколо всего этого было не меньше, чем у любого из современников. Но судьба не дала развернуться его аппетитам.

Его это очень сокрушало. В капитоло[275] «О случае» он грустно поет о том, как случай в виде женщины с копною волос спереди и с голым затылком промелькнул перед ним прежде, чем он успел его схватить, а в капитоло «О фортуне», написанном в пожилые годы, жалуется, что фортуна любит молодых и смелых, очевидно, не решаясь причислить себя и ко второй категории. Приходилось мириться, что судьба, выбирая любимцев, обошла его. Его ждала «иных восторгов глубина».

У него было нечто, чего не было ни у кого из избалованных утехами жизни: огромный, острый, безгранично смелый ум. Уму Макиавелли была свойственна некоторая рационалистичность, подчас сухость, но критическая его сила была поразительна. Анализ Макиавелли не знал никаких преград, проникал до дна, доискивался до последних начал.

Никто не умел с таким неподражаемым искусством изолировать вопрос и обнажать его имманентную сущность. Бесстрашие некоторых его логических операций не только смущало современников, но уже много веков бесит иезуитов, мучит моралистов и расстраивает нервы буржуазным ученым.

Легкой и безболезненной жертвой анализа Макиавелли сделалась очень скоро вера. Никколо был настоящим атеистом и по духу, и по научному своему облику. Библия и отцы Церкви были знакомы ему мало. Его начитанность была чисто мирская, а когда по ходу рассуждений ему приходилось касаться опасных вопросов, он, подобно Леонардо, прятал ироническую усмешку под гримасою благочестия[276].

Неверие в то время отнюдь не было чем-нибудь революционным, особенно если оно не провозглашалось в кричащих лозунгах. Католическая реакция еще не пришла, а религиозного пафоса в кругах образованных людей давно уже не было.

Придворные дамы, как Эмилия Пиа, умирали без исповеди, а пылкий республиканец Пьеро Паоло Босколи, беседуя перед казнью с друзьями и духовником, мучительно хотел умереть добрым христианином и умолял, чтобы у него «вынули из головы Брута»: ему никак не удавалось настроить себя благочестиво. Но атеизм у всех оставался делом личной совести. Ум Макиавелли был неспособен остановиться на этом.

У него сейчас же стройным рядом выстроились категории: личная вера; религия как общественное настроение, подлежащее

учету и воздействию со стороны всякого политика; религия как сила, формирующая человеческую психологию; религиозная точка зрения, вторгающаяся в научное исследование; соприкосновение религии с моралью и их совместное пертурбирующее действие при научном анализе; Церковь; духовенство.

Атеизм не нарушал канона Возрождения, ибо канон Возрождения признавал безграничную свободу за критикующим умом. Но, признавая законность неверия, канон на этом останавливался. Критический анализ христианской религии ставил точку где-то очень близко. Макиавелли с хмурой усмешкой смахнул эту точку и пошел дальше.

Прежде всего он сделал одно очень важное сопоставление. Личная вера – бессмыслица. Но пока на эту точку зрения станет большинство, пройдет много времени. Религия как настроение широких народных масс будет существовать еще долго, и политик должен уметь этим настроением пользоваться, как пользовались им римляне. Мало того: религиозность в народе нужно поддерживать, потому что народом религиозным легче управлять[277]. Это – рассуждение реального политика.

Но нельзя закрывать глаза на то, что христианская религия, выдвигая на первый план заботу о делах потусторонних, полагая высшее благо в смирении и неприятии мира, заставляет никнуть дух, размягчает характер, принижает силу и энергию человека. Древние, наоборот, своей религией поднимали дух, прославляли силу, мужество, суровую непреклонность, и потому народы древности способны были свершить великое.

Христианская религия ослабляет волевую и умственную активность в человеке и в народе, и потому находятся в упадке любовь к свободе и республиканский дух[278]. С этим надо бороться.

Вот цепь рассуждений, определяющих роль и значение христианской религии в общественной жизни. До них раньше Макиавелли не додумывался никто, хотя все его выводы сделаны из посылок, давно усвоенных каноном Возрождения. Но Макиавелли и на этом не остановился. Когда ему пришлось ставить и разрешать вопросы политической теории, он должен был задуматься над тем, чем руководствоваться в анализе.

До него самые блестящие образцы теоретических рассуждений в области политики были неразрывно связаны с моралью, и так как это были рассуждения не гуманистические, а схоластические, то и с религией. Гуманисты, поскольку в своих сочинениях они касались политических вопросов, делали иной раз робкие попытки поговорить о политике свободно, но жизнь не

ставила им трагических вопросов, и у них все кончалось легкой игрою ума.

Макиавелли понял, что пока он не изолирует вопросов политики от вопросов морали и религии, до тех пор он будет беспомощно топтаться на месте и не скажет ничего нужного для жизни. А события были таковы, что необходимо было политические вопросы ставить и разрешать с величайшей, беспощадной прямотою и смелостью: для этого надо было отбросить все, что мешало свободному анализу, в том числе религиозные и моральные соображения. И Макиавелли дерзнул. Именно за это его кляли больше всего и при жизни и особенно после смерти.

С Церковью и духовенством вообще было легче. Это была проторенная дорожка со времени первого «Новеллино»[279]. Но Макиавелли не умел смеяться так, как смеялись новеллисты. Его смех был другой. В «Мандрагоре» Церковь в лице монаха фра Тимотео разрушает крепкие моральные устои у людей, успокаивает сомнения, продиктованные чистой совестью, толкает к греху и удовлетворенно позвякивает потом тридцатью сребрениками, полученными за самое безбожное с ее собственной точки зрения дело. Это – не легкая насмешка. Это – свирепая, уничтожающая сатира.

Макиавелли знает, что он хочет сказать. Пока Церковь управляет совестью людей, не может быть здорового общества, ибо Церковь благословит, если это будет ей выгодно, самую последнюю гнусность, самое вопиющее преступление. Совершенно так же, как не может быть в Италии здорового, то есть единого и свободного государства, пока в центре страны укрепилась Папская область, которая в своих интересах идет наперекор национальным задачам страны. Тут полная параллель.

В вере, в религии, в Церкви – главное зло. Чем сложнее становится жизнь, тем это зло больше. Потому что усложняющаяся жизнь – это новая жизнь, которая секуляризируется с каждым днем сильнее к великой невыгоде Церкви. Церковь отстаивает свои позиции с непрерывно возрастающим озлоблением.

И тем более непреклонно и непримиримо должна вестись борьба со старым, еще не изжитым наследием феодального мира. Вольтер скажет потом: «Раздавите гадину» – «Ecrasez l'infame». Формула принадлежит ему, мысль – Макиавелли.

Доктрина Возрождения благодаря Макиавелли вбирала в себя под напором жизни новые элементы, все более решительные и боевые. В ней, как и в микеланджеловском искусстве, появлялась terribilita, нечто «грозное», что отпугивало более робких, но с

точки зрения социальных и политических задач времени было самой естественной защитной реакцией, ибо в «Il Principe» и в аллегориях Сикстинского плафона трепещет в муке один и тот же дух.

Страшно, но неизбежно. Жизнь – Голгофа. Ее отражение не может быть хороводом танцующих путти[280] на светлом розовом фоне или беззаботной карнавальной песенкой.

И важно в жизни то, что нужно. Распределяя ипостаси гуманистического канона в порядке убывающей политической, то есть единственно жизненной, важности, Макиавелли нашел, что ренессансный культ красоты – нечто совершенно бесполезное. Он знал, конечно, что идея прекрасного в мировоззрении эпохи играет огромную роль и является неотъемлемой частью культуры Возрождения. Но это его не останавливало.

С точки зрения трагических «быть или не быть» это не нужно. Ни красота в природе, ни красота в искусстве. В писаниях Макиавелли нет ни одной строки, где бы чувствовалось понимание красот природы, лирическая настроенность, подъем. Никколо имел слабость считать себя поэтом[281] и стихов написал достаточно.

Но это – не поэзия, а рифмованный фельетон: и стихи в комедиях, и «Десятилетия» («Deccennali»), и «Золотой осел» («Asino d'oro»), и capitoli, и песни. Настоящий подъем, трепет подлинного чувства, пламенная лирика – политическая – у Макиавелли не в стихах.

С таким же равнодушием, как к природе, относился он и к искусству. В «Истории Флоренции» оно не играет никакой роли. Даже рассказывая о Козимо и Лоренцо, он оставил совершенно в тени вопросы искусства. Имена Брунеллеско, Гиберти, Донателло, всей плеяды художников, работавших при Лоренцо, даже не упоминаются. В характеристике Лоренцо есть только одна фраза: «Он очень любил всякого художника, выдающегося в своей области»[282].

А в «Arte della guerra» он говорит про Италию, что она «воскрешает мертвые вещи: поэзию, живопись, скульптуру»[283].

В идеологии Возрождения его интересует только индивидуалистическая доктрина, но в его руках она стала неузнаваема. У гуманистов интерес к человеку есть интерес к личности. Он замкнут в кругу этических проблем. Макиавелли этот круг разрывает. Человек у него берется в самом широком смысле слова, и опять строятся категории: человек, люди; соединение людей, то есть общество; жизнь общества и борьба общественных групп; возникновение власти; властитель и различные его типы; государство и различные его формы;

государственное устройство; столкновение между государствами; война; нация.

Его интерес возрастает по мере того, как он двигается в этой цепи все дальше. Меньше всего интересует его отдельная личность. Зато никто до него не подвергал такому всеобъемлющему анализу человека «как существо общежительное». В миропонимании Возрождения Макиавелли – рубеж. Он первый стал изучать человека и человеческие отношения не с этической, а с социологической точки зрения, и это у него не случайные проблески, не единичные озарения, а выношенная до конца мысль, которой не хватало только систематического изложения и четкой терминологии, чтобы сразу войти в идейную сокровищницу человечества.

А в идеологии Возрождения ломка этической установки и внесение социологической имело еще один колоссальный результат. От звена к звену, от силлогизма к силлогизму, неотразимым напряжением логической мысли Макиавелли приходит к тому, что требует от него социальный заказ: к созданию политической теории Возрождения.

В сравнении с его конструкциями кажутся детским лепетом не только чисто этические этюды Петрарки и Салютати, но и сравнительно зрелые, тронутые и социологическим прозрением, и политическим анализом рассуждения Бруни, Поджо, Понтано. Между тем формально Макиавелли был вооружен для этой задачи гораздо хуже и не обладал такой колоссальной начитанностью в классиках, как крупнейшие представители гуманизма.

Но он в ней и не нуждался: ему было достаточно начитанности в размерах, строго необходимых для проверки своей мысли. Он подходил к Ливию и Тациту, к Плутарху и Полибию совсем не так, как гуманисты. Их интерес к древним был научный. Практических целей они не преследовали. Они не «беседовали с классиками», не «спрашивали у них объяснения их действий», и те не «отвечали им благосклонно». Для Макиавелли классики только такой смысл и имели. Все, что в них было ему интересно, интересно было потому, что находило применение в жизни, в делах сегодняшнего дня.

Античные историки и мыслители помогали ему понимать отношения, в которых жил он сам, которые затрагивали его, людей его группы, его родной город, родную его страну. Но никогда не полагался он на классиков всецело. Если они служили оселком, которым он проверял свои наблюдения и мысли, то их он тоже проверял собственным опытом и данными истории итальянских коммун. Наряду со Спартой, Афинами, Римом,

Карфагеном он обращался к прошлому Болоньи, Перуджи, Сиены, Фаэнцы и никогда не упускал из поля зрения Венецию и Флоренцию, Милан и Неаполь.

Чтобы понять до конца, например, Цезаря Борджиа, вскрыть то типическое и практически нужное, что в нем имеется, на него нужно предварительно накинуть римскую тогу. Простого наблюдения недостаточно, хотя бы оно было самое пристальное; хотя бы оно длилось месяцами. Сравните письма Легации в Имолу, записку о том, как герцог Валентино расправился с кондотьерами, и страницы, посвященные Цезарю в «Il Principe».

Донесения Легации накопляют наблюдения над живым человеком, ряд моментальных фотографий, скрупулезно точных, день за днем, с 7 октября по 21 января 1502 года[284]. Записка химически «обрабатывает» герцога Валентино Ливием и Тацитом, и в результате этой «реакции» получается Цезарь Борджиа стилизованный, уже не во всем похожий на подлинного Цезаря Легации. «Il Principe» подводит итоги; в нем герцог Валентино – отвлеченный, разложенный на ряд максим практической политики: кто желает, может ими пользоваться. И когда угодно: сейчас, через сто лет, через пятьсот лет.

Без классиков построения Макиавелли остались бы не вполне законченными. Но классики для него материал подсобный. Макиавелли – не гуманист: в тревожное время, в которое ему пришлись жить, типичными гуманистами могли быть только бездарные и бездушные люди.

Но он – подлинный человек Возрождения, а его политическая теория – подлинная доктрина Возрождения. В ней вековой опыт социальной ячейки Возрождения – итальянской коммуны – подвергнут обобщающему анализу, очищен от плевел церковной идеологии, проверен на классиках. И оплодотворен могучим порывом к действию, идеей virtu.

Что такое Макиавеллева virtu? Это последнее слово ренессансного индивидуализма, венчание его теории с духом живого дела, прославление и апофеоз действенной энергии человека. Virtu – не «добродетель» Петрарки, почерпнувшего сию формулу у Цицерона, и не «добродетель» Бруни, взятая напрокат у стоиков, и даже не радостная стилизация здорового жизненного инстинкта, формулированная Валлою по эпикурейским образцам.

Макиавеллева virtu – это воля, вооруженная умом, и ум, окрыленный волею, страстный зов к планомерному, сознательному, самому нужному делу: завет его времени будущему.

Идеология Возрождения – от начала до конца идеология переходного исторического периода, эпохи разложения

феодального общества и возникновения общества буржуазного. И от начала до конца эту идеологию определяют интересы буржуазии, обороняющейся и наступающей, слабеющей и торжествующей, побеждающей и побеждаемой; смотря по тому, как складывалась в коммунах социальная группировка и какая группа буржуазии давала тон.

Какую же группу буржуазии представляет Макиавелли? И как интересы группы, им представляемой, запечатлелись в его политической доктрине?

V

Когда Макиавелли поступил на службу, уже были налицо признаки кризиса, который переживало итальянское народное хозяйство. Кончился подъем, под знаком которого Италия жила, несмотря на все потрясения, чуть ли не со времени Первого крестового похода. Торговля и промышленность, на которых зиждилось хозяйственное благополучие Италии, начинали клониться к упадку, и люди прозорливые это чувствовали не со вчерашнего дня.

Лоренцо Великолепный, глава крупнейшей банкирской фирмы Италии, вложившей большие капиталы и в торговлю, и в промышленность, первый начал принимать меры, чтобы его банк не сделался жертвою кризиса. И эти меры производили, очевидно,

настолько сильное впечатление, что и Гвиччардини, и Макиавелли, ближайшие после его смерти историки Флоренции, тщательно их отмечают.

Гвиччардини говорит[285]: «Так как в Лионе, в Милане, в Брюгге и в других городах, где были у него торговые агентуры и конторы, росли издержки на представительство и на дары, а прибыли падали, ибо делами управляли люди малоспособные и отчеты сдавались плохо – сам Лоренцо не смыслил в торговле и не заботился о ней, – то дела пришли в такое расстройство, что он был накануне разорения. Убедившись в том, что торговля идет плохо, он стал скупать земли на 15 или 20 тысяч дукатов».

Макиавелли рисует дело так же, как и Гвиччардини[286]. «В делах торговых он [Лоренцо] был очень несчастлив, ибо из-за недобросовестности служащих, которые управляли его делами не как частные люди, а как владетельные особы, во многих местах он понес большие денежные потери. Поэтому, чтобы не испытывать больше судьбу на этом поприще, он, отказавшись от коммерческих предприятий (mercantili industrie), обратился к скупке земель как к богатству более прочному и надежному».

В этих указаниях обращают на себя внимание две вещи. Прежде всего, Лоренцо сознательно извлекает капиталы из торговли и промышленности и вкладывает их в землю, считая, что земельная рента вернее. И нужно заметить, что он не только скупает земли, но и всеми другими способами старается сосредоточить в своих руках как можно больше земельных владений, словно предчувствуя, что в недалеком будущем земля действительно станет более надежным богатством.

Так, избрав для своего второго сына духовную карьеру (1483), Лоренцо воспользовался своим огромным влиянием на Папу Иннокентия VIII и начал такую безудержную охоту за бенефициями для сына, что в его руках сосредоточились огромные церковные поместья в Италии и за Альпами. Распоряжение ими, юридически ограниченное определенными нормами, на деле было почти свободно, и касса медичийского банка получила очень неплохое подспорье[287].

То, что Лоренцо начал, следом за ним стали делать другие крупные капиталисты флорентийские: Каппони, Пуччи, Руччелаи, Валори, Гвиччардини, Веттори и другие[288].

И одно то обстоятельство, что тяга капиталов к земле уже в 80-х годах XV века становилась явлением далеко не исключительным, заставляет с большим сомнением относиться ко второму единогласному указанию Гвиччардини и Макиавелли: что торговля и промышленность давали убытки потому, что служащие медичийские были людьми неспособными или

недобросовестными. У Медичи, надо думать, всегда было достаточно служащих и неспособных, и недобросовестных, а дела прежде шли отлично.

Правда, после смерти Козимо служащие стали позволять себе не так строго подчиняться указаниям из Флоренции, и это приводило иногда к большим потерям[289]. Но главная причина была вовсе не в этом. Менялась мировая хозяйственная конъюнктура. Лоренцо это понял, ибо неправ Гвиччардини, что Лоренцо «не смыслил в торговле».

Он уступал, конечно, в коммерческих способностях Козимо, но отнюдь не был плохим купцом. Ему только не хватало специальной коммерческой подготовки и собственного опыта, потому что его готовили к политической карьере больше, чем к купеческой[290]. Теперь, через четыреста с лишком лет, ход заключений банкира-правителя, прибегавшего для перестраховки своих доходов к скупке земель, для нас совершенно ясен.

В Европе назревали повороты, последствия которых нужно было учитывать самым серьезным образом. В Англии кончилась война Роз, которая проделала вследствие неплатежеспособности Эдуарда IV[291] очень большую брешь в активе банка Медичи. Там появилась единая твердая власть. Она по-хозяйски стала на страже английской шерсти – продукта, без которого флорентийская суконная промышленность не могла существовать.

Во Франции Людовик XI[292] закончил собирание коронных ленов, и Анжуйские[293] притязания на Неаполь, никогда не забывавшиеся, и притязания Орлеанского дома, связанные с правами Валентины Висконти на Милан, только теперь становились опасны, как скверная заноза, которая сначала не беспокоила, а потом прикинулась болеть.

Пока Флоренция в союзе с Миланом и Венецией вела воину против Папы Сикста IV и Неаполя[294] – ее с необычайным терпением описал Макиавелли, – Лоренцо не раз угадывал хищную заинтересованность Людовика XI в итальянских делах[295] и с тревогой обращал взоры на север.

Куда направится боевая энергия не угомонившегося еще французского рыцарства теперь, когда прошла опасность со стороны Англии и кончились феодальные усобицы? А с другой стороны, теперь, когда в Англии и Франции наступило внутреннее успокоение, установилось политическое единство, появилась крепкая власть, будет ли там поприще для работы итальянских капиталов или им придется уступать поле молодым национальным капиталам, переживающим буйную эпопею первоначального накопления?

Ничего радостного не виделось и со стороны Испании. Там Кастилия объединилась с Арагоном[296], у которого тоже традиционные притязания на итальянскую землю, на Неаполь и Сицилию. Правда, там завязалась смертельная борьба с маврами, но она имеет все шансы кончиться счастливо. Куда бросятся неисчерпанные силы новой Испании?

А с Востока, где тридцать с лишним лет назад пал под ударами турок Константинополь, где войска и флот султана обирают венецианские владения на морях и закупоривают торговые пути, не грозят ли новые бури? А на Западе, где ищут доступа к левантским рынкам кругом света, если найдут, не будет ли Италии совсем плохо?

Лоренцо делал все что мог, чтобы предотвратить опасность. Он был творцом системы равновесия в Италии, очень плохого, но единственно возможного в то время вида единения. Оно прекращало на более или менее длительный срок внутренние усобицы, но не гарантировало ни от чего. На политической почве добиться большего было нельзя, ибо у Венеции, у Милана, у курии, у Неаполя были свои интересы, как и у Флоренции, и ни одно из пяти государств не было достаточно слабо, чтобы другие могли общими силами заставить его покориться.

Трудность чисто политического соглашения коренилась главным образом в том, что среди пяти крупных итальянских государств было одно, имевшее не только итальянский, но и международный характер: Папская область. Губительная политическая роль Рима в Италии, раскрытая с такой сокрушающей убедительностью Макиавелли, становилась ясна уже и до него, и Лоренцо, конечно, приходилось задумываться над тем, какой оборот примут дела, если место «ставшего его глазами» Иннокентия VIII, папский престол, займет первосвященник более воинственный или более чадолюбивый, чем Сикст IV.

И Италии повезло. После Иннокентия пришел сверхчадолюбивый Александр VI, а за ним через короткий промежуток сверхвоинственный Юлий II: после Юлия надолго исчезли надежды на осуществление единства.

Козимо Медичи Старый
(1389—1464)

В непримиримости политических интересов было главное несчастье Италии. Она порождала все ее национальные беды. Она мешала политическому объединению по примеру Франции и Испании. Она была причиной ее беззащитности перед чужеземцами. И была неустранима, ибо в основе ее лежали чрезвычайно резкие экономические противоположности между отдельными ее частями.

Типично промышленная, богатая капиталами Флоренция в кольце своего contado[297] с цветущими земледельческими культурами, рядом – чресполосно-феодальная, полудикая Романья, яблоко раздора между курией и Венецией, закрепленная за Римом Юлием II и перманентно разоренная римская Кампанья, а дальше к югу – нищие горные скотоводческие районы Неаполитанского Реаме[298].

Венеция с крепкими отдельными отраслями индустрии и с огромной торговлей в большом стиле, по соседству – ломбардские города с падающей промышленностью, за ними – Генуя с падающей торговлей. Между крупными государствами – клинья мелких. Мантуя, Феррара, Урбино с сильными феодальными пережитками, с хозяйством преимущественно земледельческим, с мелкими предприятиями по добыче сырья, с торговыми монополиями казны и с военным предпринимательством (кондотьерская индустрия, если можно так выразиться), делающим хорошие дела; или Сиена, копировавшая в малом масштабе Флоренцию; или Лукка, хиревшая все больше; или Болонья, безуспешно пытавшаяся хозяйственно организовать Романью.

Пестрый конгломерат государств, среди которых и районы с типично активной экономической политикой, как Флоренция и особенно Венеция, и не менее крупные – с типично пассивной: Рим, ненасытная утроба-потребительница, и полуфеодальный Неаполь. Каждое из этих государств, больших и малых, гораздо теснее было связано со своими сырьевыми базами и с рынками сбыта вне Италии, чем одно с другим. Наоборот, друг с другом они чаще всего были конкурентами или очень несговорчивыми и не всегда добросовестными контрагентами.

Экономические противоположности были чрезвычайно неуступчивы, так как в них кристаллизовались результаты очень раннего и буйного роста благосостояния, обострившего местные особенности. И самый гениальный политик не сумел бы в этот момент найти равнодействующую, которая сгладила бы эти противоречия. Лишь постепенно, веками, стали утрачивать они свою остроту, и между отдельными частями страны могло установиться такое хозяйственное сотрудничество, при котором политическое объединение сделалось возможно.

Когда Макиавелли поступил на службу (1498), уже исполнилось многое из того, что предвидел и чего боялся Лоренцо Медичи. Французское рыцарство прошло через всю Италию с Карлом VIII, ограбив ее, а теперь собирался завоевывать Милан преемник Карла, Людовик XII[299]. В Англии купцы и банкиры итальянские терпели поношение и вытеснялись с

острова с немалым ущербом. В Испании борьба с маврами была кончена, и Гонсальво Кордовский, il gran capitano[300], дал уже почувствовать силу своего меча неаполитанской земле. Турки настойчиво и методично продолжали свои завоевания.

В поисках путей в Индию генуэзец Христофор Колумб нашел Америку, но его открытие принесло огромные выгоды Испании и до корня потрясло весь организм итальянской торговли. Ее приходилось свертывать все больше. Промышленность итальянских городов все с большим трудом находила сбыт для своих изделий.

Падали доходы. Уменьшались богатства. И – что было страшнее всего – будущее не сулило никакого улучшения. Эпохе хозяйственного расцвета итальянской буржуазии приходил конец по-настоящему. Поднимали голову другие классы – землевладельческие, и уже начинали кое-где играть заметную роль.

Открывалась новая эра. Ее назовут потом эрою феодальной реакции. Потрясениями, которые она принесла Италии, страна расплачивалась за процветание предыдущих четырех веков. Европа, которую Италия эксплуатировала столько времени, дождалась наконец момента, когда страна величайших богатств оказалась перед нею беззащитной. Старые феодальные государства переживали подъем, Италия – уклон. За Альпами начиналась ликвидация феодальных отношений, сковывавших хозяйственный рост, Италию заливали волны нового феодального прилива.

Время было насыщено событиями грозными и важными и, как всякая переломная пора, давало неисчерпаемый материал для наблюдения и анализа. Макиавелли стоял в самой гуще жизни и прекрасно понимал смысл происходившего. Он видел, что продвижение капиталов в деревню раскалывает буржуазию, лишает ее политического веса и, наоборот, увеличивает политический вес враждебных буржуазии феодальных классов. Он был флорентиец и знал, как опасна такая ситуация.

Чтобы понять ход его мыслей, нужно бросить взгляд на эволюцию общественных классов в родном его городе.

VI

Медичи пришли к власти (1434), опираясь на мелкую буржуазию, на ремесленные цехи, в борьбе с представителями крупного капитала, к которым принадлежали сами. Противники Медичи, Альбицци и их сторонники, представляли торгово-промышленный капитал. Им нужны были рынки сбыта. Они стремились к экспансии, вели завоевательную политику, истощали казну и не давали работы ремесленникам. Медичи представляли банковский капитал, в экспансии были заинтересованы мало, проводили политику бережливости и тратили огромные деньги на украшение города.

Но ни Козимо, ни Пьеро, ни особенно Лоренцо никогда не отождествляли своих интересов с интересами ремесленного класса. Они были плотью от плоти и кровью от крови крупной буржуазии. Ремесленники нужны были им как опора, пока власть их не укрепилась окончательно. Когда Лоренцо почувствовал, что этот момент настал, политическая демагогия была выброшена вон, и он перестал скрывать свое настоящее лицо. Случилось это после заговора Пацци и окончания войны против Рима и Неаполя, в 1480 году.

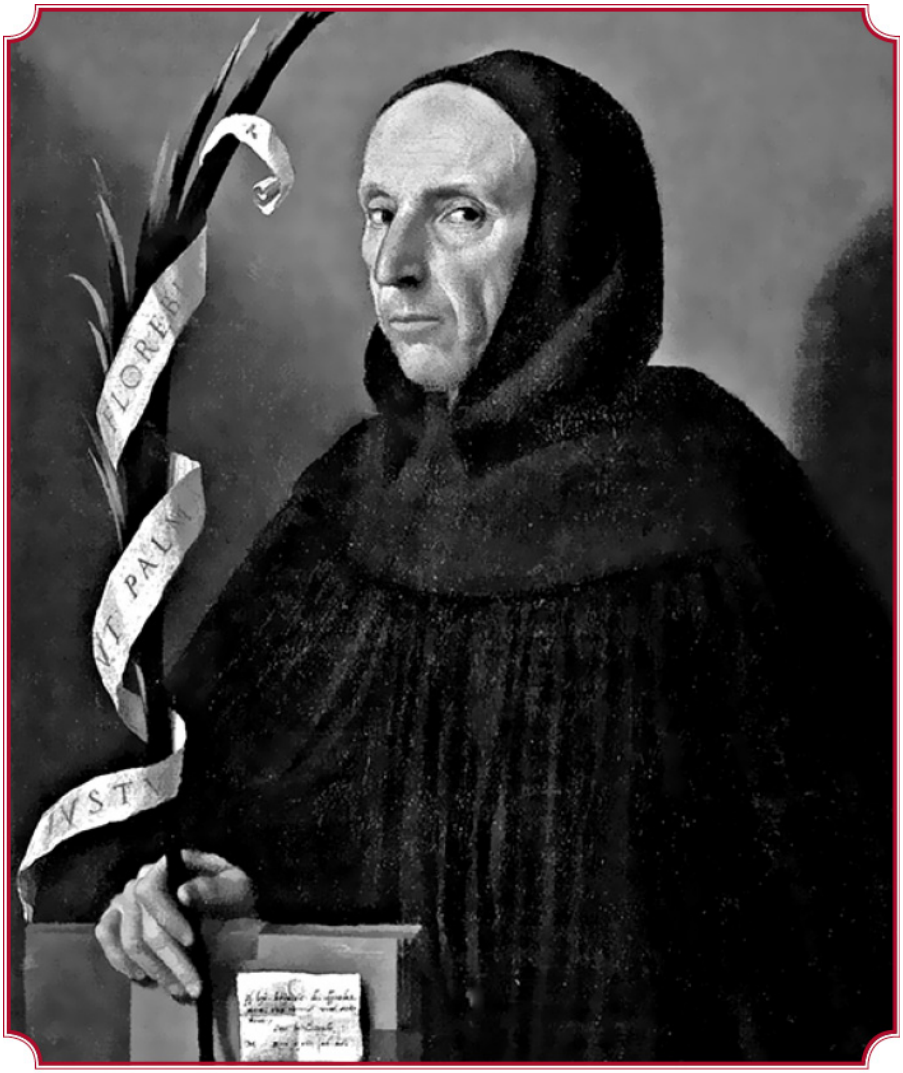
Именно в это время была создана твердыня медичийской деспотии – Совет семидесяти, орган, назначавший Синьорию и из своей среды выделявший комиссии с главнейшими правительственными функциями. Ввиду исключительной важности этой коллегии состав ее должен был быть подобран особенно тщательно. И Лоренцо подобрал. В Совет семидесяти вошли крупнейшие представители самой богатой буржуазии, как раз те, которые, подобно Лоренцо, имели большие вложения капиталов в землю.

Их нужно было заинтересовать в сохранении власти Лоренцо и сделать, таким образом, орудиями династической политики Медичи. Это было достигнуто прежде всего податной системой. Налоги чрезвычайно заботливо обходили земельную ренту и обрушивались всей тяжестью на доходы с торговли и промышленности. Постоянная приобщенность к власти давала, кроме того, неисчислимые выгоды, а непрерывные продления полномочий «семидесяти» создавали атмосферу большой уверенности.

Вместе с Лоренцо правила верхушка крупной буржуазии, ее рантьерская группа[301]. Его правление, представлявшее собою организацию власти именно этой группы, было

усовершенствованием принципов той самой олигархии, против которой так упорно боролись дед Лоренцо, Козимо, и прадед Джованни. И, естественно, оно вызывало недовольство других кругов буржуазии, интересы которых беспощадно приносились в жертву.

Это недовольство прорвалось наружу, когда после смерти Лоренцо власть перешла к его сыну. Предательство Пьеро, сдавшего в 1494 году флорентийские крепости французам, послужило предлогом. Медичи были изгнаны, причем даже члены «семидесяти» не очень их защищали, надеясь без Медичи создать настоящую олигархию, при которой не приходилось бы львиную долю выгод отдавать синьору-правителю. Но этим надеждам не суждено было сбыться: другие группы буржуазии при поддержке ремесленников, цеховых и нецеховых, провели конституционную реформу. Основные ее линии сначала правильно наметил, потом безнадежно запутал Савонарола.



Моретто да Бреша. Портрет Савонаролы.
1524 г.

Этот гениальный монах был полной противоположностью Макиавелли: недаром он был совершенно не понят им. Там, где у одного было трезвое размышление, у другого была интуиция, где у одного анализ – у другого религиозный пафос, где у одного продуманное знание – у другого видения.

Макиавелли относился к народу без больших симпатий. Савонарола его трепетно любил. И в любви его к народу было что-то неизмеримо большее, чем простая гуманность или верность евангельскому слову о малых сих. Он разбирался в экономическом положении трудящихся и нападал на

предпринимателей.

В его проповедях мелькают зарницы-предвестницы далеких еще учений о праве на труд и о неоплаченном труде, хотя и недодуманные до конца и затуманенные религиозной фразеологией. Савонарола не сумел претворить их в жизнь и создать, как он хотел, условия человеческого существования для трудящихся, так беззаветно поддерживавших его в первое время. Он не мог даже поднять вопроса о какой-либо форме их участия в правящем органе.

Тем не менее политическая терминология того времени называла савонароловский и послесавонароловский режим демократией, ибо он осуществил господство popolo[302]. А popolo в то время составляли полноправные граждане, benefiziati, которых на 90 000 жителей было всего около 3200 человек: купцов, мануфактуристов, ремесленников. Они имели право заседать в Большом совете. При Медичи, до Савонаролы и после Содерини, количество полноправных граждан опускалось до нескольких сотен.

Разница была существенная, и мы понимаем, что тогда господство верхних 3000 провозглашали демократией. Менее понятно, когда демократией называют его современные исследователи. Это был умеренно буржуазный режим, в котором власть принадлежала торгово-промышленным группам. Савонарола, опираясь на низы, сверг господство рантьерской буржуазии. Чрезвычайно жесткое обложение крупной земельной ренты поражало корни ее социальной мощи, в то время как налоги на доходы с торговли и промышленности всячески щадились.

Вспыхнувшая на этой почве бешеная классовая борьба привела к тому, что торгово-промышленные группы отступились от Савонаролы и выдали его заклятым его врагам (1498), но режим его был сохранен этою ценою и позднее (1502) укреплен еще больше благодаря установлению пожизненного гонфалоньерата.

Пьеро Содерини был выдвинут крупной рантьерской буржуазией, ибо был человеком их класса, но он обманул ее ожидания и ее путями не пошел. Он примкнул к большинству Большого совета, стал во главе торгово-промышленной буржуазии и продолжал политику податного благоприятствования купцам, владельцам мануфактур и мастерских.

Последние следы демократических чаяний Савонаролы испарились. Народ, plebe[303], по тогдашней терминологии, противополагавшей его popolo, остался при разбитом корыте. Зато торгово-промышленные классы сорганизовались очень

крепко.

Содерини окружил себя и пополнил ряды ответственных служащих новыми людьми. К их числу примкнул и Никколо Макиавелли. Он не принадлежал ни к купцам, ни к промышленникам. Но участие в правительстве, новые связи, образовавшиеся вскоре, большая близость к Содерини определили его социально-политический облик. По происхождению он принадлежал к старой флорентийской буржуазии. Теперь он нашел себе более определенную ячейку.

Четырнадцать лет, проведенных им на службе, сроднили его с этим классом. Постоянная борьба, которую богачи, прежние сподвижники Лоренцо, частью изгнанные, частью обобранные, частью задавленные налогами, вели против режима пожизненного гонфалоньерата, приучили его смотреть на них как на врагов, а все накоплявшиеся признаки феодальной реакции привели его к выводу, что люди, владеющие землею, то есть связанные с феодальным прошлым Италии, являются противниками всякого организованного общественного порядка.

И когда ему в деревенском уединении пришлось продумать свой опыт, он внес в «Discorsi» следующее замечательное размышление о дворянах (gentiluomini)[304]: «Дворяне – это люди, которые живут от доходов со своих поместий, в праздности и изобилии, нисколько не заботятся об обработке земли и не несут никакого труда, необходимого для существования.

Эти люди вредны во всякой республике и во всяком городе. Но еще вреднее те, которые кроме упомянутого имущества владеют замками и имеют подданных, им повинующихся. Теми и другими полны Неаполитанское королевство, Римская область, Романья и Ломбардия. В таких странах никогда не существовало никакой республики и никакой политической жизни (vivere politico), ибо эта порода людей – заклятый враг всякой свободной гражданственности (d'ogni civilta[305]).

Кто захочет создать республику там, где много дворян, должен предварительно истребить их всех, и кто захочет создать королевство или вообще единоличную власть там, где царит равенство, сможет сделать это не иначе, как взяв из среды равных большое количество людей честолюбивых и беспокойных и сделав их дворянами, притом не на словах только, а на деле, то есть одарив их замками и поместьями, дав им денежные пожалования и людей».

И чтобы не оставалось сомнений, какой класс он противополагает дворянам, Макиавелли к общему рассуждению прибавляет несколько слов о Венеции. Венеция вовсе не опровергает положения, что дворяне не уживаются при

республиканском строе, ибо «дворяне в этой республике – дворяне больше на словах, чем на деле: у них нет больших доходов с поместий, а их крупные богатства зиждятся на торговле и состоят из движимости (fondate in sulla mercanzia e cose mobili); кроме того, никто из них не владеет замками и не имеет никакой вотчинной власти (alcuna iurisdizione) над людьми»[306].

Это противопоставление Венеции и тосканских республик как областей, где царит «равенство» и где богатство «зиждется на торговле», тем частям Италии, где существование многочисленного дворянства создает условия, благоприятные для феодальной организации власти, формулирует самую острую тревогу Макиавелли. Его заботит, конечно, прежде всего Флоренция.

Соотношение общественных сил в Ломбардии, на юге и в Папской области было таково, что усиление феодальных влияний в это время уже не пугало руководящие общественные группы, а встречало с их стороны сочувствие. В Венеции напора феодальных сил не очень боялись, ибо правящая буржуазия не подвергалась такому расслоению, как во Флоренции, и потому силы экономического и политического сопротивления в республике не были подорваны.

Во Флоренции буржуазия не только раздиралась чисто экономическими противоречиями. Обстоятельства, при которых произошло крушение режима пожизненного гонфалоньерата, показали, что самому «равенству» в республике грозит величайшая опасность. Падение Содерини было результатом напора рантьерской крупной буржуазии, интересы которой попирались политикою Большого совета.

Но падению режима активно содействовали силы, планомерно насаждавшие в Италии феодальную реакцию: Прато пал под ударами испанцев. Между Испанией и Медичи, лидерами рантьерской буржуазии, установилась некая солидарность. А это, несомненно, служило признаком, что верхи буржуазии, пособники Медичи, захватившие власть после переворота 1512 года, находятся если не целиком, то в значительной мере в лагере феодальной реакции[307].

Укрепление и развитие этой тенденции грозило разрушить во Флоренции «равенство», то есть лишить группы торгово-промышленной буржуазии всякого участия в организации власти. Реставрации 1512 года захватила их врасплох. Сторонники Медичи сейчас же после победы торопились восстановить хозяйственную основу своего господства и отбирали прежние свои поместья у тех, кто их скупил. Тому классу, который Макиавелли считал носителем идеалов республиканской свободы

и равенства, – торгово-промышленной буржуазии – грозил полный разгром.

С этими группами буржуазии Никколо связал свою судьбу. И все его мысли ближайшим образом были направлены на одно: спасти флорентийскую буржуазию, не вовлеченную в орбиту действия феодализирующих факторов, от ударов феодальной реакции.

На первый взгляд этому противоречит то, что Никколо очень скоро после переворота 1512 года стал заискивать у Медичи и проситься к ним на службу, что он посвящал им свои сочинения, а позднее принимал от них не только литературные, но и политические поручения. Объясняются эти вещи просто. Никколо никогда не предполагал, что если Медичи возьмут его на службу, он сможет получить влиятельный пост, а литературные посвящения высоким особам были вполне в духе времени и ни к чему не обязывали.

Записка о реформе государственного строя во Флоренции, которую он подал Льву X по инициативе кардинала Медичи в 1515 году[308], была попыткою убедить Папу в необходимости дать больше доступа к власти торгово-промышленным группам, то есть полностью продолжала его всегдашнюю политическую линию. Что касается деятельности Никколо в 1526–1527 годах, то тут ему совсем не приходилось кривить душою и изменять своему классу, потому что политика Гвиччардини и Папы в период Коньякской лиги была – мы увидим ниже – его политикою.

Дело шло о том, быть или не быть независимой Италии, а в этом вопросе его группа была заинтересована больше, чем другие. С другой стороны, спасать нужно было прежде всего ее, потому что Никколо лишь ее одну считал способной осуществить национальные задачи Италии. Но именно она не поняла, что побудило Макиавелли поступить в 1526 году на службу к Медичи, и после изгнания Медичи отлучила его от всякой политики.

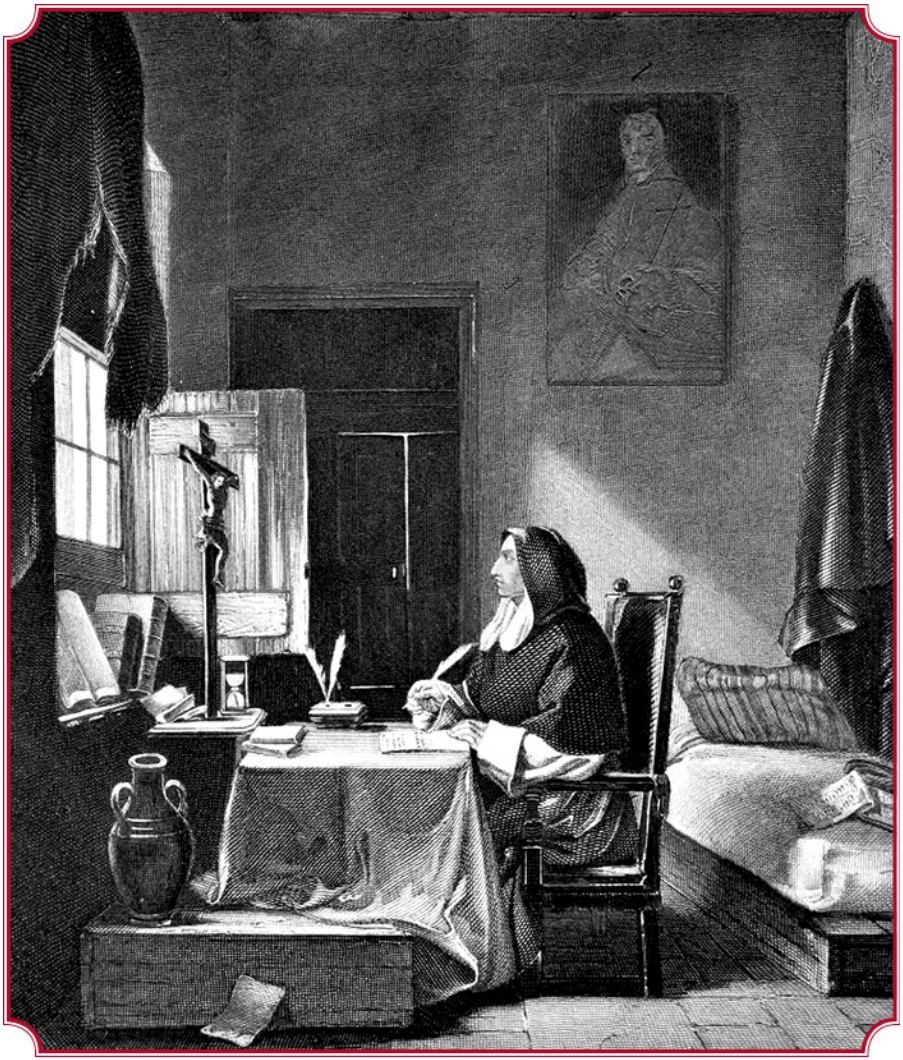
При Содерини приходилось считаться главным образом с правой опасностью. Опасности слева торгово-промышленная буржуазия не ощущала сколько-нибудь остро. Низшие группы ремесленников, как и рабочих, она вела за собой. Партия Савонаролы, i piagnoni[309], не чувствовала под собой такой крепкой почвы, как при жизни своего пророка, и не могла оспаривать у буржуазии руководства беднейшими классами, а так как экономическая конъюнктура была очень неблагоприятна ей самой, то противиться буржуазии она была не в состоянии.

Напора слева и борьбы с неимущими поэтому не было. И в актуальных публицистических выступлениях Никколо, прежде всего в «Discorso sopra il riformar lo Stato», la plebe не играет

никакой роли[310]. В сущности, весь демократизм Макиавелли только в том и заключается, что он не призывает к борьбе с plebe. Но и защиты прав этого plebe нельзя найти у него нигде. Он за popolo, то есть за верхние три тысячи, которые ведут за собою, и не очень мягко, низшие классы.

И едва ли мы ошибемся, если признаем, что с его точки зрения это – наиболее нормальное соотношение между popolo и plebe. Как он относится к такому режиму, где власть полностью принадлежит plebe, мы увидим из тона его повествования о чомпи в «Истории Флоренции».

А рассуждения в «Discorsi», которые обычно приводятся в доказательство демократизма Макиавелли, его практическую позицию определяют в малой мере, если вообще определяют. Правда, у него говорится, что масса (la moltitudine) более умна и более постоянна, чем государь; это очень хорошее подтверждение его республиканизма, но недостаточное для доказательства его демократизма[311].



Джироламо Савонарола работает в уединении
в монастыре Сан-Доменико. *Гравюра XIX в.*

А все восхваления plebe (особенно в Discorsi. Кн. I. Гл. 6) относятся исключительно к римским условиям, то есть к таким, где существовала армия, составленная из этой самой plebe. Ради возможности иметь постоянные войсковые кадры, необходимые для завоевательных войн, приходится терпеть – только терпеть, tollerare – столкновения между «народом и Сенатом», то есть давать «народу» некоторую свободу бороться за свои права. Значит, там, где «необходимость» не «толкает на завоевания», этого терпеть не нужно. Для Флоренции такой «необходимости» Макиавелли не видел.

Он отлично понимал, что при тех обстоятельствах, в которых находилась Италия, поставленная лицом к лицу с сильными национальными государствами, ей не приходится говорить о «римском величии» (romana grandezza), хотя это, быть может, «путь чести» (parte piu onorevole).

Флоренция же не смела, конечно, и мечтать о каких-либо завоеваниях после того, как она четырнадцать лет покоряла Пизу и в конце концов вынуждена была купить ее у французов, а перед тем, тоже за деньги, переняла от французов взбунтовавшийся Ареццо. Во Флоренции не было причин давать волю низшим классам.

Наоборот, не очень давняя история очень красноречиво говорила, что в городе имеются предпосылки – их Рим не знал – для чрезвычайно опасного брожения социального характера – восстания рабочих против предпринимателей. Оно могло подорвать благосостояние города, лишить его богатства, то есть того оружия, которым при всяких столкновениях Флоренция оперировала с наибольшим успехом.

Макиавелли и думал, что политикою сегодняшнего дня по отношению к низшим классам должна была быть та, которая проводилась во Флоренции и о которой в той же главе «Discorsi» говорилось так: «Правящие держали их в узде и не пользовались ими ни в каких делах, где бы они могли взять власть».

И только потому, что Макиавелли не говорит прямо о необходимости борьбы с plebe, эта его точка зрения не так бросается в глаза. Едва ли все это достаточный аргумент в пользу его демократизма. Он был и остался до конца последовательнейшим идеологом торгово-промышленной буржуазии и демократом отнюдь не был.

За время своей службы и позднее, будучи и в центре политического штаба Флоренции, и вдали от дел, Никколо копил наблюдения из области партийной борьбы, и они постепенно складывались у него в обобщения, которые можно назвать социологическими, хотя и с оговорками, ибо они больше вскрывают физиологию политической борьбы, чем ее социальную сущность, и больше ее механику, чем диалектику. Они, в свою очередь, помогали ему найти политические конструкции, которые были ему нужны. Их он дал в больших трактатах. Мы рассмотрим сначала социологию, потом политическую теорию.

VII

5 октября 1502 года Никколо получил приказ отправиться в Имолу к Цезарю Борджиа с рядом поручений. Ему, как всегда, не хотелось ехать. Он только что женился. Человек, к которому его посылали, пользовался такой устрашающей славой, что бедному секретарю было заранее не по себе. Выгод от миссии он не предвидел никаких, хлопот – очень много. Но нужно было подчиняться. Никколо выехал, перечитывая свою инструкцию.

Там в конце стояло такое предписание[312]: «Когда тебе представится удобный случай, ты будешь от нашего имени ходатайствовать перед его светлостью о том, чтобы в принадлежащих ему областях и государствах была обеспечена охранной грамотою безопасность имущества наших купцов, едущих к Леванту или обратно. Так как это вещь очень важная и является, можно сказать, желудком нашей республики (lo stomaco di questa città), то нужно приложить все старания и пустить в ход все усилия, чтобы результаты получились согласно нашему желанию».

Макиавелли едва ли нужно было напоминать, что составляет – говоря словами Лассаля – «вопрос желудка», Magenfrage флорентийской коммуны. Он, конечно, и сам давно додумался до этой нехитрой мысли, иллюстрации которой он видел на каждом шагу.

Классовая борьба, которая кипела вокруг него, давно открыла Никколо основную причину социальных противоположностей. Если бы ему была известна современная терминология и если бы он излагал эти вопросы в привычной для нас системе, мы бы нашли в его сочинениях много хорошо знакомых социологических инструкций.

Прежде всего, Макиавелли отлично знает, что самый могущественный стимул людских действий – интерес. В главе 19 «Il Principe» говорится: «До тех пор пока у народа (universalità degli uomini) не отнимают ни имущества (robba), ни чести, он спокоен». Почти буквально повторяется эта мысль в «Discorsi», в главе о заговорах (Кн. III. Гл. 6): «Имущество и честь – две вещи, отнятие которых задевает людей больше, чем всякая другая обида».

В обоих этих афоризмах «интерес» не отделяется от «чести», причем честь имеется в виду специальная. «Государя, – читаем мы в той же главе «Il Principe», – делают ненавистным больше всего, как я указывал, покушения на имущества и на женщин его подданных и насильственное их присвоение». А в главе об аграрных законах в Риме (Discorsi. Кн. I. Гл. 37) говорится резко: «Из этого еще раз можно убедиться, насколько люди больше ценят имущество, чем почести».

Честь и почести (onore и onori), конечно, не одно и то же, но имущество в этой сентенции стоит уже определенно на первом месте. Та же мысль – в «Il Principe» (Гл. 17): «Больше всего [государю] не следует покушаться на имущество других, ибо люди скорее забудут смерть отца, чем лишение имущества».

Впервые, по-видимому, такая формула пришла в голову Макиавелли как практический аргумент в минуту, очень для него тяжелую: в 1512 году, когда падение Содерини уже совершилось, но он не был еще лишен своей должности, Никколо обратился к кардиналу Медичи, будущему Льву X, с письмом, в котором он пытался остудить реставрационный пыл новых хозяев Флоренции.

Там говорится: «Уже назначены чиновники, которые должны разыскивать и возвращать имения Медичи. Эти имения находятся сейчас в руках людей, которые их приобрели и законным образом ими владеют. Отобрание их породит непримиримую ненависть, ибо люди больше сокрушаются о потере поместья, чем о смерти брата или отца»[313]. В трактатах эта формула воспроизводится в распространенном виде: не поместье только, а имущество вообще людям дороже всего на свете. Действия людей управляются интересом.

Из этого основного положения нетрудно было – жизнь подсказывала – вывести другое. Если имущество людям дороже

всего, то те, у кого его нет, естественно стараются им обзавестись, а те, у кого оно есть, стараются его сохранить. Так как эти стремления непримиримы и так как стимулы их неустранимы, то неминуема борьба. «Масса (la moltitudine) скорее готова захватить чужое, чем беречь свое, и людьми больше двигает надежда на приобретение, чем страх потери, ибо потере, если только она не близка, не верят, а на приобретение, хотя бы оно было далеко, надеются»[314].

«Людям недостаточно вернуть свое: они хотят захватить чужое и отомстить»[315]. Борьба, которая вспыхивает, естественно получает характер борьбы классов. Волнения, в которые она выливается, «чаще всего бывают вызваны имущими (chi possiede), ибо страх потери рождает в них те же побуждения, которыми полны стремящиеся к приобретению. Ведь людям кажется, что обладание тем, что у них есть, не обеспечено, если они не приобретают вновь и вновь.

Кроме того, владеющие многим имеют больше возможностей и больше побуждений (moto), чтобы производить перевороты (alterazione). Вдобавок их неблаговидные (scorretti) и честолюбивые повадки (portamenti) зажигают в сердцах неимущих (chi non possiede) стремление обзавестись средствами либо для того, чтобы, отняв у богатых их достояние, отомстить им, либо чтобы самим приобщиться к богатству и почестям, которыми другие пользовались, на их взгляд, неправильно»[316]. Трудно без четких социологических формулировок, время которых еще впереди, яснее выразить мысль, что в основе борьбы классов из-за власти («почестей»), то есть политической борьбы, лежат мотивы экономические.

Классовые противоположности и классовая борьба, то, что Макиавелли обозначает словом disunione, являются душой истории. Ибо «в каждой республике существуют два различных устремления (umori diversi): одно – народное, другое – высших классов (dei grandi), и все законы, благоприятные свободе, порождены их борьбой (disunione), как нетрудно видеть на примере Рима»[317]. Возвращаясь к этой мысли в «Истории Флоренции» (Кн. VII. Гл. I), Макиавелли утверждает, что ни одна республика не может быть вполне единой внутренне и существовать без общественных группировок (divisioni).

Эти группировки он считает явлением нормальным и при известных условиях благотворным и придает им огромное значение как историческому фактору. Мысль эта подчеркнута с самого начала, в предисловии к «Истории Флоренции». Там, критикуя своих предшественников, Бруни и Поджо, он говорит: «В описаниях войн… они очень старательны, но раздоры

гражданские, внутренняя борьба (civili discordie e intrinseche inimicizie) и результаты, ими порожденные, частью обойдены молчанием совершенно, частью изложены настолько коротко, что читатели не получат ни пользы, ни удовольствия».

Вообще вся «История Флоренции», в сущности, является иллюстрацией avant a lettre[318] к тезису «Коммунистического манифеста», что история всего предшествующего общества есть история борьбы классов. Недаром Маркс назвал эту книгу «высоко мастерским произведением»[319].

Чтобы было ясно, с какой сокрушительной для своего времени отчетливостью представлял себе Макиавелли эти вещи, мы приведем замечательный отрывок из рассказа о восстании чомпи[320]. Он будет немного длинный, но он того стоит.

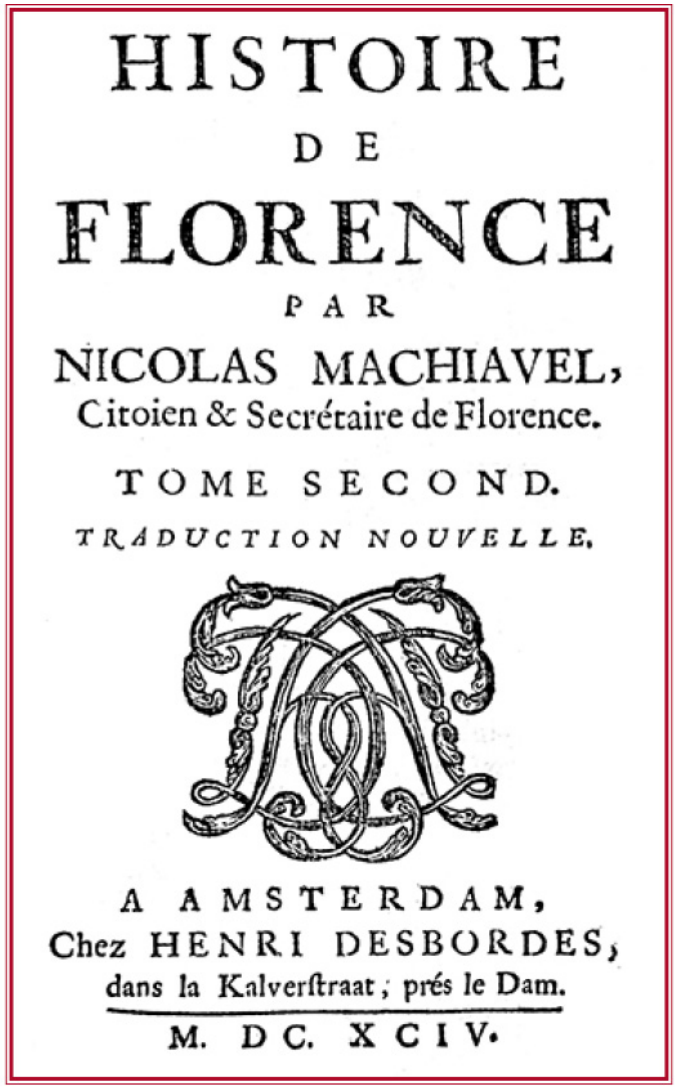
«Пока происходили эти события, возникло другое волнение, которое нанесло республике ущерб гораздо больший, чем первое. Поджоги и грабежи последних дней большей частью были делом рук городских низов (infima plebe della città). Когда главные раздоры утихли и улеглись, самые дерзкие из них стали бояться, что их постигнет кара за проступки, ими совершенные, и что они, как это часто бывает, будут покинуты теми, кто толкал их на злодеяния.

К этому еще присоединялась ненависть, которую неимущие (popolo minuto) питали к богатым гражданам и заправилам цехов[321], ибо они находили, что заработная плата, которую они получают за свои труды, гораздо меньше, чем они по справедливости заслуживают. Те граждане, которые раньше принадлежали к гвельфам[322] и из среды которых всегда выходили капитаны этой партии, покровительствовали членам старших цехов, а членов младших и их защитников[323] преследовали. Вот почему возникли против них те волнения, о которых мы рассказали.

При распределении граждан по цехам многие из тех профессий, в которых заняты неимущие и люди из городских низов, не получили собственной цеховой организации и были подчинены различным цехам, к которым эти классы по своим профессиям подходили. Следствием этого являлось, что, когда люди не были удовлетворены заработной платой или подвергались тем или иным притеснениям со стороны хозяев, им некуда было обратиться, кроме как к начальству того цеха, которому они были подвластны.

И казалось им, что с его стороны им не оказывается справедливость, на какую они считали себя вправе рассчитывать. Из всех цехов имел и имеет больше всего подвластных – цех суконщиков (Lana). Это самый могущественный и первый по

влиянию между всеми. В его промышленных предприятиях находили и находят хлеб большая часть неимущих и людей из городских низов.


HISTOIRE
DE
FLORENCE
PAR
NICOLAS MACHIAVEL,
Citoien & Secrétaire de Florence.
TOME SECOND.
TRADUCTION NOUVELLE.
A AMSTERDAM,
Chez HENRI DESBORDES,
dans la Kalverſtraat; prés le Dam.
M. DC. XCIV.

Титульный лист «Истории Флоренции» Н. Макиавелли. *Амстердам. 1694 г.*

Исторический труд «История Флоренции» Никколо Макиавелли начал в 1520 г. по заказу Флорентийского университета, главой которого в то время был кардинал Джулио Медичи. Законченная книга была представлена заказчику в мае 1526 г., когда последний был уже Папой Климентом VII. События «Истории» охватывают период от Древнего Рима до современных Макиавелли событий. Этот труд был опубликован только в 1532 г., уже после смерти Макиавелли.

Таким образом, люди низших классов, подчиненные как цеху суконщиков, так и другим, по указанным причинам были полны недовольства. К этому присоединялся еще страх, порожденный поджогами и грабежами, ими учиненными. Поэтому они неоднократно собирались по ночам, обсуждали недавние происшествия и указывали друг другу на опасность, в какой они находятся.

Один из наиболее смелых и бывалых, чтобы ободрить других, сказал следующее: “Если бы нам нужно было обсуждать вопрос, следует ли браться за оружие, жечь и грабить дома граждан, громить церкви[324], я примкнул бы к тем, кто полагал, что об этом нужно очень подумать, и, может быть, согласился бы, что спокойную бедность следует предпочесть опасной наживе. Но так как оружие пущено в ход и много дурного совершено, то мне кажется, нужно говорить о том, как сделать, чтобы не складывать оружие и не быть в ответе за содеянное.

Думаю, что если никто не сумеет предложить выхода, его укажет нам сама необходимость. Вы видите, что весь город полон против нас злобы и ненависти. Граждане сближаются между собою, и Синьория все время заодно с цеховыми властями. Будьте уверены, что нам расставлены ловушки и опасность угрожает нашим головам. Поэтому мы должны думать о двух вещах и поставить себе две цели: одна – это не быть в ответе за то, что мы совершили, другая – получить возможность жить более свободно и более обеспеченно, чем прежде.

И нам следует, мне кажется, если мы хотим получить прощение за прежние грехи, натворить новых, удвоить зло, нами сделанное, умножить поджоги и грабежи и постараться во всем этом набрать как можно больше соучастников. Ибо где грешат многие, никто не подвергается возмездию. Малые проступки влекут за собою наказание, большие – награду. Когда страдают

многие, о мести думают единицы, ибо общие невзгоды переносятся с большим терпением, чем отдельные.

Если мы умножим причиненное нами зло, мы легче добьемся прощения и найдем средства получить то, что мы хотим иметь для обеспечения нашей свободы. И мне кажется, что мы на пути к верному успеху, ибо те, которые могли бы нам помешать, разъединены и богаты. Их разъединенность даст нам победу, их богатства, когда станут нашими, помогут ее удержать. Не давайте затуманить себе голову разговорами, которыми они хотят нас унизить: что в их жилах течет древняя кровь.

Все люди одного происхождения и, значит, совершенно одинаковой древности, и природа создала их по одному образцу. Разденьте всех догола, и вы увидите, что все похожи друг на друга. Облачите нас в их одежды, а их в наши – разумеется, мы будем иметь вид знатных, а они – худородных. Ибо только бедность и богатство создают неравенство между нами. Мне очень неприятно чувствовать, что многие из вас в глубине души раскаиваются в том, что они сделали, и не хотят принимать участия в таких же новых деяниях.

И если это верно, то я скажу, что вы не те люди, которых я думал в вас найти. Вас не должны смущать ни совесть, ни бесчестие. Потому что победители, каким бы способом они ни победили, никогда не несут позора. И нечего обращать внимание на угрызения совести, ибо там, где приходится, как нам сейчас, бояться голода и тюрьмы, нет и не может быть места страху перед адом.

А если вы вникнете в поступки людей, вы увидите, что все, которые достигли больших богатств и большой власти, добились этого либо вероломством, либо насилием, и захваченное обманом или силою они, чтобы скрыть недостойные способы приобретения, лживо называют теперь заработанным. Те же, кто по малому разумению или по чрезмерной глупости избегают таких способов, все больше погружаются в порабощение и в нищету. Потому что верные рабы – всегда рабы, а хорошие люди – всегда бедны.

От порабощения никогда не освобождается никто, кроме вероломных и дерзких, а от нищеты – никто, кроме воров и мошенников. Бог и природа поместили счастье людей у всех под руками, и оно легче достается грабежу, чем трудовой жизни, легче дурным поступкам, чем хорошим. Из этого вытекает, что люди пожирают друг друга, и маленькому человеку живется все хуже и хуже.

Вот почему нужно пускать в ход силу, когда к этому представляется возможность, и никогда судьба не даст нам к

этому большей возможности, чем сейчас, когда среди граждан царят раздоры, когда Синьория колеблется, а власти не знают, что делать. И пока они объединятся и соберутся с духом, ничего не стоит их раздавить. Тогда мы окажемся полными господами города и получим такую долю власти, что не только прежние проступки будут нам отпущены, но мы еще получим право и возможность грозить им новыми бедами. Я признаю, что этот путь – смелый и рискованный.

Но там, где давит необходимость, – разумная дерзость есть благоразумие, и в великих делах мужественные люди никогда не считаются с опасностью. А те предприятия, которые начинаются с опасностей, кончаются торжеством, ибо никогда без опасности нельзя покончить с опасностью. Мне кажется к тому же, что в момент, когда готовятся тюрьмы, пытки и казни, страшнее ждать этих вещей, ничего не делая, чем пытаться их избежать.

В первом случае беда придет наверняка, во втором – она сомнительна. Сколько раз приходилось мне слышать ваши жалобы на скупость ваших хозяев и на несправедливость цеховых властей. Теперь как раз настал момент не только освободиться от тех и от других, но и стать настолько выше их, что они будут бояться вас больше, чем вы их.

Возможность для этого, которую нам предоставляет случай, улетает, и когда она исчезнет, вы тщетно будете стараться поймать ее снова. Вы видите приготовления ваших противников. Предупредим же их намерения. Кто первый возьмет оружие, несомненно, победит: враг будет сокрушен, и торжество ваше будет полное. Многим достанется честь, всем – безопасность”».

Нетрудно видеть, что в этом отрывке воспроизводятся в более зрелой и законченной форме замечания, разбросанные в «Государе» и в «Рассуждениях о Тите Ливии». И сколько боевых лозунгов, гремевших на всех аренах классовой борьбы вплоть до наших дней, нашли на этих удивительных страницах свое первое выражение!

VIII

Культура Возрождения – культура итальянской коммуны. Мировоззрение Возрождения – мировоззрение, отвечающее нуждам коммуны. Оно эволюционировало, как эволюционировала коммуна. Оно становилось сложнее и разнообразнее, по мере того как разнообразнее и сложнее становились социальные группировки в коммуне.

Политическая мысль Возрождения – одна из граней его миросозерцания – отражает процесс усложнения социальных группировок в коммунах очень явственно. Коммуна – республика. Господствующая в ней группа – буржуазия, торговая и промышленная. Свобода хозяйственной деятельности – это то, чем буржуазия дорожит больше всего. Если чистая республиканская форма может обеспечить эту свободу, она сохраняется.

Если не может, она уступает место тирании или, как гласила терминология, синьории, то есть опирающейся на буржуазные группы единоличной власти. Синьория может придать себе аппарат, привычный для монархии, то есть обзавестись титулом через императора или Папу, двором, церемониалом, и может сохранить всю видимость республиканского строя, будучи в действительности властью вполне единоличной: смотря по тому, насколько тут или там сильны социальные пережитки

феодализма. Но одно обще всем синьориям: она обеспечивает буржуазным группам экономическую свободу.

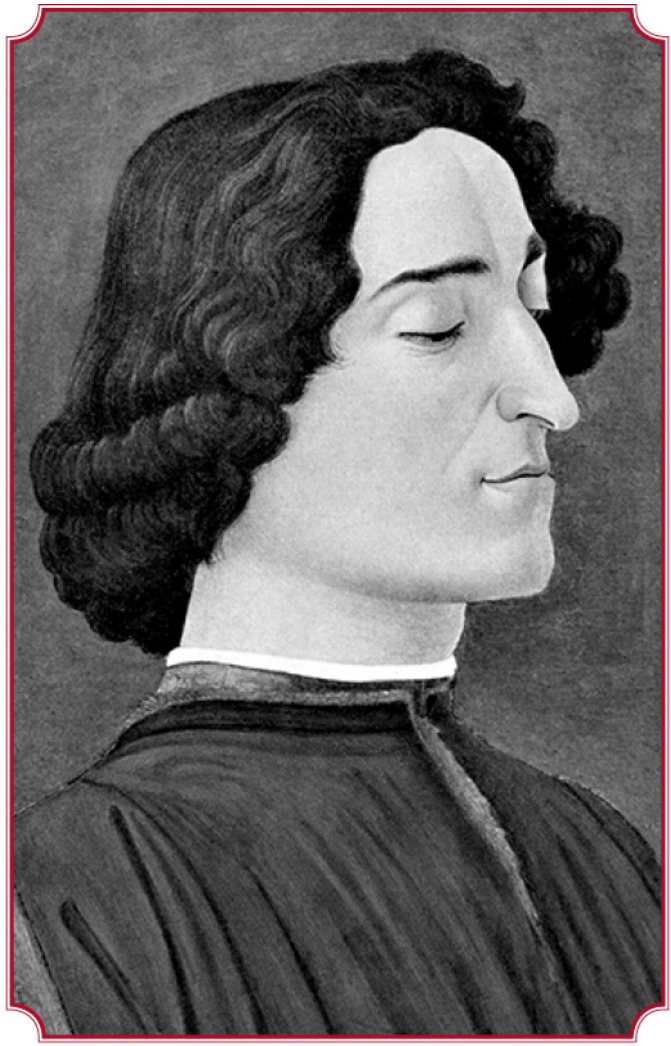
Политические идеи XV века, то есть преимущественно идеи гуманистов, не вскрывают истинной картины политических отношений, и если судить по ним, то будет казаться, что республиканская форма стоит так же незыблемо, как в разгар борьбы гвельфов и гибеллинов. Это значит, что буржуазии неугодно было, чтобы подчеркивалась утрата ею политической свободы. Тем не менее даже в политических высказываниях гуманистов можно уловить различные оттенки.

Треченто во Флоренции провозглашает резко республиканскую и резко тираноборческую точку зрения. Боккаччо говорит о том, что «нет жертвы, более угодной Богу, чем кровь тирана». Салютати пишет целый тираноборческий трактат. В XV веке, особенно после того, как во Флоренции установилась синьория Медичи, флорентийские гуманисты смягчают свои тираноборческие высказывания, но республиканская платформа остается у них незыблемой: первые Медичи очень любили, когда про их правление говорили, что оно республиканское.

Поджо противопоставляет флорентийскую «свободу» тирании миланских Висконти и вступает в полемику с феррарским гуманистом Гуарино о сравнительных достоинствах Сципиона и Цезаря[325]. Первого он защищает как последовательного республиканца[326]. […] Точка зрения Гуарино обратная. Он живет в Ферраре, а синьория д'Эсте одна из самых откровенных[327]. Такие уклончивые, скользкие отражения политического бытия сделались невозможны после того, как во Флоренции отгремели классовые бои савонароловского четырехлетия и со всей определенностью обозначались классовые группировки сначала пожизненного гонфалоньерата, потом медичийской реставрации.

Теперь политическая доктрина, которая берется оценивать положение, должна отличаться четкостью классовой точки зрения; это – главное требование, к ней предъявляемое. Поэтому все, кто выдвигает ту или иную политическую доктрину, считают себя обязанными не скрывать своей классовой точки зрения: и Гвиччардини, и Веттори, и Джанотти, и Нерли, и остальные.

Но лишь один Макиавелли сумел придать своим высказываниям такую глубину, при всей их яркой злободневности и классовой определенности, что его теория не только сделалась политической доктриной Возрождения, но и положила начало политике как научной дисциплине.



Сандро Боттичелли.
Портрет Джулиано Медичи.
1478—1482 гг.

Джулиано Медичи (1453—1478), второй сын Пьеро Медичи и его жены Лукреции Торнабуони, соправитель своего брата Лоренцо Великолепного, был убит во время заговора Пацци, во время пасхальной мессы в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Заговор предполагал привести к власти Франческо де Пацци и Джироламо Риарио, племянника Папы Сикста IV.

Основные линии его теории даны в «Discorsi» и в «Il Principe», к которым примыкает «Arte delle guerra», а злободневные ее моменты со всей силой непосредственности вырисовываются в письмах к Веттори и в «Рассуждении о конституционной реформе во Флоренции».

Интересы буржуазии требуют, чтобы в городе, как Флоренция, благосостояние которого выросло на торговле и промышленности, была республика, а не монархия. Монархия (наследственная) – вообще форма «жалкая» (trista; Discorsi. Кн. III. Гл. 8), и о ней Макиавелли не любит говорить. Но совершенно недостаточно сказать, что республика лучше монархии, ибо самое важное – организация республиканского управления, то есть в конечном счете распределение государственной власти между социальными группами. Нет необходимости излагать то, что у Макиавелли говорится о свободе и равенстве: это хорошо известно[328].

Также хорошо известно, какие усилия должен был делать Макиавелли, чтобы обосновать и оправдать республиканскую точку зрения в «Истории Флоренции», посвященной Клименту VII Медичи. Гораздо важнее то, как он себе представляет социальную базу республики в таком городе, как Флоренция. Мы видели, как он боится дворянства, т. е. феодальных классов, и как мало у него симпатии к народным массам. В республике, которая хочет благоденствовать, дворянство нужно искоренять, а массы взять в руки.

Сделать это должна буржуазия, не тронутая феодализирующими процессами, – во Флоренции, следовательно, не рантьерская часть буржуазии, а торгово-промышленный класс. Он – настоящий хозяин политической сцены, ибо его активность поддерживает экономическое процветание государства. В записке о реформе конституции Никколо развивает эту точку зрения как программу сегодняшнего дня.

Необходимо «открыть вновь залу совета», то есть восстановить Большой совет, основной орган савонароловско-содериньевской конституции[329], враждебный рантьерской буржуазии и очень ловко маневрировавший с массами. Так как реставрация Медичи в 1512 году была произведена рантьерскими группами, то откровенная защита интересов других групп перед Папою Медичи с самого начала не могла рассчитывать на успех. Записке не было дано ходу, хотя династические интересы Медичи в ней довольно искусно – и не очень искренно – ограждались.

В 1512 году торгово-промышленная буржуазия во Флоренции была вытеснена со своей господствующей позиции и подверглась жесточайшему финансово-экономическому ущемлению. Этого мало. Не только во Флоренции, но и всюду в Италии, за исключением Венеции, феодализирующие процессы надвигались все ближе и давили на буржуазию, а в Венеции буржуазия страдала с каждым годом больше от неблагоприятной международно-хозяйственной конъюнктуры.

Но и этого мало. Италию теснили враги, чужеземцы, отсталые экономически и поддержавшие в Италии феодальные и легко поддающиеся феодализации группы. Они сидели очень крепко на юге и почти не покидали севера.

Неаполь после Гарильяно (1503)[330] даже перестал быть ареною военных действий. Там уже хозяйничал испанский вице-король. Тем беспощаднее бушевала военная непогода на севере. После Камбрейской лиги и Аньяделло (1509)[331] война там не прекращалась надолго, до самого Sacco[332] 1527 года. Менялись лишь ее плацдармы и участники. Французы, испанцы, швейцарцы, немецкие ландскнехты – все побывали там, и мелкие династы не знали, чей сапог им целовать.

Последовательно, кусок за куском разорялась итальянская земля. Чем дальше, тем становилось хуже. Создавалась угроза самостоятельному политическому бытию Италии, а с ней хозяйственной самостоятельности и политической свободе торгово-промышленной буржуазии. Феодальные и наполовину феодализованные группы севера и юга приветствовали чужеземное завоевание, то есть изменяли Италии.

Только буржуазные, притом исключительно торгово-промышленные, группы, подчиняясь своей внутренней хозяйственной и классовой логике, не могли принять завоевание и изменить родине. Спасение родины совпадало с классовыми интересами буржуазии, то есть с классовой позицией Макиавелли.

Италия не могла обороняться. Почему? Этот вопрос задал себе Никколо. Мы знаем его ответ: во-первых, потому что в

Италии нет политического единства, а во-вторых, потому что в Италии нет своей, не наемной, национальной армии. Что же было делать? Ответ опять-таки был беспощадно ясен: создать единство и создать армию. Для этого нужно было указать практические способы. Думая над ними, Макиавелли положил основание политической науке, подобно тому как Колумб, отыскивая пути в Индию, нашел Америку.

Поездки во Францию и в Германию, вместе с опытом, полученным за время осады Пизы, проверенные на классиках и на истории итальянской коммуны в Средние века, дали Макиавелли отправные точки зрения. Их он изложил раньше всего в виде беглых набросков в двух коротеньких очерках о Франции и Германии. В дальнейших думах и в больших трудах эти точки зрения созревали все больше и больше и сообщали его доктрине ее основные линии.

Собственная, не наемная, а национальная армия. Это – заветная мысль Никколо. С первых своих шагов в должности секретаря «десяти», когда он стал присматриваться к операциям по осаде Пизы, он пришел к заключению, что наемные войска никуда не годятся, и начал энергичную агитацию за создание милиции.

По его настоянию Содерини провел соответствующий закон, была назначена так называемая Ordinanza, душой которой сделался он сам; он стал набирать солдат. В организации милиции было допущено много промахов, но Макиавелли смотрел на них как на «детские болезни», и его не разочаровывали даже такие факты, как падение Прато (1512), гарнизон которого – цвет его милиции – позорно разбежался при первом натиске испанцев.

В «Discorsi», в книге III, несколько глав посвящено военным вопросам. Целиком трактует о них большой диалог «Военное искусство», «Dell'arte della guerra». В «Истории Флоренции», начиная с IV книги, все описания походов превращаются в сплошную филиппику против наемных войск, и Никколо не щадит красок, чтобы представить – иной раз сознательно преувеличивая – в смешном виде битвы кондотьерских отрядов.

Огромное большинство анекдотов, характеризующих стратегию и тактику кондотьеров, идут от «Discorsi» и «Истории Флоренции». Никколо был уверен, что если довести до конца дело реорганизации армии в Италии, изгнание «варваров» станет легким делом: слишком убедительны были доказательства, которые приносили в Италию французские, швейцарские и испанские войска, организованные именно так, как проповедовал в «Военном искусстве», слегка стилизуя по римским образцам

современный опыт, кондотьер Фабрицио Колонна, выражавший собственную точку зрения Макиавелли.

Но армия должна быть в надлежащих руках. Каких? После собирательной деятельности Юлия II Папская область усилилась настолько, что ни одна комбинация итальянских государств не могла ее игнорировать. И осуществить более или менее прочное единение Италии в борьбе с Папою было теперь вещью совершенно невозможной.

Никколо отлично помнил, что Папская область всегда была элементом разъединения и слабости Италии, и чем она становилась сильнее, тем такое ее значение возрастало. Он прекрасно доказал это в «Discorsi»[333].

Но было одно обстоятельство, в сущности, совершенно случайное, которое давало надежду в данный момент воспользоваться именно тем, что всегда было элементом слабости Италии, и попытаться сделать это элементом силы. Начиная с 1513 года и до самой смерти Никколо на папском престоле сидели сначала Лев X, а после годичного промежутка Климент VII, оба Медичи, то есть государи Флоренции.

Папская область и Флоренция оказывались уже объединенными. Формально это была, конечно, личная уния, но фактически – и реальная. Задача, казалось, значительно облегчается. Как же нужно было вести объединение дальше?

Для Макиавелли был ясен ответ и на этот вопрос: так как Цезарь Борджиа в 1502 году – не думая ни о чем, не останавливаясь ни перед чем, объявляя, если нужно, преступление подвигом и вероломство добродетелью, веря, что все будут приветствовать как «bellissimo inganno»[334] маневры даже худшие, чем ловушка в Синигалии. В «Discorsi» по этому поводу говорится (Кн. III. Гл. 41): «Когда речь идет о спасении родины, должны быть отброшены все соображения о том, что справедливо и что несправедливо, что милосердно (pietoso) и что жестоко, что похвально и что позорно.

Нужно забыть обо всем и действовать лишь так, чтобы было спасено ее существование и осталась неприкосновенна ее свобода». В «Il Principe» этот афоризм развернут на несколько глав, одни заглавия которых кричат о том, что Макиавелли «забыл обо всем» и помнит лишь о родине, которой грозит катастрофа. Критика именно этих глав «Il Principe» чаще всего превращалась в вой исступленных проклятий.

Из старых мыслителей Гегель был в числе немногих, кто понял диалектическую закономерность тех способов борьбы за итальянское единство, которое рекомендовал Макиавелли. «Эту книгу («Il Principe»), – говорит он, – часто отбрасывали с ужасом

за то, что она полна максимами самой свирепой тирании. Но в высшем смысле необходимости государственных образований Макиавелли установил принципы, согласно которым должны были в условиях того времени создаваться государства»[335].

Когда писался «Il Principe», для Макиавелли в анализе политики Цезаря Борджиа был очень важен один момент. Цезарь был сыном Папы: курия финансировала его завоевания и благословляла его аннексии. При Льве X и Клименте VII дело национального и политического обновления могло получить финансовую базу еще более солидную: соединенные средства курии и Флоренции.

Поэтому «Il Principe», книга, где и теория принципата, и руководящие указания для «principe nuovo»[336], спасителя Италии, и страстный призыв к изгнанию «варваров», должна была быть посвящена Джулиано Медичи, меньшому брату Папы Льва, а когда он умер, была перепосвящена Лоренцо Младшему, племяннику Льва и Климента. Обойти Медичи было невозможно, и выбирать нужно было из таких Медичи, которые – выбор был небогат – были ближе к Папам. Не Макиавелли был виноват, что перед ним оказались только эти два бездарных отпрыска славного дома, что именно в них ему нужно было вдохнуть свою virtu и их двинуть на политический и патриотический подвиг.

Но хотя их имена связались не только с посвящением «Государя», а еще и с аллегориями Микеланджело в капелле Медичи, дело Италии от этого не выиграло. Лоренцо тоже вскоре умер, а когда в 1526 году понадобилось без всякой риторики обнажить меч и вести войска итальянские на врага, от старшей линии Медичи оставались только два малолетних бастарда. Макиавелли и тогда не бросил своей мысли.

Он нашел еще одного Медичи, правда, из младшей линии, но на этот раз зато такого, какой был нужен: «человека великих решений», pigliatore di gran partiti[337] – Джованни, кондотьера, начальника «Черных отрядов». Но Папа Медичи испугался кондотьера Медичи, и жезла командования Джованни не получил. А он был способен и бить врагов, не думая ни о чем, и забрать неограниченную власть для осуществления миссии единства, если бы Папа не боялся оказать ему поддержку.

Но Климент вовсе не хотел оказаться в положении Александра VI, которого Цезарь, родной сын, совершенно подчинил своей воле. Джованни был вылеплен из совершенно такого же теста. Как было вручить ему неограниченную власть?

Между тем для Макиавелли именно в неограниченной власти и было все дело. Создать новое государство, не располагая неограниченной властью, было невозможно. Почему?

Много раз было замечено, что Макиавелли в своих теоретических построениях и в их применении к жизни никогда не останавливается на полдороге, как бы суровы ни оказались те выгоды, к которым приводит его логика. Он идет до конца, сокрушая все, как бы подхватывая доносившийся с севера боевой клич: «Напролом!», «Perrumpendum est!» – лозунг Ульриха фон Гуттена[338].

Гуттен, младший собрат по литературным борениям, во многом похож на Никколо. Но была между ними и очень большая разница. Гуттен был рыцарь и бросался вперед очертя голову, едва завидев врага. Политик он был плохой, потому что с рыцарской идеологией трудно было делать политику в момент распада феодального общества. Макиавелли феодальный строй ненавидел, рыцарскую идеологию презирал, был политиком до мозга костей и ковал доктрину по требованиям века.

В основе его политической теории лежали идеи, о которых Гуттен не подозревал: представления о классовых группировках и о классовой борьбе. И он знал то, чего не знал Гуттен: что классовая борьба – борьба более ожесточенная, чем та, которая ведется сомкнутым строем в открытом поле или вокруг укрепленных стен.

Ибо эта борьба не знает мира. Поэтому лозунги Макиавелли, по существу, еще более беспощадны и суровы, чем гуттеновское «Perrumpendum est». Поэтому ему не страшны никакие выводы, хотя бы они тонули в потоках крови. Непримиримость проводится у него до конца.

Чтобы не была отнята только что завоеванная свобода, необходимо, чтобы были «убиты сыновья Брута». Другими словами, если люди самые близкие, самые дорогие властям нового порядка, самые даровитые во всех отношениях и самые нужные угрожают свободе, они должны быть убиты. «Пьеро Содерини думал, что с помощью терпения и доброты ему удастся преодолеть стремление сыновей Брута вернуться под власть другого правительства, и ошибся»[339].

Ибо кто создает тиранию и «не убивает Брута» и кто создает свободное государство и «не убивает сыновей Брута», продержится недолго. Если свободное государство создается на феодальной почве, необходимо истребить дворянство поголовно[340]. И вся свободная от моральных сдержек, безоглядная и твердая линия поведения, которая рекомендуется «новому государю»[341], в основе своей таит ту же предпосылку: сохранение государства.

Но если спасать родину от варваров должен государь с неограниченной властью, то как совместить с этим

республиканские гимны, которыми полны «Discorsi»? На этом вопросе изощряли свое бессильное злорадство целые поколения лицемеров в разных рясах и в разных ливреях. Но противоречие между республиканскими идеями «Discorsi» и программою «Il Principe» призрачное.

Нечего говорить, что его не существует в исходной точке зрения Макиавелли, между его флорентийским республиканизмом, республиканизмом его более тесной родины и сознанием невозможности сильной республиканской власти в Италии, в его более широкой родине.

Но противоречия нет и в построении. Власть «principe nuovo» – чрезвычайная и, по существу, временная. Макиавелли, конечно, не думал, что реальный «новый государь» сложит свои полномочия по истечении срока или окончив задачу, на него возложенную: как диктатор в древнем мире. Кругом себя он не видел Цинциннатов[342] в сколько-нибудь утешительном количестве и легко представлял себе, что бы стало с тем, кто предложил бы такую вещь, например, его великолепному знакомцу, Цезарю Борджиа.

У Макиавелли идея чрезвычайности и временности власти «нового государя» осуществляется в том, что он после смерти не передает своих полномочий никому[343]. Его диктатура – пожизненная. Основывается государство властью единоличной и неограниченной. Лишь в процессе организации выступает коллектив и устанавливается республиканское управление.

Так бывает и в спокойное время. А в момент, переживаемый Италией, в момент, когда она вступила в последний смертный бой за свое политическое бытие, коллективный образ действий при создании нового государства совершенно исключен. Создавать единство страны и в объединенной стране новую власть может только лицо единичное, «principe nuovo». Если он справится, после него народ может и в единой Италии заняться организацией свободного государства.

Великолепное видение, приводящее на память хорошо известную картину из героического эпоса. Лежит на земле богатырь, разрубленный злыми врагами на куски. Приходит волшебник с живой и мертвой водою. Поливает тело мертвой водой – оно срастается, поливает живою – богатырь поднимается, встряхнувшись, готовый на новые подвиги.

То, что вставало в воображении Макиавелли, было той же картиной, но в политической стилизации. Прекрасное тело Италии разрублено на куски. Но к нему спешит он, новый Мерлин, с двумя кувшинами волшебной воды. Поливает сначала мертвой водою принципата – тело срастается. Италия становится

едина. Поливает из другого кувшина живой водою свободы – и в ней загорается новая жизнь.

В других образах, но та же картина рождения из хаоса новой, единой, великой Италии была откровенною мечтою и носилась перед глазами Данте, Колы ди Риенцо, Петрарки. Планы Макиавелли остались такою же мечтой, хотя они были теоретически продуманы гораздо лучше и практически казались осуществимы. Макиавелли вполне верил, когда бросал к ногам «нового государя» осанну итальянской свободе и итальянскому единству[344], что его рассуждения безошибочны и его страстный призыв неотразим.

Он ошибался, и мы увидим почему. Но то, во что он верил, то, что он делал, чтобы претворить свою веру в жизнь, то, что он перестрадал из-за этого, поставило его в ряду пророков единства на одно из первых мест. Люди Risorgimento[345], настоящие кузнецы объединения, сколачивавшие из кусков тело единой и свободной родины, этого ему не забыли. И помнит, и будет помнить новая Италия. Это она поет у Джозуэ Кардуччи: «Я – Италия, великая и единая. И воспитал меня Никколо Макиавелли»[346].

…Io sono
Italia grande e una.
E m'ha educata
Niccolò Machiavello…

Почему же в XVI веке не удалось то, что удалось в XIX-м?

IX

В феврале 1525 года под Павией французы были разбиты войсками Карла V, и король Франциск попал в плен. Перед Италией встала грозная перспектива, что и север и юг ее окажутся в руках Испании. Стало ясно, что если такое положение удержится и будет санкционировано мирным договором, то все итальянские государства сделаются вассалами Карла. Было бы уже легче, если бы в Миланском герцогстве утвердились французы: оставалась бы надежда, что северные и южные «варвары» перегрызут друг другу горло.

Но сейчас, после Павии, нужно было много усилий, чтобы побудить французов к действиям. Венеция, Флоренция, Папа, особенно Папа, были охвачены жгучей тревогою. Все понимали, что нужно сделать все, чтобы не дать сомкнуться на горле Италии железным клещам. Но все колебались, и Папа больше всех. Ибо именно теперь, когда спасение было в величайшей решительности, Климент не находил его в себе и, слушая советников, склонялся то к одному, то к другому мнению. Даже венецианские политики, всегда мудрые, как змий, мудрили чересчур и не действовали.

Только два человека оказались на высоте: Гвиччардини и Макиавелли.

Гвиччардини был в это время «президентом», то есть генерал-

губернатором, Романьи и деятельно занимался водворением порядка в этой дикой папской провинции. Макиавелли, как всегда, без денег, после долгой переписки с римскими приятелями, решился ехать к Папе, чтобы добиться увеличения гонорара за «Историю», которую он только что кончил.

Это было в мае 1525 года. Но, получив аудиенцию, Никколо, находившийся, как и все, под впечатлением маневров испанских войск, стал говорить Папе, кардиналам и вообще влиятельным лицам в курии о необходимости принять меры защиты.

И выдвинул два проекта: один об укреплении Флоренции, другой о создании милиции в Тоскане и Папской области. Его доводы были так убедительны, что Папа отправил его со специальным бреве[347] к Гвиччардини, чтобы узнать его мнение о возможности набора солдат в Романье. Гвиччардини, в принципе, очень одобрял идею Макиавелли, но находил ее неприменимой именно в Романье, где это представлялось ему опасным по разным причинам.

Кроме того, он боялся, что для тех непосредственных целей, какие имел в виду Макиавелли, нельзя было успеть вооружить и обучить милицию. Никколо не настаивал. Кандидата в «principe nuovo» он в этот момент не видел; а оба его проекта в его глазах полный свой смысл получили бы лишь в том случае, если бы их осуществление было поручено именно «новому государю». Он уехал во Флоренцию и занялся другими делами.

Гвиччардини, для которого, наоборот, была важна не программа, а возможность использовать благоприятную ситуацию, продолжал действовать на Папу и его советников, добиваясь разрыва с Испанией. Все складывалось счастливо для проектируемого им союза между Римом, Венецией, Флоренцией, швейцарцами, Францией и Англией. Папа постепенно давал себя убедить. С самого начала 1526 года Гвиччардини перебрался из Болоньи в Рим и фактически сосредоточил в своих руках все сложные переговоры о новой лиге.

Когда 26 мая договор о лиге был подписан в Коньяке, во Франции, Климент назначил его своим наместником во всей Церковной области и при войске (luogotenente)[348]. А 18 мая во Флоренции были назначены пять прокураторов по укреплениям, которые избрали канцлером и проведитором своей коллегии Макиавелли. Это был поворотный момент в его жизни. «Principe nuovo» по-прежнему не было видно, но опасность для Италии возрастала с каждым днем. Нужно было драться, не думая о программе, так, как когда-то Никколо писал в «Discorsi»: забыв обо всем и думая только о спасении родины и ее свободы.

Макиавелли не раздумывал. Политическая установка,

вытекавшая из факта образования Коньякской лиги, была его собственной установкой. К ней примкнул Гвиччардини, крупнейший идеолог рантьерской группы, потянувший за собою Папу. Лига была направлена против Испании, то есть той политической силы, которая – мы знаем – особенно энергично насаждала в Италии феодальную реакцию и была особенно опасна для торгово-промышленных групп. Лига, следовательно, знаменовала собою разрыв – он, правда, оказался временным – между Медичи и рантьерскими группами, с одной стороны, и силами феодальной реакции – с другой.

Гвиччардини сделался главным агентом этой политики. Никколо бросился в нее беззаветно, со всей силой своего темперамента. Начался самый кипучий период деятельности обоих друзей. Правда, положение их было разное. Гвиччардини представлял особу Папы, Макиавелли имел должность сравнительно скромную. Но настоящая virtu – деятельный энтузиазм, целеустремленная активность – была именно в нем. В нем словно воскресли лучшие представители римской доблести, Камиллы, Цинциннаты, Сципионы, герои его «Discorsi».

И то, что в чрезмерно рассудительном папском наместнике загорались иной раз столь несвойственные ему искры подъема и воодушевления, объясняется, быть может, тем, что Никколо заражал друга сжигавшим его самого внутренним пламенем; они ведь находились в постоянных сношениях, то письменных, то личных[349]. Для Никколо пришла пора вспомнить и о том, что он говорил когда-то в «Discorsi» (Кн. I. Гл. 26, 27): «Кто не хочет вступить на путь добра, должен пойти по пути зла.

Но люди идут по каким-то средним дорожкам, самым вредным, потому что не умеют быть ни совсем хорошими, ни совсем дурными…» «Люди не умеют быть по-честному дурными или вполне (perfettamente) хорошими, и так как в дурном есть доля величия и в какой-то мере оно благородно, – они не умеют отдаться дурному». Эти смелые слова показывают, что, даже спокойно сидя в деревне, Макиавелли ставил общественные критерии выше личных, чуял боевую атмосферу и понимал законы борьбы.

Когда речь идет о чем-то очень важном, прежде всего когда речь идет о родине, нужно иметь мужество пользоваться такими средствами, которые обыкновенно считаются дурными, если невозможно добиться цели путями, которые обыкновенно одобряются. И не ползти жалким ужом по безопасным средним тропинкам, на которых легче всего погубить великое дело.

«Не бойся греха, если в грехе спасение» – таков смысл афоризмов Макиавелли. И недаром он сошелся в этом с другим

борцом, суровым и непреклонным, который заклеймил навеки людей средних тропинок, неспособных к добру, бегущих зла, недостойных ни рая, ни ада: ведь это к ним относится приговор Данте Алигьери: «взгляни и пройди» – «guarda e passa»[350].

Теперь, когда Никколо был в центре такого дела, он готов был кинуть вызов всему с большим пылом, чем когда-нибудь, был готов с полной ответственностью идти «путем зла», лишь бы это принесло пользу родине. Но он переживал тяжелые муки, ибо не питал больших надежд на победу и задолго до подписания пакта о лиге вкрапливал в свои письма к Гвиччардини пророчества о грядущих бедах. Он жил во Флоренции и видел, каково настроение. Люди торопились веселиться, карнавал проходил особенно шумно, и думать о войне не желал никто: это был один из видов оппозиции медичийскому режиму.

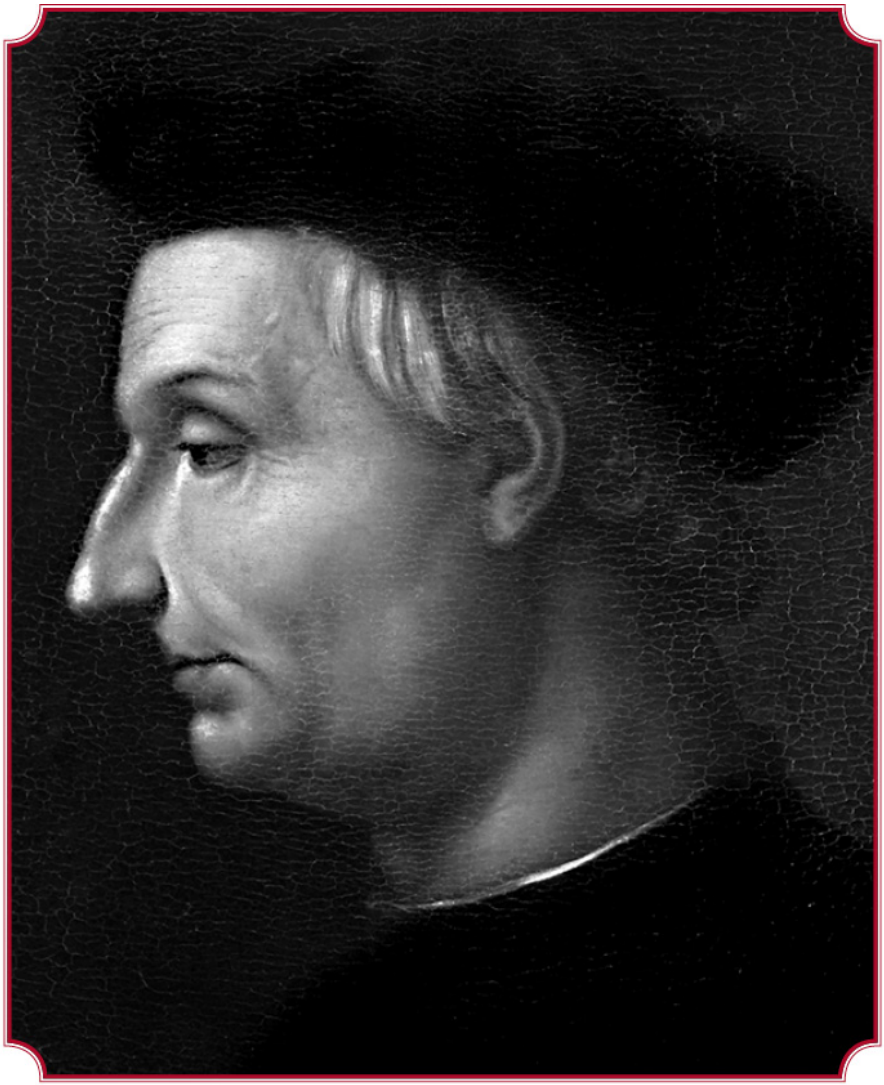
Помимо прочего, все трусили. «Такого страху насмотрелся я в гражданах и так мало в них желаний сопротивляться тому, кто готовится проглотить их живьем, что…»[351] Гвиччардини, который в это время гигантскими усилиями проводил свои планы, возмущали колебания Папы. «Когда будет упущен удобный случай начать войну, мы все лучше узнаем, какие бедствия принесет нам мир», – писал он Макиавелли и признавался, что теряет ориентацию[352]. Но не терял ориентацию Никколо.

Он знает, что друг его ведет в Риме борьбу за смелые решения, и шлет ему полные пригоршни аргументов, прокаленных на огне собственной страсти. Два исхода представлялись ему: или откупиться деньгами, или вооружиться. Первый не годится никуда, «потому что либо я совсем слепой, либо у нас возьмут сперва деньги, потом жизнь». Что же делать? «Я думаю, что нужно вооружаться без малейшего промедления и не ждать, что решит Франция».

В нем все кипит – от мыслей, от темперамента, от нетерпения. «Я скажу вам вещь, которая покажется вам безумной, предложу план, который вы найдете либо рискованным, либо смешным. Но времена таковы, что требуют решений смелых, необычайных, странных». И набрасывает схему действий: поставить Джованни Медичи, самого решительного кондотьера Италии, во главе войска, дать ему столько солдат, сколько нужно, показать врагам и союзникам, что Италия готова бороться.

И тогда Испания с Францией подтянут свои хищные когти[353]. Перед ним опять – силуэт «principe nuovo». Что скажет Папа? Гвиччардини и Филиппо Строцци, которому Никколо писал в том же духе, читали его письма Клименту. Папе план показался чересчур смелым. Но два месяца спустя, когда было упущено

столько времени и испанцы заняли часть миланской территории, лига была образована и Джованни Медичи поставлен во главе папской пехоты, на подчиненное место. Как нарочно, все делалось с опозданием и все наполовину.



Кристофано дель Альтиссимо.
Портрет Никколо Макиавелли. *XVI в.*

Макиавелли занялся укреплением Флоренции. С ним был Пьетро Новарра, суровый воин и опытный инженер. Вдвоем они осмотрели все стены, все подступы к городу, и Новарра объявил, что берется сделать из Флоренции самую мощную крепость

Италии. План был представлен Папе с подробнейшими выкладками, финансовыми и техническими.

Тем временем во Флоренцию пришла весть о бунте в войсках императора, и Никколо пишет Гвиччардини письмо, полное вдруг вспыхнувшего, словно ждавшего только повода оптимизма: «Все стали понимать, как легко выбросить из нашей страны этих разбойников (ribaldi). Ради Бога, не упускайте случая. Вы знаете, сколько было потеряно возможностей. Не теряйте эту. Не думайте, что все делается само собою, не полагайтесь на фортуну и на время».

И дальше торжественно, апокалиптическим тоном, по-латыни: «Освободите от вечной тревоги Италию, истребите этих свирепых зверей, в которых нет ничего человеческого, кроме лица и голоса»[354].

Но Климент продолжал колебаться, а Макиавеллев план укрепления Флоренции объявил чересчур дорогим. Никколо вышел из себя. В один день, 2 июня, он отправил Гвиччардини целых три письма. Видно, что он с величайшим трудом подбирает мягкие слова для почтительных возражений Папе и едва сдерживается, чтобы не назвать его так, как он заслуживал: скрягой и глупцом. Все было напрасно. Флоренция осталась без укреплений, ибо денег Климент так и не дал.

Разбитый неудачей, предвидя худшее впереди, Никколо, однако, не падает духом. Отечество в опасности, и он должен отдать ему себя всего без остатка. Дела много. Нужно пробивать упрямство, тупость, самоуверенность, недальновидность тех, у кого власть. Он снова возвращается к мысли об организации милиции. Под Сиеной большой флорентийский наемный отряд был обращен в бегство кучкою дисциплинированного городского ополчения. Никколо пользуется этим случаем как аргументом. Но уже поздно. Враг приближается. Нужно думать, как спасти незащищенную Флоренцию.

Ему приходит в голову смелый план. Быстро и вовремя осуществленный, он обещал верную удачу: вторжение в неаполитанскую территорию[355], чтобы обезоружить вице-короля вместе с дружественными ему Колонна, беспрестанно угрожавшими тылу союзников. Климент отверг и это предложение, за что и поплатился: кардинал Помпео Колонна, его соперник на конклаве, с помощью испанцев ворвался в Рим; солдаты ограбили Ватикан, а Папа едва спасся в замке Святого Ангела. Это было небольшой репетицией разгрома следующего года.

На фронте дела тоже шли плохо, несмотря на все усилия Гвиччардини. Французская армия не появлялась. Английская

диверсия в Испании была отложена. Швейцарские отряды были незначительны. Венецианские войска находились под командою Франческо Марии делла Ровере, герцога Урбинского, самого безнадежного и самого трусливого из итальянских кондотьеров. Папскими войсками командовал граф Рангоне, полное ничтожество.

С Альфонсо д'Эсте Папа, вопреки настояниям Гвиччардини, не сумел сговориться, а его тайная помощь спасла врагов. Когда ландскнехты Фрундсберга, двигаясь на соединение с Бурбоном, запутались в мантуанских болотах, без пищи, без артиллерии, без военных припасов, и их можно было взять голыми руками, Альфонсо послал им хлеба, снаряжение и часть феррарской артиллерии, лучшей в Европе. А его племянник, маркиз Мантуанский, Федерико Гонзага, предоставил в распоряжение ландскнехтов необходимые перевозочные средства.

Ему хотелось угодить Бурбону, который доводился ему кузеном. Ровере и Рангоне прозевали все, хотя Гвиччардини умолял их атаковать немцев. Джованни Медичи, прямодушный и импульсивный, приходил в ярость. Он таскал за бороды Мантуанских сановников, грозился вешать мантуанских придворных, а самого маркиза поносил при всей его челяди так, что тот жаловался Папе. В конце концов, выведенный из терпения, чувствуя, что кругом зреет измена, Джованни решил разорвать оковы, и в декабре 1526 года ударил на Фрундсберга один.

Попытка кончилась его гибелью: он был смертельно ранен ядром феррарского фальконета под Говерноло. Макиавелли не раз ездил к Гвиччардини в лагерь союзников и по его поручению ходил уговаривать генералов. Но ничто не могло побороть их трусливого упрямства. Становилось ясно, что проволочки не случайны, а намеренны и скрывают прямое предательство. Герцог Урбинский на эти дела смолоду был мастер.

Макиавелли должен быть и во Флоренции, и на фронте. Он разъезжает беспрерывно, забыв годы, забыв болезни – у него камни, – забыв семью. Из лагеря он пишет во Флоренцию, в Рим к Веттори. Из Флоренции – к Веттори и в лагерь к Гвиччардини. Слово его все едино. Оно, как звон набатного колокола, несется во все стороны. Бороться до конца и не думать о мире. Сокрушается он только об одном: что генералы не хотят драться и что Папа против этого не протестует. Он знает, чего стоит имперская армия.

Она хотя и многочисленна, но «если встретит неразбегающегося неприятеля, не будет в состоянии овладеть даже пачкой». И снова припев, суровый и мужественный. Даже

когда имперцы дойдут до Тосканы, «если вы не падете духом, вы можете спастись и, защищая Пизу, Пистойю, Прато и Флоренцию, добьетесь с ними соглашения, хотя и тяжелого, но во всяком случае не смертельного»[356].

«Не падай духом!» Папа именно пал духом и окончательно потерял голову. Во Флоренции паника. Генералы лиги изобрели новую тактику. Они следуют за неприятелем сзади, на почтительном расстоянии. Гвиччардини, оставшись один, не в силах защищать Романью и Тоскану. Макиавелли уже в Форли вместе с Гвиччардини. Бурбон смело идет вперед, зная, что враг далеко в тылу и не опасен. Он остановился на скрещении римской и флорентийской дорог.

Макиавелли пишет в Рим, к Веттори, исступленное письмо, чтобы заставить Папу выйти из апатии хотя бы в этот последний страшный момент. «Здесь решено, что если Бурбон двинется, нужно думать исключительно о войне и чтобы ни одни волос не помышлял о мире. Если не двинется, думать о мире и бросить всякие мысли о войне». Он хочет определенности, а не виляний, которые погубили дело. «Хотя и надвигается буря, но кораблю нужно плыть, и, решившись на войну, нужно отрезать все разговоры о мире.

Необходимо, чтобы союзники шли вперед, не думая ни о чем. Потому что теперь уже нельзя ковылять (claudicare), а нужно действовать по-сумасшедшему (farla all'impazzata). Ибо отчаяние часто находит лекарство, которого не умеет отыскать свободный выбор». И дальше слова трогательные и мудрые, которых не стоили ни Папа, ни бездарные хозяева Флоренции: «Я люблю мессера Франческо Гвиччардини, люблю свою родину больше, чем душу.

И говорю вам то, что подсказывает мне опыт моих шестидесяти лет. Я думаю, что никогда не приходилось ломать голову над такой задачей, как сейчас, когда мир необходим, а с войною нельзя развязаться, да к тому же еще имея на руках государя, которого едва-едва может хватить только для мира или только для войны»[357]. Климента не хватало уже ни на что. Когда Никколо убедился, что ни у Папы, ни у генералов не осталось ни искры мужества, он написал Веттори письмо, последнее из дошедших до нас, быть может, самое трагическое, потому что оно – сплошной крик отчаяния.

«Бога ради, так как соглашение невозможно – если оно действительно невозможно, – оборвите переговоры сейчас же, немедленно и сделайте письмами и доказательствами так, чтобы союзники нам помогли. Ибо если заключенное соглашение – верное для нас спасение, то одни переговоры, не доведенные до

успешного конца, – верная гибель. И то, что соглашение необходимо, будет видно, когда оно не будет достигнуто, а если граф Гвидо это отрицает, то это потому, что он просто cazzo[358]. Кто живет войною, как эти солдаты, будет дураком, если станет хвалить мир.»[359].

Все было напрасно, ибо крепкое слово, которое Макиавелли на веки вечные выжег на безмозглом сиятельном лбу графа Гвидо Рангоне, было заслужено не им одним: оно столь же точно характеризовало и герцога Урбинского, и правителя Флоренции кардинала Пассерини, и больше всех его святейшество Папу Климента VII.

Войска лиги не торопясь шли сзади армии Бурбона, а Папа, беззащитный, дрожал от страха, сидя в Ватикане. 7 мая 1527 года тактика Франческо Мария и графа Рангоне увенчалась блестящим успехом. Рим был взят одним ударом, и начался многодневный, неторопливый его разгром. Полководцам Лиги оставалось любоваться красивым заревом пожара Вечного города.

Климент заперся в замке Святого Ангела, а Бенвенуто Челлини, ставший главным папским пушкарем, ядрами весело отгонял от стен крепости осмелевших пьяных ландскнехтов. Гвиччардини истощил все силы убеждения, доказывая всем, что атака на занятых грабежом ландскнехтов обещает верный успех: красноречие его пропало даром. Генералы не двинулись. Флоренция при вести о римской катастрофе восстала и прогнала Медичи еще раз.

Никколо, которого эти события застали на фронте, собрался домой. Делать было больше нечего. Сверхчеловеческое напряжение, в котором он находился столько времени, которое давало ему ощущение полной жизни и морального очищения, кончилось. Крылья были сломаны. Впереди не виделось ничего. Спутники слышали, как всю дорогу тяжело вздыхал он, погруженный в невеселые думы. Во Флоренции вместо признательности за то, что было настоящим героическим подвигом, его ожидал провал его кандидатуры на старое место секретаря Коллегии десяти.

Торгово-промышленные классы злились на него за то, что он поступил на службу к Медичи, и не сумели понять, что, защищая Италию от испанцев, он защищал от феодальной реакции итальянскую и прежде всего флорентийскую буржуазию. Буржуазия, вернувшаяся к власти и восстановившая республику, отвергла величайшего своего идеолога. Это было последним ударом. Смерть пришла, как избавление, очень скоро.

Прошло три года, и сбылось все, что предвидел Макиавелли. Флорентийцам, которые не хотели драться в союзе с Папой и

Венецией против императора, пришлось драться одним против Папы и императора. В 1527 году победа над Испанией могла быть сигналом к реформе в духе «Discorso sopra il riformar lo stato di Firenze» и открыть для флорентийской буржуазии возможность хозяйственного подъема. В 1530 году поражение республики привело к усилению медичейского деспотизма, подчинило Флоренцию сначала разнузданному господству мулата Алесандро, потом методической тирании Козимо, великого герцога, сына Джованни, убитого в 1526 году.

И Козимо, друг и союзник испанцев, активный насадитель феодальной реакции, действовал «так, как говорится у Макиавелли в «Discorsi»: он выбирал из представителей прежней буржуазии «людей честолюбивых и беспокойных», давал им поместья, сажал на землю, заставлял переключать капиталы из промышленности и торговли в сельское хозяйство.

Ибо ему нужен был между ним и народом класс, при помощи которого он мог осуществлять свое господство: в точности так, как представлял себе дело Макиавелли в «Discorso sopra il riformar lo stato di Firenze»[360].

Флорентийская буржуазия, как предсказывал Макиавелли, пала под ударами феодальной реакции, потому что итальянские государства, и сама Флоренция в том числе, в 1527 году не хотели «действовать по-сумасшедшему», чтобы изгнать «варваров» из Италии.

В 1530 году усилия Микеланджело, продолжавшего работу над укреплением Флоренции, там, где тупая скаредность Климента вырвала ее из рук Макиавелли, и героизм Франческо Ферручи, взявшегося за создание милиции согласно указаниям Макиавелли, опоздали ровно на три года.

X

Если сопоставить огненные афоризмы «Il Principe», «Discorsi» и писем с тем, как Макиавелли действовал в год войны, он сразу предстанет перед нами другим человеком.

Он бросился в водоворот событий, связанных с войною, можно сказать, прямо с карнавала, едва успев сбросить с себя маскарадную мишуру и наскоро ликвидировав какие-то темные дрязги, о которых флорентийские сплетники писали в Модену, Филиппо Нерли, бывшему там губернатором[361]. Он сразу забыл обо всем: и о Барбере, и о планах постановки своих комедий в одном из городов Романьи. Он весь отдался делу, которое было – это вдруг стало для него ясно – делом всей его жизни.

В нем он искал своего катарсиса, как герои греческих трагедий. С тою только разницей, что трагедия была не вымышленная, а самая настоящая. Карающий рок в виде армии Бурбона с гулом и грохотом приближался к Флоренции и Риму, более страшный, чем все Зевсовы перуны. Когда Никколо ознакомился с актерами этой творимой трагедии, с Папой Климентом, с герцогом Франческо Мария, с графом Рангоне, со всей папской челядью в красных и лиловых рясах, он увидел, что положиться можно только на двух людей: на Джованни Медичи и на Франческо Гвиччардини.

А когда погиб начальник «Черных отрядов», он понял, что

один Гвиччардини не может спасти положения. Если бы Макиавелли был прежним Никколо, он бы вернулся к Донато, к Барбере, к карнавалу, к хозяину остерии в Перкуссине, к замызганным лесным и полевым нимфам Альбергаччо: куда угодно. Но Макиавелли был уже другой.

Под угрозою была родина, и он не мог, не мог физически, отстраниться от борьбы за нее, хотя знал, что она безнадежна. И кричал, что нужно действовать «по-сумасшедшему», и сам действовал по-сумасшедшему, убивая себя в бесплодных разъездах и бесполезных переговорах.

В истории редко можно встретить такую полную гармонию между словом и делом, какую являл в этот год Никколо. Он стал олицетворением virtu и навсегда остался для Италии – и не для одной Италии – учителем энергии, неумирающим примером того, как нужно и как можно действовать «по-сумасшедшему» в трагические моменты кризисов в государстве и у народа. Ибо у всякого народа и во всяком государстве бывают кризисы, когда только сумасшедшая энергия становится настоящим делом.

Энергия Макиавелли Италии не спасла. И не пришлось ему вложить в руки «principe nuovo» победный меч, повергающий в прах врагов итальянского единства. Теперь все кандидаты в principe были в лагере врагов единства, и само единство ушло в область несбыточной надолго мечты. Почему?

Потому ли только, что Климент был нерасчетливо скуп и поглупому труслив, потому ли, что ему не хватало ни ума, ни энергии, чтобы справиться с положением? Потому ли только, что герцог Урбинский и Гвидо Рангоне почти явно изменяли, а во Флоренции кардинал Пассерини путался и не знал, что делать? Или были другие причины, более глубокие, которых ни Макиавелли, ни Гвиччардини, едва ли не самые острые умы во всей Италии, не видели?

Конечно, будь на месте Климента VII Юлий II, будь во главе венецианских войск не герцог Урбинский, а Бартоломео Альвиани, будь во главе папской армии не Рангоне, а Джованни Медичи, Рим, быть может, не был бы взят. Но общего хода событий изменить было нельзя. Италия была обречена. Ее самостоятельное политическое бытие должно было надолго кончиться. Разница могла быть лишь в том, что в Милане сидели бы не испанские губернаторы, а французские. И причины этой неизбежной обреченности для Макиавелли и Гвиччардини были ясны лишь отчасти.

Макиавелли правильно указывал, что нужно для спасения Италии от «варваров». Единство и национальная армия. Единая Италия со своей армией, не зависящей от интересов отдельных

тиранов, всяких д'Эсте, Гонзага, делла Ровере, подчиненной единой воле principe, была бы способна бороться с любой страною Европы как равная с равной. Ни то, ни другое не оказалось возможно.

Во-первых, милиция. Когда Кине говорит[362] о роли Макиавелли в 1526–1527 годах, ему приходит на память французская революция: и Дантон, и Сен-Жюст, и Карно, и четырнадцать армий, и многое другое. Прекрасный повод для параллели. Почему французы могли выставить на фронт четырнадцать армий, а обширная Папская область и богатая Тоскана вместе не могли выставить даже одной?

Гвиччардини, который знал свою Романью, совершенно определенно объявил, что вооружить население Романьи – значит снарядить вспомогательный отряд для императора, потому что половина населения провинции будет больше слушаться императора, чем Папу, своего государя.

Макиавелли с ним не спорил. Объявить то, что Французская революция называла la levee en masse[363], в Тоскане было невозможно и по другой причине. Флоренция была полноправной госпожою, остальное население Тосканы было бесправно. Во Флоренции при Содерини всеми правами пользовались только около 3000 человек, при Медичи – раз в десять меньше.

Остальные города: Пиза, Ареццо, Прато, Пистойя, Эмполи, Ливорно – все другие, все сельское население прав не имели. Флорентийская буржуазия не желала делиться властью ни с кем, хотя знала очень хорошо, какое царит из-за этого недовольство в городах и в деревне.

Пиза лишь недавно была покорена после четырнадцатилетней войны. Ареццо бунтовал и отпадал от Флоренции. В Пистойе и Прато происходили волнения. Деревня была неспокойна. Дать всему этому населению оружие – не значило ли тоже подготовить подкрепление для императора или для французского короля? Опыт Ordinanza при Содерини, так позорно закончившийся в Прато, не давал больших поводов для оптимизма.

Макиавелли нигде в своих сочинениях не ставит вопроса, из-за чего армия сражается: не в каждом отдельном случае, а вообще. В «Discorsi» нет главы, посвященной анализу экономической основы римской военной мощи. В «Arte della guerra», в конце четвертой книги[364], речь идет о том, что должен делать полководец, чтобы заставить солдат идти в бой в том или другом сражении, и приводятся в сущности примеры, как генералы обманывали солдат или действовали на их суеверие, чтобы поднять у них дух.

Под конец, однако, указывается, что лучшее средство пробудить в бойцах упорство – показать им воочию, что они перед альтернативою: победить или погибнуть. И говорится: «Это упорство возрастает вследствие веры в полководца и любви к нему и любви к родине. Любовь к родине – чувство прирожденное (e causato dalla natura)». Любовь к родине, следовательно, учитывается, и было бы странно, если бы она не учитывалась: древние историки ведь говорили о ней без конца.

Но нет ни малейшей попытки ее проанализировать. Солдаты Французской революции шли на врага, ведь тоже побуждаемые патриотизмом, l'amour sacre de la patrie[365], но мы знаем, что такое патриотизм революционных солдат. Французская революция дала третьему сословию равноправие и избавила его от королевской опеки, освободила крестьян от крепостного права и дала им землю и волю. Там не думали, что патриотизм – чувство прирожденное, и патриотизм создавали.

Солдаты революции дрались за то, чтобы у них не отняли даров революции. Даже в самой Флоренции XVI века в разные моменты граждане республики относились к войне по-разному. При Содерини они шли в милицию, но сражались плохо. В 1526–1527 годах они трусили и не пошевелились, а в 1530-м, в последней борьбе против Папы и императора, бились героями: потому что в последней республике ожила частица демократической души Савонаролы, и к власти были приобщены более широкие круги, чем при Содерини.

Макиавелли, конечно, не мог знать ни про Французскую революцию, ни про эпопею 1530 года. Но история итальянских коммун давала сколько угодно фактов, из которых при надлежащем анализе было нетрудно получить те же выводы. У Макиавелли их не оказалось, потому что его классовая настроенность затемнила столь ясный обычно его анализ.

Макиавелли не додумался до того, что патриотизм представляет собою тоже классовое чувство, что у разных групп населения одного и того же государства патриотизмы могут быть различны.

Его классовая природа делала его патриотом флорентийским и общеитальянским, классовая природа романьольского крестьянина могла делать его патриотом и венецианским, и даже имперским, а классовая природа пизанского жителя могла делать и делала его патриотом французским. Экономика Италии по причинам, которые уже указывались, не могла еще создать единого патриотизма, подобно тому как сделала это экономика Франции, разумно направленная монтаньярским Конвентом, в 1793 году[366].

Макиавелли вводила в заблуждение его классовая идеология, классовая идеология представителя торгово-промышленной буржуазии, и он был склонен своим настроениям придавать характер общий. Он не подумал, что сначала нужно устранить неравноправность во Флоренции и на ее территории и заинтересовать в победе над врагом все население.

А если и подумал, то не решился этого сказать, потому что знал, как это будет встречено его собственной группою. Точно так же Жиронда[367] не хотела дать крестьянам то, чего они требовали, и потому не могла по-настоящему организовать армию, пока была у власти.

И единству Италии мешала в конечном счете та же экономика. Если бы Венеция искренне, без страха пошла на союз с Папою и Флоренцией в 1526 году, герцог Урбинский, ее кондотьер, не посмел бы держаться того образа действий, который привел лигу к поражению. Но Венеция не могла не бояться Флоренции и особенно Папы.

То, что для Макиавелли, флорентийского буржуазного патриота, было спасением – вся программа «нового государя», – то для венецианского буржуазного патриота было катастрофой, ибо объединение Италии в условиях того момента означало для Венеции потерю самостоятельности и превращение из царицы Адриатики в провинциальный порт: меч «нового государя», разделавшись с мелкими, должен был обрушиться в первую голову на нее.

Наконец, какими аргументами можно было заставить служить делу объединения этих мелких: Феррару, Мантую, Урбино, Сиену, Лукку и прочих? Ведь они должны были пасть первой его жертвой. Ведь недаром Альфонсе д'Эсте посылал пушки Фрундсбергу, Франческо Мария, щадил ландскнехтов, а Федерико Гонзага старался их выручить.

Если бы экономика Италии была благоприятна объединению, она бы сломила и местные сепаратизмы, и династические интересы тиранов, как сломила их в XIX веке. В XVI она для этого не созрела.

Вот почему в тот момент «из пламя и света рожденное слово», последняя глава «Il Principe», «Марсельеза XVI века», повисла в воздухе без отклика.

Цель, которую ставил себе Макиавелли, которой он добивался со всей страстью, стремясь к которой он раскрыл такие сокровища воли, темперамента и энергии, достигнута не была.

Ренессанс завещал задачу политического возрождения Италии Risorgimento[368], а писал его завещание Никколо Макиавелли.

notes

Примечания

1

В переводе Муравьевой, помещенном в данном издании, «Государь».

2

Посвящение трактата относится ко времени между сентябрем 1515 г. и сентябрем 1516 г.

3

Франческо Сфорца (1401–1466) был назначен главнокомандующим в войне с Венецией, но, заключив с венецианцами союз, повернул оружие против Милана и захватил в нем власть (1450).

4

Испанский король, Фердинанд Католик (1452–1516), заключил с Людовиком XII договор о разделе Неаполя (Гранада, 11 ноября 1500 г.), с помощью французов отобрал королевство у правившего им Федерико Арагонского, а затем изгнал из него и французов (1502–1504).

5

В книге первой «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия».

6

Речь идет об *Эрколе I д'Эсте* (1471–1505), который в войне с Венецией (1482–1484) понес территориальный ущерб, и *Альфонсо I д'Эсте* (1505–1534), последний принимал участие в войнах Святой Лиги на стороне Франции (1510–1512) и на некоторое время лишился своего герцогства.

7

Т. е. Папа Юлий II (Джулиано делла Ровере, 1443–1513), ставший понтификом в 1503 г.

8

Род д’Эсте владел Феррарой с 1208 г.

9

Нормандия была присоединена к Франции Филиппом II Августом в 1204, Гасконь – Карлом VII в 1453 г., Бургундия – Людовиком XI в 1477 г., Бретань вошла в состав Франции при Карле VIII в 1491 г. как приданое его жены.

10

Грецией автор называет Балканский полуостров, куда османы вторглись в 1357 г.

11

Первая Македонская война велась между Римом и Македонией в 214–205 гг. до н. э.

12

Венеция рассчитывала расширить свои материковые владения, по соглашению в Блуа (апрель 1499 г.) ей должны были отойти Кремона и Гъярада.

13

Генуя перешла под прямое управление Франции, в нее был назначен французский губернатор; Флоренция предложила поддержать Людовика XII в Ломбардии и Неаполе, с тем что он поможет ей овладеть Пизой.

14

Венецианские приобретения были на самом деле весьма внушительны (Крема, Кремона, Бергамо, Бреша), тогда как Людовику XII досталась остальная часть Миланского герцогства.

15

Людовик XII прибыл в Италию в июле 1502 г., но не из-за угроз Тоскане со стороны Чезаре Борджа, а из-за необходимости готовиться к войне с Испанией.

16

По соглашению в Гренаде (11 ноября 1500 г.), Людовику XII должна была достаться северная часть этого королевства и титул Неаполитанского короля, а Фердинанду Католику – титул герцога Пульи и Калабрии вместе с этими областями.

17

Федерико I Арагонский, король Неаполя (1496–1501), лишенный престола, получил от Людовика XII титул графа Мена (умер в 1504 г.).

18

10 декабря 1508 г. Людовик XII вступил в Камбрейскую Лигу и, разбив венецианцев при Аньяделло (14 мая 1509 г.), завладел Брешей, Бергамо, Кремоной.

19

Людовик XII развелся с Жанной, сестрой Карла VIII, и женился на его вдове, Анне Бретанской. Папское разрешение на развод было доставлено королю лично Чезаре Борджа 12 октября 1498 г.

20

Жорж д’Амбуаз (1460–1510) возведен в кардиналы в сентябре 1498 г.

21

См. гл. XVIII.

22

В ноябре 1500 г., во время первого посольства во Францию.

23

В 334–327 гг. до н. э.

24

Империя Александра Македонского вскоре после его смерти распалась на одиннадцать царств из-за войн его преемников – диадохов.

25

Санджак – административная единица Турецкой империи.

26

Дарий III (336–330 гг. до н. э.) – царь Персии, последний представитель династии Ахеменидов.

27

Имеются в виду восстания кельтиберов (195–179 гг. до н. э.), кельтиберов и лузитанов (155–154 гг. и 149–133 гг. до н. э.), восстание Верцингеторикса в Галлии (53–52 гг. до н. э.), а также антиримская позиция Этолийского союза во время войны с Антиохом Великим и Ахейского союза во время трех Македонских войн, завершившихся аннуляцией греческих свобод (146 г. до н. э.).

28

Пирр – царь Эпира (295–272 гг. до н. э.). Одержал ряд тяжелых побед («пирровых побед») в войнах в Италии и Сицилии, но в итоге утратил все, им завоеванное.

29

После победы в Пелопоннесской войне (в 404 г. до н. э.) Спарта установила в Афинах правительство тридцати тиранов, продержавшееся всего лишь 2 года; в Фивах же проспартанское правительство получило власть в результате предательства и сумело продержаться у власти в 382–379 гг. до н. э..

30

Нуманция, город в древней Кельтиберии (Северная Испания), был разрушен в 133 г. до н. э., а Капуя разрушена не была. В 211 г. до н. э. римляне в наказание лишили этот город всех муниципальных привилегий, конфисковали общественную и частную собственность и казнили отцов города.

31

Разрушены были Фивы (167 г. до н. э.) и Коринф (146 г. до н. э.), а многие города разграблены.

32

В 1405 г. Пиза была куплена Флоренцией у Висконти, в 1494 г. взбунтовалась и в 1509 г. вновь подчинена.

33

Моисей (XIII в. до н. э.) – полулегендарный израильский законодатель. *Кир Великий* – осуществил переворот, после которого Мидийская империя прекратила свое существование и уступила место Персидской империи (556–550 гг. до н. э.). *Тезей (Тесей)* (XII в. до н. э.) – мифический герой и царь Афин.

Ромул (VIII в. до н. э.) – легендарный основатель Рима.

35

Мир длился сорок лет, до 560 г. до н. э.

36

Джироламо Савонарола (1452–1498) – доминиканский монах, религиозный оратор, один из вождей и организаторов Флорентийской республики после изгнания Медичи (1494); в 1497 г. был отлучен от Церкви, а 23 мая 1498 г. повешен и сожжен.

37

Герон Сиракузский Младший (ок. 306–215 гг. до н. э.) – сиракузский стратег, затем тиран (с 265 г. до н. э.), союзник карфагенян в I Пунической войне. Сведения о нем Макиавелли черпал у Полибия (VII, 8).

38

«Для царствования ему недоставало лишь царства» (*лат.*) – Юстин «Всемирная история». XXIII, 4.

39

Греческие города в Малой Азии (Ионии) и близ Дарданелл входили в число сатрапий Персидской империи.

40

См. гл. XIX.

41

Лодовико Моро поддерживал свою племянницу Катерину, графиню Форли, и своего родственника Джованни Сфорца, правителя Пезаро, а Венеция сама стремилась к захвату Романьи.

42

В ноябре 1499 г. – апреле 1501 г.

43

25 апреля 1501 г.

44

30 апреля 1501 г. Чезаре Борджа захватил Болонский замок, но вынужден был примириться с Джованни Бентивольи, так как Людовик XII отнесся неодобрительно к этому его предприятию.

45

В июне 1502 г.

46

Об этом заговоре см. Н. Макиавелли «Описание того, как избавился герцог Валентине от Вителлоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, синьора Паоло и герцога Гравина Орсини».

47

Рамиро де Орко – Рамиро де Лорква (умер в 1502 г.), мажордом Чезаре Борджа, затем наместник Романьи.

48

В 1503 г. в разгаре франко-испанской войны за Неаполь Александр VI вступил в переговоры с Испанией, которые были прерваны его смертью.

49

Пьомбино Чезаре Борджа завладел 3 сентября 1501 г., Перуджей – 6 января 1503 г. и вел переговоры о том, чтобы ему была отдана синьория в Пизе. Флоренция оказывалась в клещах.

50

Александр VI умер 18 августа 1503 г., а Юлий II добился от Чезаре Борджа приказа губернаторам романских городов о сдаче в декабре.

51

Джулиано делла Ровере, кардинал Сан-Пьетро-ин-Винкула, был избран Папой 28 октября 1503 г. (Макиавелли присутствовал на конклаве). В прошлом враг Борджа, он, чтобы заручиться голосами испанских кардиналов, обещал Чезаре сохранение поста гонфалоньера Церкви и подтверждение прав на Романью.

52

Сан-Пьетро-ин-Винкула – будущий Юлий II; *Колонна* – Джованни Колонна (умер в 1508 г.), кардинал с 1480 г., апостолический пронотарий; *Сан-Джордже* – Раффаэлло Риарио (умер в 1521 г.), кардинал Сан-Джорджо-ин-Велабро, деверь Катерины Форлийской; *Асканио* – Асканио Сфорца (умер в 1505 г.), сын герцога Франческо Сфорца.

53

Агафокл (ок. 361–289 гг. до н. э.) – тиран Сиракуз (с 317 г. до н. э.). Сведения Макиавелли из Юстина (XXII).

54

Гамилькар (умер в 309 г. до н. э.) – карфагенский военачальник, воевал в Сицилии в 319–313 гг. до н. э.

55

Оливеротто да Фермо – Оливеротто Эуфредуччи (1475–1502), кондотьер на службе у Чезаре Борджа, овладел городом Фермо, убив своего дядю.

56

Паоло Вителли – флорентийский военачальник, сменивший на этом посту Рануччо да Марчано и казненный по обвинению в измене (1499).

57

Вителлоццо Вителли (умер в 1502 г.) – правитель Читта-ди-Кастелло, кондотьер на флорентийской службе (1498–1499), затем на службе у Чезаре Борджа.

58

Захват Фермо произошел 26 декабря 1501 г.

59

Набид – тиран Спарты (ок. 205–192 гг. до н. э.), противник Ахейского союза, выступал вначале на стороне Филиппа Македонского и римлян, затем переметнулся на сторону Антиоха III. Осажденный в Спарте римлянами, был вынужден принять их условия мира (195 г. до н. э.). Источник Макиавелли – Тит Ливий (XXIV, 22–40).

60

Тиберий Семпроний Гракх (162–133 гг. до н. э.) – народный трибун в 133 г. до н. э., инициатор демократической земельной реформы, убит патрициями; *Гай Семпроний Гракх* (154–121 гг. до н. э.) – народный трибун в 123 г. до н. э., продолжил дело брата и так же, как он, погиб в бою с оптиматами. См. о них: «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», I, XXXVII.

61

Джорджо Скали – один из вождей пополанов во время восстания чомпи во Флоренции (1378), обезглавлен в 1382 г.

62

В Германии Макиавелли не был, но во время своего посольства к императору Максимилиану посетил Швейцарию и Тироль (январь – июнь 1508 г.).

63

Благодаря организации Святой Лиги (1511).

С помощью Камбрейской Лиги (1508).

То есть во время «соляной» войны (1482), в которой на стороне Феррары выступили Неаполь, Флоренция, Милан, Мантуя, Урбино и затем Сикст IV, вначале союзник венецианцев. Война завершилась Баньольским миром (1484), по которому Венеции отошли Полезина и Ровиго.

66

То есть *Франческо делла Ровере* (1414–1484) – генерал францисканцев, Папа под именем Сикста IV (с 1471 г.), известный своим непотизмом.

67

Юлий II вступил в Болонью 11 ноября 1506 г.

68

Джованни де Медичи (1475–1521) – сын Лоренцо Великолепного, Папа (с 1513 г.) под именем Льва X.

69

Мелом квартирьеры отмечали дома, отведенные под постой. (По сообщению французского историка Филиппа де Коммина, эта острота принадлежит Александру VI.)

Это говорил Савонарола в проповеди 1 ноября 1494 г., когда Карл VIII приближался к Флоренции.

71

15 сентября 1448 г.

72

Джованни Акуто – сэр Джон Хоквуд, англичанин, кондотьер, воевавший в Италии в 1361–1393 гг. вначале на службе у Висконти, затем (с 1377 г.) – у Флоренции.

73

Браччо (*да Монтоне*) – Андреа Фортебраччи (1368–1424), кондотьер, служивший Папе и Альфонсу Арагонскому.

Карманьола – Франческо Буссоне, граф Карманьола (ок. 1380–1432 гг.), кондотьер у Висконти, затем венецианский военачальник, в конце концов обвиненный в измене и казненный.

75

При Вайла (или Аньяделло, место в Северной Италии близ Лоди) 14 мая 1509 г. венецианские войска потерпели поражение от войск Камбрейской Лиги.

Альбериго да Конио – Альбериго да Барбиано, граф Кунио (умер в 1409 г.), кондотьер на службе у Урбана VI.

77

Итальянские наемные войска дважды были побеждены швейцарцами: при Новаре (1500) и Равенне (1512).

78

Альфонсу д’Эсте удалось вернуть себе Феррару и вынудить Папу оставить Болонью (1510).

79

11 апреля 1512 г. французы разбили соединенные силы Папы и испанцев, и не оставили бы Романью и Ломбардию, если бы не неожиданная гибель французского полководца Гастона де Фуа.

80

То есть восемь тысяч швейцарских и гасконских солдат, переданных Людовиком XII флорентийцам в июне 1500 г.

81

То есть император Византии *Иоанн VI Кантакузин* (1347–1355).

82

Первая книга Царств, XVII, 38–40.

83

Карл VII – король Франции в 1422–1461 гг., при котором закончилась Столетняя война (1453). *Людовик XI* – король в 1461–1483 гг.

84

Имеется в виду поражение французов при Новаре (июнь 1513 г.).

85

«Нет ничего более шаткого и преходящего, чем обаяние не опирающегося на собственную силу могущества» (*лат.*). – Тацит. Анналы, XIII, 19.

86

Филопемен (ок. 252–183 гг. до н. э.) – восьмикратный стратег Ахейского союза.

То есть «Киропедия».

То есть Людовик XII.

То есть Фердинанд Католик.

90

Никколо Макиавелли выпало самому улаживать кровавый конфликт в Пистойе. Резня, возникшая из-за конфликта между двумя местными кланами, по размаху напоминала гражданскую войну. Результатом ее стали сотни убитых и десятки сожженных дотла усадьб.

91

«Молодо царство у нас, велика опасность; лишь это / Бдительно так рубежи охранять меня заставляет» (*лат.*). – Вергилий. Энеида. 563–564.

Выражение Тита Ливия (XXI, 4).

93

В 206 г. до н. э.

Фабий Максим – Квинт Фабий Максим (ок. 275–203 гг. до н. э.), пятикратный консул, диктатор (с 217 г. до н. э.).

95

То есть жителей *Локр Эпизеферийских* («западных»), города на юге Калабрии, разграбленного пропретором Сципиона Квинтом Племинием.

Фердинанд Католик.

97

Аннибале Бентивольи, убитому 24 июня 1445 г., наследовал его двоюродный брат, незаконнорожденный сын Эрколе Бентивольи Санти (1426–1462). «Нынешним» мессером Аннибале Макиавелли называет Аннибале II Бентивольи (1469–1540).

98

Французские Генеральные штаты были впервые созваны в 1302 г. Филиппом Красивым.

То есть в «Истории от кончины Божественного Марка» Геродиана, известной Макиавелли в латинском переводе Анджело Полициано.

100

По праву наследства (*лат.*).

101

Славония – Иллирия.

102

Нигер – Гай Песценний Нигер, сирийский легат, убит в 195 г. *Альбин* – Децим Клавдий Альбин, римский военачальник, провозглашен императором после смерти Пертинакса, покончил жизнь самоубийством после поражения от Септимия Севера (197).

103

То есть государство мамлюков, основанное в 1250 г. и присоединенное к Турции в 1517 г.

104

То есть во время действия Лодийского мира, заключенного в 1454 г. между Миланским герцогством, Неаполитанским королевством и Флорентийской республикой. В том же году было подписано соглашении о создании Итальянской лиги, которое принесло мир на итальянские земли почти на четверть века. Лодийские соглашения были отменены в 1482 г. с началом войны Венеции и Папы против Милана.

Имеются в виду Бреша, Верона, Виченца, Падуя и др.

106

Пандольфо Петруччи (ок. 1450–1512 гг.) – правитель Сиены, изгнан Чезаре Борджа и возвращен французами (1503).

107

Никколо Вителли (умер в 1497 г.) – отец Паоло и Вителлоццо, кондотьер, правитель Читта-ди-Кастелло, изгнанный оттуда Сикстом IV (1474) и возвращенный флорентийцами (1482).

108

В 1511 г.

109

Граф Джироламо – Джироламо Риарио, правитель Имолы и Форли, племянник Сикста IV, убил заговорщиками 14 апреля 1488 г.

110

Восстание в Форли вспыхнуло 15 декабря 1499 г., Чезаре Борджа вошел в город 19 декабря и 21 декабря взял замок.

111

Завоевание Гранады продолжалось двенадцать лет (1480–1492), с ее взятием Реконкиста была окончена.

112

В 1501–1502 гг. были изгнаны марраны-мавры и евреи, принявшие христианство.

113

В 1509 г. были захвачены земли от Орана до Триполи.

Захватив в 1512 г. Наварру.

115

Мессер Бернабо да Милано – Бернабо Висконти (умер в 1385 г.). С 1354 г. правил Миланом вместе с братьями, Маттео II и Галеаццо II; с 1378 г. – единовластный правитель. Отравлен племянником, Джан Галеаццо.

116

«Что до решения, которое предлагается вам как наилучшее и наивыгоднейшее для вашего государства, а именно: не вмешиваться в войну, – то нет для вас ничего худшего, ибо, приняв это решение, без награды и без чести станете добычей победителя» (*лат.*). – Цитата из Тита Ливия (XXXV, 49).

117

Флорентийцы, не поддерживая Святую лигу, не решились открыто взять сторону Людовика XII. Эта неопределенная позиция стала причиной падения республики.

118

Антонио да Венафро (1459–1530) – профессор Сиенского университета, советник Пандольфо Петруччи.

119

Цитата из Тита Ливия (XXII, 29).

120

Отец Лука – Лука Ринальди, епископ Триеста (1500–1502), доверенное лицо и посол императора Максимилиана I Габсбурга (1493–1519).

121

Филипп Македонский – Филипп V, царь Македонии (221–179 гг. до н. э.), в результате I и II Македонских войн с римлянами (216–205 и 200–197 гг. до н. э.) лишился всех своих внемакедонских владений.

122

Тит Квинций Фламинин (умер в 175 г. до н. э.) – победитель Филиппа Македонского при Киноскефалах (197 г. до н. э.).

123

Фердинанд Католик стремился получить портовые города Пульи, которые с 1495 г. были в руках Венеции.

124

Лев X Медичи.

125

«Ибо та война справедлива, которая необходима, и то оружие священно, на которое единственная надежда» (*лат.*). – Цитата из Тита Ливия (IX, I).

126

Знамения, сопровождавшие исход евреев из Египта.

127

Цитата из канцоны Петрарки «Моя Италия».

«Вы хотите отправиться в Рим?» (*лат.*).

129

Далее рассказ гласит, что статуя Юноны из храма города Вей была перевезена в Рим, установлена на Авентине, а позднее там воздвигли храм в честь этой богини.

130

«Будучи все вместе храбрыми, они стали покорными, ибо каждый боялся сам за себя» (*лат.*).

131

«Вскоре народ, которому не угрожало уже ни малейшей опасности, горько о нем пожалел» (*лат.*).

132

«Такова натура толпы: она или рабски прислуживает, или надменно властвует» (*лат.*).

133

То есть за испанского короля Фердинанда II Арагонского.

То есть Джулиано Медичи.

135

Диоген Синопский – знаменитый греческий киник, живший в IV в. до н. э.

136

После того как Карфагену в 241–238 гг. до н. э. пришлось усмирять собственных наемников, правители его старались, чтобы наемная армия находилась за пределами Африки.

137

Колонна указывает, что миланцы сделали Сфорца герцогом под давлением военной силы.

138

Браччо да Монтоне – кондотьер, служивший Неаполитанскому королевству. Перешел на сторону Альфонса V.

139

Марк Аттилий Регул, консул 256 г.

140

То есть до реформ 137–122 гг. до н. э.

141

По-видимому, Макиавелли имеет в виду римских военных теоретиков Флавия Вегеция Регната («Краткое изложение военного дела») и Секста Юлия Фронтина («Стратегемы»). Именно их сочинения он цитирует далее.

142

Лучшая пехота того времени набиралась в Швейцарии (швейцарцы) и Верхней Германии (ландскнехты).

143

То есть французский король. Во Франции низшим сословиям было запрещено иметь оружие.

144

Колонна говорит о событиях Первой Пунической войны.

145

Макиавелли пересказывает здесь Полибия, который в своей «Всеобщей истории» утверждает, что в Риме такого рода система отбора одинаковых по качеству солдат существовала издревле (см. кн. VI. 20).

146

Римские императоры *Адриан* (117–138 гг.), *Марк Аврелий* (181–180 гг.), *Септимий Север* (193–211 гг.) сумели в свое правление добиться стабильности и процветания Рима.

147

То есть завершающий этап Третьей Македонской войны (171–168 гг. до н. э.).

Тактика македонской фаланги и квадратных колонн, в которые строились на поле боя швейцарские солдаты времен Макиавелли, существенно отличается.

Или фузилёры – воины, вооруженные ручным огнестрельным оружием – фузеями или аркебузами.

150

Речь идет о походе французского короля Карла VIII в 1494–1495 гг., с которого начались Итальянские войны. В составе армии Карла были отряды швейцарцев, а также ландскнехты (всего – до 8000 человек).

151

Речь идет о победе Карманьолы при Арбедо 30 июня 1422 г., ставшей переломной в борьбе миланского герцога за объединение под своей властью всей Ломбардии.

То есть регулярная рыцарская конница, имевшая в те времена указанное название.

153

Барлетта – город в Апулии, осажденный французами в 1503 г.

154

Несмотря на поражение в битве при Равенне (1512 г.), значительная часть пехоты сумела организованно отступить.

155

Благодаря стременам, попавшим в Европу в начале VIII в. Это новшество давало всадникам опору, что позволяло наносить рубящие удары. Тактика конного боя изменилась, и довольно скоро появилась латная кавалерия.

156

В 53 г. до н. э. Марк Красс начал войну против парфян, но был разбит под Каррами и погиб со всем своим войском. Поход Марка Антония в 36 г. до н. э. тоже не был удачен.

157

Речь идет о сражении при Бибракте в 58 г. до н. э.

158

Макиавелли говорит о немецких и фландрских городах, часть которых имела такого рода ополчение.

159

Упражнение, при котором каждая из шеренг поочередно становится первой. В бою «улитка» использовалась стрелковыми частями как средство достичь непрерывности огня.

160

«Те, кто направляет сзади» (*лат.*) – то есть опытные воины, следившие за целостностью боевого порядка.

161

Имеется в виду Персидская держава Ахеменидов.

162

Войны римлян с этрусками продлились с 406 до 282 г. до н. э. Но самниты, хоть и подчинились Риму после трех войн в 343–290 гг. до н. э., позднее поддерживали Пирра и Ганнибала.

163

Речь идет об Итальянских войнах.

164

По традиции, при рассмотрении какого-либо вопроса в венецианских коллегиях (Большом совете, Сенате, Совете десяти) первым брал слово самый младший из присутствующих.

165

Макиавелли рассказывает о структуре римской армии после реформ начала IV в. до н. э., произведенных, как считается, Марком Фурием Камиллом.

Консульских войск было два: по одному у каждого из консулов. Кроме того, при необходимости, римляне выставляли армии во главе с проконсулами, преторами и т. д.

Для того чтобы перезарядить орудие и навести его, в то время требовалось довольно много времени. Так что в случае стремительной атаки полевые орудия противника успевали сделать только по одному выстрелу.

168

Речь о событиях весны 38 г. до н. э., когда Вентидий Басс, легат Марка Антония, разгромил парфянское войско во главе с наследником престола Пакором.

169

Речь о сражении римлян с германцами Ариовиста, которое произошло осенью 58 г. до н. э.

170

Речь о сражении при Левктрах в 371 г. до н э., когда фиванская армия во главе с Эпаминондом разгромила спартанцев.

171

Макиавелли имеет в виду систему циркумвалационных, то есть замкнутых, укреплений, которые возводились осаждающей армией вокруг своих лагерей для защиты извне – от подкрепления, идущего на помощь осажденным. Такие укрепления Цезарь возводил, например, во время осады Алезии.

Бой произошел 28 апреля 1503 г., причем в нем участвовал и Фабрицио Колонна. Испанцы добились успеха благодаря особенностям местности, а также валу и рву, которые они успели соорудить.

173

В 255 г. до н. э.

174

Это сражение произошло в 206 г. до н. э.

175

Речь идет о событиях 208–207 гг. до н. э., когда Ганнибал стал уклоняться от прямого столкновения с римской армией, возглавляемой Марцеллом, предпочитая укрываться в горных долинах и устраивать засады.

176

Далее описано сражение при Заме 19 октября 202 г. до н. э., решившее исход Второй Пунической войны.

177

Речь идет об операциях Корнелия Суллы против Архелая, полководца Митридата Евпатора, во время I Митридатовой воины. В 86 г. до н. э. Сулла победил Архелая при Херонее.

178

После сражения при Каннах в 216 г. Ганнибал не стал преследовать римскую армию, а предоставил своим войскам отдых. Античные историки приписывают Магарбалу, командующему пунийской конницей, фразу, якобы сказанную им Ганнибалу: «Не всё дают боги одному человеку: побеждать, Ганнибал, ты умеешь, а воспользоваться победой – нет».

179

Гней и Публий Сципионы (последний – отец Публия Корнелия Сципиона Африканского) погибли в Испании в 211 г. до н. э. (Вторая Пуническая война).

180

Тит Дидий, проконсул 98 г. до н. э., воевал в Испании с кельтиберами до 93 г. до н. э.

181

Поскольку в эпоху Возрождения большую часть в противоборствующих армиях составляли наемники.

182

Речь идет о событиях 58 г. до н. э. – о сражении на р. Арар.

183

Сражения произошли в 206 и 76 гг. до н. э. соответственно.

184

Имеется в виду знаменитый поступок римского консула Публия Деция, который, следуя примеру своего отца, также Публия Деция, принес себя в жертву в 295 г. до н. э. ради победы римской армии.

185

Сражение Цезаря с Ариовистом состоялось в 58 г. до н. э., а поход Веспасиана против восставшей Иудеи – в 70 г. н. э.

186

Речь о сражении между Филиппом V Македонским и римским консулом Публием Сульпицием в 200 г. до н. э. во время II Македонской войны.

187

В 52 г. до н. э. на р. Элавер.

188

В 1509 г., в битве при Аньяделло, когда против Венеции выступили короли Франции, Испании, Римский Папа и император Германии.

189

В Индию через Аравийскую пустыню, конечно, пройти невозможно. Александр проходил через пустыню в 325 г. до н. э., но при возвращении из Индии, направляясь в Вавилон через безжизненные пространства между устьем Инда и столицей Гедросии городом Пурой.

190

Кельты оказали Ганнибалу серьезное сопротивление лишь однажды – во время переправы последнего через Родан (Рону).

191

Пионерами здесь названы те части, которые сейчас называют инженерными.

192

Расчеты нагрузок и провиантских запасов римских легионов см. у Дельбрюка: «История военного искусства», т. I, часть 6, гл. 2 и т. II, часть 4, гл. 4.

193

Квестор – магистрат (выборная государственная должность), ведавший уголовными делами, государственными казной и архивом. Квесторов прикомандировывали к войску для ведения финансовых дел армии.

194

Речь о событиях 102 г. до н. э., когда Гай Марий сражался с тевтонами, а его товарищ по консульству Квинт Лутаций Катулл сдерживал наступление на Италию кимвров, двигавшихся через альпийские перевалы.

195

События 52 г. до н. э.

196

Это событие произошло в 193 г. до н. э.

197

Речь о походе Марка Антония против парфян.

198

Римская система воинских наказаний и наград подробно описана у Полибия.

199

Речь идет о судьбе Манлия Капитолийского.

200

Речь идет о событиях 225 г. до н. э., когда многочисленная армия галлов и их союзников перешла Апеннины. Близ Клузия они сумели одержать победу над одной из консульских армий, но под Теламоном потерпели поражение от соединенных римских войск.

201

В 216 г. до н. э., перед сражением при Каннах, римляне сумели собрать против Ганнибала примерно 87-тысячное войско. Число погибших в битве римлян составило не менее 60 000 человек.

202

Речь о событиях 207 г. до н. э.

203

Квинт Цецилий Метелл Пий (ок. 125—63 до н. э.) – консул (80 до н. э.) и великий понтифик (81–63 до н. э.). В 80–78 гг. до н. э. Метелл воевал в Испании против Сертория.

204

Марк Лициний Красс (115—53 гг. до н. э.) – полководец и политический деятель, член первого триумвирата, один из богатейших людей своего времени.

205

Квинт Фабий Максим Веррукоз Кунктатор (280–203 гг. до н. э.) – полководец, пятикратный консул.

206

Описанный эпизод относится к 217 г. до н. э.

207

События 295 г. до н. э.

208

Этот эпизод относится к войнам, которые вел Тит Дидий с кельтиберами в 98–93 гг. до н. э.

209

В первом случае речь об одной из трех Мессенских войн, видимо, о Первой (вторая половина VIII в. до н. э.) или Второй (вторая половина VII в. до н. э.), в результате которых Спарта на долгое время оккупировала Мессению (на юго-западе Пелопонесса, со столицей в г. Пилос). *Во втором случае* – об эпизоде войны Цезаря с Помпеем, относящемся к 49 г. до н. э., когда Цезарь блокировал и принудил голодом и жаждой к капитуляции армию Афрания и Петрея, легатов Помпея в Испании.

210

Кто имеется в виду, непонятно.

211

Речь об одном из событий III Митридатовой войны, относящемуся к 74–70 гг. до н. э. (война продлилась до 63 г. до н. э.), когда римский полководец, политик и консул 74 г. до н. э. Луций Лициний Лукулл, прозванный Понтийским, был проконсулом Азии.

212

По-видимому, эпизод с *Помпем Великим* относится ко времени его пребывания в Испании в 76–72 гг. до н. э. Кто такой *Валерий Публий* и когда римляне оккупировали Эпидавр, неизвестно. Эпизод с *Александром Македонским* относится, скорее всего, ко времени перед началом Восточного похода, т. е. к 334 г. до н. э.

213

Битва при Гарильяно состоялась 29 декабря 1503 г. между испанской и французской армиями.

214

Осада Мирандолу (крепость неподалеку от Модены) относится к 1506 г., ко времени борьбы Папы Юлия II с Цезарем Борджа за гегемонию в Романье.

215

Во время походов 1499–1502 гг. французы разгромили войска миланского герцога Лодовико Моро и неаполитанского короля Фердинанда II, лишив их владений.

216

Речь о походе французского короля Карла VIII против Неаполитанского королевства, на которое – как на наследство Анжуйского дома – претендовала французская корона. Этот поход стал первым событием в череде Итальянских войн.

217

Присоединить к венку городов (*лат.*).

218

Речь о взятии Сципионом Нового Карфагена в 210 г. до н. э.

219

Событие относится к 1502 г.

220

Кимон Афинский (ок. 510–449 гг. до н э.) таким образом взял один из городов в Малоазийской области Кария во время греко-персидских войн (около 470 г. до н. э.).

221

Речь о событиях 202 г. до н. э., предшествовавших сражению при Заме.

222

Это событие относится к 212 г. до н. э. – таким образом Ганнибал взял город Тарент.

223

Формион (V в. до н. э.) – афинский флотоводец первого этапа Пелопоннесской войны.

Это событие относится к 216 г. до н. э.

225

Алкивиад (450–404 гг. до н. э.) – древнегреческий афинский государственный деятель, оратор, полководец и флотоводец времен Пелопоннесской войны.

226

Ификрат (ум. 353 г. до н. э.) – древнегреческий военачальник, командовавший афинскими отрядами наемников.

227

Речь о войне между Пизой и Флоренцией (1494–1509 гг.). Штурм Пизы флорентийцы произвели 7 июня 1500 г. при поддержке французских войск Людовика XII.

228

Во время десятилетней осады этрусского города Веи (406–396 гг. до н. э.) Марку Фурию Камиллу удалось достичь успеха благодаря подкопу, который он довел до храма Юноны, стоявшего в центре крепости.

229

Клавдий Марцелл защищал Нолы против Ганнибала в 216 г. до н. э.

230

События относятся к 52 г. до н. э., когда Цезарь блокировал армию Верцингеторикса в городе Алезия, но и сам был блокирован отрядами неприятеля, подошедшими на помощь городу.

231

Событие относится к 48 г. до н. э., когда армия Цезаря, после переправы через Адриатику, оказалась практически без снабжения, но несмотря на голод почти на равных сражалась с численно превосходящей и сытой армией Помпея.

232

Имеются в виду попытки Венецианской республики и герцогов Феррары из дома д'Эсте создать в самом начале XVI в. национальную пехоту.

233

Приложен к изданию «Discorsi» 1540 г., воспроизведен при собрании сочинений 1550 г. («La Testina»).

234

Заговор Пацци, в котором участвовало несколько членов этого известного флорентийского семейства, возник в 1478 г. Описанию заговора и его политических последствий посвящена VIII книга «Истории Флоренции» Макиавелли.

235

Фичино (Ficino) Марсилио (1433–1499) – итальянский гуманист и философ-неоплатоник, оказавший значительное влияние на богословскую и гуманистическую мысль и художественную культуру Возрождения.

Полициано (Poliziano) Анджело (наст. фам. Амброджини, Ambrogini; 1454–1494) – итальянский поэт, гуманист. Автор драмы в стихах «Сказание об Орфее» (постановка 1480 г.). Член Флорентийской академии, возглавлявшейся Фичино.

Ландино (Landino) Кристофоро (1424—ок. 1504) – итальянский писатель-гуманист. Член Флорентийской академии, комментатор Овидия, Вергилия, Данте.

236

Lettere familiari di N. Machiavelli pubblicate per cura di Ed. Alvisi (ed. integra). 1883. [Семейная переписка Н. Макиавлли, опубликованная Эд. Альвизи (без правки)]. Письмо 3 (цифра здесь и далее означает порядковый номер письма в сборнике Альвизи).

237

Хотя много потрачено ученого остроумия для доказательства противного.

238

В данном случае «оратор» – это посол, тот, кто «озвучивает», воспроизводит, без каких-либо добавлений, мнение своего правительства.

За исключением разве наименее ответственных миссий, вроде пьомбинской.

240

Lett. fam. 88, от Филиппо Казавеккиа, о котором будет речь ниже.

241

Lett. fam. 122.

242

Последний терцет сонета Петрарки 70–81, причем третий стих процитирован неточно. У Петрарки: не sfogare – облегчить, а celare – скрыть. Впрочем, и слово sfogare, которое Стендаль находил таким многомысленным и удивительным, стоит тут же, в восьмой строке сонета. Стендаль превосходно чувствовал горечь, пропитывавшую все существо Макиавелли. Про «Мандрагору» он говорил, что она была бы превосходной комедией, если бы автор ее был более веселым человеком («Histoire de la peinture en Italie». 1868. Vol. II).

«История живописи в Италии» (фр.).

243

Lett. fam. 106, 27 декабря 1509 г.

Никколо нисколько не смущали в письмах Биаджо ласковые cazo v'in culo по его адресу или сердитые li venga il cacasangue nel forame, сопровождавшие рассказ о товарище, из-за которого канцелярия получила разнос от Синьории, или подробные донесения ему о том, какие опустошения производит среди общих знакомых французская болезнь. Никколо отвечал своим «страдиотам», по– видимому, тем же. Руффини пишет ему (Lett. fam. 29): «Ваши письма к Биаджо и к другим доставили всем огромное удовольствие, а словечки и шуточки (li mocti et facetie) заставили нас хохотать так, что мы чуть не вывернули себе челюстей». Душевнее других относился к нему Биаджо.

Пошел в задницу […] кровавый понос тебе в рот (итал.)..

245

«Литературная академия», в которую входил Макиавелли, собиралась в саду дома известного флорентийского семейства Ручеллаи в начале 1520-х гг. В 1522 г., прекратила свое существование, из-за подозрения в антимедичийском заговоре.

Гвиччардини это немного даже обижало, особенно под конец. В одном из писем он просит Никколо прекратить пышное титулование, шутливо угрожая, что будет отвечать ему тем же. «Бросьте же титулы, – пишет он, – и мерьте мои теми, каких вы хотели бы для себя» (Lett. fam. 193, август 1525).

247

Storia Fiorentine / Ed. le Monnier. 1888. Т. I. Кн. IV. Гл. 15. С. 200.

Так в настоящем издании и далее. В авторском тексте главный труд Макиавелли «Il Principe» переведен как «Князь».

249

Lett. fam. 55 и 79.

250

Lett. fam. 179.

251

Discorsi. Кн. I. Гл. 3 и 9; Principe. Гл. 17. Оговорка (Discorsi. Кн. I. Гл. 27), что «люди чрезвычайно редко бывают или совсем дурными, или совсем хорошими» (по поводу Джан Паоло Бальони), имеет, как увидим ниже, особый смысл и не ограничивает основного суждения.

Цит. по: Villari. Vol. I. P. 377.

253

См. Villari. Vol. II. P. 204.

254

О том, как Макиавелли нуждался, мы знаем из писем его к племяннику Джованни Верначчи (Lett. fam. 160 и ряд следующих). Некоторый доход принесли ему хлопоты в Риме по делам Донато дель Карно, о котором будет речь ниже (Lett. fam. 152, от Баттисты делла Палла). «Жизнь Каструччо», полная тенденциозных измышлений, была написана для оправдания претензий на господство в Лукке наследников Паоло Гуиниджи и едва ли не была ими оплачена. См.: Winkler. Castruccio Castracani. 1897. S. 2–3.

255

«Id est lungo Arno da le Gratie». Это та, которая, по словам друзей, ждет его «a ficha aperta» (Lett. fam. 13).

То есть Лугарно делле Грациа (итал.). Лугарно делле Грациа – место на северном берегу реки Арно во Флоренции.

Абсолютно доступная (итал.).

256

Lett. fam. 105. «Желудок, не будучи в состоянии вынести такой удар, содрогнулся и от сотрясения раскрылся». – «Lo stomaco per non poter sopportare tale offesa tucto si commosse e, commosso oprò». Женщина описана с таким зверским натурализмом, что тошнит читать. Но нет оснований предполагать, как это делают биографы (Villari. Vol. II. P. 289; Tommasini. Vol. I. P. 484), что весь эпизод не более как чисто литературная выдумка: слишком много в письме неподдельной Макиавеллевой горечи.

257

Lett. fam. 150. О Риччe – см. ниже.

258

Lett. fam. 16 (от Агостино Веспуччи; Макиавелли был в это время во Франции): «Non posse te ullo pacto in Galia nisi magno cum discrimine civersari, propterea quod istic pedicones et pathici vexantur lege acriter».

В Галлии ты никак не можешь жить, разве что с превеликим риском, потому что здесь педофилы и распутники сурово караются законом (лат.).

259

В ближайшие два-три года после катастрофы, лишившей Никколо места в обществе, Франческо Веттори, дипломат и историк, был его главным корреспондентом. Большинство их писем посвящены обсуждению политических вопросов, прежде всего возраставшей с каждым годом опасности порабощения Италии чужеземцами. Для Макиавелли его письма служили этюдами к большим работам, а Веттори козырял идеями Никколо в Ватикане. Когда высокая политика надоедала, друзья писали о другом.

260

Недостойный человек (итал.).

261

Lett. fam. 139.

Lett. fam. 144.

263

Lett. fam. 141 и 143.

264

Вульгарное обозначение сексуального удовольствия (итал.).

265

Lett. fam. 158.

266

Свидетельство внука, Дж. Риччи (см. Tommasini. Vol. II. P. 904). Подлинность письма Пьеро Макиавелли, сообщающего о смерти отца (Lett. fam. 229), Томмазини оспаривает (Vol. II. P. 903 и след.)

267

Схоластическое разграничение, не очень убедительное объективно. (*лат.*)

268

Lett. fam. 122, к Веттори.

269

Lett. fam. 142, к Веттори. Веттори в ответ утешает его: «Ричча, конечно, может в сердцах ругнуть советы умных людей. Но не думаю, чтобы из-за этого она перестала вас любить и не открыла вам дверей, когда вы в них постучитесь» (Lett. fam. 143).

270

Lett. fam. 159, к Веттори.

271

На этот раз птичья ловля – самая настоящая, не иносказательная.

Крикка – карточная игра, *трик-трак* – игра на доске.

273

Мелкая монета.

274

Lett. fam. 137, к Веттори, 10 декабря 1513.

Капитоло (capitolo) – стихотворение обычно на дидактическую тему, написанное терцинами.

276

См., напр., Il Principe. Кн. II: «Так как этими [церковными] княжествами управляют высшие силы, непостижимые для человеческого ума, то я не буду о них говорить. Они возвеличены и хранимы Богом, и рассуждать о них может лишь человек самоуверенный и дерзкий». О крупнейшем из этих «хранимых Богом» княжеств – о Папской области – Макиавелли «рассуждал» самым уничтожающим образом.

277

Discorsi. Кн. I. Гл. 12.

Discorsi. Кн. II. Гл. 2.

279

«Новеллино» – анонимный сборник новелл (конец XIII – начало XIV в.), ранний памятник итальянской прозы.

280

Путти (итал. putti, множественное число от putto – младенец) – изображения мальчиков (обычно крылатых), излюбленный декоративный мотив в искусстве итальянского Возрождения, навеянный античными прообразами.

281

Он был очень обижен на Ариосто за то, что тот, перечисляя в «Orlando Furioso» крупнейших современных поэтов, не упомянул его имени, «отбросил его как собаку». См.: Lett. fam. 166, к Луиджи Аламани.

«Неистовый Роланд» (итал.) – героическая рыцарская поэма выдающегося итальянского поэта Лудовико Ариосто (Ariosto) (1474–1533).

282

Storia Fiorentine. Кн. VIII. Гл. 36; «Amava meravigliosamente qualunque era in una arte eccellente».

283

Там же. Кн. VII, в самом конце. См. в: *Machiavelli N.* Opere. 1819. Vol. V. P. 420.

284

Год по флорентийскому календарю начинался не 1 января, а 25 марта.

Storia Fiorentine / Op. ined. Vol. III. P. 87–88.

Machiavelli N. Storia Fiorentine / Ed. le Monnier. 1857. Vol. VIII. P. 36.

Piccoti G. B. La giovinezza di Leone X. 1928. P. 81.

288

См. Anzilotti. La crisi costituzionale della Repubblica Fiorentina. 1912. P. 8–9. Автор нашел обильные указания на скупку земель в деловых бумагах этих фирм, хранящихся во флорентийском архиве. Только нельзя, как это он делает, без оговорок утверждать, что «движение капиталов в деревню началось издавна» (он ссылается на книгу Родолико, посвященную концу XIV в.). Была большая разница между двумя моментами. Тогда покупали земли вследствие обилия доходов, теперь – чтобы спасти доходы; ибо в конце XIV в. был расцвет, в конце XV в. начинался упадок.

289

См. Meltzing O. Das Bankhaus der Medici und seine Vorläufer. 1906. S. 134–139.

См. Ibid. S. 122–123.

291

Алой и Белой розы война (1455–1485) – междоусобная война в Англии за престол между двумя ветвями династии Плантагенетов – Ланкастерами (в гербе алая роза) и Йорками (в гербе белая роза). Эдуард IV (1442–1483), занявший английский престол в 1461 г., первый из династии Йорков.

292

Людовик XI (Louis) (1423–1483) – король Франции с 1461 г., из династии Валуа, при котром завершился период феодальной раздробленности Франции.

293

Анжуйская династия – королевская династия в Англии в 1154–1399 гг. (Плантагенеты), Южной Италии в 1268–1442 гг., Сицилии в 1268–1282 (номинально в 1266–1302 гг.), Венгрии в 1308–1387 гг., Польше в 1370–1382 гг. и 1384–1385 гг. Вела происхождение от французских графов Анжу (Anjou).

См. главу VIII в «Истории Флоренции».

295

Со времени издания писем Людовика XI (Carauare, Vaesen et Mandrot. Lettres de Louis XI. 1883–1909; см. особенно т. VII. С. 286 и след.) у нас имеются документальные доказательства этого.

Это объединение фактически произошло при Фердинанде II Арагонском (1452–1516).

297

Пригород (итал.).

Королевство (итал.).

299

Карл VIII, сын Людовика XI, стал королем в 1483 г., после смерти отца. Его сын Людовик XII правил с 1498 по 1515 г.; походом 1499 г. возобновил Итальянские войны 1494–1559 гг.

300

Великий капитан (итал.).

301

См. Anzilotti A. Указ. соч. С. 32 и след.

302

Народ (итал.).

303

Плебс (итал.) – низшие, почти бесправные слои народа; иначе «тощий народ» в противоположность «толстому народу», то есть popolo.

Discorsi. Кн. I. Гл. 55. Он повторил те же соображения, но в несколько ином плане в «Discorso sopra il riformare lo stato in Firenze». См. об этом – ниже.

«La civilta» у историков и политических писателей XVI в. всегда содержит в себе в той или иной мере представление о свободе.

306

Карл Маркс, который вообще высоко ценил Макиавелли, внимательно читал «Discorsi» и делал из книги много выписок. Из этой главы он сделал целых три. См. об этом – статью В. Максимовского: Максимовский В. К. Маркс: выписки из сочинений Макиавелли / Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Кн. IV. 1929. С. 332–351.

307

В 1530 г., после падения Флоренции, комиссары медичейские в своих донесениях Папе Клименту VII будут изображать победу над республикою как «торжество дворянства (nobilita) над народом». См. Anzilotti. Указ. соч. С. 21.

309

«Плакальщики» (итал.) – итальянское прозвище последователей Савонаролы.

310

Там говорится (Machiavelli N. Opere. 1619. Vol. VI. P. 75) «о третьем и последнем классе людей, который охватывает всех граждан» («terzo ed ultimo grado degli uomini, il quale e tutta universalità dei cittadini»), т. е. о полноправном popolo, для которого нужно «открыть залу» Большого совета.

311

Discorsi. Кн. I. Гл. 58.

Machiavelli N. Opere. 1805. Vol. V. P. 191–192.

313

См. Villari. Vol. II. P. 185.

Storia Fiorentine. Кн. IV. Гл. 18.

Ibid. Кн. III, II.

316

Discorsi. Кн. I. Гл. 5. Начало цитаты выписано Марксом. См.: *Максимовский В.* Там же. Интересна мысль, что нападающей стороной в классовой борьбе являются не бедные, а богатые.

317

Discorsi. Кн. I. Гл. 4. Место выписано Марксом. См.: *Максимовский В.* Там же.

318

Дословно (фр.).

319

В письме к Энгельсу от 25 сентября 1857 г. Цитировано у Максимовского (Максимовский В. Там же. С. 332).

320

Восстание чомпи 1378 г. – первая в истории попытка рабочего класса захватить политическую власть. См. Дживелегов А. Начало итальянского Возрождения. С. 142–155. Отрывок взят из «Истории Флоренции» (Кн. III. Гл. 12–13).

321

Имеются в виду исключительно старшие цехи, широко пользующиеся в своих мануфактурах пролетарским трудом: Lana, Calimala, Seta.

322

Правящая политическая группировка.

323

Лидеров мелкой буржуазии: Медичи, Альберти, Дини, Скали и др.

324

В церкви некоторые из богатых людей сносили свое имущество. Когда народ об этом узнал, церкви подверглись разгрому.

325

Сципион Африканский Младший (ок. 185–129 до н. э.) – римский полководец, который в 146 г. захватил и разрушил Карфаген.

326

Непонятная строка.

То есть, одна из самых тиранических, поскольку синьория означает тиранию.

328

На русском языке кроме общих курсов по истории политических учений можно указать хорошее изложение теории Макиавелли в статье В. Максимовского «Идея диктатуры у Макиавелли» (Максимовский В. Указ. соч. / Историк-марксист. Т. 13. 1929).

См. Machiavelli N. Opere. 1819. Vol. VI. P. 75.

330

О войнах между французами и испанцами из-за Италии на итальянской почве и о Камбрейской лиге, организованной Папою Юлием II против Венеции – см. в тексте «Государя».

331

Под Аньяделло в 1509 г. французские войска нанесли поражение венецианцам.

332

Разграбление (итал.).

333

Discorsi. Кн. I. Гл. 12: «Никакая страна никогда не может быть единой и счастливой, если она не составляет единую республику или не повинуется одному государю, как Франция или Испания, и причиною того, что Италия находится в ином положении, что она и не единая республика и не управляется единым государем, – исключительно Церковь. Ибо, получив светскую власть и обладая ею, она не сделалась настолько мощной и не обнаружила таких достоинств, чтобы оказаться в силах овладеть остальной Италией и господствовать над нею. А с другой стороны, она не сделалась настолько слабою, чтобы, когда перед нею вставала опасность потерять светскую власть, она не смогла призвать могущественного покровителя для защиты против того, кто в Италии сделался чересчур сильным».

«Прекраснейший обман» – слова Паоло Джовио.

Hegel. Philosophia der Geshichte. S. 505.

«Новый государь», «новый монарх» (итал.).

337

Lett. fam. 204, к Гвиччардини.

338

Гуттен (Hutten) Ульрих фон (1488–1523) – немецкий писатель, гуманист, идеолог и идейный вождь рыцарского восстания 1522–1523 гг. Один из авторов памфлета «Письма темных людей».

Discorsi. Кн. III. Гл. 3.

340

Там же. Кн. I. Гл. 55: «non la puo fare, se prima non li spegna tutti» («нельзя этого сделать, если предварительно не истребить их всех»).

341

Il Principe. Гл. 18: «Новый государь не может придерживаться такого образа действий, который людям создает добрую славу, ибо для сохранения государства часто бывает необходимо действовать не так, как повелевают верность, милосердие, человечность, религия».

342

Цинциннат (Cincinnatus) – римский патриций, консул 460 г. до н. э., диктатор 458 г. и 439 г., по преданию, – образец скромности, доблести и верности гражданскому долгу.

Discorsi. Кн. I. Гл. 6; Discorso sopra il riformar…

Il Principe. Гл. 26: «Мне трудно выразить, с какой любовью будет он [новый государь]принят во всех областях, которые натерпелись мук от этих чужеземных наводнений, с какой жаждою мести, с какой упорной верою, с каким благоговением, с какими слезами! Какие двери закроются перед ним? Какой народ откажет ему в повиновении? Какая зависть ему воспротивится? Какой итальянец откажет ему в почитании? Всем смердит это варварское господство».

345

Risorgimento – политическое возрождение. Так принято называть эпоху активной борьбы против чужеземных династий, владевших на юге Неаполем, а на севере Ломбардией, Венецией и герцогствами, от первых вспышек карбонарства в 1820-х гг. до объединения в 1870 г.

346

Кардуччи (Carducci) Джозуэ (1835–1907) – итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1906). Процитированные слова были им в честь объединения Италии.

347

Бреве – краткое послание Папы римского.

348

Булла подписана 6 июня. Деятельность Гвиччардини в период подготовки и действия Коньякской лиги очень хорошо освещены в книге: Otetea A. Guichardin, sa vie publique et sa pensee politique. 1926. P. 137 и след. Текст буллы напечатан там же, стр. 335.

349

Гвиччардини с легкой руки Эдгара Кине (Quinet E. Révolutions de l'Italie. Vol. II. P. 146 sq.), смешавшего его с грязью, и Франческо де Санктиса (De Sanctis F. Nuovi Saggi. P. 201 sq.; Storia della letter. ital. Vol. II. P. 88 sq.), нарисовавшего такой яркий и такой отталкивающий его образ, пользуется, в общем, малыми симпатиями у историков вплоть до Томмазини. При оценке его деятельности в войне 1526–1527 гг. отрицательный взгляд на него особенно несправедлив, и поправки к нему A. Otetea (указ. соч. С. 212) заслуживают поэтому полного внимания.

350

См. остроумные параллели между Макиавелли и Данте в: Ercole F. La politica di Machiavelli. 1926. P. 344–351.

351

Lett. fam. 200, 15 декабря 1525, к Гвиччардини.

352

«Ho perduto la bussola». Lett. fam. 201, 25 января 1526 (1525 флор. ст.).

353

Lett. fam. 204, 15 марта 1526. Это письмо Томмазини называет (Т. II. С. 8, 9) «лебединой песней Макиавелли».

354

Lett. fam. 107, 17 мая 1526.

355

Письмо к Филиппо Строцци, излагающее этот план, до нас не дошло. См. Tommasini. Vol. II. P. 859.

356

Lett. fam. 223, 5 апреля 1527, к Веттори.

357

Lett. fam. 225, 16 апреля 1527.

358

Обсценное обозначение пениса (итал.).

359

Lett. fam. 227, 18 апреля 1527.

360

См. Machiavelli N. Opere. 1819. Vol. VI. P. 70: «Во Флоренции для установления единоличной власти было бы необходимо создать значительное количество дворян (assai nobili), с замками и поместьями, которые могли бы вместе с государем силою оружия и с помощью своего сторонничества (aderenze loro) держать в подчинении город и всю территорию. Ибо государь один, лишенный поддержки дворянства, не в состоянии нести тяжесть управления монархией: необходимо, чтобы между ним и народом (l'universale) был промежуточный слой, который помогал бы ему над ним господствовать».

361

Письмо Нерли напечатано: Villari. Vol. III. P. 430.

Quinet E. Les revolutions d’Italie. 1848. Vol. II. Ch. 4.

363

Народное ополчение (фр.).

Machiavelli N. Opere. 1819. Vol. V. P. 308–309.

Священной любовью к родине (*фр.*).

366

Монтаньяры – сторонники М. Робеспьера, соперничавшие во время Великой Французской революции с жирондистами.

367

Жирондисты – политическая группировка периода Великой французской революции.

368

Возрождение, обновление *(ит.)*. *Рисорджименто* – национально-освободительное движение в Италии против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии; а также период, когда это движение существовало (конец XVIII в. – середина XIX в.). Считается, что рисорджименто завершилось в 1870 г., когда Рим был присоединен к Итальянскому королевству.